Л.Н.Толстой

ВОСКРЕСЕНИЕ

Рассказы



Л.Н.Толстой

ВОСКРЕСЕНИЕ

роман

•

РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная литература»
1984

Р1
Т 53

Классики и современники

*Русская
классическая
литература*



Текст печатается по изданию:

Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22-х томах, тт. 12, 13, 14. М., «Художественная литература», 1982, 1983.

Художник
Л. ПАСТЕРНАК

Т $\frac{4702010100\text{-}008}{028(01)\text{-}84}$ 17-84

ВОСКРЕСЕНИЕ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Матф. Гл. XVIII. Ст. 21. Тогда Петр приступил к нему и сказал: господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? *22.* Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз.

Матф. Гл. VII. Ст. 3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?

Иоанн. Гл. VIII. Ст. 7. ...кто из вас без греха, первый брось на нее камень.

Лука. Гл. VI. Ст. 40. Ученик не бывает выше своего учителя; но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его.

I

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц,— весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ,— кра-

сота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что́ они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом.

Так, в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером с печатью и заголовком бумага о том, чтобы к девяти часам утра были доставлены в нынешний день, 28-го апреля, три содержащиеся в тюрьме подследственные арестанта — две женщины и один мужчина. Одна из этих женщин, как самая важная преступница, должна была быть доставлена отдельно. И вот, на основании этого предписания, 28-го апреля в темный вонючий коридор женского отделения, в восемь часов утра, вошел старший надзиратель. Вслед за ним вошла в коридор женщина с измученным лицом и вьющимися седыми волосами, одетая в кофту с рукавами, обшитыми галунами, и подпоясанную поясом с синим кантом. Это была надзирательница.

— Вам Маслову? — спросила она, подходя с дежурным надзирателем к одной из дверей камер, отворявшихся в коридор.

Надзиратель, гремя железом, отпер замок и, растворив дверь камеры, из которой хлынул еще более вонючий, чем в коридоре, воздух, крикнул:

— Маслова, в суд! — и опять притворил дверь, дожидаясь.

Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесенный ветром в город. Но в коридоре был удручающий тифозный воздух, пропитанный запахом испражнений, дегтя и гнили, который тотчас же приводил в уныние и грусть всякого вновь приходившего человека. Это испытала на себе, несмотря на привычку к дурному воздуху, пришедшая со двора надзирательница. Она вдруг, входя в коридор, почувствовала усталость, и ей захотелось спать.

В камере слышна была суетня: женские голоса и шаги босых ног.

— Живей, что ль, поворачивайся там, Маслова, говорю! — крикнул старший надзиратель в дверь камеры.

Минуты через две из двери бодрым шагом вышла, быстро повернулась и стала подле надзирателя невысокая и очень полногрудая молодая женщина в сером халате, надетом на белую кофту и на белую юбку. На но-

гах женщины были полотняные чулки, на чулках — острожные коты, голова была повязана белой косынкой, из-под которой, очевидно умышленно, были выпущены колечки вьющихся черных волос. Все лицо женщины было той особенной белизны, которая бывает на лицах людей, проведших долгое время взаперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале. Такие же были и небольшие широкие руки и белая полная шея, видневшаяся из-за большого воротника халата. В лице этом поражали, особенно на матовой бледности лица, очень черные, блестящие, несколько подпухшие, но очень оживленные глаза, из которых один косил немного. Она держалась очень прямо, выставляя полную грудь. Выйдя в коридор, она, немного закинув голову, посмотрела прямо в глаза надзирателю и остановилась в готовности исполнить все то, что от нее потребуют. Надзиратель хотел уже запереть дверь, когда оттуда высунулось бледное, строгое, морщинистое лицо простоволосой седой старухи. Старуха начала что-то говорить Масловой. Но надзиратель надавил дверь на голову старухи, и голова исчезла. В камере захохотал женский голос. Маслова тоже улыбнулась и повернулась к зарешетенному маленькому оконцу в двери. Старуха с той стороны прильнула к оконцу и хриплым голосом проговорила:

— Пуще всего — лишнего не высказывай, стой на одном, и шабаш.

— Да уж одно бы что, хуже не будет,— сказала Маслова, тряхнув головой.

— Известно, одно, а не два,— сказал старший надзиратель с начальственной уверенностью в собственном остроумии.— За мной, марш!

Видневшийся в оконце глаз старухи исчез, а Маслова вышла на середину коридора и быстрыми мелкими шагами пошла вслед за старшим надзирателем. Они спустились вниз по каменной лестнице, прошли мимо еще более, чем женские, вонючих и шумных камер мужчин, из которых их везде провожали глаза в форточках дверей, и вошли в контору, где уже стояли два конвойных солдата с ружьями. Сидевший там писарь дал одному из солдат пропитанную табачным дымом бумагу и, указав на арестантку, сказал:

— Прими.

Солдат — нижегородский мужик с красным, изрытым оспою лицом — положил бумагу за обшлаг рукава шинели и, улыбаясь, подмигнул товарищу, широкоску-

лому чувашину, на арестантку. Солдаты с арестанткой спустились с лестницы и пошли к главному выходу.

В двери главного выхода отворилась калитка, и, переступив через порог калитки во двор, солдаты с арестанткой вышли из ограды и пошли городом посередине мощеных улиц.

Извозчики, лавочники, кухарки, рабочие, чиновники останавливались и с любопытством оглядывали арестантку; иные покачивали головами и думали: «Вот до чего доводит дурное, не такое, как наше, поведение». Дети с ужасом смотрели на разбойницу, успокаиваясь только тем, что за ней идут солдаты и она теперь ничего уже не сделает. Один деревенский мужик, продавший уголь и напившийся чаю в трактире, подошел к ней, перекрестился и подал ей копейку. Арестантка покраснела, наклонила голову и что-то проговорила.

Чувствуя направленные на себя взгляды, арестантка незаметно, не поворачивая головы, косилась на тех, кто смотрел на нее, и это обращенное на нее внимание веселило ее. Веселил ее тоже чистый, сравнительно с острогом, весенний воздух, но больно было ступать по камням отвыкшими от ходьбы и обутыми в неуклюжие арестантские коты ногами, и она смотрела себе под ноги и старалась ступать как можно легче. Проходя мимо мучной лавки, перед которой ходили, перекачиваясь, никем не обижаемые голуби, арестантка чуть не задела ногою одного сизяка; голубь вспорхнул и, трепеща крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки, обдав ее ветром. Арестантка улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив свое положение.

II

История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери-скотнице в деревне у двух сестер-барышень помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода.

Так умерло пять детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. Шестой ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка, и участь ее была

бы та же, но случилось так, что одна из двух старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежала родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной».

Ребенку было три года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею.

Старых барышень было две: меньшая, подобрее — Софья Ивановна, она-то и крестила девочку, и старшая, построже — Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между двух влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем — не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие постирушечки и иногда сидела с барышнями и читала им.

За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни.

Так жила она до шестнадцати лет. Когда же ей минуло шестнадцать лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом через два года этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них четыре дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день сторублевую бумажку, уехал. Через пять месяцев после его отъезда она узнала наверное, что она беременна.

С тех пор ей все стало постыло, и она только думала

о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но сама не знала, как это случилось,— вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета.

И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к становому, но могла прожить там только три месяца, потому что становой, пятидесятилетний старик, стал приставать к ней, и один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие. Но повитуха, принимавшая на деревне у больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер.

Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было сто двадцать семь рублей: двадцать семь — зажитых и сто рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего шесть рублей. Она не умела беречь деньги и на себя тратила и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье — за корм и за чай — за два месяца сорок рублей, двадцать пять рублей пошли за отправку ребенка, сорок рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, рублей двадцать разошлись так — на платья, на гостинцы, так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать места. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но, точно так же как и становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее, главное — был хозяин, который мог посылать ее куда хотел, и, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив зажитое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку.

Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормилась с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки. Но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуги. И место нашлось у барыни, жившей с двумя сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший, усатый, шестого класса гимназист, бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей места, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой; старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей двадцать пять рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату зажитого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще двадцать пять рублей и предложил переехать в отдельную квартиру.

Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее, в Нижний, и Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околоточный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в

прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные, с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в тридцатиградусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысли о том, что и она могла поступить в эту каторгу.

И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости.

Маслова курила уже давно, но в последнее время связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно.

Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором наверное будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое постоянное прелюбодеяние, и она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняло ее и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает,— бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в яркожелтом шелковом платье с черной бархатной отделкой — декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой.

И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления заповедей божеских и челове-

ческих, которая ведется сотнями и сотнями тысяч женщин не только с разрешения, но под покровительством правительственной власти, озабоченной благом своих граждан, и кончается для девяти женщин из десяти мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью.

Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. В третьем, четвертом часу усталое вставанье с грязной постели, зельтерская вода с перепоя, кофе, ленивое шлянье по комнатам в пеньюарах, кофтах, халатах, смотренье из-за занавесок в окна, вялые перебранки друг с другом; потом обмывание, обмазывание, душение тела, волос, примериванье платьев, споры из-за них с хозяйкой, рассматриванье себя в зеркало, подкрашивание лица, бровей, сладкая, жирная пища; потом одеванье в яркое шелковое обнажающее тело платье; потом выход в разукрашенную, ярко освещенную залу, приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, куренье и прелюбодеяния с молодыми, средними, полудетьми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, пьяными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами — всех возможных сословий, возрастов и характеров. И крики и шутки, и драки и музыка, и табак и вино, и вино и табак, и музыка с вечера и до рассвета. И только утром освобождение и тяжелый сон. И так каждый день, всю неделю. В конце же недели поездка в государственное учреждение — участок, где находящиеся на государственной службе чиновники, доктора — мужчины, иногда серьезно и строго, а иногда с игривой веселостью, уничтожая данный от природы для ограждения от преступления не только людям, но и животным стыд, осматривали этих женщин и выдавали им патент на продолжение тех же преступлений, которые они совершали с своими сообщниками в продолжение недели. И опять такая же неделя. И так каждый день, и летом и зимой, и в будни и в праздники.

Так прожила Маслова семь лет. За это время она переменила два дома и один раз была в больнице. На седьмом году ее пребывания в доме терпимости и на восьмом году после первого падения, когда ей было двадцать шесть лет, с ней случилось то, за что ее посадили в острог и теперь вели на суд, после шести месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками.

III

В то время когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила с своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще па своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком, смятой постели п, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера.

Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю с спальней уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканьем, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало, вычищенные ботинки и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы.

Все вещи, которые он употреблял,— принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки,— были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные.

Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку,— когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно,— Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и

душистый, в длинную, с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли: серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипячеными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue des deux Mondes». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре, с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробора. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки.

Аграфена Петровна лет десять в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой.

— С добрым утром, Дмитрий Иванович.

— Здравствуйте, Аграфена Петровна. Что новенького? — спросил Нехлюдов шутя.

— Письмо от княгини ли, от княжны ли. Горничная давно принесла, у меня дожидается,— сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь.

— Хорошо, сейчас,— сказал Нехлюдов, взяв письмо, и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился.

Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову.

— Так я ей скажу подождать,— и Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой.

Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его.

«Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью,— было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями острым, но разгонистым по-

черком,— напоминаю вам, что вы нынче, 28-го апреля, должны быть в суде присяжных и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы, с свойственным вам легкомыслием, вчера обещали; à moins que vous ne soyez disposé à payer à la cour d'assises les 300 roubles d'amende, que vous vous refusez pour votre cheval [1], за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же.

Кн. *М. Корчагина*».

На другой стороне было прибавлено:

«Maman vous fait dire que votre couvert vous attendra jusqu'à la nuit. Venez absolument à quelle heure que cela soit [2].

М. К.»

Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже два месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложения. Причина эта заключалась не в том, что он десять лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее, это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы; причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею.

Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более за-

---

[1] если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф в 300 рублей, которые вы жалеете истратить на покупку лошади *(фр.)*.

[2] Матушка велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно когда угодно *(фр.)*.

хватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной.

На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно: муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание и что он просит Нехлюдова непременно приехать и donner un coup d'épaule[1] в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии.

Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни.

Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека: вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал, и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух, и о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне»,— подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки, для ее же блага, их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, и это

[1] поддержать *(фр.)*.

мучало его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи.

Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство: так ли, как оно велось при покойнице, или, как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу трех тысяч рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же он высылкой потому, что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большою собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера и в особенности, сам будучи большим землевладельцем, был поражен его положением в «Social statics»[1] о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли (принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично) мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух: или отказаться от своей собственности, как он сделал это десять лет тому назад по отношению двухсот десятин отцовской земли, или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными.

Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может

[1] «Социальная статика» *(англ.)*.

отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второе же — отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которые он тогда почерпнул из «Социальной статики» Спенсера и блестящее подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа,— он никак не мог.

И от этого письмо управляющего было неприятно ему.

IV

Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился два года, и этюдов, и всей мастерской напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно.

Семь лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права. И потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната, со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами.

Тотчас же найдя в ящике огромного стола, под отделом *срочные*, повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в одиннадцать, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее: было слишком интимно; написал другую — было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый, с бакенбардами лакей.

— Пожалуйста, пошлите за извозчиком.

— Слушаю-с.

— Да скажите — тут дожидаются от Корчагиных,— что благодарю, постараюсь быть.

— Слушаю.

«Неучтиво, но не могу писать. Все равно увижусь с ней нынче»,— подумал Нехлюдов и пошел одеваться.

Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его.

— А вчера, вы только уехали от князя Корчагина,— сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи,— и я приехал, а швейцар говорит: «Только вышли».

«И извозчики знают о моих отношениях к Корчагиным»,— подумал Нехлюдов, и перешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время: следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак, ни в ту, ни в другую сторону, не мог решить его.

В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни; во-вторых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы вообще было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины.

В пользу же, в частности, женитьбы именно на Мисси (Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище) было, во-первых, то, что она была породиста и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а «порядочностью»,— он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко; во-вторых, еще то, что она выше всех других людей ценила его, стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на Мисси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем Мисси, и потому более достойную его, и, во-вторых, то,

что ей было двадцать семь лет, и потому наверное у нее были уже прежние любови,— и эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его, но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его.

Так что доводов было столько же за, сколько и против; по крайней мере по силе своей доводы эти были равны, и Нехлюдов, смеясь сам над собою, называл себя буридановым ослом. И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться.

«Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны (жены предводителя), не покончив совершенно с тем, я и не могу ничего предпринять»,— сказал он себе.

И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему.

«Впрочем, это все я обдумаю после»,— сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда.

«Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. Притом же это часто бывает и интересно»,— сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда.

V

В коридорах суда уже шло усиленное движение, когда Нехлюдов вошел в него.

Сторожа то быстро ходили, то рысью даже, не поднимая ног от пола, но шмыгая ими, запыхавшись, бегали взад и вперед с поручениями и бумагами. Пристава, адвокаты и судейские проходили то туда, то сюда, просители или подсудимые не под стражей уныло бродили у стен или сидели, дожидаясь.

— Где окружный суд? — спросил Нехлюдов у одного из сторожей.

— Какой вам? Есть гражданское отделение, есть судебная палата.

— Я присяжный.

— Уголовное отделение. Так бы и сказали. Сюда направо, потом налево и вторая дверь.

Нехлюдов пошел по указанию.

У указанной двери стояли два человека, дожидаясь:

один был высокий, толстый купец, добродушный человек, который, очевидно, выпил и закусил и был в самом веселом расположении духа; другой был приказчик еврейского происхождения. Они разговаривали о цене шерсти, когда к ним подошел Нехлюдов и спросил, здесь ли комната присяжных.

— Здесь, сударь, здесь. Тоже наш брат, присяжный? — весело подмигивая, спросил добродушный купец.— Ну что же, вместе потрудимся,— продолжал он на утвердительный ответ Нехлюдова,— второй гильдии Баклашов,— сказал он, подавая мягкую широкую несжимающуюся руку,— потрудиться надо. С кем имею удовольствие?

Нехлюдов назвался и прошел в комнату присяжных.

В небольшой комнате присяжных было человек десять разного сорта людей. Все только пришли, и некоторые сидели, другие ходили, разглядывая друг друга и знакомясь. Был один отставной в мундире, другие в сюртуках, в пиджаках, один только был в поддевке.

На всех был,— несмотря на то, что многих это оторвало от дела и что они говорили, что тяготятся этим,— на всех был отпечаток некоторого удовольствия сознания совершения общественного важного дела.

Присяжные, кто познакомившись, а кто так, только догадываясь, кто — кто, разговаривали между собой о погоде, о ранней весне, о предстоящих делах. Те, кто не были знакомы, поспешили познакомиться с Нехлюдовым, очевидно считая это за особую честь. И Нехлюдов, как и всегда среди незнакомых людей, принимал это как должное. Если бы его спросили, почему он считает себя выше большинства людей, он не мог бы ответить, так как вся его жизнь не являла никаких особенных достоинств. То же, что он выговаривал хорошо по-английски, по-французски и по-немецки, что на нем было белье, одежда, галстук и запонки от самых первых поставщиков этих товаров, никак не могло служить — он сам понимал — причиной признания своего превосходства. А между тем он несомненно признавал это свое превосходство и принимал выказываемые ему знаки уважения как должное и оскорблялся, когда этого не было. В комнате присяжных ему как раз пришлось испытать это неприятное чувство от выказанного ему неуважения. В числе присяжных нашелся знакомый Нехлюдова. Это был Петр Герасимович (Нехлюдов никогда и не знал и даже немного хвастал тем, что не знает его фамилии), бывший

учитель детей его сестры. Петр Герасимович этот кончил курс и был теперь учителем гимназии. Он всегда был невыносим Нехлюдову своей фамильярностью, своим самодовольным хохотом, вообще своей «коммунностью», как говорила сестра Нехлюдова.

— А, и вы попали,— с громким хохотом встретил Петр Герасимович Нехлюдова.— Не отвертелись?

— Я и не думал отвертываться,— строго и уныло сказал Нехлюдов.

— Ну, это гражданская доблесть. Погодите, как проголодаетесь да спать не дадут, не то запоете! — еще громче хохоча, заговорил Петр Герасимович.

«Этот протоиереев сын сейчас станет мне «ты» говорить»,— подумал Нехлюдов и, выразив на своем лице такую печаль, которая была бы естественна только, если бы он сейчас узнал о смерти всех родных, отошел от него и приблизился к группе, образовавшейся около бритого высокого представительного господина, что-то оживленно рассказывавшего. Господин этот говорил о процессе, который шел теперь в гражданском отделении, как о хорошо знакомом ему деле, называя судей и знаменитых адвокатов по имени и отчеству. Он рассказывал про тот удивительный оборот, который умел дать делу знаменитый адвокат и по которому одна из сторон, старая барыня, несмотря на то, что она была совершенно права, должна будет ни за что заплатить большие деньги противной стороне.

— Гениальный адвокат! — говорил он.

Его слушали с уважением, и некоторые старались вставить свои замечания, но он всех обрывал, как будто он один мог знать все по-настоящему.

Несмотря на то, что Нехлюдов приехал поздно, пришлось долго дожидаться. Задерживал дело до сих пор не приехавший один из членов суда.

VI

Председательствующий приехал в суд рано. Председательствующий был высокий, полный человек с большими седеющими бакенбардами. Он был женат, но вел очень распущенную жизнь, так же как и его жена. Они не мешали друг другу. Нынче утром он получил записку от швейцарки-гувернантки, жившей у них в доме

летом и теперь проезжавшей с юга в Петербург, что она будет в городе между тремя и шестью часами ждать его в гостинице «Италия». И потому ему хотелось начать и кончить раньше заседание нынешнего дня, с тем чтобы до шести успеть посетить эту рыженькую Клару Васильевну, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман.

Войдя в кабинет, он защелкнул дверь, достал из шкафа с бумагами с нижней полки две галтеры (гири) и сделал двадцать движений вверх, вперед, вбок и вниз и потом три раза легко присел, держа галтеры над головой.

«Ничто так не поддерживает, как обливание водою и гимнастика»,— подумал он, ощупывая левой рукой с золотым кольцом на безымяннике напруженный бисепс правой. Ему оставалось еще сделать мулине (он всегда делал эти два движения перед долгим сидением заседания), когда дверь дрогнула. Кто-то хотел отворить ее. Председатель поспешно положил гири на место и отворил дверь.

— Извините,— сказал он.

В комнату вошел один из членов, в золотых очках, невысокий, с поднятыми плечами и нахмуренным лицом.

— Опять Матвея Никитича нет,— сказал член недовольно.

— Нет еще,— надевая мундир, отвечал председатель.— Вечно опаздывает.

— Удивительно, как не совестно,— сказал член и сердито сел, доставая папиросы.

Член этот, очень аккуратный человек, нынче утром имел неприятное столкновение с женой за то, что жена израсходовала раньше срока данные ей на месяц деньги. Она просила дать ей вперед, но он сказал, что не отступит от своего. Вышла сцена. Жена сказала, что если так, то и обеда не будет, чтобы он и не ждал обеда дома. На этом он уехал, боясь, что она сдержит свою угрозу, так как от нее всего можно было ожидать. «Вот и живи хорошей, нравственной жизнью,— думал он, глядя на сияющего, здорового, веселого и добродушного председателя, который, широко расставляя локти, красивыми белыми руками расправлял густые и длинные седеющие бакенбарды по обеим сторонам шитого воротника,— он всегда доволен и весел, а я мучаюсь».

Вошел секретарь и принес какое-то дело.

— Очень вам благодарен,— сказал председатель и закурил папироску.— Какое же дело пустим первым?

— Да я думаю, отравление,— как будто равнодушно сказал секретарь.

— Ну, хорошо, отравление так отравление,— сказал председатель, сообразив, что это такое дело, которое можно кончить до четырех часов, а потом уехать.— А Матвея Никитича нет?

— Все нет.

— А Бреве здесь?

— Здесь,— отвечал секретарь.

— Так скажите ему, если увидите, что мы начнем с отравления.

Бреве был тот товарищ прокурора, который должен был обвинять в этом заседании.

Выйдя в коридор, секретарь встретил Бреве. Подняв высоко плечи, он, в расстегнутом мундире, с портфелем под мышкой, чуть не бегом, постукивая каблуками и махая свободной рукой так, что плоскость руки была перпендикулярна к направлению его хода, быстро шагал по коридору.

— Михаил Петрович просил узнать, готовы ли вы,— спросил у него секретарь.

— Разумеется, я всегда готов,— сказал товарищ прокурора.— Какое дело первое?

— Отравление.

— И прекрасно,— сказал товарищ прокурора, но он вовсе не находил этого прекрасным: он не спал всю ночь. Они провожали товарища, много пили и играли до двух часов, а потом поехали к женщинам в тот самый дом, в котором шесть месяцев тому назад еще была Маслова, так что именно дело об отравлении он не успел прочесть и теперь хотел пробежать его. Секретарь же нарочно, зная, что он не читал дела об отравлении, посоветовал председателю пустить его первым. Секретарь был либерального, даже радикального образа мыслей человек. Бреве же был консервативен и даже, как все служащие в России немцы, особенно предан православию, и секретарь не любил его и завидовал его месту.

— Ну, а как же о скопцах? — спросил секретарь.

— Я сказал, что не могу,— сказал товарищ прокурора,— за отсутствием свидетелей, так и заявлю суду.

— Да ведь все равно...

— Не могу,— сказал товарищ прокурора и, так же махая рукой, пробежал в свой кабинет.

Он откладывал дело о скопцах за отсутствием совсем неважного и ненужного для дела свидетеля только потому, что дело это, слушаясь в суде, где состав присяжных был интеллигентный, могло кончиться оправданием. По уговору же с председателем дело это должно было перенестись на сессию уездного города, где будут больше крестьяне, и потому больше шансов обвинения.

Движение по коридору все усиливалось. Больше всего народа было около залы гражданского отделения, в которой шло то дело, о котором говорил представительный господин присяжным, охотник до судейских дел. В сделанный перерыв из этой залы вышла та самая старушка, у которой гениальный адвокат сумел отнять ее имущество в пользу дельца, не имевшего на это имущество никакого права,— это знали и судьи, а тем более истец и его адвокат; но придуманный ими ход был такой, что нельзя было не отнять имущество у старушки и не отдать его дельцу. Старушка была толстая женщина в нарядном платье и с огромными цветами на шляпке. Она, выйдя из двери, остановилась в коридоре и, разводя толстыми, короткими руками, все повторяла: «Что ж это будет? Сделайте милость! Что ж это?» — обращаясь к своему адвокату. Адвокат смотрел на цветы на ее шляпке и не слушал ее, что-то соображая.

Вслед за старушкой из двери залы гражданского отделения, сияя пластроном широко раскрытого жилета и самодовольным лицом, быстро вышел тот самый знаменитый адвокат, который сделал так, что старушка с цветами осталась ни при чем, а делец, давший ему десять тысяч рублей, получил больше ста тысяч. Все глаза обратились на адвоката, и он чувствовал это и всей наружностью своей как бы говорил: «Не нужно никаких выражений преданности»,— и быстро прошел мимо всех.

VII

Наконец приехал и Матвей Никитич, и судебный пристав, худой человек с длинной шеей и походкой набок и также набок выставляемой нижней губой, вошел в комнату присяжных.

Судебный пристав этот был честный человек, университетского образования, но не мог нигде удержаться на месте, потому что пил запоем. Три месяца тому назад одна графиня, покровительница его жены, устроила ему

это место, и он до сих пор держался на нем и радовался этому.

— Что же, господа, собрались все? — сказал он, надевая pince-nez и глядя через него.

— Все, кажется,— сказал веселый купец.

— Вот проверим,— сказал судебный пристав и, достав из кармана лист, стал перекликать, глядя на вызываемых то через pince-nez, то сквозь него.

— Статский советник И. М. Никифоров.

— Я,— сказал представительный господин, знавший все судейские дела.

— Отставной полковник Иван Семенович Иванов.

— Здесь,— отозвался худой человек в отставном мундире.

— Купец второй гильдии Петр Баклашов.

— Есть,— сказал добродушный купец, улыбаясь во весь рот.— Готовы!

— Гвардии поручик князь Дмитрий Нехлюдов.

— Я,— отвечал Нехлюдов.

Судебный пристав особенно учтиво и приятно, глядя поверх pince-nez, поклонился, как будто выделяя его этим от других.

— Капитан Юрий Дмитриевич Данченко, купец Григорий Ефимович Кулешов,— и т. д., и т. д.

Все, кроме двух, были в сборе.

— Теперь пожалуйте, господа, в залу,— приятным жестом указывая на дверь, сказал пристав.

Все тронулись и, пропуская друг друга в дверях, вышли в коридор и из коридора в залу заседания.

Зала суда была большая, длинная комната. Один конец ее был занят возвышением, к которому вели три ступеньки. На возвышении посередине стоял стол, покрытый зеленым сукном с более темной зеленой бахромой. Позади стола стояли три кресла с очень высокими дубовыми резными спинками, а за креслами висел в золотой раме яркий портрет во весь рост генерала в мундире и ленте, отставившего ногу и держащегося за саблю. В правом углу висел киот с образом Христа в терновом венке и стоял аналой, и в правой же стороне стояла конторка прокурора. С левой стороны, против конторки, был в глубине столик секретаря, а ближе к публике — точеная дубовая решетка и за нею еще не занятая скамья подсудимых. С правой стороны на возвышении стояли в два ряда стулья тоже с высокими спинками, для присяжных, внизу столы для адвокатов.

Все это было в передней части залы, разделявшейся решеткой надвое. Задняя же часть вся занята была скамьями, которые, возвышаясь один ряд над другим, шли до задней стены. В задней части залы, на передних лавках, сидели четыре женщины, вроде фабричных или горничных, и двое мужчин, тоже из рабочих, очевидно подавленных величием убранства залы и потому робко перешептывавшихся между собой.

Скоро после присяжных судебный пристав односторонней походкой вышел на середину и громким голосом, которым он точно хотел испугать присутствующих, прокричал:

— Суд идет!

Все встали, и на возвышение зала вышли судьи: председательствующий с своими мускулами и прекрасными бакенбардами; потом мрачный член суда в золотых очках, который теперь был еще мрачнее оттого, что перед самым заседанием он встретил своего шурина, кандидата на судебные должности, который сообщил ему, что он был у сестры и сестра объявила ему, что обеда не будет.

— Так что, видно, в кабачок поедем,— сказал шурин, смеясь.

— Ничего нет смешного,— сказал мрачный член суда и сделался еще мрачнее.

И, наконец, третий член суда, тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывал,— этот член был бородатый человек с большими, вниз оттянутыми добрыми глазами. Член этот страдал катаром желудка и с нынешнего утра начал, по совету доктора, новый режим, и этот новый режим задержал его нынче дома еще дольше обыкновенного. Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредоточенный вид, потому что у него была привычка загадывать всеми возможными средствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число шагов до кресла от двери кабинета будет делиться на три без остатка, то новый режим вылечит его от катара, если же не будет делиться, то нет. Шагов было двадцать шесть, но он сделал маленький шажок и ровно на двадцать седьмом подошел к креслу.

Фигуры председателя и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золотом воротниках мундиров, были очень внушительны. Они сами чувствовали это, и все трое, как бы смущенные своим величием, поспешно

и скромно опуская глаза, сели на свои резные кресла за покрытый зеленым сукном стол, на котором возвышался треугольный инструмент с орлом, стеклянные вазы, в которых бывают в буфетах конфеты, чернильница, перья и лежала бумага чистая и прекрасная и вновь очиненные карандаши разных размеров. Вместе с судьями вошел и товарищ прокурора. Он так же поспешно, с портфелем под мышкой, и так же махая рукой, прошел к своему месту у окна и тотчас же погрузился в чтение и пересматривание бумаг, пользуясь каждой минутой для того, чтобы приготовиться к делу. Прокурор этот только что четвертый раз обвинял. Он был очень честолюбив и твердо решил сделать карьеру и потому считал необходимым добиваться обвинения по всем делам, по которым он будет обвинять. Сущность дела об отравлении он знал в общих чертах и составил уже план речи, но ему нужны были еще некоторые данные, и их-то он теперь поспешно и выписывал из дела.

Секретарь сидел на противоположном конце возвышения и, подготовив все те бумаги, которые могут понадобиться для чтения, просматривал запрещенную статью, которую он достал и читал вчера. Ему хотелось поговорить об этой статье с членом суда с большой бородой, разделяющим его взгляды, и прежде разговора хотелось ознакомиться с нею.

VIII

Председатель, просмотрев бумаги, сделал несколько вопросов судебному приставу и секретарю и, получив утвердительные ответы, распорядился о приводе подсудимых. Тотчас же дверь за решеткой отворилась, и вошли в шапках два жандарма с оголенными саблями, а за ними сначала один подсудимый, рыжий мужчина с веснушками, и две женщины. Мужчина был одет в арестантский халат, слишком широкий и длинный для него. Входя в суд, он держал руки с оттопыренными большими пальцами, напряженно вытянутыми по швам, придерживая этим положением спускавшиеся слишком длинные рукава. Он, не взглядывая на судей и зрителей, внимательно смотрел на скамью, которую обходил. Обойдя ее, он аккуратно, с края, давая место другим, сел на нее и, вперив глаза в председателя, точно шепча что-то, стал шевелить мускулами в щеках. За ним во-

шла немолодая женщина, также одетая в арестантский халат. Голова женщины была повязана арестантской косынкой, лицо было серо-белое, без бровей и ресниц, но с красными глазами. Женщина эта казалась совершенно спокойной. Проходя на свое место, халат ее зацепился за что-то, она старательно, не торопясь, выпростала его и села.

Третья подсудимая была Маслова.

Как только она вошла, глаза всех мужчин, бывших в зале, обратились на нее и долго не отрывались от ее белого с черными глянцевито-блестящими глазами лица и выступавшей под халатом высокой груди. Даже жандарм, мимо которого она проходила, не спуская глаз, смотрел на нее, пока она проходила и усаживалась, и потом, когда она уселась, как будто сознавая себя виновным, поспешно отвернулся и, встряхнувшись, уперся глазами в окно прямо перед собой.

Председатель подождал, пока подсудимые заняли свои места, и, как только Маслова уселась, обратился к секретарю.

Началась обычная процедура: перечисление присяжных заседателей, рассуждение о неявившихся, наложение на них штрафов и решение о тех, которые отпрашивались, и пополнение неявившихся запасными. Потом председатель сложил билетики, вложил их в стеклянную вазу и стал, немного засучив шитые рукава мундира и обнажив сильно поросшие волосами руки, с жестами фокусника, вынимать по одному билетику, раскатывать и читать их. Потом председатель спустил рукава и предложил священнику привести заседателей к присяге.

Старичок священник, с опухшим желто-бледным лицом, в коричневой рясе с золотым крестом на груди и еще каким-то маленьким орденом, приколотым сбоку на рясе, медленно под рясой передвигая свои опухшие ноги, подошел к аналою, стоящему под образом.

Присяжные встали и, толпясь, двинулись к аналою.

— Пожалуйте,— проговорил священник, потрогивая пухлой рукой свой крест на груди и ожидая приближения всех присяжных.

Священник этот священствовал сорок шесть лет и собирался через три года отпраздновать свой юбилей так же, как его недавно отпраздновал соборный протоиерей. В окружном же суде он служил со времени открытия судов и очень гордился тем, что он привел к присяге не-

сколько десятков тысяч человек и что в своих преклонных годах он продолжал трудиться на благо церкви, отечества и семьи, которой он оставит, кроме дома, капитал не менее тридцати тысяч в процентных бумагах. То же, что труд его в суде, состоящий в том, чтобы приводить людей к присяге над Евангелием, в котором прямо запрещена присяга, был труд нехороший, никогда не приходило ему в голову, и он не только не тяготился этим, но любил это привычное занятие, часто при этом знакомясь с хорошими господами. Теперь он не без удовольствия познакомился с знаменитым адвокатом, внушавшим ему большое уважение тем, что за одно только дело старушки с огромными цветами на шляпке он получил десять тысяч рублей.

Когда присяжные все взошли по ступенькам на возвышение, священник, нагнув набок лысую и седую голову, пролез ею в насаленную дыру епитрахили и, оправив жидкие волосы, обратился к присяжным:

— Правую руку поднимите, а персты сложите так вот,— сказал он медленно старческим голосом, поднимая пухлую руку с ямочками над каждым пальцем и складывая эти пальцы в щепоть.— Теперь повторяйте за мной,— сказал он и начал: — Обещаюсь и клянусь всемогущим богом, пред святым его Евангелием и животворящим крестом господним, что по делу, по которому...— говорил он, делая перерыв после каждой фразы.— Не опускайте руки, держите так,— обратился он к молодому человеку, опустившему руку,— что по делу, по которому...

Представительный господин с бакенбардами, полковник, купец и другие держали руки с сложенными перстами так, как этого требовал священник, как будто с особенным удовольствием, очень определенно и высоко, другие как будто неохотно и неопределенно. Одни слишком громко повторяли слова, как будто с задором и выражением, говорящим: «А я все-таки буду и буду говорить», другие же только шептали, отставали от священника и потом, как бы испугавшись, не вовремя догоняли его; одни крепко-крепко, как бы боясь, что выпустят что-то, вызывающими жестами держали свои щепотки, а другие распускали их и опять собирали. Всем было неловко, один только старичок священник был несомненно убежден, что он делает очень полезное и важное дело. После присяги председатель предложил присяжным выбрать старшину. Присяжные встали и, теснясь,

прошлись в совещательную комнату, где почти все они тотчас достали папиросы и стали курить. Кто-то предложил старшиной представительного господина, и все тотчас же согласились и, побросав и потушив окурки, вернулись в залу. Выбранный старшина объявил председателю, кто избран старшиной, и все опять, шагая через ноги друг другу, уселись в два ряда на стулья с высокими спинками.

Все шло без задержек, скоро и не без торжественности, и эта правильность, последовательность и торжественность, очевидно, доставляли удовольствие участвующим, подтверждая в них сознание, что они делают серьезное и важное общественное дело. Это чувство испытывал и Нехлюдов.

Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах, обязанностях и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно переменял позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на ручки кресел, то уравнивал края бумаги, то гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш.

Права их, по его словам, состояли в том, что они могут спрашивать подсудимых через председателя, могут иметь карандаш и бумагу и могут осматривать вещественные доказательства. Обязанность состояла в том, чтобы они судили не ложно, а справедливо. Ответственность же их состояла в том, что в случае несоблюдения тайны совещаний и установления сношений с посторонними они подвергались наказанию.

Все слушали с почтительным вниманием. Купец, распространяя вокруг себя запах вина и удерживая шумную отрыжку, на каждую фразу одобрительно кивал головою.

IX

Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым.

— Симон Картинкин, встаньте,— сказал он.

Симон нервно вскочил. Мускулы щек зашевелились еще быстрее.

— Ваше имя?

— Симон Петров Картинкин,— быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно вперед приготовившись к ответу.

— Ваше звание?
— Крестьяне.
— Какой губернии, уезда?
— Тульской губернии, Крапивенского уезда, волости Купянской, села Борки.
— Сколько вам лет?
— Тридцать четвертый, рожден в тысяча восемьсот...
— Веры какой?
— Веры мы русской, православной.
— Женат?
— Никак нет-с.
— Чем занимаетесь?
— Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».
— Судились когда прежде?
— Никогда не сужден, потому как мы жили прежде...
— Не судились прежде?
— Помилуй бог, никогда.
— Копию с обвинительного акта получили?
— Получили.
— Садитесь. Евфимия Иванова Бочкова,— обратился председатель к следующей подсудимой.

Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову.
— Картинкин, сядьте.

Картинкин все стоял.
— Картинкин, сядьте!

Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову набок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!»

Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками.

— Ваше имя? — со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом.

Бочковой было сорок три года, звание — коломенская мещанка, занятие — коридорная в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями, точно она к каждому ответу приговари-

вала: «Да, Евфимия, и Бочкова, копию получила, и горжусь этим, и смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы.

— Ваше имя? — обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой.— Надо встать,— прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела.

Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами.

— Звать как?

— Любовью,— проговорила она быстро.

Нехлюдов между тем, надев pince-nez, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть,— думал он, не спуская глаз с лица подсудимой,— но как же Любовь?» — думал он, услыхав ее ответ.

Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой.

— Как Любовью? — сказал он.— Вы записаны иначе.

Подсудимая молчала.

— Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя.

— Крещена как? — спросил сердитый член.

— Прежде звали Катериной.

«Да не может быть»,— продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница-горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только не порядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной.

Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность эта, милая, исключительная особенность, была в этом лице, в губах, в не-

много косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре.

— Вы так и должны были сказать,— опять-таки особенно мягко сказал председатель.— Отчество как?

— Я — незаконная,— проговорила Маслова.

— Все-таки по крестному отцу как звали?

— Михайловой.

«И что могла она сделать?» — продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание.

— Фамилия, прозвище ваше как? — продолжал председатель.

— Писали по матери Масловой.

— Звание?

— Мещанка.

— Веры православной?

— Православной.

— Занятие? Чем занимались?

Маслова молчала.

— Чем занимались? — повторил председатель.

— В заведении была,— сказала она.

— В каком заведении? — строго спросил член в очках.

— Вы сами знаете, в каком,— сказала Маслова, улыбнулась и тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя.

Что-то было такое необыкновенное в выражении лица и страшное и жалкое в значении сказанных ею слов, в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы:

— Под судом и следствием не были?

— Не была,— тихо проговорила Маслова, вздыхая.

— Копию с обвинительного акта получили?

— Получила.

— Сядьте,— сказал председатель.

Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя.

Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-докторе и приглашение его

в залу заседания. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Читал он внятно и громко, но так быстро, что голос его, неправильно выговаривавший *л* и *р*, сливался в один неперестающий, усыпительный гул. Судьи облокачивались то на одну, то на другую ручку кресел, то на стол, то на спинку, то закрывали глаза, то открывали их и перешептывались. Один жандарм несколько раз удерживал начинающуюся судорогу зевоты.

Из подсудимых Картинкин не переставая шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову.

Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца.

Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая pince-nez, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.

X

Обвинительный акт был такой:

— «17 января 188* года в гостинице «Мавритания» скоропостижно умер приезжий — курганский 2-й гильдии купец Ферапонт Емельянович Смельков.

Местный полицейский врач 4-го участка удостоверил, что смерть произошла от разрыва сердца, вызванного чрезмерным употреблением спиртных напитков. Тело Смелькова было предано земле.

По прошествии нескольких дней возвратившийся из Петербурга купец Тимохин, земляк и товарищ Смелькова, узнав обстоятельства, сопровождавшие кончину Смелькова, заявил подозрение в отравлении его с целью похищения бывших при нем денег.

Подозрение это нашло себе подтверждение на предварительном следствии, коим установлено: 1) что Смельков незадолго до смерти получил из банка 3800 рублей серебром. Между тем при описи имущества покойного в порядке охранительном оказалось в наличности только 312 рублей 16 копеек. 2) Весь день накануне и всю последнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой (Екатериной Масловой) в доме терпимости и в гостинице «Мавритания», куда, по поручению Смелькова и в отсутствие его, Екатерина Маслова

приезжала из дома терпимости за деньгами, кои доста-ла из чемодана Смелькова, отомкнув его данным ей Смельковым ключом, в присутствии коридорной при-слуги гостиницы «Мавритании» Евфимии Бочковой и Симона Картинкина. В чемодане Смелькова, при от-мыкании его Масловой, присутствовавшие при этом Бочкова и Картинкин видели пачки кредитных билетов сторублевого достоинства. 3) По возвращении Смелько-ва из дома терпимости в гостиницу «Мавритания» вме-сте с проституткой Любкой сия последняя, по совету коридорного Картинкина, дала выпить Смелькову в рюмке коньяка белый порошок, полученный ею от Кар-тинкина. 4) На следующее утро проститутка Любка (Екатерина Маслова) продала своей хозяйке, содержа-тельнице дома терпимости свидетельнице Китаевой, брильянтовый перстень Смелькова, якобы подаренный ей Смельковым. 5) Коридорная девушка гостиницы «Мавритания» Евфимия Бочкова на другой день после кончины Смелькова внесла на свой текущий счет в ме-стный коммерческий банк 1800 рублей серебром.

Судебно-медицинским осмотром, вскрытием трупа и химическим исследованием внутренностей Смелькова обнаружено несомненное присутствие яда в организме покойного, подавшее основание заключить, что смерть последовала от отравления.

Привлеченные в качестве обвиняемых Маслова, Боч-кова и Картинкин виновными себя не признали, объя-вив: Маслова — что она действительно была послана Смельковым из дома терпимости, где она, по ее выра-жению, работает, в гостиницу «Мавританию» привезти купцу денег, и что, отперев там данным ей ключом че-модан купца, она взяла из него 40 рублей серебром, как ей было велено, но больше денег не брала, что могут подтвердить Бочкова и Картинкин, в присутствии кото-рых она отпирала и запирала чемодан и брала деньги. Далее показала, что она при вторичном своем приезде в номер купца Смелькова действительно дала ему, по наущению Картинкина, выпить в коньяке каких-то по-рошков, которые она считала усыпительными, с тем что-бы купец заснул и поскорее отпустил ее. Кольцо пода-рил ей сам Смельков после того, как он побил ее и она заплакала и хотела от него уехать.

Евфимья Бочкова показала, что она ничего не знает о пропавших деньгах, и что она и в номер купца не входила, а хозяйничала там одна Любка, и что если что

и похищено у купца, то совершила похищение Любка, когда она приезжала с купцовым ключом за деньгами.— В этом месте чтения Маслова вздрогнула и, открыв рот, оглянулась на Бочкову.— Когда же Евфимии Бочковой был предъявлен ее счет в банке на 1800 рублей серебром,— продолжал читать секретарь,— и спрошено: откуда у нее взялись такие деньги, она показала, что они нажиты ею в продолжение двенадцати лет вместе с Симоном Картинкиным, за которого она собиралась выйти замуж. Симон Картинкин, в свою очередь, при первом показании своем сознался, что он вместе с Бочковой, по наущению Масловой, приехавшей с ключом из дома терпимости, похитил деньги и поделился ими с Масловой и Бочковой.— При этом Маслова опять вздрогнула, привскочила даже, багрово покраснела и начала говорить что-то, но судебный пристав остановил ее.— Наконец,— продолжал чтение секретарь,— Картинкин сознался и в том, что дал Масловой порошков для усыпления купца; во вторичном же своем показании отрицал свое участие в похищении денег и передачу порошков Масловой, во всем обвиняя ее одну. О деньгах же, вложенных Бочковою в банк, он показал согласно с ней, что они приобретены вместе с ним двенадцатилетней службой в гостинице от господ, награждавших его за услуги».

Затем следовало в обвинительном акте описание очных ставок, показания свидетелей, мнение экспертов и т. д.

Заключение обвинительного акта было следующее:

— «Ввиду всего вышеизложенного крестьянин села Борков Симон Петров Картинкин 33-х лет, мещанка Евфимия Иванова Бочкова 43-х лет и мещанка Екатерина Михайлова Маслова 27-ми лет обвиняются в том, что они 17-го января 188* года, предварительно сговорившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его, Смелькова, ядом, отчего и последовала его, Смелькова, смерть.

Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 1453 статьи Уложения о наказаниях. Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Евфимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей».

Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на свое место,

оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испытывал этого чувства: он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой десять лет тому назад.

XI

Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что теперь уже мы всё и наверное узнаем самым подробным образом.

— Крестьянин Симон Картинкин,— начал он, склоняясь налево.

Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками.

— Вы обвиняетесь в том, что 17 января 188* года вы, в сообществе с Евфимьей Бочковой и Екатериной Масловой, похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным? — проговорил он и склонился направо.

— Никак невозможно, потому наше дело служить гостям...

— Вы после скажете. Признаете ли вы себя виновным?

— Никак нет-с. Я только...

— После скажете. Признаете ли вы себя виновным? — спокойно, но твердо повторил председатель.

— Не могу я этого сделать, потому как...

Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его.

Председатель, с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Евфимье Бочковой.

— Евфимья Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17-го января 188* года в гостинице «Мавритания», вместе с

Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой, похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищенное между собой, опоили, для скрытия своего преступления, купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?

— Не виновата я ни в чем,— бойко и твердо заговорила обвиняемая.— Я и в номер не входила... А как эта паскуда вошла, так она и сделала дело.

— Вы после скажете,— сказал опять так же мягко и твердо председатель.— Так вы не признаете себя виновной?

— Не я брала деньги, и не я поила, я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула.

— Вы не признаете себя виновной?

— Никогда.

— Очень хорошо.

— Екатерина Маслова,— начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой,— вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень,— говорил он, как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств недостает склянки.— Похитили из чемодана деньги и перстень,— повторил председатель,— и, разделив похищенное и потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?

— Ни в чем не виновата,— быстро заговорила она,— как сначала говорила, так и теперь говорю: не брала, не брала и не брала, ничего я не брала, а перстень он мне сам дал...

— Вы не признаете себя виновной в похищении двух тысяч пятисот рублей денег? — сказал председатель.

— Говорю, ничего не брала, кроме сорока рублей.

— Ну, а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?

— В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед богом говорю — не хотела,— сказала она.

— Итак, вы не признаете себя виновной в похище-

нии денег и перстня купца Смелькова,— сказал председатель.— Но признаете, что дали порошки?

— Стало быть, признаю, только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул,— не хотела и не думала.

— Очень хорошо,— сказал председатель, очевидно довольный достигнутыми результатами.— Так расскажите, как было дело,— сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол.— Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение.

Маслова, все так же прямо глядя на председателя, молчала.

— Расскажите, как было дело.

— Как было? — вдруг быстро начала Маслова.— Приехала в гостиницу, провели меня в номер, там он был и очень уже пьяный.— Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово *он*.— Я хотела уехать, он не пустил.

Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом.

— Ну, а потом?

— Что ж потом? Потом побыла и поехала домой.

В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть.

— Вы желаете сделать вопрос? — сказал председатель и на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать.

— Я желал бы предложить вопрос: была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде? — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову.

И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился.

Председатель повторил вопрос. Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора.

— С Симоном? Была,— сказала она.

— Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?

— В чем знакомство? Приглашал меня к гостям, а не знакомство,— отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно.

— Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других деву-

шек,— зажмурившись, но с легкой мефистофельской, хитрой улыбкой сказал товарищ прокурора.

— Я не знаю. Почем я знаю,— отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове.— Кого хотел, того приглашал.

«Неужели узнала?» — с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу; но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора.

— Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным? Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить.

И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки, но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают: после ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника.

Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны.

— Что же дальше было? — продолжал спрашивать председатель.

— Приехала домой,— продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя,— отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула — наша девушка Берта будит меня. «Ступай, твой купец опять приехал». Я не хотела выходить, но мадам велела. Тут *он*,— она опять с явным ужасом выговорила это слово *он*,— *он* все поил наших девушек, потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер. И сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала.

Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова.

— Вы поехали. Ну, и что же? — сказал он.

— Приехала и сделала все, как он велел: пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Симона Михайловича и ее,— сказала она, указывая на Бочкову.

— Врет она, и входить не входила...— начала было Бочкова, но ее остановили.

— При них взяла четыре красненьких,— хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова.

— Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала сорок рублей, сколько было денег? — спросил опять прокурор.

Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла.

— Я не считала; видела, что были сторублевые только.

— Подсудимая видела сторублевые,— я больше ничего не имею.

— Ну, что же, привезли деньги? — продолжал спрашивать председатель, глядя на часы.

— Привезла.

— Ну, а потом? — спросил председатель.

— А потом *он* опять взял меня с собой,— сказала Маслова.

— Ну, а как же вы дали ему в вине порошок? — спросил председатель.

— Как дала? Всыпала в вино, да и дала.

— Зачем же вы дали?

Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула.

— Он все не отпускал меня,— помолчав, сказала она.— Измучалась я с ним. Вышла в коридор и говорю Симону Михайловичу: «Хоть бы отпустил меня. Устала». А Симон Михайлович говорит: «Он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать; он заснет, тогда уйдешь». Я говорю: «Хорошо». Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а *он* лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финь-шампань, налила в два стакана — себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. Разве я бы дала, кабы знала.

— Ну, а как же у вас оказался перстень? — спросил председатель.

— Перстень он мне сам подарил.

— Когда же он вам подарил его?

— А как мы приехали с ним в номер, я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала,— сказала она.

В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно-наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над шитым воротником голову, спросил:

— Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова.

Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила:

— Не помню, сколько времени.

— Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостинице, выйдя от купца Смелькова?

Маслова подумала.

— В номер рядом, в пустой, заходила,— сказала она.

— Зачем же вы заходили? — сказал товарищ прокурора, увлекшись и прямо обращаясь к ней.

— Зашла оправиться и дожидалась извозчика.

— А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?

— Он тоже зашел.

— Зачем же он зашел?

— От купца финь-шампань остался, мы вместе выпили.

— А, вместе выпили. Очень хорошо.

— А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?

Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила:

— Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала, и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делайте. Не виновата я, и все.

— Я больше ничего не имею,— сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер.

Наступило молчание.

— Вы не имеете еще ничего сказать?

— Я все сказала,— проговорила она, вздыхая, и села.

Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на десять минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с

большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв.

Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели и, с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела, задвигались туда и сюда.

Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна.

XII

Да, это была Катюша.

Отношения Нехлюдова к Катюше были вот какие.

В первый раз увидал Нехлюдов Катюшу тогда, когда он на третьем курсе университета, готовя свое сочинение о земельной собственности, прожил лето у своих тетушек. Обыкновенно он с матерью и сестрой жил летом в материнском большом подмосковном имении. Но в этот год сестра его вышла замуж, а мать уехала на воды за границу. Нехлюдову же надо было писать сочинение, и он решил прожить лето у тетушек. У них в их глуши было тихо, не было развлечений; тетушки же нежно любили своего племянника и наследника, и он любил их, любил их старомодность и простоту жизни.

Нехлюдов в это лето у тетушек переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша не по чужим указаниям, а сам по себе познает всю красоту и важность жизни и всю значительность дела, предоставленного в ней человеку, видит возможность бесконечного совершенствования и своего, и всего мира и отдается этому совершенствованию не только с надеждой, но и с полной уверенностью достижения всего того совершенства, которое он воображает себе. В этот год еще в университете он прочел «Социальную статику» Спенсера, и рассуждения Спенсера о земельной собственности произвели на него сильное впечатление, в особенности потому, что он сам был сын большой землевладелицы. Отец его был небогат, но мать получила в приданое около десяти тысяч десятин земли. Он в первый раз понял тогда всю жестокость и несправедливость частного землевладения, и, будучи одним из тех людей, для которых жертва во имя нравственных требований составляет высшее духовное наслаждение, он решил не пользоваться правом собственности на землю и тогда

же отдал доставшуюся ему по наследству от отца землю крестьянам. Он на эту же тему и писал свое сочинение.

Жизнь его в этот год в деревне у тетушек шла так: он вставал очень рано, иногда в три часа, и до солнца шел купаться в реку под горой, иногда еще в утреннем тумане, и возвращался, когда еще роса лежала на траве и цветах. Иногда по утрам, напившись кофею, он садился за свое сочинение или за чтение источников для сочинения, но очень часто, вместо чтения и писания, опять уходил из дома и бродил по полям и лесам. Перед обедом он засыпал где-нибудь в саду, потом за обедом веселил и смешил тетушек своей веселостью, потом ездил верхом или катался на лодке и вечером опять читал или сидел с тетушками, раскладывая пасьянс. Часто по ночам, в особенности лунным, он не мог спать только потому, что испытывал слишком большую волнующую радость жизни, и, вместо сна, иногда до рассвета ходил по саду с своими мечтами и мыслями.

Так счастливо и спокойно жил он первый месяц своей жизни у тетушек, не обращая никакого внимания на полугорничную-полувоспитанницу, черноглазую, быстроногую Катюшу.

В то время Нехлюдов, воспитанный под крылом матери, в девятнадцать лет был вполне невинный юноша. Он мечтал о женщине только как о жене. Все же женщины, которые не могли, по его понятию, быть его женой, были для него не женщины, а люди. Но случилось, что в это лето, в Вознесенье к тетушкам приехала их соседка с детьми: двумя барышнями, гимназистом и с гостившим у них молодым художником из мужиков.

После чая стали по скошенному уже лужку перед домом играть в горелки. Взяли и Катюшу. Нехлюдову после нескольких перемен пришлось бежать с Катюшей. Нехлюдову всегда было приятно видеть Катюшу, но ему и в голову не приходило, что между ним и ею могут быть какие-нибудь особенные отношения.

— Ну, теперь этих не поймаешь ни за что,— говорил «горевший» веселый художник, очень быстро бегавший на своих коротких и кривых, но сильных мужицких ногах,— нешто спотыкнутся.

— Вы, да не поймаете!

— Раз, два, три!

Ударили три раза в ладоши. Едва удерживая смех, Катюша быстро переменилась местами с Нехлюдовым и, пожав своей крепкой, шершавой маленькой рукой его

большую руку, пустилась бежать налево, гремя крахмальной юбкой.

Нехлюдов бегал быстро, и ему хотелось не поддаться художнику, и он пустился изо всех сил. Когда он оглянулся, он увидал художника, преследующего Катюшу, но она, живо перебирая упругими молодыми ногами, не поддавалась ему и удалялась влево. Впереди была клумба кустов сирени, за которую никто не бегал, но Катюша, оглянувшись на Нехлюдова, подала ему знак головой, чтобы соединиться за клумбой. Он понял ее и побежал за кусты. Но тут, за кустами, была незнакомая ему канавка, заросшая крапивой; он спотыкнулся в нее и, острекав руки крапивой и омочив их уже павшей под вечер росой, упал, но тотчас же, смеясь над собой, справился и выбежал на чистое место.

Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, летела ему навстречу. Они сбежались и схватились руками.

— Обстрекались, я чай,— сказала она, свободной рукой поправляя сбившуюся косу, тяжело дыша и улыбаясь, снизу вверх прямо глядя на него.

— Я и не знал, что тут канавка,— сказал он, также улыбаясь и не выпуская ее руки.

Она придвинулась к нему, и он, сам не зная, как это случилось, потянулся к ней лицом; она не отстранилась, он сжал крепче ее руку и поцеловал ее в губы.

— Вот тебе раз! — проговорила она и, быстрым движением вырвав свою руку, побежала прочь от него.

Подбежав к кусту сирени, она сорвала с него две ветки белой, уже осыпавшейся сирени и, хлопая себя ими по разгоряченному лицу и оглядываясь на него, бойко размахивая перед собой руками, пошла назад к играющим.

С этих пор отношения между Нехлюдовым и Катюшей изменились и установились те особенные, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу.

Как только Катюша входила в комнату или даже издалека Нехлюдов видел ее белый фартук, так все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее; жизнь становилась радостней. То же испытывала и она. Но не только присутствие и близость Катюши производили это действие на Нехлюдова; это действие производило на него одно сознание того, что есть эта Катюша, а для нее, что есть

Нехлюдов. Получал ли Нехлюдов неприятное письмо от матери, или не ладилось его сочинение, или чувствовал юношескую беспричинную грусть, стоило только вспомнить о том, что есть Катюша и он увидит ее, и все это рассеивалось.

Катюше было много дела по дому, но она успевала все переделать и в свободные минуты читала. Нехлюдов давал ей Достоевского и Тургенева, которых он сам только что прочел. Больше всего ей нравилось «Затишье» Тургенева. Разговоры между ними происходили урывками, при встречах в коридоре, на балконе, на дворе и иногда в комнате старой горничной тетушек Матрены Павловны, с которой вместе жила Катюша и в горенку которой иногда Нехлюдов приходил пить чай вприкуску. И эти разговоры в присутствии Матрены Павловны были самые приятные. Разговаривать, когда они были одни, было хуже. Тотчас же глаза начинали говорить что-то совсем другое, гораздо более важное, чем то, что говорили уста, губы морщились, и становилось чего-то жутко, и они поспешно расходились.

Такие отношения продолжались между Нехлюдовым и Катюшей во все время его первого пребывания у тетушек. Тетушки заметили эти отношения, испугались и даже написали об этом за границу княгине Елене Ивановне, матери Нехлюдова. Тетушка Марья Ивановна боялась того, чтобы Дмитрий не вступил в связь с Катюшей. Но она напрасно боялась этого: Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для него и для нее. У него не было не только желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. Опасения же поэтической Софьи Ивановны о том, чтобы Дмитрий, со своим цельным, решительным характером, полюбив девушку, не задумал жениться на ней, не обращая внимания на ее происхождение и положение, были гораздо основательнее.

Если бы Нехлюдов тогда ясно сознал бы свою любовь к Катюше и в особенности если бы тогда его стали бы убеждать в том, что он никак не может и не должен соединить свою судьбу с такой девушкой, то очень легко могло бы случиться, что он, с своей прямолинейностью во всем, решил бы, что нет никаких причин не жениться на девушке, кто бы она ни была, если только он любит ее. Но тетушки не говорили ему про свои опасе-

ния, и он так и уехал, не сознав своей любви к этой девушке.

Он был уверен, что его чувство к Катюше есть только одно из проявлений наполнявшего тогда все его существо чувства радости жизни, разделяемой этой милой, веселой девочкой. Когда же он уезжал и Катюша, стоя на крыльце с тетушками, провожала его своими черными, полными слез и немного косившими глазами, он почувствовал, однако, что покидает что-то прекрасное, дорогое, которое никогда уже не повторится. И ему стало очень грустно.

— Прощай, Катюша, благодарю за все,— сказал он через чепец Софьи Ивановны, садясь в пролетку.

— Прощайте, Дмитрий Иванович,— сказала она своим приятным, ласкающим голосом и, удерживая слезы, наполнившие ее глаза, убежала в сени, где ей можно было свободно плакать.

XIII

С тех пор в продолжение трех лет Нехлюдов не видался с Катюшей. И увидался он с нею только тогда, когда, только что произведенный в офицеры, по дороге в армию, заехал к тетушкам уже совершенно другим человеком, чем тот, который прожил у них лето три года тому назад.

Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело,— теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. Тогда мир божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать,— теперь все в этой жизни было просто и ясно и определялось теми условиями жизни, в которых он находился. Тогда нужно и важно было общение с природой и с прежде него жившими, мыслящими и чувствовавшими людьми (философия, поэзия),— теперь нужны и важны были человеческие учреждения и общение с товарищами. Тогда женщина представлялась таинственным и прелестным, именно этой таинственностью прелестным существом,— теперь значение женщины, всякой женщины, кроме своих семейных и жен друзей, было очень определенное: женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения. Тогда не нужно было денег и можно было не взять и третьей

части того, что давала мать, можно было отказаться от имения отца и отдать его крестьянам,— теперь же недоставало тех тысячи пятисот рублей в месяц, которые давала мать, и с ней бывали уже неприятные разговоры из-за денег. Тогда своим настоящим *я* он считал свое духовное существо,— теперь он считал собою свое здоровое, бодрое, животное *я*.

И вся эта страшная перемена совершилась с ним только оттого, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим потому, что жить, веря себе, было слишком трудно: веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного *я*, ищущего легких радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, все уже было решено, и решено было всегда против духовного и в пользу животного *я*. Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей,— веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его.

Так, когда Нехлюдов думал, читал, говорил о боге, о правде, о богатстве, о бедности,— все окружающие его считали это неуместным и отчасти смешным, и мать и тетка его с добродушной иронией называли его notre cher philosophe;[1] когда же он читал романы, рассказывал скабрезные анекдоты, ездил во французский театр на смешные водевили и весело пересказывал их,— все хвалили и поощряли его. Когда он считал нужным умерять свои потребности и носил старую шинель и не пил вина, все считали это странностью и какой-то хвастливой оригинальностью, когда же он тратил большие деньги на охоту или на устройство необыкновенного роскошного кабинета, то все хвалили его вкус и дарили ему дорогие вещи. Когда он был девственником и хотел остаться таким до женитьбы, то родные его боялись за его здоровье, и даже мать не огорчилась, а скорее обрадовалась, когда узнала, что он стал настоящим мужчиной и отбил какую-то французскую даму у своего товарища. Про эпизод же с Катюшей, что он мог подумать жениться на ней, княгиня-мать не могла подумать без ужаса.

Точно так же, когда Нехлюдов, достигнув совершеннолетия, отдал то небольшое имение, которое он наследовал от отца, крестьянам, потому что считал несправедливым владенье землею,— этот поступок его привел

[1] наш дорогой философ *(фр.)*.

в ужас его мать и родных и был постоянным предметом укора и насмешки над ним всех его родственников. Ему не переставая рассказывали о том, что крестьяне, получившие землю, не только не разбогатели, но обеднели, заведя у себя три кабака и совершенно перестав работать. Когда же Нехлюдов, поступив в гвардию, с своими высокопоставленными товарищами прожил и проиграл столько, что Елена Ивановна должна была взять деньги из капитала, она почти не огорчилась, считая, что это естественно и даже хорошо, когда эта оспа прививается в молодости и в хорошем обществе.

Сначала Нехлюдов боролся, но бороться было слишком трудно, потому что все то, что он, веря себе, считал хорошим, считалось дурным другими, и, наоборот, все, что веря себе он считал дурным, считалось хорошим всеми окружающими его. И кончилось тем, что Нехлюдов сдался, перестал верить себе и поверил другим. И в первое время это отречение от себя было неприятно, но продолжалось это неприятное чувство очень недолго, и очень скоро Нехлюдов, в это же время начав курить и пить вино, перестал испытывать это неприятное чувство и даже почувствовал большое облегчение.

И Нехлюдов, с страстностью своей натуры, весь отдался этой новой, одобряющейся всеми его окружающими жизни и совершенно заглушил в себе тот голос, который требовал чего-то другого. Началось это после переезда в Петербург и завершилось поступлением в военную службу.

Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам.

Но когда к этому развращению вообще военной службы, с своей честью мундира, знамени, своим разрешением насилия и убийства, присоединяется еще и развращение богатства и близости общения с царской фамилией, как это происходит в среде избранных гвардейских полков, в которых служат только богатые и знатные офицеры, то это развращение доходит у людей, подпавших ему, до состояния полного сумасшествия эгоизма. И в таком сумасшествии эгоизма находился Не-

хлюдов с тех пор, как он поступил в военную службу и стал жить так, как жили его товарищи.

Дела не было никакого, кроме того, чтобы в прекрасно сшитом и вычищенном не самим, а другими людьми мундире, в каске, с оружием, которое тоже и сделано, и вычищено, и подано другими людьми, ездить верхом на прекрасной, тоже другими воспитанной, и выезженной, и выкормленной лошади на ученье или смотр с такими же людьми и скакать, и махать шашками, стрелять и учить этому других людей. Другого занятия не было, и самые высокопоставленные люди, молодые, старики, царь и его приближенные не только одобряли это занятие, но хвалили, благодарили за это. После же этих занятий считалось хорошим и важным, швыряя невидимо откуда-то получаемые деньги, сходиться есть, в особенности пить, в офицерских клубах или в самых дорогих трактирах; потом театры, балы, женщины, и потом опять езда на лошадях, маханье саблями, скаканье и опять швырянье денег и вино, карты, женщины.

В особенности развращающе действует на военных такая жизнь потому, что, если невоенный человек ведет такую жизнь, он в глубине души не может не стыдиться такой жизни. Военные же люди считают, что это так должно быть, хвалятся, гордятся такою жизнью, особенно в военное время, как это было с Нехлюдовым, поступившим в военную службу после объявления войны Турции. «Мы готовы жертвовать жизнью на войне, и потому такая беззаботная, веселая жизнь не только простительна, но и необходима для нас. Мы и ведем ее».

Так смутно думал Нехлюдов в этот период своей жизни; чувствовал же он во все это время восторг освобождения от всех нравственных преград, которые он ставил себе прежде, и не переставая находился в хроническом состоянии сумасшествия эгоизма.

В таком состоянии и находился он, когда после трех лет заехал к тетушкам.

XIV

Нехлюдов заехал к тетушкам потому, что имение их было по дороге к прошедшему вперед его полку, и потому, что они его очень об этом просили, но, главное, заехал он теперь для того, чтобы увидать Катюшу. Может быть, в глубине души и было у него уже дурное

намерение против Катюши, которое нашептывал ему его разнузданный теперь животный человек, но он не сознавал этого намерения, а просто ему хотелось побывать в тех местах, где ему было так хорошо, и увидать немного смешных, но милых, добродушных тетушек, всегда незаметно для него окружавших его атмосферой любви и восхищения, и увидать милую Катюшу, о которой осталось такое приятное воспоминание.

Приехал он в конце марта, в страстную пятницу, по самой распутице, под проливным дождем, так что приехал до нитки промокший и озябший, но бодрый и возбужденный, каким он всегда чувствовал себя в это время. «У них ли еще она?» — думал он, въезжая на знакомый, заваленный свалившимся снегом с крыши старинный помещичий, огороженный кирпичной стенкой двор тетушек. Он ждал, что она выбежит на крыльцо на его колокольчик, но на девичье крыльцо вышли две босые, подтыканные бабы с ведрами, очевидно моющие полы. Ее не было и на парадном крыльце; вышел только Тихон-лакей, в фартуке, тоже, вероятно, занятый чисткой. В переднюю вышла Софья Ивановна в шелковом платье и чепце.

— Вот мило, что приехал! — говорила Софья Ивановна, целуя его.— Машенька нездорова немного, устала в церкви. Мы причащались.

— Поздравляю, тетя Соня,— говорил Нехлюдов, целуя руки Софьи Ивановны,— простите, замочил вас.

— Иди в свою комнату, Ты измок весь. И усы уж у тебя... Катюша! Катюша! Скорее кофею ему.

— Сейчас! — отозвался знакомый приятный голос из коридора.

И сердце Нехлюдова радостно екнуло. «Тут!» И точно солнце выглянуло из-за туч. Нехлюдов весело пошел с Тихоном в свою прежнюю комнату переодеваться.

Нехлюдову хотелось спросить Тихона про Катюшу: что она? как живет? не выходит ли замуж? Но Тихон был так почтителен, и вместе строг, так твердо настаивал на том, чтобы самому поливать из рукомойника на руки воду, что Нехлюдов не решился спрашивать его о Катюше и только спросил про его внуков, про старого братцева жеребца, про дворняжку Полкана. Все были живы, здоровы, кроме Полкана, который взбесился в прошлом году.

Скинув все мокрое и только начав одеваться, Нехлюдов услышал быстрые шаги, и в дверь постучались. Не-

хлюдов узнал и шаги и стук в дверь. Так ходила и стучалась только она.

Он накинул на себя мокрую шинель и подошел к двери.

— Войдите!

Это была она, Катюша. Все та же, еще милее, чем прежде. Так же снизу вверх смотрели улыбающиеся, наивные, чуть косившие черные глаза. Она, как и прежде, была в чистом белом фартуке. Она принесла от тетушек только что вынутый из бумажки душистый кусок мыла и два полотенца: большое русское и мохнатое. И нетронутое с отпечатанными буквами мыло, и полотенца, и сама она — все это было одинаково чисто, свежо, нетронуто, приятно. Милые, твердые, красные губы ее все так же морщились, как и прежде при виде его, от неудержимой радости.

— С приездом вас, Дмитрий Иванович! — с трудом выговорила она, и лицо ее залилось румянцем.

— Здравствуй... здравствуйте,— не знал он, как, на «ты» или на «вы», говорить с ней, и покраснел так же, как и она.— Живы, здоровы?

— Слава богу... Вот тетушка прислала вам ваше любимое мыло, розовое,— сказала она, кладя мыло на стол и полотенца на ручки кресел.

— У них свое,— отстаивая самостоятельность гостя, сказал Тихон, с гордостью указывая на раскрытый большой, с серебряными крышками, несессер Нехлюдова с огромным количеством склянок, щеток, фиксатуаров, духов и всяких туалетных инструментов.

— Поблагодарите тетушку. А как я рад, что приехал,— сказал Нехлюдов, чувствуя, что на душе у него становится так же светло и умильно, как бывало прежде.

Она только улыбнулась в ответ на эти слова и вышла.

Тетушки, и всегда любившие Нехлюдова, еще радостнее, чем обыкновенно, встретили его в этот раз. Дмитрий ехал на войну, где мог быть ранен, убит. Это трогало тетушек.

Нехлюдов распределил свою поездку так, чтобы пробыть у тетушек только сутки, но, увидав Катюшу, он согласился встретить у тетушек пасху, которая была через два дня, и телеграфировал своему приятелю и товарищу Шенбоку, с которым они должны были съехаться в Одессе, чтобы и он заехал к тетушкам.

С первого же дня, как он увидал Катюшу, Нехлюдов почувствовал прежнее чувство к ней. Так же, как и

прежде, он не мог без волнения видеть теперь белый фартук Катюши, не мог без радости слышать ее походку, ее голос, ее смех, не мог без умиления смотреть в ее черные, как мокрая смородина, глаза, особенно когда она улыбалась, не мог, главное, без смущения видеть, как она краснела при встрече с ним. Он чувствовал, что влюблен, но не так, как прежде, когда эта любовь была для него тайной и он сам не решался признаться себе в том, что он любит, и когда он был убежден в том, что любить можно только один раз,— теперь он был влюблен, зная это и радуясь этому и смутно зная, хотя и скрывая от себя, в чем состоит любовь и что из нее может выйти.

В Нехлюдове, как и во всех людях, было два человека. Один — духовный, ищущий блага себе только такого, которое было бы благо и других людей, и другой — животный человек, ищущий блага только себе и для этого блага готовый пожертвовать благом всего мира. В этот период его сумасшествия эгоизма, вызванного в нем петербургской и военной жизнью, этот животный человек властвовал в нем и совершенно задавил духовного человека. Но, увидав Катюшу и вновь почувствовав то, что он испытывал к ней тогда, духовный человек поднял голову и стал заявлять свои права. И в Нехлюдове не переставая в продолжение этих двух дней до пасхи шла внутренняя, не сознаваемая им борьба.

В глубине души он знал, что ему надо ехать и что незачем теперь оставаться у теток, знал, что ничего из этого не могло выйти хорошего, но было так радостно и приятно, что он не говорил этого себе и оставался.

Вечером в субботу, накануне светло Христова воскресения, священник с дьяконом и дьячком, как они рассказывали, насилу проехав на санях по лужам и земле те три версты, которые отделяли церковь от тетушкиного дома, приехали служить заутреню.

Нехлюдов с тетушками и прислугой, не переставая поглядывать на Катюшу, которая стояла у двери и приносила кадила, отстоял эту заутреню, похристосовался с священником и тетушками и хотел уже идти спать, как услыхал в коридоре сборы Матрены Павловны, старой горничной Марьи Ивановны, вместе с Катюшей в церковь, чтобы святить куличи и пасхи. «Поеду и я»,— подумал он.

Дороги до церкви не было ни на колесах, ни на санях, и потому Нехлюдов, распоряжавшийся, как дома,

у тетушек, велел оседлать себе верхового, так называемого «братцева» жеребца и, вместо того чтобы лечь спать, оделся в блестящий мундир с обтянутыми рейтузами, надел сверху шинель и поехал на разъевшемся, отяжелевшем и не перестававшем ржать старом жеребце, в темноте, по лужам и снегу, к церкви.

XV

Всю жизнь потом эта заутреня осталась для Нехлюдова одним из самых светлых и сильных воспоминаний.

Когда он в черной темноте, кое-где только освещаемой белеющим снегом, шлепая по воде, въехал на прядущем ушами при виде зажженных вокруг церкви плошек жеребце на церковный двор, служба уже началась.

Мужики, узнавши племянника Марьи Ивановны, проводили его на сухонькое, где слезть, взяли привязать его лошадь и провели его в церковь. Церковь была полна праздничным народом.

С правой стороны — мужики: старики в домодельных кафтанах и лаптях и чистых белых онучах и молодые в новых суконных кафтанах, подпоясанных яркими кушаками, в сапогах. Слева — бабы в красных шелковых платках, плисовых поддевках, с ярко-красными рукавами и синими, зелеными, красными, пестрыми юбками, в ботинках с подковками. Скромные старушки в белых платках, и серых кафтанах, и старинных поневах, и башмаках или новых лаптях стояли позади их; между теми и другими стояли нарядные с маслеными головами дети. Мужики крестились и кланялись, встряхивая волосами; женщины, особенно старушки, уставив выцветшие глаза на одну икону с свечами, крепко прижимали сложенные персты к платку на лбу, плечам и животу и, шепча что-то, перегибались стоя или падали на колени. Дети, подражая большим, старательно молились, когда на них смотрели. Золотой иконостас горел свечами, со всех сторон окружавшими обвитые золотом большие свечи. Паникадило было уставлено свечами, с клиросов слышались развеселые напевы добровольцев-певчих с ревущими басами и тонкими дискантами мальчиков.

Нехлюдов прошел вперед. В середине стояла аристократия: помещик с женою и сыном в матросской куртке, становой, телеграфист, купец в сапогах с бураками, старшина с медалью и справа от амвона, позади помещицы,

Матрена Павловна в переливчатом лиловом платье и белой с каймою шали и Катюша в белом платье с складочками на лифе, с голубым поясом и красным бантиком на черной голове.

Все было празднично, торжественно, весело и прекрасно: и священники в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в праздничных серебряных и золотых стихарях, и нарядные добровольцы-певчие с маслеными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрестанное благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, с все повторяемыми возгласами: «Христос воскресе! Христос воскресе!» Все было прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами.

Нехлюдов чувствовал, что она видела его, не оглядываясь. Он видел это, когда близко мимо нее проходил в алтарь. Ему нечего было сказать ей, но он придумал и сказал, проходя мимо нее:

— Тетушка сказала, что она будет разговляться после поздней обедни.

Молодая кровь, как всегда при взгляде на него, залила все милое лицо, и черные глаза, смеясь и радуясь, наивно глядя снизу вверх, остановились на Нехлюдове.

— Я знаю,— улыбнувшись, сказала она.

В это время дьячок, с медным кофейником пробираясь через народ, прошел мимо Катюши и, не глядя на нее, задел ее полой стихаря. Дьячок, очевидно из уважения к Нехлюдову, обходя его, задел Катюшу. Нехлюдову же было удивительно, как это он, этот дьячок, не понимает того, что все, что здесь да и везде на свете существует, существует только для Катюши и что пренебречь можно всем на свете, только не ею, потому что она — центр всего. Для нее блестело золото иконостаса и горели все свечи на паникадиле и в подсвечниках, для нее были эти радостные напевы: «Пасха господня, радуйтесь, людие». И все, что только было хорошего на свете, все было для нее. И Катюша, ему казалось, понимала, что все это для нее. Так казалось Нехлюдову, когда он взглядывал на ее стройную фигуру в белом платье с складочками и на сосредоточенно радостное лицо, по выражению которого он видел, что точь-в-точь то же, что поет в его душе, поет и в ее душе.

В промежутке между ранней и поздней обедней Не-

хлюдов вышел из церкви. Народ расступался перед ним и кланялся. Кто узнавал его, кто спрашивал: «Чей это?» На паперти он остановился. Нищие обступили его, он раздал ту мелочь, которая была в кошельке, и спустился со ступеней крыльца.

Рассвело уже настолько, что было видно, но солнце еще не вставало. На могилках вокруг церкви расселся народ. Катюша оставалась в церкви, и Нехлюдов остановился, ожидая ее.

Народ все выходил и, стуча гвоздями сапогов по плитам, сходил со ступеней и рассыпался по церковному двору и кладбищу.

Древний старик, кондитер Марьи Ивановны, с трясущейся головой, остановил Нехлюдова, похристосовался, и его жена, старушка с сморщенным кадычком под шелковой косынкой, дала ему, вынув из платка, желтое шафранное яйцо. Тут же подошел молодой улыбающийся мускулистый мужик в новой поддевке и зеленом кушаке.

— Христос воскресе,— сказал он, смеясь глазами, и, придвинувшись к Нехлюдову и обдав его особенным мужицким, приятным запахом, щекоча его своей курчавой бородкой, в самую середину губ три раза поцеловал его своими крепкими, свежими губами.

В то время как Нехлюдов целовался с мужиком и брал от него темно-коричневое яйцо, показалось переливчатое платье Матрены Павловны и милая черная головка с красным бантиком.

Она тотчас же через головы шедших перед ней увидала его, и он видел, как просияло ее лицо.

Они вышли с Матреной Павловной на паперть и остановились, подавая нищим. Нищий, с красной, зажившей болячкой вместо носа, подошел к Катюше. Она достала из платка что-то, подала ему и потом приблизилась к нему и, не выражая ни малейшего отвращения, напротив, так же радостно сияя глазами, три раза поцеловалась. И в то время, как она целовалась с нищим, глаза ее встретились с взглядом Нехлюдова. Как будто она спрашивала: хорошо ли, так ли она делает?

«Так, так, милая, все хорошо, все прекрасно, люблю».

Они сошли с паперти, и он подошел к ней. Он не хотел христосоваться, но только хотел быть ближе к ней.

— Христос воскресе! — сказала Матрена Павловна, склоняя голову и улыбаясь, с такой интонацией, которая говорила, что нынче все равны, и, обтерев рот свернутым мышкой платком, она потянулась к нему губами.

— Воистину,— отвечал Нехлюдов, целуясь.

Он оглянулся на Катюшу. Она вспыхнула и в ту же минуту приблизилась к нему.

— Христос воскресе, Дмитрий Иванович.

— Воистину воскресе,— сказал он. Они поцеловались два раза и как будто задумались, нужно ли еще, и как будто решив, что нужно, поцеловались в третий раз, и оба улыбнулись.

— Вы не пойдете к священнику? — спросил Нехлюдов.

— Нет, мы здесь, Дмитрий Иванович, посидим,— сказала Катюша, тяжело, как будто после радостного труда, вздыхая всею грудью и глядя ему прямо в глаза своими покорными, девственными, любящими, чуть-чуть косящими глазами.

В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светло Христова воскресения. Когда он теперь вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел ее, эта минута застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье с складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные, чуть-чуть от бессонной ночи косящие глянцевитые черные глаза, и на всем ее существе две главные черты: чистота девственности любви не только к нему,— он знал это,— но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире,— к тому нищему, с которым она поцеловалась.

Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно.

Ах, если бы все это остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь! «Да, все это ужасное дело сделалось уже после этой ночи светло Христова воскресения!» — думал он теперь, сидя у окна в комнате присяжных.

XVI

Вернувшись из церкви, Нехлюдов разговелся с тетушками и, чтобы подкрепиться, по взятой в полку привычке, выпил водки и вина и ушел в свою комнату и

тотчас же заснул одетый. Разбудил его стук в дверь. По стуку узнав, что это была она, он поднялся, протирая глаза и потягиваясь.

— Катюша, ты? Войди,— сказал он, вставая.

Она приоткрыла дверь.

— Кушать зовут,— сказала она.

Она была в том же белом платье, но без банта в волосах. Взглянув ему в глаза, она просияла, точно она объявила ему о чем-то необыкновенно радостном.

— Сейчас иду,— отвечал он, берясь за гребень, чтобы расчесать волосы.

Она постояла минутку лишнюю. Он заметил это и, бросив гребень, двинулся к ней. Но она в ту же минуту быстро повернулась и пошла своими обычно легкими и быстрыми шагами по полосушке коридора.

«Экий я дурак,— сказал себе Нехлюдов,— что же я не удержал ее?»

И он бегом догнал ее в коридоре.

Чего он хотел от нее, он сам не знал. Но ему казалось, что, когда она вошла к нему в комнату, ему нужно было сделать что-то, что все при этом делают, а он не сделал этого.

— Катюша, постой,— сказал он.

Она оглянулась.

— Что вы? — сказала она, приостанавливаясь.

— Ничего, только...

И, сделав усилие над собой и помня то, как в этих случаях поступают вообще все люди в его положении, он обнял Катюшу за талию.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза.

— Не надо, Дмитрий Иванович, не надо,— покраснев до слез, проговорила она и своей жесткой сильной рукой отвела обнимавшую ее руку.

Нехлюдов пустил ее, и ему стало на мгновенье не только неловко и стыдно, но гадко на себя. Ему бы надо было поверить себе, но он не понял, что эта неловкость и стыд были самые добрые чувства его души, просившиеся наружу, а, напротив, ему показалось, что это говорит в нем его глупость, что надо делать, как все делают.

Он догнал ее еще раз, опять обнял и поцеловал в шею. Этот поцелуй был совсем уже не такой, как те первых два поцелуя: один бессознательный за кустом сирени и другой нынче утром в церкви. Этот был страшен, и она почувствовала это.

— Что же это вы делаете? — вскрикнула она таким

голосом, как будто он безвозвратно разбил что-то бесконечно драгоценное, и побежала от него рысью.

Он пришел в столовую. Тетушки нарядные, доктор и соседка стояли у закуски. Все было так обыкновенно, но в душе Нехлюдова была буря. Он не понимал ничего из того, что ему говорили, отвечал невпопад и думал только о Катюше, вспоминая ощущение этого последнего поцелуя, когда он догнал ее в коридоре. Он ни о чем другом не мог думать. Когда она входила в комнату, он, не глядя на нее, чувствовал всем существом своим ее присутствие и должен был делать усилие над собой, чтобы не смотреть на нее.

После обеда он тотчас же ушел в свою комнату и в сильном волнении долго ходил по ней, прислушиваясь к звукам в доме и ожидая ее шагов. Тот животный человек, который жил в нем, не только поднял теперь голову, но затоптал себе под ноги того духовного человека, которым он был в первый приезд свой и даже сегодня утром в церкви, и этот страшный животный человек теперь властвовал один в его душе. Несмотря на то, что он не переставал караулить ее, ему ни разу не удалось один на один встретить ее в этот день. Вероятно, она избегала его. Но к вечеру случилось так, что она должна была идти в комнату рядом с той, которую он занимал. Доктор остался ночевать, и Катюша должна была постлать постель гостю. Услыхав ее шаги, Нехлюдов, тихо ступая и сдерживая дыхание, как будто собираясь на преступление, вошел за ней.

Засунув обе руки в чистую наволочку и держа ими подушку за углы, она оглянулась на него и улыбнулась, но не веселой и радостной, как прежде, а испуганной, жалостной улыбкой. Улыбка эта как будто сказала ему, что то, что он делает,— дурно. На минуту он остановился. Тут еще была возможность борьбы. Хоть слабо, но еще слышен был голос истинной любви к ней, который говорил ему об *ней*, о *ее* чувствах, об *ее* жизни. Другой же голос говорил: смотри, пропустишь *свое* наслажденье, *свое* счастье. И этот второй голос заглушил первый. Он решительно подошел к ней. И страшное, неудержимое животное чувство овладело им.

Не выпуская ее из своих объятий, Нехлюдов посадил ее на постель и, чувствуя, что еще что-то надо делать, сел рядом с нею.

— Дмитрий Иванович, голубчик, пожалуйста, пустите,— говорила она жалобным голосом.— Матрена Пав-

ловна идет! — вскрикнула она, вырываясь, и действительно кто-то шел к двери.

— Так я приду к тебе ночью,— проговорил Нехлюдов.— Ты ведь одна?

— Что вы? Ни за что! Не надо,— говорила она только устами, но все взволнованное, смущенное существо ее говорило другое.

Подошедшая к двери действительно была Матрена Павловна. Она вошла в комнату с одеялом на руке и, взглянув укоризненно на Нехлюдова, сердито выговорила Катюше за то, что она взяла не то одеяло.

Нехлюдов молча вышел. Ему даже не было стыдно. Он видел по выражению лица Матрены Павловны, что она осуждает его, и права, осуждая его, знал, что то, что он делает,— дурно, но животное чувство, выпроставшееся из-за прежнего чувства хорошей любви к ней, овладело им и царило одно, ничего другого не признавая. Он знал теперь, что надо делать для удовлетворения чувства, и отыскивал средство сделать это.

Весь вечер он был сам не свой: то входил к тетушкам, то уходил от них к себе и на крыльцо и думал об одном, как бы одну увидать ее; но и она избегала его, и Матрена Павловна старалась не выпускать ее из вида.

XVII

Так прошел весь вечер, и наступила ночь. Доктор ушел спать. Тетушки улеглись. Нехлюдов знал, что Матрена Павловна теперь в спальне у теток и Катюша в девичьей — одна. Он опять вышел на крыльцо. На дворе было темно, сыро, тепло, и тот белый туман, который весной сгоняет последний снег или распространяется от тающего последнего снега, наполнял весь воздух. С реки, которая была в ста шагах под кручью перед домом, слышны были странные звуки: это ломался лед.

Нехлюдов сошел с крыльца и, шагая через лужи по оледеневшему снегу, обошел к окну девичьей. Сердце его колотилось в груди так, что он слышал его; дыханье то останавливалось, то вырывалось тяжелым вздохом. В девичьей горела маленькая лампа. Катюша одна сидела у стола, задумавшись, и смотрела перед собой. Нехлюдов долго, не шевелясь, смотрел на нее, желая узнать, что она будет делать, полагая, что никто не видит ее. Минуты две она сидела неподвижно, потом подняла глаза, улыбнулась, покачала как бы на самое себя уко-

ризненно головой и, переменив положение, порывисто положила обе руки на стол и устремила глаза перед собой.

Он стоял и смотрел на нее и невольно слушал вместе и стук своего сердца, и странные звуки, которые доносились с реки. Там, на реке, в тумане, шла какая-то неустанная, медленная работа, и то сопело что-то, то трещало, то обсыпалось, то звенели, как стекло, тонкие льдины.

Он стоял, глядя на задумчивое, мучимое внутренней работой лицо Катюши, и ему было жалко ее, но, странное дело, эта жалость только усиливала вожделение к ней.

Вожделение обладало им всем.

Он стукнул в окно. Она, как бы от электрического удара, вздрогнула всем телом, и ужас изобразился на ее лице. Потом вскочила, подошла к окну и придвинула свое лицо к стеклу. Выражение ужаса не оставило ее лица и тогда, когда, приложив обе ладони, как шоры, к глазам, она узнала его. Лицо ее было необыкновенно серьезно,— он никогда не видал его таким. Она улыбнулась, только когда он улыбнулся, улыбнулась, только как бы покоряясь ему, но в душе ее не было улыбки,— был страх. Он сделал ей знак рукою, вызывая ее на двор к себе. Но она помахала головой, что нет, не выйдет, и осталась стоять у окна. Он приблизил еще раз лицо к стеклу и хотел крикнуть ей, чтобы она вышла, но в это время она обернулась к двери,— очевидно, ее позвал кто-то. Нехлюдов отошел от окна. Туман был так тяжел, что, отойдя на пять шагов от дома, уже не было видно его окон, а только чернеющая масса, из которой светил красный, кажущийся огромным свет от лампы. На реке шло то же странное сопенье, шуршанье, треск и звон льда. Недалеко из тумана во дворе прокричал один петух; отозвались близко другие, и издалека с деревни послышались перебивающие друг друга и сливающиеся в одно петушиные крики. Все же кругом, кроме реки, было совершенно тихо. Это были уже вторые петухи.

Пройдя раза два взад и вперед за углом дома и попав несколько раз ногою в лужу, Нехлюдов опять подошел к окну девичьей. Лампа все еще горела, и Катюша опять сидела одна у стола, как будто была в нерешительности. Только что он подошел к окну, она взглянула в него. Он стукнул. И, не рассматривая, кто стукнул, она тотчас же выбежала из девичьей, и он слышал, как отлипла и потом скрипнула выходная дверь. Он ждал её уже у се-

ней и тотчас же молча обнял ее. Она прижалась к нему, подняла голову и губами встретила его поцелуй. Они стояли за углом сеней на стаявшем сухом месте, и он весь был полон мучительным, неудовлетворенным желанием. Вдруг опять так же чмокнула и с тем же скрипом скрипнула выходная дверь, и послышался сердитый голос Матрены Павловны:

— Катюша!

Она вырвалась от него и вернулась в девичью. Он слышал, как захлопнулся крючок. Вслед за этим все затихло, красный глаз в окне исчез, остался один туман и возня на реке.

Нехлюдов подошел к окну,— никого не видно было. Он постучал,— ничто не ответило ему. Нехлюдов вернулся в дом с парадного крыльца, но не заснул. Он снял сапоги и босиком пошел по коридору к ее двери, рядом с комнатой Матрены Павловны. Сначала он слышал, как спокойно храпела Матрена Павловна, и он хотел уже войти, как вдруг она стала кашлять и повернулась на скрипучей постели. Он замер и простоял так минут пять. Когда опять все затихло и послышался опять спокойный храп, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и подошел к самой ее двери. Ничего не слышно было. Она, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыхания. Но как только он прошептал: «Катюша!» — она вскочила, подошла к двери и сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти.

— На что похоже? Ну, можно ли? Услышат тетеньки,— говорили ее уста, а все существо говорило: «Я вся твоя».

И *это* только понимал Нехлюдов.

— Ну, на минутку отвори. Умоляю тебя,— говорил он бессмысленные слова.

Она затихла, потом он услышал шорох руки, ищущей крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отворенную дверь.

Он схватил ее, как она была в жесткой суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес.

— Ах! Что вы? — шептала она.

Но он не обращал внимания на ее слова, неся ее к себе.

— Ах, не надо, пустите,— говорила она, а сама прижималась к нему.

. . . .

Когда она, дрожащая и молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он вышел на крыльцо и остановился, стараясь сообразить значение всего того, что произошло.

На дворе было светлее; внизу на реке треск и звон и сопенье льдин еще усилились, и к прежним звукам прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз, и из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное.

«Что же это! большое счастье или большое несчастье случилось со мной?» — спрашивал он себя. «Всегда так, все так»,— сказал он себе и пошел спать.

XVIII

На другой день блестящий, веселый Шенбок заехал за Нехлюдовым к тетушкам и совершенно прельстил их своей элегантностью, любезностью, веселостью, щедростью и любовью к Дмитрию. Щедрость его хотя и очень понравилась тетушкам, но привела их даже в некоторое недоумение своей преувеличенностью. Пришедшим слепым нищим он дал рубль, на чай людям он роздал пятнадцать рублей, и когда Сюзетка, болонка Софьи Ивановны, при нем ободрала себе в кровь ногу, то он, вызвавшись сделать ей перевязку, ни минуты не задумавшись, разорвал свой батистовый с каемочками платок (Софья Ивановна знала, что такие платки стоят не меньше пятнадцати рублей дюжина) и сделал из него бинты для Сюзетки. Тетушки не видали еще таких и не знали, что у этого Шенбока было двести тысяч долгу, которые — он знал — никогда не заплатятся, и что поэтому двадцать пять рублей меньше или больше не составляли для него расчета.

Шенбок пробыл только один день и в следующую ночь уехал вместе с Нехлюдовым. Они не могли дольше оставаться, так как был уже последний срок для явки в полк.

В душе Нехлюдова в этот последний проведенный у тетушек день, когда свежо было воспоминание ночи, поднимались и боролись между собой два чувства: одно — жгучие, чувственные воспоминания животной любви, хотя и далеко не давшей того, что она обещала, и некоторого самодовольства достигнутой цели; другое — сознание того, что им сделано что-то очень дурное и что

это дурное нужно поправить, и поправить не для нее, а для себя.

В том состоянии сумасшествия эгоизма, в котором он находился, Нехлюдов думал только о себе — о том, осудят ли его и насколько, если узнают о том, как он с ней поступил, а не о том, что она испытывает и что с ней будет.

Он думал, как Шенбок догадывается об его отношениях с Катюшей, и это льстило его самолюбию.

— То-то ты так вдруг полюбил тетушек,— сказал ему Шенбок, увидав Катюшу,— что неделю живешь у них. Это и я на твоем месте не уехал бы. Прелесть!

Он думал еще и о том, что, хотя и жалко уезжать теперь, не насладившись вполне любовью с нею, необходимость отъезда выгодна тем, что сразу разрывает отношения, которые трудно было бы поддерживать. Думал он еще о том, что надо дать ей денег, не для нее, не потому, что ей эти деньги могут быть нужны, а потому, что так всегда делают, и его бы считали нечестным человеком, если бы он, воспользовавшись ею, не заплатил бы за это. Он и дал ей эти деньги,— столько, сколько считал приличным по своему и ее положению.

В день отъезда, после обеда, он выждал ее в сенях. Она вспыхнула, увидав его, и хотела пройти мимо, указывая глазами на открытую дверь в девичью, но он удержал ее.

— Я хотел проститься,— сказал он, комкая в руке конверт с сторублевой бумажкой.— Вот я...

Она догадалась, сморщилась, затрясла головой и оттолкнула его руку.

— Нет, возьми,— пробормотал он и сунул ей конверт за пазуху, и, точно как будто он обжегся, он, морщась и стоная, побежал в свою комнату.

И долго после этого он все ходил по своей комнате, и корчился, и даже прыгал, и вслух охал, как от физической боли, как только вспоминал эту сцену.

«Но что же делать? Всегда так. Так это было с Шенбоком и гувернанткой, про которую он рассказывал, так это было с дядей Гришей, так это было с отцом, когда он жил в деревне, и у него родился от крестьянки тот незаконный сын Митенька, который и теперь еще жив. А если все так делают, то, стало быть, так и надо». Так утешал он себя, но никак не мог утешиться. Воспоминание это жгло его совесть.

В глубине, в самой глубине души он знал, что посту-

пил так скверно, подло, жестоко, что ему, с сознанием этого поступка, нельзя не только самому осуждать когонибудь, но смотреть в глаза людям, не говоря уже о том, чтобы считать себя прекрасным, благородным, великодушным молодым человеком, каким он считал себя. А ему нужно было считать себя таким для того, чтобы продолжать бодро и весело жить. А для этого было одно средство: не думать об этом. Так он и сделал.

Та жизнь, в которую он вступал,— новые места, товарищи, война — помогли этому. И чем больше он жил, тем больше забывал и под конец действительно совсем забыл.

Только один раз, когда после войны, с надеждой увидать ее, он заехал к тетушкам и узнал, что Катюши уже не было, что она скоро после его проезда отошла от них, чтобы родить, что где-то родила и, как слышали тетки, совсем испортилась,— у него защемило сердце. По времени ребенок, которого она родила, мог быть его ребенком, но мог быть и не его. Тетушки говорили, что она испортилась и была развращенная натура, такая же, как и мать. И это суждение тетушек было приятно ему, потому что как будто оправдывало его. Сначала он всетаки хотел разыскать ее и ребенка, но потом, именно потому, что в глубине души ему было слишком больно и стыдно думать об этом, он не сделал нужных усилий для этого разыскания и еще больше забыл про свой грех и перестал думать о нем.

Но вот теперь эта удивительная случайность напомнила ему все и требовала от него признания своей бессердечности, жестокости, подлости, давших ему возможность спокойно жить эти десять лет с таким грехом на совести. Но он еще далек был от такого признания и теперь думал только о том, как бы сейчас не узналось все и она или ее защитник не рассказали всего и не осрамили бы его перед всеми.

XIX

В таком душевном настроении находился Нехлюдов, выйдя из залы суда в комнату присяжных. Он сидел у окна, слушая разговоры, шедшие вокруг него, и не переставая курил.

Веселый купец, очевидно, сочувствовал всей душой времяпрепровождению купца Смелькова.

— Ну, брат, здорово кутил, по-сибирски. Тоже губа не дура, такую девчонку облюбовал.

Старшина высказывал какие-то соображения, что все дело в экспертизе. Петр Герасимович что-то шутил с приказчиком-евреем, и они о чем-то захохотали. Нехлюдов односложно отвечал на обращенные к нему вопросы и желал только одного — чтобы его оставили в покое.

Когда судебный пристав с боковой походкой пригласил опять присяжных в залу заседания, Нехлюдов почувствовал страх, как будто не он шел судить, но его вели в суд. В глубине души он чувствовал уже, что он негодяй, которому должно быть совестно смотреть в глаза людям, а между тем он по привычке с обычными, самоуверенными движениями вошел на возвышение и сел на свое место, вторым после старшины, заложив ногу на ногу и играя pince-nez.

Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели опять.

В зале были новые лица — свидетели, и Нехлюдов заметил, что Маслова несколько раз взглядывала, как будто не могла оторвать взгляда от очень нарядной, в шелку и бархате, толстой женщины, которая, в высокой шляпе с большим бантом и с элегантным ридикюлем на голой до локтя руке, сидела в первом ряду перед решеткой. Это, как он потом узнал, была свидетельница, хозяйка того заведения, в котором жила Маслова.

Начался допрос свидетелей: имя, вера и т. д. Потом, после допроса сторон, как они хотят спрашивать: под присягой или нет, опять, с трудом передвигая ноги, пришел тот же старый священник и опять так же, поправляя золотой крест на шелковой груди, с таким же спокойствием и уверенностью в том, что он делает вполне полезное и важное дело, привел к присяге свидетелей и эксперта. Когда кончилась присяга, всех свидетелей увели, оставив одну, именно Китаеву, хозяйку дома терпимости. Ее спросили о том, что она знает по этому делу. Китаева с притворной улыбкой, ныряя головой в шляпе при каждой фразе, с немецким акцентом подробно и складно рассказала.

Прежде всего к ней в заведение приехал знакомый коридорный Симон за девушкой для богатого сибирского купца. Она послала Любашу. Через несколько времени Любаша вернулась вместе с купцом.

— Купец был уже в экстазе,— слегка улыбаясь, говорила Китаева,— и у нас продолжал пить и угощать де-

вушек; но так как у него недостало денег, то он послал к себе в номер эту самую Любашу, к которой он получил предилекция,— сказала она, взглянув на подсудимую.

Нехлюдову показалось, что Маслова при этом улыбнулась, и эта улыбка показалась ему отвратительной. Странное, неопределенное чувство гадливости, смешанное с состраданием, поднялось в нем.

— А какого вы были мнения о Масловой? — краснея и робея, спросил назначенный от суда кандидат на судебную должность, защитник Масловой.

— Самый хороший,— отвечала Китаева,— девушка образованный и шикарна. Он воспитывался в хороший семейство и по-французски могли читать. Он пил иногда немного лишнего, но никогда не забывался. Совсем хороший девушка.

Катюша глядела на хозяйку, но потом вдруг перевела глаза на присяжных и остановила их на Нехлюдове, и лицо ее сделалось серьезно и даже строго. Один из строгих глаз ее косил. Довольно долго эти два странно смотрящих глаза смотрели на Нехлюдова, и, несмотря на охвативший его ужас, он не мог отвести и своего взгляда от этих косящих глаз с ярко-белыми белками. Ему вспомнилась та страшная ночь с ломавшимся льдом, туманом и, главное, тем ущербным, перевернутым месяцем, который перед утром взошел и освещал что-то черное и страшное. Эти два черные глаза, смотревшие и на него и мимо него, напоминали ему это что-то черное и страшное.

«Узнала!» — подумал он. И Нехлюдов как бы сжался, ожидая удара. Но она не узнала. Она спокойно вздохнула и опять стала смотреть на председателя. Нехлюдов вздохнул тоже. «Ах, скорее бы»,— думал он. Он испытывал теперь чувство, подобное тому, которое испытывал на охоте, когда приходилось добивать раненую птицу: и гадко, и жалко, и досадно. Недобитая птица бьется в ягдташе: и противно, и жалко, и хочется поскорее добить и забыть.

Такое смешанное чувство испытывал теперь Нехлюдов, слушая допрос свидетелей.

XX

Но, как назло ему, дело тянулось долго: после допроса поодиночке свидетелей и эксперта и после всех, как обыкновенно, делаемых с значительным видом ненуж-

ных вопросов от товарища прокурора и защитников, председатель предложил присяжным осмотреть вещественные доказательства, состоящие из огромных размеров, очевидно надевавшегося на толстейший указательный палец, кольца с розеткой из брильянтов и фильтра, в котором был исследован яд. Вещи эти были запечатаны, и на них были ярлычки.

Присяжные уже готовились смотреть эти предметы, когда товарищ прокурора опять приподнялся и потребовал, прежде рассматриванья вещественных доказательств, прочтения врачебного исследования трупа.

Председатель, который гнал дело как мог скорее, чтобы поспеть к своей швейцарке, хотя и знал очень хорошо, что прочтение этой бумаги не может иметь никакого другого следствия, как только скуку и отдаление времени обеда, и что товарищ прокурора требует этого чтения только потому, что он знает, что имеет право потребовать этого, все-таки не мог отказать и изъявил согласие. Секретарь достал бумагу и опять своим картавящим на буквы *л* и *р* унылым голосом начал читать:

— «По наружному осмотру оказывалось, что:

1) Рост Ферапонта Смелькова — 2 аршина 12 вершков».

— Однако мужчина здоровенный,— озабоченно прошептал купец на ухо Нехлюдову.

— «2) Лета по наружному виду определялись приблизительно около сорока.

3) Вид трупа был вздутый.

4) Цвет покровов везде зеленоватый, испещренный местами темными пятнами.

5) Кожица по поверхности тела поднялась пузырями различной величины, а местами слезла и висит в виде больших лоскутов.

6) Волосы темно-русые, густые и при дотрагивании легко отстают от кожи.

7) Глаза вышли из орбит, и роговая оболочка потускнела.

8) Из отверстий носа, обоих ушей и полости рта вытекает пенистая сукровичная жидкость, рот полуоткрыт.

9) Шеи почти нет вследствие раздутия лица и груди».

И т. д., и т. д.

На четырех страницах по двадцати семи пунктам шло таким образом описание всех подробностей наружного осмотра страшного, огромного, толстого и еще распух-

шего, разлагающегося трупа веселившегося в городе купца. Чувство неопределенной гадливости, которое испытывал Нехлюдов, еще усилилось при чтении этого описания трупа. Жизнь Катюши, и вытекавшая из ноздрей сукровица, и вышедшие из орбит глаза, и его поступок с нею — все это, казалось ему, были предметы одного и того же порядка, и он со всех сторон был окружен и поглощен этими предметами. Когда кончилось наконец чтение наружного осмотра, председатель тяжело вздохнул и поднял голову, надеясь, что кончено. Но секретарь тотчас же начал читать описание внутреннего осмотра.

Председатель опять опустил голову и, опершись на руку, закрыл глаза. Купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, насилу удерживался от сна и изредка качался; подсудимые, так же как и жандармы за ними, сидели неподвижно.

— «По внутреннему осмотру оказывалось, что:

1) Кожные черепные покровы легко отделялись от черепных костей, и кровоподтеков нигде не было замечено.

2) Кости черепа средней толщины и целы.

3) На твердой мозговой оболочке имеются два небольших пигментированных пятна, величиной приблизительно в четыре дюйма, сама оболочка представляется бледно-матового цвета»,— и т. д., и т. д., еще тринадцать пунктов.

Затем следовали имена понятых, подписи и затем заключение врача, из которого видно было, что найденные при вскрытии и записанные в протокол изменения в желудке и отчасти в кишках и почках дают право заключить с *большой степенью вероятности*, что смерть Смелькова последовала от отравления ядом, попавшим ему в желудок вместе с вином. Сказать по имеющимся изменениям в желудке и кишках, какой именно яд был введен в желудок,— трудно; о том же, что яд этот попал в желудок с вином, надо полагать потому, что в желудке Смелькова найдено большое количество вина.

— Видно, здоров пить был,— опять прошептал очнувшийся купец.

Чтение этого протокола, продолжавшееся около часу, не удовлетворило, однако, товарища прокурора. Когда был прочитан протокол, председатель обратился к нему:

— Я полагаю, что излишне читать акты исследования внутренностей.

— Я бы просил прочесть эти исследования,— строго

сказал товарищ прокурора, не глядя на председателя, слегка бочком приподнявшись и давая чувствовать тоном голоса, что требование этого чтения составляет его право, и он от этого права не отступится, и отказ будет поводом кассации.

Член суда с большой бородой и добрыми, вниз оттянутыми глазами, страдавший катаром, чувствуя себя очень ослабевшим, обратился к председателю:

— И зачем это читать? Только затягивают. Эти новые метлы не чище, а дольше метут.

Член в золотых очках ничего не сказал и мрачно и решительно смотрел перед собой, не ожидая ни от своей жены, ни от жизни ничего хорошего.

Чтение акта началось.

— «188* года февраля 15-го дня я, нижеподписавшийся, по поручению врачебного отделения, за № 638-м,— опять начал с решительностью, повысив диапазон голоса, как будто желая разогнать сон, удручающий всех присутствующих, секретарь,— в присутствии помощника врачебного инспектора, сделав исследование внутренностей:

1) Правого легкого и сердца (в шестифунтовой стеклянной банке).

2) Содержимого желудка (в шестифунтовой стеклянной банке).

3) Самого желудка (в шестифунтовой стеклянной банке).

4) Печени, селезенки и почек (в трехфунтовой стеклянной банке).

5) Кишок (в шестифунтовой глиняной банке)».

Председательствующий при начале этого чтения нагнулся к одному из членов и пошептал что-то, потом к другому и, получив утвердительный ответ, перервал чтение в этом месте.

— Суд признает излишним чтение акта,— сказал он.

Секретарь замолк, собирая бумаги, товарищ прокурора сердито стал записывать что-то.

— Господа присяжные заседатели могут осмотреть вещественные доказательства,— сказал председательствующий.

Старшина и некоторые из присяжных приподнялись и, затрудняясь тем движением или положением, которое они должны придать своим рукам, подошли к столу и поочередно посмотрели на кольцо, склянку и фильтр. Купец даже примерил на свой палец кольцо.

— Ну, и палец был,— сказал он, возвратившись на свое место.— Как огурец добрый,— прибавил он, очевидно забавляясь тем представлением, как о богатыре, которое он составил себе об отравленном купце.

XXI

Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить и обедать и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал.

— Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели,— начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь,— характерное, если можно так выразиться, преступление.

Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины: швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости так же начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать в глубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества.

— Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса...

Товарищ прокурора говорил очень долго, с одной стороны, стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжение часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим деловым тоном, взглядывая в свою тетрадку, то громким обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство.

Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал.

Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права, человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Евфимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декадентства.

— Женщина эта,— говорил товарищ прокурора, не глядя на нее,— получила образование,— мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски, она, сирота, вероятно несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом; но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием и, главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таин-

ственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко — богатым гостем и употребляет это доверие на то, чтоб сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни.

— Ну, уж это он, кажется, зарапортовался,— сказал, улыбаясь, председатель, склоняясь к строгому члену.

— Ужасный болван,— сказал строгий член.

— Господа присяжные заседатели,— продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурора,— в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидумов, какова Маслова, и оградите его от заражения, оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели.

И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно до последней степени восхищенный своею речью, опустился на свой стул.

Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие, и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Евфимьей, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его.

После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке, с широким полукругом белой крахмальной груди, и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за триста рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову.

Он отвергал показание Масловой о том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показание ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. Деньги, две тысячи пятьсот рублей, говорил адвокат, могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по три и пять рублей от посети-

телей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова.

Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег; если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения.

В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова — дочь неизвестных родителей.

Товарищ прокурора сердито, как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами.

Потом встал защитник Масловой и робко, запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречия, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения, но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела.

После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления. Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым (он особенно ядовито сказал: воображаемым) соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел.

Потом предложено было подсудимым оправдываться.

Евфимья Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз:

— Воля ваша, а только безвинно, напрасно.

Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала, громко всхлипывая.

— Вы что? — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание.

Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов едва удержанное рыдание и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел pince-nez, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться.

Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего.

XXII

После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председатель начал свое резюме.

Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным, с приятной домашней интонацией, то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. И, объясняя это, он особенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно прониклись этими истинами, он стал развивать другую истину — о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если во-

ровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство.

Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться и швейцарка уже ждала его, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже не мог остановиться и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными; если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными; если найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы и, увидав, что уж было без пяти минут три, решил тотчас же перейти к изложению дела.

— Обстоятельства дела этого следующие,— начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями.

Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь хотя и очень хорошею, то есть такою, какая она должна быть, но несколько длинною. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме.

Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться с своим правом говорить — так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса — и нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они — совесть общества и что тайна совещательной комнаты должна быть священна, и т. д., и т. д.

С тех пор как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово, а потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и не переставая смотрел на нее.

И в его представлении происходило то обычное явление, что давно не виденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад, исчезают все происшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение исключительной, неповторяемой духовной личности.

Это самое происходило в Нехлюдове.

Да, несмотря на арестантский халат, на все расширевшее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была несомненно та самая Катюша, которая в светло Христово воскресенье так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого ею человека, своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами.

«И такая удивительная случайность! Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию, чтобы я, нигде не встречая ее десять лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых! И чем все это кончится? Поскорей, ах, поскорей бы!»

Он все не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизни. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них; но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим pince-nez, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни, и та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время,

все эти двенадцать лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее.

XXIII

Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать с своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели.

Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы, и они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор.

— Девчонка не виновата, запуталась,— сказал добродушный купец,— надо снисхождение дать.

— Вот это и обсудим,— сказал старшина.— Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям.

— Хорошо резюме сказал председатель,— заметил полковник.

— Ну, хорошо! Я чуть не заснул.

— Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна,— сказал приказчик еврейского типа.

— Так что же, по-вашему, она украла? — спросил один из присяжных.

— Ни за что не поверю,— закричал добродушный купец,— а все это шельма красноглазая нашкодила.

— Все хороши,— сказал полковник.

— Да ведь она говорит, что не входила в номер.

— А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы.

— Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы,— сказал приказчик.

— Ключ у нее был.
— Что ж, что у ней? — возражал купец.
— А перстень?
— Да ведь она сказывала,— опять закричал купец,— купчина карахтерный, да еще выпивши, вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой: слышал, я чай, двенадцать вершков, пудов от восьми!
— Не в том дело,— перебил Петр Герасимович,— вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?
— Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был.
Несвязная беседа шла довольно долго.
— Да позвольте, господа,— сказал старшина,— сядемте за стол и обсудимте. Пожалуйста,— сказал он, садясь на председательское место.
— Тоже мерзавки эти девчонки,— сказал приказчик и в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища.
Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара.
— Господа, прошу по вопросам,— сказал старшина, постукивая карандашом по столу.
Все замолкли. Вопросы эти были выражены так:
1) Виновен ли крестьянин села Борков, Крапивенского уезда Симон Петров Картинкин, тридцати трех лет, в том, что 17-го января 188* года в городе N., замыслив лишить жизни купца Смелькова, с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами, дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около двух тысяч пятисот рублей и брильянтовый перстень?
2) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Евфимия Иванова Бочкова, сорока трех лет?
3) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, двадцати семи лет?
4) Если подсудимая Евфимия Бочкова не виновна по первому вопросу, то не виновна ли она в том, что 17-го января 188* года в городе N., состоя в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца

Смелькова, находившегося в его номере, две тысячи пятьсот рублей денег, для чего отперла чемодан на месте принесенным и подобранным ею ключом?

Старшина прочел первый вопрос.

— Ну как, господа?

На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить: «Да, виновен»,— признав его участником и отравления и похищения. Не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания.

Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны, но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть. «Мы сами не святые»,— сказал он и так и остался при своем мнении.

На второй вопрос о Бочковой, после долгих толков и разъяснений, ответили: «Не виновна»,— так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат.

Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова — главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало.

На четвертый вопрос о Бочковой же ответили: «Да, виновна»,— и по настоянию артельщика прибавили: «Но заслуживает снисхождения».

Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении и в грабеже, купец не соглашался и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик,— остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех.

По всему тому, что происходило на судебном следствии, и по тому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она не виновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это; но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины и, главное, вследствие усталости всех решение стало скло-

няться к обвинению, он хотел возражать, но ему страшно было говорить за Маслову,— ему казалось, что все сейчас узнают его отношения к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов.

— Позвольте,— сказал он,— вы говорите, что она украла потому, что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?

— Ну да, ну да,— поддакивал купец.

— Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их.

— Вот и я говорю,— подтвердил купец.

— А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее.

Петр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщилась старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение, но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок.

— Дала, но думала, что это опиум,— сказал купец.

— Она и опиумом могла лишить жизни,— сказал полковник, любивший вдаваться в отступления, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого недостало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю.

— Так привыкают другие,— начал он,— что могут сорок капель принимать; у меня родственник...

Но полковник не дал перебить себя и продолжал рас-

сказ о последствиях влияния опиума на жену его шурина.

— Да ведь уже пятый час, господа,— сказал один из присяжных.

— Так как же, господа,— обратился старшина,— признаем виновной без умысла ограбления, и имущества не похищала. Так, что ли?

Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился.

— Но заслуживает снисхождения,— прибавил купец.

Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать: «Нет, не виновна».

— Да ведь оно так и выходит,— разъяснил старшина,— без умысла ограбления, и имущества не похищала. Стало быть, и не виновна.

— Валяй так, и заслуживает снисхождения: значит, что останется, последнее счистить,— весело проговорил купец.

Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу: *да, но без намерения лишить жизни.*

Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда.

Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении двадцати страниц юридической бессмысленной латыни предложил судящимся кинуть кости: чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик.

Так было и здесь. То, а не другое решение принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать: «Да, виновна, но без намерения лишить жизни»; во-вторых, потому, что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего шурина; в-третьих, потому, что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка: «Без умысла ограбления»,— уничтожает обвинение; в-четвертых, потому, что Петр Герасимович не был в комнате, он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы, и, главное, потому, что все устали и всем хоте-

лось скорей освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорей кончается.

Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные.

Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие: «Без умысла ограбления», не оговорили второго: «Без намерения лишить жизни». Выходило, по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели.

— Посмотрите, какую они нелепость вынесли,— сказал он члену налево.— Ведь это каторжные работы, а она не виновата.

— Ну, как не виновата,— сказал строгий член.

— Да просто не виновата. По-моему, это случай применения восемьсот восемнадцатой статьи. (818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных.)

— Как вы думаете? — обратился председатель к доброму члену.

Добрый член не сразу ответил, он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры,— не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится, но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился.

— Я думаю тоже, что следовало бы,— сказал он.

— А вы? — обратился председатель к сердитому члену.

— Ни в каком случае,— отвечал он решительно.— И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников; что же заговорят, когда суд оправдает. Я не согласен ни в каком случае.

Председатель посмотрел на часы.

— Жаль, но что же делать,— и подал вопросы старшине для прочтения.

Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские: секретарь, адвокаты, даже прокурор, выразили удивление.

Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно не пони

мая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказаниям он полагает подвергнуть подсудимых.

Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал:

— Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452-й и 4 пункта 1453. Евфимию Бочкову на основании статьи 1659-й и Екатерину Маслову на основании статьи 1454-й.

Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить.

— Суд удалится для постановления решения,— сказал председатель, вставая.

Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале.

— А ведь мы, батюшка, постыдно наврали,— сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то.— Ведь мы ее в каторгу закатали.

— Что вы говорите! — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.

— Да как же,— сказал он.— Мы не поставили в ответе: «Виновна, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил: прокурор подводит ее под пятнадцать лет каторги.

— Да ведь так решили,— сказал старшина.

Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни.

— Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить,— оправдывался старшина.— Никто не возражал.

— Я в это время выходил из комнаты,— сказал Петр Герасимович.— А вы-то как прозевали?

— Я никак не думал,— сказал Нехлюдов.

— Вот и не думали.

— Да это можно поправить,— сказал Нехлюдов.

— Ну, нет, теперь кончено.

Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то. И в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление

в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней; и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней: недобитая птица перестала бы трепаться в ягдташе и напоминать о себе.

XXIV

Предположения Петра Герасимовича были справедливы.

Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел:

— «188* года апреля 28 дня, по указу его императорского величества, окружный суд, по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании 3 пункта статьи 771, 3 пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства, определил: крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы: Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье Уложения. Мещанку же Евфимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье Уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить».

Картинкин стоял, так же вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решенье, Маслова багрово покраснела.

— Не виновата я, не виновата! — вдруг на всю залу вскрикнула она.— Грех это. Не виновата я. Не хотела, не думала. Верно говорю. Верно.— И, опустившись на лавку, она громко зарыдала.

Когда Картинкин и Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала, так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата.

«Нет, это невозможно так оставить»,— проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство, и, сам не зная зачем, поспешил в коридор еще

раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя, но председатель уже ушел.

Нехлюдов нагнал его только в швейцарской.

— Господин председатель,— сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, когда тот уже надел светлое пальто и брал палку с серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром,— могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я — присяжный.

— Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались,— сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал — лучше всех молодых — в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым.— Чем могу служить?

— Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге,— с сосредоточенно мрачным видом сказал Нехлюдов.

— Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же,— сказал председатель, подвигаясь к выходной двери,— хотя ответы и суду показались несоответственны делу.

Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ: «Да — виновна», без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого.

— Да, но разве нельзя поправить ошибку?

— Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам,— сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу.

— Но ведь это ужасно.

— Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух,— очевидно желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым, сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто, и, взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал: — Вы ведь тоже идете?

— Да,— сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним.

Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.

— Положение, изволите видеть, странное,— продолжал председатель, возвышая голос,— тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух: или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела, даже только арест, или каторга,— середины нет. Если бы вы прибавили слова: «Но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана.

— Я непростительно упустил это,— сказал Нехлюдов.

— Вот в этом все дело,— улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы.

Оставалось только три четверти часа до последнего срока, назначенного Кларой.

— Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти. На Дворянскую,— отвечал он извозчику,— тридцать копеек, никогда больше не плачу.

— Ваше превосходительство, пожалуйте.

— Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова, на Дворянской, легко запомнить.

И он, ласково поклонившись, уехал.

XXV

Разговор с председателем и чистый воздух несколько успокоили Нехлюдова. Он подумал теперь, что испытываемое им чувство было им преувеличено вследствие всего утра, проведенного в таких непривычных условиях.

«Разумеется, удивительное и поразительное совпадение! И необходимо сделать все возможное, чтобы облегчить ее участь, и сделать это скорее. Сейчас же. Да, надо тут, в суде, узнать, где живет Фанарин или Микишин». Он вспомнил двух известных адвокатов.

Нехлюдов вернулся в суд, снял пальто и пошел наверх. В первом же коридоре он встретил Фанарина. Он остановил его и сказал, что имеет до него дело. Фанарин знал его в лицо и по имени и сказал, что очень рад сделать все приятное.

— Хотя я и устал... но если недолго, то скажите мне ваше дело,— пойдемте сюда.

И Фанарин ввел Нехлюдова в какую-то комнату, вероятно, кабинет какого-нибудь судьи. Они сели у стола.

— Ну-с, в чем дело?

— Прежде всего я буду вас просить,— сказал Нехлюдов,— о том, чтобы никто не знал, что я принимаю участие в этом деле.

— Ну, это само собой разумеется. Итак...

— Я нынче был присяжным, и мы осудили женщину в каторжные работы — невинную. Меня это мучает.

Нехлюдов неожиданно для себя покраснел и замялся.

Фанарин блеснул на него глазами и опять опустил их, слушая.

— Ну-с,— только проговорил он.

— Осудили невинную, и я желал бы кассировать дело и перенести его в высшую инстанцию.

— В сенат,— поправил Фанарин.

— И вот я прошу вас взяться за это.

Нехлюдов хотел кончить поскорее самое трудное и потому тут же сказал:

— Вознаграждение, расходы по этому делу я беру на себя, какие бы они ни были,— сказал он, краснея.

— Ну, это мы условимся,— снисходительно улыбаясь его неопытности, сказал адвокат.

— В чем же дело?

Нехлюдов рассказал.

— Хорошо-с, завтра я возьму дело и просмотрю его. А послезавтра, нет, в четверг, приезжайте ко мне в шесть часов вечера, и я дам вам ответ. Так та́к? Ну и пойдемте, мне еще тут нужны справки.

Нехлюдов простился с ним и вышел.

Беседа с адвокатом и то, что он принял уже меры для защиты Масловой, еще более успокоили его. Он вышел на двор. Погода была прекрасная, он радостно вдохнул весенний воздух. Извозчики предлагали свои услуги, но он пошел пешком, и тотчас же целый рой мыслей и воспоминаний о Катюше и об его поступке с ней закружились в его голове. И ему стало уныло и все показалось мрачно. «Нет, это я обдумаю после,— сказал он себе,— а теперь, напротив, надо развлечься от тяжелых впечатлений».

Он вспомнил об обеде Корчагиных и взглянул на часы. Было еще не поздно, и он мог поспеть к обеду. Мимо звонила конка. Он пустился бежать и вскочил в

нее. На площади он соскочил, взял хорошего извозчика и через десять минут был у крыльца большого дома Корчагиных.

XXVI

— Пожалуйте, ваше сиятельство, ожидают,— сказал ласковый жирный швейцар большого дома Корчагиных, отворяя бесшумно двигавшуюся на английских петлях дубовую дверь подъезда.— Кушают, только вас велено просить.

Швейцар подошел к лестнице и позвонил наверх.

— Кто-нибудь есть? — спросил Нехлюдов, раздеваясь.

— Господин Колосов да Михаил Сергеевич; а то все свои,— отвечал швейцар.

С лестницы выглянул красавец лакей во фраке и белых перчатках.

— Пожалуйте, ваше сиятельство,— сказал он.— Приказано просить.

Нехлюдов вошел на лестницу и по знакомой великолепной и просторной зале прошел в столовую. В столовой за столом сидело все семейство, за исключением матери, княгини Софьи Васильевны, никогда не выходившей из своего кабинета. Вверху стола сидел старик Корчагин; рядом с ним, с левой стороны, доктор, с другой — гость Иван Иванович Колосов, бывший губернский предводитель, теперь член правления банка, либеральный товарищ Корчагина; потом с левой стороны — miss Редер, гувернантка маленькой сестры Мисси, и сама четырехлетняя девочка; с правой, напротив,— брат Мисси, единственный сын Корчагиных, гимназист VI класса, Петя, для которого вся семья, ожидая его экзаменов, оставалась в городе, еще студент-репетитор; потом слева — Катерина Алексеевна, сорокалетняя девица-славянофилка; напротив — Михаил Сергеевич, или Миша Телегин, двоюродный брат Мисси, и внизу стола сама Мисси и подле нее нетронутый прибор.

— Ну вот и прекрасно. Садитесь, мы еще только за рыбой,— с трудом и осторожно жуя вставными зубами, проговорил старик Корчагин, поднимая на Нехлюдова налитые кровью без видимых век глаза.— Степан,— обратился он с полным ртом к толстому величественному буфетчику, указывая глазами на пустой прибор.

Хотя Нехлюдов хорошо знал и много раз и за обедом

видал старого Корчагина, нынче как-то особенно неприятно поразило его это красное лицо с чувственными смакующими губами над заложенной за жилет салфеткой и жирная шея, главное — вся эта упитанная генеральская фигура. Нехлюдов невольно вспомнил то, что знал о жестокости этого человека, который, бог знает для чего,— так как он был богат и знатен и ему не нужно было выслуживаться,— сек и даже вешал людей, когда был начальником края.

— Сию минуту подадут, ваше сиятельство,— сказал Степан, доставая из буфета, уставленного серебряными вазами, большую разливательную ложку и кивая красавцу лакею с бакенбардами, который сейчас же стал оправлять рядом с Мисси нетронутый прибор, покрытый искусно сложенной крахмаленной с торчащим гербом салфеткой.

Нехлюдов обошел весь стол, всем пожимая руки. Все, кроме старого Корчагина и дам, вставали, когда он подходил к ним. И это обхождение стола и пожимание рук всем присутствующим, хотя с большинством из них он никогда не разговаривал, показалось ему нынче особенно неприятным и смешным. Он извинился за то, что опоздал, и хотел сесть на пустое место на конце стола между Мисси и Катериной Алексеевной, но старик Корчагин потребовал, чтобы он, если уже не пьет водки, то все-таки закусил бы у стола, на котором были омары, икра, сыры, селедки. Нехлюдов не ожидал того, что он так голоден, но, начавши есть хлеб с сыром, не мог остановиться и жадно ел.

— Ну, что же, подрывали основы? — сказал Колосов, иронически употребляя выражение ретроградной газеты, восстававшей против суда присяжных.— Оправдали виноватых, обвинили невинных, да?

— Подрывали основы... Подрывали основы...— повторил, смеясь, князь, питавший неограниченное доверие к уму и учености своего либерального товарища и друга.

Нехлюдов, рискуя быть неучтивым, ничего не ответил Колосову и, сев за поданный дымящийся суп, продолжал жевать.

— Дайте же ему поесть,— улыбаясь, сказала Мисси, этим местоимением «ему» напоминая свою с ним близость.

Колосов между тем бойко и громко рассказывал содержание возмутившей его статьи против суда присяж-

ных. Ему поддакивал Михаил Сергеевич, племянник, и рассказал содержание другой статьи той же газеты.

Мисси, как всегда, была очень distinguée[1] и хорошо, незаметно хорошо, одета.

— Вы, должно быть, страшно устали, голодны,— сказала она Нехлюдову, дождавшись, чтоб он прожевал.

— Нет, не особенно. А вы? ездили смотреть картины? — спросил он.

— Нет, мы отложили. А мы были на lawn tennis'e[2] у Саламатовых. И действительно, мистер Крукс удивительно играет.

Нехлюдов приехал сюда, чтобы развлечься, и всегда ему в этом доме бывало приятно, не только вследствие того хорошего тона роскоши, которая приятно действовала на его чувства, но и вследствие той атмосферы льстивой ласки, которая незаметно окружала его. Нынче же, удивительное дело, все в этом доме было противно ему — все, начиная от швейцара, широкой лестницы, цветов, лакеев, убранства стола до самой Мисси, которая нынче казалась ему непривлекательной и ненатуральной. Ему неприятен был и этот самоуверенный, пошлый, либеральный тон Колосова, неприятна была бычачья, самоуверенная, чувственная фигура старика Корчагина, неприятны были французские фразы славянофилки Катерины Алексеевны, неприятны были стесненные лица гувернантки и репетитора, особенно неприятно было местоимение «ему», сказанное о нем... Нехлюдов всегда колебался между двумя отношениями к Мисси: то он, как бы прищуриваясь или как бы при лунном свете, видел в ней все прекрасное: она казалась ему и свежа, и красива, и умна, и естественна... А то вдруг он, как бы при ярком солнечном свете, видел, не мог не видеть того, чего недоставало ей. Нынче был для него такой день. Он видел нынче все морщинки на ее лице, знал, видел, как взбиты волосы, видел остроту локтей и, главное, видел широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца.

— Прескучная игра,— сказал Колосов о теннисе,— гораздо веселее была лапта, как мы играли в детстве.

— Нет, вы не испытали. Это страшно увлекательно,— возразила Мисси, особенно ненатурально произнося слово «страшно», как показалось Нехлюдову.

---

[1] изящна *(фр.)*.
[2] теннисе *(англ.)*.

И начался спор, в котором приняли участие и Михаил Сергеевич и Катерина Алексеевна. Только гувернантка, репетитор и дети молчали и, видимо, скучали.

— Вечно спорят! — громко хохоча, проговорил старик Корчагин, вынимая салфетку из-за жилета, и, гремя стулом, который тотчас же подхватил лакей, встал из-за стола. За ним встали и все остальные и подошли к столику, где стояли полоскательницы и налита была теплая душистая вода, и, выполаскивая рты, продолжали никому не интересный разговор.

— Не правда ли? — обратилась Мисси к Нехлюдову, вызывая его на подтверждение своего мнения о том, что ни в чем так не виден характер людей, как в игре. Она видела на его лице то сосредоточенное и, как ей казалось, осудительное выражение, которого она боялась в нем, и хотела узнать, чем оно вызвано.

— Право, не знаю, я никогда не думал об этом,— отвечал Нехлюдов.

— Пойдемте к мама? — спросила Мисси.

— Да, да,— сказал он, доставая папироску, и таким тоном, который явно говорил, что ему не хотелось бы идти.

Она молча, вопросительно посмотрела на него, и ему стало совестно. «В самом деле, приехать к людям для того, чтобы наводить на них скуку»,— подумал он о себе и, стараясь быть любезным, сказал, что с удовольствием пойдет, если княгиня примет.

— Да, да, мама будет рада. Курить и там можете. И Иван Иванович там.

Хозяйка дома, княгиня Софья Васильевна, была лежачая дама. Она восьмой год при гостях лежала, в кружевах и лентах, среди бархата, позолоты, слоновой кости, бронзы, лака и цветов и никуда не ездила и принимала, как она говорила, только «своих друзей», то есть все то, что, по ее мнению, чем-нибудь выделялось из толпы. Нехлюдов был принимаем в числе этих друзей и потому, что он считался умным молодым человеком, и потому, что его мать была близким другом семьи, и потому, что хорошо бы было, если бы Мисси вышла за него.

Комната княгини Софьи Васильевны была за большою и маленькой гостиными. В большой гостиной Мисси, шедшая впереди Нехлюдова, решительно остановилась и, взявшись за спинку золоченого стульчика, посмотрела на него.

Мисси очень хотела выйти замуж, и Нехлюдов был хорошая партия. Кроме того, он нравился ей, и она приучила себя к мысли, что он будет ее (не она будет его, а он ее), и она с бессознательной, но упорной хитростью, такою, какая бывает у душевнобольных, достигала своей цели. Она заговорила с ним теперь, чтобы вызвать его на объяснение.

— Я вижу, что с вами случилось что-то,— сказала она.— Что с вами?

Он вспомнил про свою встречу в суде, нахмурился и покраснел.

— Да, случилось,— сказал он, желая быть правдивым,— и странное, необыкновенное и важное событие.

— Что же? Вы не можете сказать, что?

— Не могу теперь. Позвольте не говорить. Случилось то, что́ я еще не успел вполне обдумать,— сказал он и покраснел еще более.

— И вы не скажете мне? — Мускул на лице ее дрогнул, и она двинула стульчиком, за который держалась.

— Нет, не могу,— отвечал он, чувствуя, что, отвечая ей так, он отвечал себе, признавая, что действительно с ним случилось что-то очень важное.

— Ну, так пойдемте.

Она тряхнула головой, как бы отгоняя ненужные мысли, и пошла вперед более быстрым, чем обыкновенно, шагом.

Ему показалось, что она неестественно сжала рот, чтобы удержать слезы. Ему стало совестно и больно, что он огорчил ее, но он знал, что малейшая слабость погубит его, то есть свяжет. А он нынче боялся этого больше всего, и он молча дошел с ней до кабинета княгини.

XXVII

Княгиня Софья Васильевна кончила свой обед, очень утонченный и очень питательный, который она съедала всегда одна, чтобы никто не видал ее в этом непоэтическом отправлении. У кушетки ее стоял столик с кофе, и она курила пахитоску. Княгиня Софья Васильевна была худая, длинная, все еще молодящаяся брюнетка с длинными зубами и большими черными глазами.

Говорили дурное про ее отношения с доктором. Нехлюдов прежде забывал это, но нынче он не только

вспомнил, но, когда он увидал у ее кресла доктора с его намасленной, лоснящейся раздвоенной бородой, ему стало ужасно противно.

Рядом с Софьей Васильевной на низком мягком кресле сидел Колосов у столика и помешивал кофе. На столике стояла рюмка ликера.

Мисси вошла вместе с Нехлюдовым к матери, но не осталась в комнате.

— Когда мама устанет и прогонит вас, приходите ко мне,— сказала она, обращаясь к Колосову и Нехлюдову таким тоном, как будто ничего не произошло между ними, и, весело улыбнувшись, неслышно шагая по толстому ковру, вышла из комнаты.

— Ну, здравствуйте, мой друг, садитесь и рассказывайте,— сказала княгиня Софья Васильевна с своей искусной, притворной, совершенно похожей на натуральную, улыбкой, открывавшей прекрасные длинные зубы, чрезвычайно искусно сделанные, совершенно такие же, какими были настоящие.— Мне говорят, что вы приехали из суда в очень мрачном настроении. Я думаю, что это очень тяжело для людей с сердцем,— сказала она по-французски.

— Да, это правда,— сказал Нехлюдов,— часто чувствуешь свою не... чувствуешь, что не имеешь права судить...

— Comme c'est vrai[1],— как будто пораженная истинностью его замечания, воскликнула она, как всегда искусно льстя своему собеседнику.

— Ну, а что же ваша картина, она очень интересует меня,— прибавила она.— Если бы не моя немощь, уж я давно бы была у вас.

— Я совсем оставил ее,— сухо отвечал Нехлюдов, которому нынче неправдивость ее лести была так же очевидна, как и скрываемая ею старость. Он никак не мог настроить себя, чтобы быть любезным.

— Напрасно! Вы знаете, мне сказал сам Репин, что у него положительный талант,— сказала она, обращаясь к Колосову.

«Как ей не совестно так врать»,— хмурясь, думал Нехлюдов.

Убедившись, что Нехлюдов не в духе и нельзя его вовлечь в приятный и умный разговор, Софья Васильевна обратилась к Колосову с вопросом об его мнении

[1] Как это верно *(фр.)*.

о новой драме таким тоном, как будто это мнение Колосова должно было решить всякие сомнения и каждое слово этого мнения должно быть увековечено. Колосов осуждал драму и высказывал по этому случаю свои суждения об искусстве. Княгиня Софья Васильевна поражалась верностью его суждений, пыталась защищать автора драмы, но тотчас же или сдавалась, или находила среднее. Нехлюдов смотрел и слушал и видел и слышал совсем не то, что было перед ним.

Слушая то Софью Васильевну, то Колосова, Нехлюдов видел, во-первых, что ни Софье Васильевне, ни Колосову нет никакого дела ни до драмы, ни друг до друга, а что если они говорят, то только для удовлетворения физиологической потребности после еды пошевелить мускулами языка и горла; во-вторых, то, что Колосов, выпив водки, вина, ликера, был немного пьян, не так пьян, как бывают пьяны редко пьющие мужики, но так, как бывают пьяны люди, сделавшие себе из вина привычку. Он не шатался, не говорил глупостей, но был в ненормальном, возбужденно-довольном собою состоянии; в-третьих, Нехлюдов видел то, что княгиня Софья Васильевна среди разговора с беспокойством смотрела на окно, через которое до нее начинал доходить косой луч солнца, который мог слишком ярко осветить ее старость.

— Как это верно,— сказала она про какое-то замечание Колосова и пожала в стене у кушетки пуговку звонка.

В это время доктор встал и, как домашний человек, ничего не говоря, вышел из комнаты. Софья Васильевна проводила его глазами, продолжая разговор.

— Пожалуйста, Филипп, опустите эту гардину,— сказала она, указывая глазами на гардину окна, когда на звонок ее вошел красавец лакей.

— Нет, как ни говорите, в нем есть мистическое, а без мистического нет поэзии,— говорила она, одним черным глазом сердито следя за движениями лакея, который опускал гардину.

— Мистицизм без поэзии — суеверие, а поэзия без мистицизма — проза,— сказала она, печально улыбаясь и не спуская взгляда с лакея, который расправлял гардину.

— Филипп, вы не ту гардину,— у большого окна,— страдальчески проговорила Софья Васильевна, очевидно жалевшая себя за те усилия, которые ей нужно было

сделать, чтобы выговорить эти слова, и тотчас же для успокоения поднося ко рту рукой, покрытой перстнями, пахучую дымящуюся пахитоску.

Широкогрудый, мускулистый красавец Филипп слегка поклонился, как бы извиняясь, и, слегка ступая по ковру своими сильными, с выдающимися икрами ногами, покорно и молча перешел к другому окну и, старательно взглядывая на княгиню, стал так расправлять гардину, чтобы ни один луч не смел падать на нее. Но и тут он сделал не то, и опять измученная Софья Васильевна должна была прервать свою речь о мистицизме и поправить непонятливого и безжалостно тревожащего ее Филиппа. На мгновение в глазах Филиппа вспыхнул огонек.

«А черт тебя разберет, что тебе нужно,— вероятно, внутренно проговорил он»,— подумал Нехлюдов, наблюдая всю эту игру. Но красавец и силач Филипп тотчас же скрыл свое движение нетерпения и стал покойно делать то, что приказывала ему изможденная, бессильная, вся фальшивая княгиня Софья Васильевна.

— Разумеется, есть большая доля правды в учении Дарвина,— говорил Колосов, развалясь на низком кресле, сонными глазами глядя на княгиню Софью Васильевну,— но он переходит границы. Да.

— А вы верите в наследственность? — спросила княгиня Софья Васильевна Нехлюдова, тяготясь его молчанием.

— В наследственность? — переспросил Нехлюдов.— Нет, не верю,— сказал он, весь поглощенный в эту минуту теми странными образами, которые почему-то возникли в его воображении. Рядом с силачом, красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе Колосова нагим, с его животом в виде арбуза, плешивой головой и безмускульными, как плети, руками. Так же смутно представлялись ему и закрытые теперь шелком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они должны быть в действительности, но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его.

Софья Васильевна смерила его глазами.

— Однако Мисси вас ждет,— сказала она.— Подите к ней, она хотела вам сыграть новую вещь Шумана... Очень интересно.

«Ничего она не хотела играть. Все это она для чего-то врет»,— подумал Нехлюдов, вставая и пожимая про-

зрачную, костлявую, покрытую нерстнями руку Софьи Васильевны.

В гостиной его встретила Катерина Алексеевна и тотчас же заговорила.

— Однако я вижу, что на вас обязанности присяжного действуют угнетающе,— сказала она, как всегда, по-французски.

— Да, простите меня, я нынче не в духе и не имею права на других наводить тоску,— сказал Нехлюдов.

— Отчего вы не в духе?

— Позвольте мне не говорить отчего,— сказал он, отыскивая свою шляпу.

— А помните, как вы говорили, что надо всегда говорить правду, и как вы тогда всем нам говорили такие жестокие правды. Отчего же теперь вы не хотите сказать? Помнишь, Мисси? — обратилась Катерина Алексеевна к вышедшей к ним Мисси.

— Оттого, что то была игра,— ответил Нехлюдов серьезно.— В игре можно. А в действительности мы так дурны, то есть я так дурен, что мне по крайней мере говорить правды нельзя.

— Не поправляйтесь, а лучше скажите, чем же мы так дурны,— сказала Катерина Алексеевна, играя словами и как бы не замечая серьезности Нехлюдова.

— Нет ничего хуже, как признавать себя не в духе,— сказала Мисси.— Я никогда не признаюсь в этом себе и от этого всегда бываю в духе. Что ж, пойдемте ко мне. Мы постараемся разогнать вашу mauvaise humeur [1].

Нехлюдов испытал чувство, подобное тому, которое должна испытывать лошадь, когда ее оглаживают, чтобы надеть узду и вести запрягать. А ему нынче больше чем когда-нибудь было неприятно возить. Он извинился, что ему надо домой, и стал прощаться. Мисси дольше обыкновенного удержала его руку.

— Помните, что то, что важно для вас, важно и для ваших друзей,— сказала она.— Завтра приедете?

— Едва ли,— сказал Нехлюдов, и, чувствуя стыд, он сам не знал, за себя или за нее, он покраснел и поспешно вышел.

— Что такое? Comme cela m'intrigue [2],— говорила Катерина Алексеевна, когда Нехлюдов ушел.— Я не-

[1] дурное настроение *(фр.)*.
[2] Как это меня занимает *(фр.)*.

пременно узнаю. Какая-нибудь affaire d'amour-propre: il est très susceptible, notre cher Митя [1].

«Plutôt une affaire d'amour sale» [2],— хотела сказать и не сказала Мисси, глядя перед собой с совершенно другим, потухшим лицом, чем то, с каким она смотрела на него, но она не сказала даже Катерине Алексеевне этого каламбура дурного тона, а сказала только:

— У всех нас бывают и дурные и хорошие дни.

«Неужели и этот обманет,— подумала она.— После всего, что было, это было бы очень дурно с его стороны».

Если бы Мисси должна была объяснить, что она разумеет под словами: «после всего, что было», она не могла бы ничего сказать определенного, а между тем она несомненно знала, что он не только вызвал в ней надежду, но почти обещал ей. Все это были не определенные слова, но взгляды, улыбки, намеки, умолчания. Но она все-таки считала его своим, и лишиться его было для нее очень тяжело.

XXVIII

«Стыдно и гадко, гадко и стыдно»,— думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Тяжелое чувство, испытанное им от разговора с Мисси, не покидало его. Он чувствовал, что формально, если можно так выразиться, он был прав перед нею: он ничего не сказал ей такого, что бы связывало его, не делал ей предложения, но по существу он чувствовал, что связал себя с нею, обещал ей, а между тем нынче он почувствовал всем существом своим, что не может жениться на ней. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно,— повторял он себе не об одних отношениях к Мисси, но обо всем.— Все гадко и стыдно»,— повторял он себе, входя на крыльцо своего дома.

— Ужинать не буду,— сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай.— Вы идите.

— Слушаю,— сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы

[1] Какое-нибудь дело, в котором замешано самолюбие: он очень обидчив, наш дорогой Митя *(фр.)*.

[2] Скорее дело, в котором замешана грязная любовь *(фр.)*.

все оставили его в покое, а ему казалось, что все, как нарочно, назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай, но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта — гостиная — была та самая, в которой три месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную двумя лампами с рефлекторами — одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий, а в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий.

Желая вызвать в себе хорошее воспоминание о ней, он взглянул на ее портрет, за пять тысяч рублей написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном черном платье, с обнаженной грудью. Художник, очевидно, с особенным стараньем выписал грудь, промежуток между двумя грудями и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдно и гадко. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы. Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате три месяца тому назад лежала эта женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, но и весь дом. Ему казалось, что он и теперь слышал этот запах. И он вспомнил, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой чернеющей ручкой, посмотрела ему в глаза и сказала: «Не суди меня, Митя, если я не то сделала», и на выцветших от страданий глазах выступили слезы. «Какая гадость!» — сказал он себе еще раз, взглянув на полуобнаженную женщину с великолепными мраморными плечами и руками и с своей победоносной улыбкой. Обнаженность груди на портрете напомнила ему другую молодую женщину, которую он видел на днях также обнаженной. Это была Мисси, которая придумала предлог вызвать его вечером к себе, чтобы показаться ему в бальном платье, в котором она ехала на бал. Он с отвра-

щением вспомнил об ее прекрасных плечах и руках. И этот грубый, животный отец с своим прошедшим, жестокостью и сомнительной репутацией bel esprit[1] мать. Все это было отвратительно и вместе с тем стыдно. Стыдно и гадко, гадко и стыдно.

«Нет, нет,— думал он,— освободиться надо, освободиться от всех этих фальшивых отношений и с Корчагиными, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным... Да, подышать свободно. Уехать за границу — в Рим, заняться своей картиной...— Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта.— Ну, да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества. И устроить это дело с адвокатом».

И вдруг в его воображении с необыкновенною живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он поспешно, туша ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другою стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутреню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь, любил ее еще прежде, да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение!» И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно.

Различие между ним, каким он был тогда и каким он был теперь, было огромно: оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности,— теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить.

[1] остроумия *(фр.)*.

Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив и как он теперь был весь во лжи — в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере он не видел из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней.

Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Мисси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. «Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает, загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги».

И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее. «Ах, эти деньги! — с ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту.— Ах, ах! какая гадость! — так же, как и тогда, вслух проговорил он.— Только мерзавец, негодяй мог это сделать! И я, я тот негодяй и тот мерзавец! — вслух заговорил он.— Да неужели в самом деле,— он остановился на ходу,— неужели я в самом деле, неужели я точно негодяй? А то кто же? — ответил он себе.— Да разве это одно? — продолжал он уличать себя.— Разве не гадость, не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу? И твое отношение к имуществу? Под предлогом, что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным. И вся твоя праздная, скверная жизнь. И венец всего — твой поступок с Катюшей. Негодяй, мерзавец! Они (люди) как хотят пусть судят обо мне, их я могу обмануть, но себя-то я не обману».

И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Мисси, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело: в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное.

С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл «чисткой души». Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки.

Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда: писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять,— turning a new leaf[1], как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал, и часто ниже того, каким он был прежде.

Так он очищался и поднимался несколько раз; так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение. И последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью.

С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки, и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел, и он ужаснулся, увидев это расстояние.

Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло,— говорил в душе его голос искусителя,— так что же пробовать еще раз? Не ты один, а все такие — такова жизнь»,— говорил этот голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть,— для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно.

«Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все и всем скажу правду и сде-

[1] перевернуть страницу *(англ.)*.

лаю правду,— решительно вслух сказал он себе.— Скажу правду Мисси, что я распутник и не могу жениться на ней и только напрасно тревожил ее; скажу Марье Васильевне (жене предводителя). Впрочем, ей нечего говорить, скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощенья, как дети просят.— Он остановился.— Женюсь на ней, если это нужно».

Он остановился, сложил руки перед грудью, как он делал это, когда был маленький, поднял глаза кверху и проговорил, обращаясь к кому-то:

— Господи, помоги мне, научи меня, прииди и вселися в меня и очисти меня от всякия скверны!

Он молился, просил бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чем он просил, уже совершилось. Бог, живший в нем, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал все могущество добра. Все, все самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать.

На глазах его были слезы, когда он говорил себе это, и хорошие и дурные слезы; хорошие слезы потому, что это были слезы радости пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем, и дурные потому, что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью.

Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная тихая свежая ночь, по улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащая на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучья деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу и на тень тополя и вдыхал живительный свежий воздух.

«Как хорошо! Как хорошо, боже мой, как хорошо!» — говорил он про то, что было в его душе.

XXIX

Маслова вернулась домой в свою камеру только в шесть часов вечера, усталая и больная ногами после пройденных без привычки пятнадцати верст по камню, убитая неожиданно строгим приговором, сверх того голодная.

Когда еще во время одного перерыва сторожа закусывали подле нее хлебом и крутыми яйцами, у нее рот наполнился слюной, и она почувствовала, что голодна, но попросить у них она считала для себя унизительным. Когда же после этого прошло еще три часа, ей уже перестало хотеться есть, и она чувствовала только слабость. В таком состоянии она услыхала неожиданный ею приговор. В первую минуту она подумала, что ослышалась, не могла сразу поверить тому, что слышала, не могла соединить себя с понятием каторжанки. Но, увидав спокойные, деловые лица судей, присяжных, принявших это известие как нечто вполне естественное, она возмутилась и закричала на всю залу, что она не виновата. Но, увидав то, что и крик ее был принят также как нечто естественное, ожидаемое и не могущее изменить дела, она заплакала, чувствуя, что надо покориться той жестокой и удивившей ее несправедливости, которая была произведена над ней. Удивляло ее в особенности то, что так жестоко осудили ее мужчины — молодые, не старые мужчины, те самые, которые всегда так ласково смотрели на нее. Одного — товарища прокурора — она видала совсем в другом настроении. В то время как она сидела в арестантской, дожидаясь суда, и в перерывах заседания она видела, как эти мужчины, притворяясь, что они идут за другим делом, проходили мимо дверей или входили в комнату только затем, чтобы оглядеть ее. И вдруг эти самые мужчины зачем-то приговорили ее в каторгу, несмотря на то, что она была невинна в том, в чем ее обвиняли. Сначала она плакала, но потом затихла и в состоянии полного отупения сидела в арестантской, дожидаясь отправки. Ей хотелось теперь только одного: покурить. В таком состоянии застали ее Бочкова и Картинкин, которых после приговора ввели в ту же комнату. Бочкова тотчас начала бранить Маслову и называть каторжной.

— Что, взяла? Оправилась? Небось не отвертелась, шлюха подлая. Чего заслужила, того и доспела. На каторге небось франтовство оставишь.

Маслова сидела, засунув руки в рукава халата, и, склонив низко голову, неподвижно смотрела на два шага перед собой, на затоптанный пол, и только говорила:

— Не трогаю я вас, вы и оставьте меня. Ведь я не трогаю,— повторила она несколько раз, потом совсем замолчала. Оживилась она немного только тогда, когда Картинкина и Бочкову увели и сторож принес ей три рубля денег.

— Ты Маслова? — спросил он.— На вот, тебе барыня прислала,— сказал он, подавая ей деньги.

— Какая барыня?

— Бери знай, разговаривать еще с вами.

Деньги эти прислала Китаева, содержательница дома терпимости. Уходя из суда, она обратилась к судебному приставу с вопросом, может ли она передать несколько денег Масловой. Судебный пристав сказал, что можно. Тогда, получив разрешение, она сняла замшевую перчатку с тремя пуговицами с пухлой белой руки, достала из задних складок шелковой юбки модный бумажник и, выбрав из довольно большого количества купонов, только что срезанных с билетов, заработанных ею в своем доме, один — в два рубля пятьдесят копеек, и присоединив к нему два двугривенных и еще гривенник, передала их приставу. Пристав позвал сторожа и при жертвовательнице передал эти деньги сторожу.

— Пожалуйста, верно отдавайте,— сказала Каролина Альбертовна сторожу.

Сторож обиделся за это недоверие и потому так сердито обошелся с Масловой.

Маслова обрадовалась деньгам, потому что они давали ей то, чего одного она желала теперь.

«Только бы добыть папирос и затянуться»,— думала она, и все мысли ее сосредоточились на этом желании покурить. Ей так хотелось этого, что она жадно вдыхала воздух, когда в нем чувствовался запах табачного дыма, выходившего в коридор из дверей кабинетов. Но ей пришлось еще долго ждать, потому что секретарь, которому надо было отпустить ее, забыв про подсудимых, занялся разговором и даже спором о запрещенной статье с одним из адвокатов. Несколько и молодых и старых людей заходили и после суда взглянуть на нее, что-то шепча друг другу. Но она теперь и не замечала их.

Наконец в пятом часу ее отпустили, и конвойные — нижегородец и чувашин — повели ее из суда задним хо-

дом. Еще в сенях суда она передала им двадцать копеек, прося купить два калача и папирос. Чувашин засмеялся, взял деньги и сказал:

— Ладно, купаем,— и действительно честно купил и папирос и калачей и отдал сдачу.

Дорогой нельзя было курить, так что Маслова с тем же неудовлетворенным желанием курения подошла к острогу. В то время как ее привели к дверям, с поезда железной дороги привели человек сто арестантов. В проходе она столкнулась с ними.

Арестанты — бородатые, бритые, старые, молодые, русские, инородцы, некоторые с бритыми полуголовами, гремя ножными кандалами, наполняли прихожую пылью, шумом шагов, говором и едким запахом пота. Арестанты, проходя мимо Масловой, все жадно оглядывали ее, и некоторые с измененными похотью лицами подходили к ней и задевали ее.

— Ай, девка, хороша,— говорил один.

— Тетеньке мое почтение,— говорил другой, подмигивая глазом.

Один, черный, с выбритым синим затылком и усами на бритом лице, путаясь в кандалах и гремя ими, подскочил к ней и обнял ее.

— Аль не спознала дружка? Будет модничать-то! — крикнул он, оскаливая зубы и блестя глазами, когда она оттолкнула его.

— Ты что, мерзавец, делаешь? — крикнул подошедший сзади помощник начальника.

Арестант весь сжался и поспешно отскочил. Помощник же накинулся на Маслову.

— Ты зачем тут?

Маслова хотела сказать, что ее привели из суда, но она так устала, что ей лень было говорить.

— Из суда, ваше благородие,— сказал старший конвойный, выходя из-за проходивших и прикладывая руку к шапке.

— Ну, и сдай старшому. А это что за безобразие!

— Слушаю, ваше благородие.

— Соколов! Принять,— крикнул помощник.

Старшой подошел и сердито ткнул Маслову в плечо и, кивнув ей головой, повел ее в женский коридор. В женском коридоре ее всю ощупали, обыскали и, не найдя ничего (коробка папирос была засунута в калаче), впустили в ту же камеру, из которой она вышла утром.

XXX

Камера, в которой содержалась Маслова, была длинная комната, в девять аршин длины и семь ширины, с двумя окнами, выступающею облезлой печкой и парами с рассохшимися досками, занимавшими две трети пространства. В середине, против двери, была темная икона с приклеенною к ней восковой свечкой и подвешенным под ней запыленным букетом иммортелек. За дверью налево было почерневшее место пола, на котором стояла вонючая кадка. Поверка только что прошла, и женщины уже были заперты на ночь.

Всех обитательниц этой камеры было пятнадцать: двенадцать женщин и трое детей.

Было еще совсем светло, и только две женщины лежали на нарах: одна, укрытая с головой халатом,— дурочка, взятая за бесписьменность,— эта всегда почти спала,— а другая — чахоточная, отбывавшая наказание за воровство. Эта не спала, а лежала, подложив под голову халат, с широко открытыми глазами, с трудом, чтобы не кашлять, удерживая в горле щекочущую ее и переливающуюся мокроту. Остальные женщины,— все простоволосые и в одних сурового полотна рубахах,— некоторые сидели на нарах и шили, некоторые стояли у окна и смотрели на проходивших по двору арестантов. Из тех трех женщин, которые шили, одна была та самая старуха, которая провожала Маслову,— Кораблева, мрачного вида, насупленная, морщинистая, с висевшим мешком кожи под подбородком, высокая, сильная женщина с короткой косичкой русых седеющих на висках волос и с волосатой бородавкой на щеке. Старуха эта была приговорена к каторге за убийство топором мужа. Убила же она его за то, что он приставал к ее дочери. Она была старостихой камеры, она же и торговала вином. Она шила в очках и держала в больших рабочих руках иголку по-крестьянски, тремя пальцами и острием к себе. Рядом с ней сидела и также шила мешки из парусины невысокая курносая черноватая женщина с маленькими черными глазами, добродушная и болтливая. Это была сторожиха при железнодорожной будке, присужденная к трем месяцам тюрьмы за то, что не вышла с флагом к поезду, с поездом же случилось несчастье. Третья шившая женщина была Федосья — Феничка, как ее звали товарки,— белая, румя-

ная, с ясными детскими голубыми глазами и двумя длинными русыми косами, обернутыми вокруг небольшой головы, совсем молодая, миловидная женщина. Она содержалась за покушение отравить мужа. Попыталась она отравить мужа тотчас же после замужества, в которое была выдана шестнадцатилетней девочкой. В те восемь месяцев, во время которых она, будучи взята на поруки, ожидала суда, она не только помирилась с мужем, но так полюбила его, что суд застал ее живущей с мужем душа в душу. Несмотря на то, что муж и свекор и в особенности полюбившая ее свекровь старались на суде всеми силами оправдать ее, она была приговорена к ссылке в Сибирь, в каторжные работы. Добрая, веселая, часто улыбающаяся Федосья эта была соседка Масловой по нарам и не только полюбила Маслову, но признала своей обязанностью заботиться о ней и служить ей. Без дела сидели на нарах еще две женщины, одна лет сорока, с бледным худым лицом, вероятно когда-то очень красивая, теперь худая и бледная. Она держала на руках ребенка и кормила его белой длинной грудью. Преступление ее состояло в том, что, когда из их деревни везли рекрута, по понятиям мужиков незаконно взятого, народ остановил станового и отнял рекрута. Женщина же эта, тетка незаконно взятого малого, первая схватила за повод лошадь, на которой везли рекрута. Еще сидела без дела на нарах невысокая, вся в морщинках, добродушная старушка, с седыми волосами и горбатой спиной. Старушка эта сидела у печки на нарах и делала вид, что ловит четырехлетнего коротко обстриженного пробегавшего мимо нее толстопузого, заливавшегося смехом мальчика. Мальчишка в одной рубашонке пробегал мимо нее и приговаривал все одно и то же: «Ишь, не поймала!» Старушка эта, обвинявшаяся вместе с сыном в поджоге, переносила свое заключение с величайшим добродушием, сокрушаясь только о сыне, сидевшем с ней одновременно в остроге, но более всего о своем старике, который, она боялась, совсем без нее завшивеет, так как невестка ушла и его обмывать некому.

Кроме этих семи женщин, еще четыре стояли у одного из открытых окон и, держась за железную решетку, знаками и криками переговаривались с проходившими по двору теми самыми арестантами, с которыми столкнулась Маслова у входа. Одна из этих женщин,

отбывавшая наказание за воровство, была большая, грузная, с обвисшим телом рыжая женщина, с желтовато-белыми, покрытыми веснушками лицом, руками и толстой шеей, выставлявшейся из-за развязанного раскрытого ворота. Она громко кричала в окно хриплым голосом неприличные слова. С ней рядом стояла, ростом с десятилетнюю девочку, черноватая нескладная арестантка с длинной спиной и совсем короткими ногами. Лицо у ней было красное, в пятнах, с широко расставленными черными глазами и толстыми короткими губами, не закрывавшими белые выпирающие зубы. Она визгливо, урывками, смеялась тому, что происходило на дворе. Арестантка эта, прозывавшаяся Хорошавкой за свое щегольство, судилась за кражу и поджог. Позади их стояла в очень грязной серой рубахе жалкого вида худая, жилистая и с огромным животом беременная женщина, судившаяся за укрывательство кражи. Женщина эта молчала, но все время одобрительно и умиленно улыбалась на то, что происходило на дворе. Четвертая, стоявшая у окна, была отбывающая наказание за корчемство невысокая, коренастая деревенская женщина с очень выпуклыми глазами и добродушным лицом. Женщина эта — мать мальчишки, игравшего с старушкой, и семилетней девочки, бывшей с ней же в тюрьме, потому что не с кем было оставить их,— так же, как и другие, смотрела в окно, но не переставая вязала чулок и неодобрительно морщилась, закрывая глаза, на то, что говорили со двора проходившие арестанты. Дочка же ее, семилетняя девочка с распущенными белыми волосами, стоя в одной рубашонке рядом с рыжей и ухватившись худенькой маленькой ручонкой за ее юбку, с остановившимися глазами внимательно вслушивалась в те ругательные слова, которыми перекидывались женщины с арестантами, и шепотом, как бы заучивая, повторяла их. Двенадцатая арестантка была дочь дьячка, утопившая в колодце прижитого ею ребенка. Это была высокая, статная девушка с спутанными волосами, выбивавшимися из недлинной толстой русой косы, и остановившимися выпуклыми глазами. Она, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг нее, ходила босая и в одной грязной серой рубахе взад и вперед по свободному месту камеры, круто и быстро поворачиваясь, когда доходила до стены.

XXXI

Когда загремел замок и Маслову впустили в камеру, все обратились к ней. Даже дочь дьячка на минуту остановилась, посмотрела на вошедшую, подняв брови, но, ничего не сказав, тотчас же пошла опять ходить своими большими, решительными шагами. Кораблева воткнула иголку в суровую холстину и вопросительно через очки уставилась на Маслову.

— Э, эхма! Вернулась. А я таки думала, что оправят,— сказала она своим хриплым, басистым, почти мужским голосом.— Видно, закатали.

Она сняла очки и положила свое шитье рядом на нары.

— Мы и то с тетенькой, касатка, переговаривались, може, сразу ослобопят. Тоже, сказывали, бывает. Еще и денег надают, под какой час попадешь,— тотчас же начала своим певучим голосом сторожиха.— Ан, вот оно что. Видно, сгад наш не в руку. Господь, видно, свое, касатка,— не умолкая, вела она свою ласковую и благозвучную речь.

— Ужли ж присудили? — спросила Федосья, с сострадательной нежностью глядя на Маслову своими детскими ясно-голубыми глазами, и все веселое молодое лицо ее изменилось, точно она готова была заплакать.

Маслова ничего не отвечала и молча прошла к своему месту, второму с края, рядом с Кораблевой, и села на доски нар.

— Я чай, и не поела,— сказала Федосья, вставая и подходя к Масловой.

Маслова, не отвечая, положила калачи на изголовье и стала раздеваться: сняла пыльный халат и косынку с курчавящихся черных волос и села.

Игравшая на другом конце нар с мальчиком горбатая старушка подошла тоже и остановилась против Масловой.

— Тц, тц, тц! — жалостливо покачав головой, защелкала она языком.

Мальчишка подошел тоже за старушкой и, широко открыв глаза и выпятив уголком верхнюю губу, уставился на калачи, которые принесла Маслова. Увидав все эти сочувственные лица после всего того, что с ней было нынче, Масловой захотелось плакать, и у ней задрожали губы. Но она старалась удержаться и удержи-

валась до тех пор, пока не подошла старушка и мальчишка. Когда же она услыхала доброе, жалостливое тцыканье старушки и, главное, когда встретилась глазами с мальчишкой, переведшим свои серьезные глаза с калачей на нее, она уже не могла удерживаться. Все лицо ее задрожало, и она разрыдалась.

— Я говорила: добывай защитника настоящего,— сказала Кораблева.— Что же, на высылку? — спросила она.

Маслова хотела ответить и не могла, а, рыдая, достала из калача коробку с папиросами, на которой была изображена румяная дама в очень высокой прическе и с открытой треугольником грудью, и подала ее Кораблевой. Кораблева поглядела на картинку, покачала неодобрительно головой, преимущественно на то, что Маслова так дурно тратила деньги, и, достав одну папироску, закурила ее о лампу, затянулась сама, а потом сунула Масловой. Маслова, не переставая плакать, жадно стала раз за разом втягивать в себя и выпускать табачный дым.

— Каторга,— проговорила она, всхлипывая.

— Не боятся они бога, мироеды, кровопийцы проклятые,— проговорила Кораблева.— Ни за что засудили девку.

В это время среди оставшихся у окон женщин раздался раскат хохота. Девочка тоже смеялась, и ее тонкий детский смех сливался с хриплым и визгливым смехом других трех. Арестант со двора что-то сделал такое, что подействовало так на смотревших в окна.

— Ах, кобель бритый! Что делает,— проговорила рыжая и, колеблясь всем жирным телом, прижавшись лицом к решеткам, закричала бессмысленно неприличные слова.

— То-то шкура барабанная! Чего гогочет! — сказала Кораблева, покачав головою на рыжую, и опять обратилась к Масловой: — Много ли годов?

— Четыре,— сказала Маслова, и слезы полились так обильно из ее глаз, что одна попала на папиросу.

Маслова сердито скомкала, бросила ее и взяла другую.

Сторожиха, хотя и не курившая, тотчас же подняла окурок и стала расправлять его, не переставая разговаривать.

— Видно, и вправду, касатка,— говорила она,— правду-то боров сжевал. Делают, что хотят. Матвеевна

говорит: ослобонят, а я говорю: нет, говорю, касатка, чует мое сердце, заедят они ее, сердешную, так и вышло,— говорила она, с удовольствием слушая звук своего голоса.

В это время арестанты уж все прошли через двор, и женщины, переговаривавшиеся с ними, отошли от окон и тоже подошли к Масловой. Первая подошла пучеглазая корчемница с своей девочкой.

— Что же дюже строго? — спросила она, подсаживаясь к Масловой и продолжая быстро вязать чулок.

— Оттого и строго, что денег нет. Были бы денежки да хорошего ловкача нанять, небось оправдали бы,— сказала Кораблева.— Тот, как бишь его, лохматый, носастый,— тот, сударыня моя, из воды сухого выведет. Кабы его взять.

— Как же, взяла,— оскалив зубы, сказала подсевшая к ним Хорошавка,— тот меньше тысячи и плюнуть тебе не возьмет.

— Да уж, видно, такая твоя планида,— вступилась старушка, сидевшая за поджигательство.— Легко ли: отбил жену у малого, да его же вшей кормить засадил и меня туды ж на старости лет,— начала она в сотый раз рассказывать свою историю.— От тюрьмы да от сумы, видно, не отказывайся. Не сума — так тюрьма.

— Видно, у них все так,— сказала корчемница и, вглядевшись в голову девочки, положила чулок подле себя, притянула к себе девочку между ног и начала быстрыми пальцами искать ей в голове.— «Зачем вином торгуешь?» — А чем же детей кормить? — говорила она, продолжая свое привычное дело.

Эти слова корчемницы напомнили Масловой о вине.

— Винца бы,— сказала она Кораблевой, утирая рукавами рубахи слезы и только изредка всхлипывая.

— *Гамырки?* Что ж, давай,— сказала Кораблева.

XXXII

Маслова достала из калача же деньги и подала Кораблевой купон. Кораблева взяла купон, посмотрела и, хотя не знала грамоте, поверила все знавшей Хорошавке, что бумажка эта стоит два рубля пятьдесят копеек, и полезла к отдушнику за спрятанной там склянкой с вином. Увидав это, женщины — не соседки по нарам — отошли к своим местам. Маслова между тем вытряхну-

ла пыль из косынки и халата, влезла на нары и стала есть калач.

— Я тебе чай берегла, да остыл небось,— сказала ей Федосья, доставая с полки обернутый онучей жестяной чайник и кружку.

Напиток был совсем холоден и отзывался больше жестью, чем чаем, но Маслова налила кружку и стала запивать калач.

— Финашка, на,— крикнула она и, оторвав кусок калача, дала смотревшему ей в рот мальчику.

Кораблиха между тем подала склянку с вином и кружку. Маслова предложила Кораблевой и Хорошавке. Эти три арестантки составляли аристократию камеры, потому что имели деньги и делились тем, что имели.

Через несколько минут Маслова оживилась и бойко рассказывала про суд, передразнивая прокурора, и то, что особенно поразило ее в суде. В суде все смотрели на нее с очевидным удовольствием, рассказывала она, и то и дело нарочно для этого заходили в арестантскую.

— Конвойный и то говорит: «Это всё тебя смотреть ходят». Придет какой-нибудь: где тут бумага какая или еще что, а я вижу, что ему не бумага нужна, а меня так глазами и ест,— говорила она, улыбаясь и как бы в недоумении покачивая головой.— Тоже — артисты.

— Да уж это как есть,— подхватила сторожиха, и тотчас полилась ее певучая речь.— Это как мухи на сахар. На что другое их нет, а на это их взять. Хлебом не корми ихнего брата...

— А то и здесь,— перебила ее Маслова.— Тоже и здесь попала я. Только меня привели, а тут партия с вокзала. Так та́к одолели, что не знала, как отделаться. Спасибо, помощник отогнал. Один пристал так, что насилу отбилась.

— А какой из себя? — спросила Хорошавка.

— Черноватый, с усами.

— Должно, он.

— Кто он?

— Да Щеглов. Вот, что сейчас прошел.

— Какой такой Щеглов?

— Про Щеглова не знает! Щеглов два раза с каторги бегал. Теперь поймали, да он уйдет. Его и надзиратели боятся,— говорила Хорошавка, передававшая записки арестантам и знавшая все, что делается в тюрьме.— Беспременно уйдет.

— А уйдет, нас с собой не возьмет,— сказала Ко-

раблева.— А ты лучше вот что скажи,— обратилась она к Масловой,— что тебе аблакат сказал об прошении, ведь теперь подавать надо?

Маслова сказала, что она ничего не знает.

В это время рыжая женщина, запустив обе покрытые веснушками руки в свои спутанные густые рыжие волосы и скребя ногтями голову, подошла к пившим вино аристократкам.

— Я тебе, Катерина, все скажу,— начала она.— Перво-наперво, должна ты записать: недовольна судом, а после того к прокурору заявить.

— Да тебе чего? — сердитым басом обратилась к ней Кораблева.— Вино почуяла,— нечего зубы заговаривать. Без тебя знают, что делать, тобой не нуждаются.

— Не с тобой говорят, что встреваешь.

— Вина захотелось? Подъезжаешь.

— Да ну, поднеси ей,— сказала Маслова, всегда раздававшая всем все, что у нее было.

— Я ей такую поднесу...

— Ну, ну-ка! — надвигаясь на Кораблеву, заговорила рыжая.— Не боюсь я тебя.

— Острожная шкура!

— От такой слышу.

— Разварная требуха!

— Я требуха? Каторжная, душегубка! — закричала рыжая.

— Уйди, говорю,— мрачно проговорила Кораблева.

Но рыжая только ближе надвигалась, и Кораблева толкнула ее в открытую жирную грудь. Рыжая как будто только этого и ждала и неожиданно быстрым движеньем вцепилась одной рукой в волосы Кораблевой, а другой хотела ударить ее в лицо, но Кораблева ухватила эту руку. Маслова и Хорошавка схватили за руки рыжую, стараясь оторвать ее, но рука рыжей, вцепившаяся в косу, не разжималась. Она на мгновенье отпустила волосы, но только для того, чтобы замотать их вокруг кулака. Кораблева же с скривленной головой колотила одной рукой по телу рыжей и ловила зубами ее руку. Женщины столпились около дерущихся, разнимали и кричали. Даже чахоточная подошла к ним и, кашляя, смотрела на сцепившихся женщин. Дети прижались друг к другу и плакали. На шум вошла надзирательница с надзирателем. Дерущихся розняли, и Кораблева, распустив седую косу и выбирая из нее выдранные куски волос, а рыжая, придерживая на

желтой груди всю разодранную рубаху,— обе кричали, объясняя и жалуясь.

— Ведь я знаю, все это — вино; вот я завтра скажу смотрителю, он вас проберет. Я слышу — пахнет,— говорила надзирательница.— Смотрите, уберите все, а то плохо будет,— разбирать вас некогда. По местам, и молчать.

Но молчание долго еще не установилось. Долго еще женщины бранились, рассказывали друг другу, как началось и кто виноват. Наконец надзиратель и надзирательница ушли, и женщины стали затихать и укладываться. Старушка стала перед иконой и начала молиться.

— Собрались две каторжные,— вдруг хриплым голосом заговорила рыжая с другого конца нар, сопровождая каждое слово до странности изощренными ругательствами.

— Мотри, как бы тебе еще не влетело,— тотчас ответила Кораблева, присоединив такие же ругательства. И обе затихли.

— Только бы не помешали мне, я бы тебе бельма-то повыдрала...— опять заговорила рыжая, и опять не заставил себя ждать такой же ответ Кораблихи.

Опять промежуток молчания подольше, и опять ругательства. Промежутки становились все длиннее и длиннее, и, наконец, все совсем затихло.

Все лежали, некоторые захрапели, только старушка, всегда долго молившаяся, все еще клала поклоны перед иконой, а дочь дьячка, как только надзирательница ушла, встала и опять начала ходить взад и вперед по камере.

Не спала Маслова и все думала о том, что она каторжная,— и уж ее два раза назвали так: назвала Бочкова и назвала рыжая,— и не могла привыкнуть к этой мысли. Кораблева, лежавшая к ней спиной, повернулась.

— Вот не думала, не гадала,— тихо сказала Маслова.— Другие что делают — и ничего, а я ни за что страдать должна.

— Не тужи, девка. И в Сибири люди живут. А ты и там не пропадешь,— утешала ее Кораблева.

— Знаю, что не пропаду, да все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу надо, как я привыкла к хорошей жизни.

— Против бога не пойдешь,— со вздохом проговорила Кораблева,— против него не пойдешь.

— Знаю, тетенька, а все трудно.

Они помолчали.

— Слышишь? Распустеха-то,— проговорила Кораблева, обращая внимание Масловой на странные звуки, слышавшиеся с другой стороны нар.

Звуки эти были сдержанные рыдания рыжей женщины. Рыжая плакала о том, что ее сейчас обругали, прибили и не дали ей вина, которого ей так хотелось. Плакала она и о том, что она во всей жизни своей ничего не видала, кроме ругательств, насмешек, оскорблений и побоев. Хотела она утешиться, вспомнив свою первую любовь к фабричному, Федьке Молодёнкову, но, вспомнив эту любовь, она вспомнила и то, как кончилась эта любовь. Кончилась эта любовь тем, что этот Молодёнков в пьяном виде, для шутки, мазнул ее купоросом по самому чувствительному месту и потом хохотал с товарищами, глядя на то, как она корчилась от боли. Она вспомнила это, и ей стало жалко себя, и, думая, что никто не слышит ее, она заплакала, и плакала, как дети, стеная и сопя носом и глотая соленые слезы.

— Жалко ее,— сказала Маслова.

— Известно, жалко, а не лезь.

XXXIII

Первое чувство, испытанное Нехлюдовым на другой день, когда он проснулся, было сознание того, что с ним что-то случилось, и прежде даже чем он вспомнил, что случилось, он знал уже, что случилось что-то важное и хорошее. «Катюша, суд». Да, и надо перестать лгать и сказать всю правду. И как удивительное совпадение в это самое утро пришло наконец то давно ожидаемое письмо от Марьи Васильевны, жены предводителя, то самое письмо, которое ему теперь было особенно нужно. Она давала ему полную свободу, желала счастья в предполагаемой им женитьбе.

— Женитьба! — проговорил он иронически.— Как я теперь далек от этого!

И он вспомнил свое вчерашнее намерение все сказать ее мужу, покаяться перед ним и выразить готовность на всякое удовлетворение. Но нынче утром это показалось ему не так легко, как вчера. «И потом за-

чем делать несчастным человека, если он не знает? Если он спросит, да, я скажу ему. Но нарочно идти говорить ему? Нет, это не нужно».

Так же трудно показалось нынче утром сказать всю правду Мисси. Опять нельзя было начинать говорить,— это было бы оскорбительно. Неизбежно должно было оставаться, как и во многих житейских отношениях, нечто подразумеваемое. Одно он решил нынче утром: он не будет ездить к ним и скажет правду, если спросят его.

Но зато в отношениях с Катюшей не должно было оставаться ничего недоговоренного.

«Поеду в тюрьму, скажу ей, буду просить ее простить меня. И если нужно, да, если нужно, женюсь на ней»,— думал он.

Эта мысль о том, чтобы ради нравственного удовлетворения пожертвовать всем и жениться на ней, нынче утром особенно умиляла его.

Давно он не встречал дня с такой энергией. Вошедшей к нему Аграфене Петровне он тотчас же с решительностью, которой он сам не ожидал от себя, объявил, что не нуждается более в этой квартире и в ее услугах. Молчаливым соглашением было установлено, что он держит эту большую и дорогую квартиру для того, чтобы в ней жениться. Сдача квартиры, стало быть, имела особенное значение. Аграфена Петровна удивленно посмотрела на него.

— Очень благодарю вас, Аграфена Петровна, за все заботы обо мне, но мне теперь не нужна такая большая квартира и вся прислуга. Если же вы хотите помочь мне, то будьте так добры распорядиться вещами, убрать их покамест, как это делалось при мама. А Наташа приедет, она распорядится. (Наташа была сестра Нехлюдова.)

Аграфена Петровна покачала головой.

— Как же распорядиться? Ведь понадобятся же,— сказала она.

— Нет, не понадобятся, Аграфена Петровна, наверное не понадобятся,— сказал Нехлюдов, отвечая на то, что выражало ее покачиванье головой.— Скажите, пожалуйста, и Корнею, что жалованье я ему отдам вперед за два месяца, но что мне не нужно его.

— Напрасно, Дмитрий Иванович, вы так делаете,— выговорила она.— Ну, за границу поедете, все-таки понадобится помещение.

— Вы не то думаете, Аграфена Петровна. Я за границу не поеду; если поеду, то совсем в другое место.

Он вдруг багрово покраснел.

«Да, надо сказать ей,— подумал он,— нечего умалчивать, а надо все всем сказать».

— Со мной случилось очень странное и важное дело вчера. Вы помните Катюшу у тетушки Марьи Ивано́вны?

— Как же, я ее шить учила.

— Ну, так вот вчера в суде эту Катюшу судили, и я был присяжным.

— Ах, боже мой, какая жалость! — сказала Аграфена Петровна.— В чем же она судилась?

— В убийстве, и все это сделал я.

— Как же это вы могли сделать? Это очень странно вы говорите,— сказала Аграфена Петровна, и в старых глазах ее зажглись игривые огоньки.

Она знала историю с Катюшей.

— Да, я всему причиной. И вот это изменило все мои планы.

— Какая же от этого может для вас быть перемена? — сдерживая улыбку, сказала Аграфена Петровна.

— А та, что если я причиной того, что она пошла по этому пути, то я же и должен сделать, что могу, чтобы помочь ей.

— Это ваша добрая воля, только вины вашей тут особенной нет. Со всеми бывает, и если с рассудком, то все это заглаживается и забывается, и живут,— сказала Аграфена Петровна строго и серьезно,— и вам это на свой счет брать не к чему. Я и прежде слышала, что она сбилась с пути, так кто же этому виноват?

— Я виноват. А потому и хочу исправить.

— Ну, уж это трудно исправить.

— Это мое дело. А если вы про себя думаете, то то́, что мама желала...

— Я про себя не думаю. Я покойницей так облагодетельствована, что ничего не желаю. Меня Лизанька зовет (это была ее замужняя племянница), я к ней и поеду, когда не нужна буду. Только вы напрасно принимаете это к сердцу, со всеми это бывает.

— Ну, я не так думаю. И все-таки прошу вас, помогите мне сдать квартиру и вещи убрать. И не сердитесь на меня. Я вам очень, очень благодарен за все.

Удивительное дело: с тех пор как Нехлюдов понял, что дурен и противен он сам себе, с тех пор другие перестали быть противны ему; напротив, он чувствовал и к Аграфене Петровне и к Корнею ласковое и уважительное чувство. Ему хотелось покаяться и перед Корнеем, но вид Корнея был так внушительно-почтителен, что он не решился этого сделать.

Дорогой в суд, проезжая по тем же улицам, на том же извозчике, Нехлюдов удивлялся сам на себя, до какой степени он нынче чувствовал себя совсем другим человеком.

Женитьба на Мисси, казавшаяся еще вчера столь близкой, представлялась ему теперь совершенно невозможной. Вчера он понимал свое положение так, что не было и сомнения, что она будет счастлива пойти за него; нынче он чувствовал себя недостойным не только жениться, но быть близким с нею. «Если бы она только знала, кто я, то ни за что не принимала бы меня. А я еще в упрек ставил ей ее кокетство с тем господином. Да нет, если бы даже она и пошла теперь за меня, разве я мог бы быть не то что счастлив, но спокоен, зная, что та тут, в тюрьме, и завтра, послезавтра пойдет с этапом на каторгу. Та, погубленная мной женщина, пойдет на каторгу, а я буду здесь принимать поздравления и делать визиты с молодой женой. Или буду с предводителем, которого я постыдно обманывал с его женой, на собрании считать голоса за и против проводимого постановления земской инспекции школ и тому подобное, а потом буду назначать свидания его жене (какая мерзость!); или буду продолжать картину, которая, очевидно, никогда не будет кончена, потому что мне и не следует заниматься этими пустяками и не могу ничего этого делать теперь»,— говорил он себе и не переставая радовался той внутренней перемене, которую чувствовал.

«Прежде всего,— думал он,— теперь увидать адвоката и узнать его решение, а потом... потом увидать ее в тюрьме, вчерашнюю арестантку, и сказать ей все».

И когда он представлял себе только, как он увидит ее, как он скажет ей все, как покается в своей вине перед ней, как объявит ей, что он сделает все, что может, женится на ней, чтобы загладить свою вину,— так особенное восторженное чувство охватывало его, и слезы выступали ему на глаза.

XXXIV

Приехав в суд, Нехлюдов в коридоре еще встретил вчерашнего судебного пристава и расспросил его, где содержатся приговоренные уже по суду арестанты и от кого зависит разрешение свидания с ними. Судебный пристав объяснил, что содержатся арестанты в разных местах и что до объявления решения в окончательной форме разрешение свиданий зависит от прокурора.

— Я вам скажу и провожу вас сам после заседания. Прокурора теперь и нет еще. А после заседания. А теперь пожалуйте в суд. Сейчас начинается.

Нехлюдов поблагодарил показавшегося ему нынче особенно жалким пристава за его любезность и пошел в комнату присяжных.

В то время как он подходил к этой комнате, присяжные уж выходили из нее, чтобы идти в залу заседания. Купец был так же весел и так же закусил и выпил, как и вчера, и, как старого друга, встретил Нехлюдова. И Петр Герасимович не вызывал нынче в Нехлюдове никакого неприятного чувства своей фамильярностью и хохотом.

Нехлюдову хотелось и всем присяжным сказать про свое отношение к вчерашней подсудимой. «По-настоящему,— думал он,— вчера во время суда надо было встать и публично объявить свою вину». Но когда он вместе с присяжными вошел в залу заседания и началась вчерашняя процедура: опять «суд идет», опять трое на возвышении в воротниках, опять молчание, усаживание присяжных на стульях с высокими спинками, жандармы, портрет, священник,— он почувствовал, что хотя и нужно было сделать это, он и вчера не мог бы разорвать эту торжественность.

Приготовления к суду были те же, что и вчера (за исключением приведения к присяге присяжных и речи к ним председателя).

Дело сегодня было о краже со взломом. Подсудимый, оберегаемый двумя жандармами с оголенными саблями, был худой, узкоплечий двадцатилетний мальчик в сером халате и с серым бескровным лицом. Он сидел один на скамье подсудимых и исподлобья оглядывал входивших. Мальчик этот обвинялся в том, что вместе с товарищем сломал замок в сарае и похитил оттуда старые половики на сумму три рубля шестьдесят семь копеек. Из обвинительного акта видно было, что

городовой остановил мальчика в то время, как он шел с товарищем, который нес на плече половики. Мальчик и товарищ его тотчас же повинились, и оба были посажены в острог. Товарищ мальчика, слесарь, умер в тюрьме, и вот мальчик судился один. Старые половики лежали на столе вещественных доказательств.

Дело велось точно так же, как и вчерашнее, со всем арсеналом доказательств, улик, свидетелей, присяги их, допросов, экспертов и перекрестных вопросов. Свидетель-городовой на вопросы председателя, обвинителя, защитника безжизненно отрубал: «Так точно-с», «Не могу знать» — и опять «Так точно...», но, несмотря на его солдатское одурение и машинообразность, видно было, что он жалел мальчика и неохотно рассказывал о своей поимке.

Другой свидетель, пострадавший старичок, домовладелец и собственник половиков, очевидно желчный человек, когда его спрашивали, признает ли он свои половики, очень неохотно признал их своими; когда же товарищ прокурора стал допрашивать его о том, какое употребление он намерен был сделать из половиков, очень ли они ему были нужны, он рассердился и отвечал:

— И пропади они пропадом, эти самые половики, они мне и вовсе не нужны. Кабы я знал, что столько из-за них докуки будет, так не то что искать, а приплатил бы к ним красненькую, да и две бы отдал, только бы не таскали на допросы. Я на извозчиках рублей пять проездил. А я же нездоров. У меня и грыжа и ревматизмы.

Так говорили свидетели, сам же обвиняемый во всем винился и, как пойманный зверок, бессмысленно оглядываясь по сторонам, прерывающимся голосом рассказывал все, как было.

Дело было ясно, но товарищ прокурора так же, как и вчера, поднимая плечи, делал тонкие вопросы, долженствовавшие уловить хитрого преступника.

В своей речи он доказывал, что кража совершена в жилом помещении и со взломом, а потому мальчика надо подвергнуть самому тяжелому наказанию.

Назначенный же от суда защитник доказывал, что кража совершена не в жилом помещении и что потому хотя преступление и нельзя отрицать, но все-таки преступник еще не так опасен для общества, как это утверждал товарищ прокурора.

Председатель, так же как и вчера, изображал из

себя беспристрастие и справедливость и подробно разъяснял и внушал присяжным то, что они знали и не могли не знать. Так же, как вчера, делались перерывы, так же курили; так же судебный пристав вскрикивал: «Суд идет», и так же, стараясь не заснуть, сидели два жандарма с обнаженным оружием, угрожая преступнику.

Из дела видно было, что этот мальчик был отдан отцом мальчишкой на табачную фабрику, где он прожил пять лет. В нынешнем году он был рассчитан хозяином после происшедшей неприятности хозяина с рабочими и, оставшись без места, ходил без дела по городу, пропивая с себя последнее. В трактире он сошелся с таким же, как он, еще прежде лишившимся места и сильно пившим слесарем, и они вдвоем ночью, пьяные, сломали замок и взяли оттуда первое, что попалось. Их поймали. Они во всем сознались. Их посадили в тюрьму, где слесарь, дожидаясь суда, умер. Мальчика же вот теперь судили, как опасное существо, от которого надо оградить общество.

«Такое же опасное существо, как вчерашняя преступница,— думал Нехлюдов, слушая все, что происходило перед ним.— Они опасные, а мы не опасные?.. Я — распутник, блудник, обманщик, и все мы, все те, которые, зная меня таким, каков я есмь, не только не презирали, но уважали меня? Но если бы даже и был этот мальчик самый опасный для общества человек из всех людей, находящихся в этой зале, то что же, по здравому смыслу, надо сделать, когда он попался?

Ведь очевидно, что мальчик этот не какой-то особенный злодей, а самый обыкновенный — это видят все — человек и что стал он тем, что есть, только потому, что находился в таких условиях, которые порождают таких людей. И потому, кажется, ясно, что, для того чтобы не было таких мальчиков, нужно постараться уничтожить те условия, при которых образуются такие несчастные существа.

Что же мы делаем? Мы хватаем такого одного случайно попавшегося нам мальчика, зная очень хорошо, что тысячи таких остаются непойманными, и сажаем его в тюрьму, в условия совершенной праздности или самого нездорового и бессмысленного труда, в сообщество таких же, как и он, ослабевших и запутавшихся в жизни людей, а потом ссылаем его на казенный счет в сообщество самых развращенных людей из Московской губернии в Иркутскую.

Для того же, чтобы уничтожить те условия, в которых зарождаются такие люди, не только ничего не делаем, но только поощряем те заведения, в которых они производятся. Заведения эти известны: это фабрики, заводы, мастерские, трактиры, кабаки, дома терпимости. И мы не только не уничтожаем таких заведений, но, считая их необходимыми, поощряем, регулируем их.

Воспитаем так не одного, а миллионы людей, и потом поймаем одного и воображаем себе, что мы что-то сделали, оградили себя и что больше уже и требовать от нас нечего, мы его препроводили из Московской в Иркутскую губернию,— с необыкновенной живостью и ясностью думал Нехлюдов, сидя на своем стуле рядом с полковником и слушая различные интонации голосов защитника, прокурора и председателя и глядя на их самоуверенные жесты.— И ведь сколько и каких напряженных усилий стоит это притворство,— продолжал думать Нехлюдов, оглядывая эту огромную залу, эти портреты, лампы, кресла, мундиры, эти толстые стены, окна, вспоминая всю громадность этого здания и еще бо́льшую громадность самого учреждения, всю армию чиновников, писцов, сторожей, курьеров, не только здесь, но во всей России, получающих жалованье за эту никому не нужную комедию.— Что, если бы хоть одну сотую этих усилий мы направляли на то, чтобы помогать тем заброшенным существам, на которых мы смотрим теперь только как на руки и тела, необходимые для нашего спокойствия и удобства. А ведь стоило только найтись человеку,— думал Нехлюдов, глядя на болезненное, запуганное лицо мальчика,— который пожалел бы его, когда его еще от нужды отдавали из деревни в город, и помочь этой нужде; или даже когда он уж был в городе и после двенадцати часов работы на фабрике шел с увлекшими его старшими товарищами в трактир, если бы тогда нашелся человек, который сказал бы: «Не ходи, Ваня, нехорошо»,— мальчик не пошел бы, не заболтался и ничего бы не сделал дурного.

Но такого человека, который бы пожалел его, не нашлось ни одного во все то время, когда он, как зверок, жил в городе свои года ученья и, обстриженный под гребенку, чтоб не разводить вшей, бегал мастерам за покупкой; напротив, все, что он слышал от мастеров и товарищей с тех пор, как он живет в городе, было то, что молодец тот, кто обманет, кто выпьет, кто обругает, кто прибьет, развратничает.

Когда же он, больной и испорченный от нездоровой работы, пьянства, разврата, одурелый и шальной, как во сне, шлялся без цели по городу и сдуру залез в какой-то сарай и вытащил оттуда никому не нужные половики, мы, все достойные, богатые, образованные люди, не то что позаботились о том, чтобы уничтожить те причины, которые довели этого мальчика до его теперешнего положения, а хотим поправить дело тем, что будем казнить этого мальчика.

Ужасно! Не знаешь, чего тут больше — жестокости или нелепости. Но, кажется, и то и другое доведено до последней степени».

Нехлюдов думал все это, уже не слушая того, что происходило перед ним. И сам ужасался на то, что ему открывалось. Он удивлялся, как мог он не видеть этого прежде, как могли другие не видеть этого.

XXXV

Как только сделан был первый перерыв, Нехлюдов встал и вышел в коридор с намерением уже больше не возвращаться в суд. Пускай с ним делают, что хотят, но участвовать в этой ужасной и гадкой глупости он более не может.

Узнав, где кабинет прокурора, Нехлюдов пошел к нему. Курьер не хотел допустить его, объявив, что прокурор теперь занят. Но Нехлюдов, не слушая его, прошел в дверь и обратился к встретившему его чиновнику, прося его доложить прокурору, что он присяжный и что ему нужно видеть его по очень важному делу. Княжеский титул и хорошая одежда помогли Нехлюдову. Чиновник доложил прокурору, и Нехлюдова впустили. Прокурор принял его стоя, очевидно недовольный настоятельностью, с которой Нехлюдов требовал свиданья с ним.

— Что вам угодно? — строго спросил прокурор.

— Я присяжный, фамилия моя Нехлюдов, и мне необходимо видеть подсудимую Маслову,— быстро и решительно проговорил Нехлюдов, краснея и чувствуя, что он совершает такой поступок, который будет иметь решительное влияние на его жизнь.

Прокурор был невысокий смуглый человек с короткими седеющими волосами, блестящими быстрыми глазами и стриженой густой бородой на выдающейся нижней челюсти.

— Маслову? Как же, знаю. Обвинялась в отравлении,— сказал прокурор спокойно.— Для чего же вам нужно видеть ее? — И потом, как бы желая смягчить, прибавил: — Я не могу разрешить вам этого, не зная, для чего вам это нужно.

— Мне нужно это по особенно важному для меня делу,— вспыхнув, заговорил Нехлюдов.

— Так-с,— сказал прокурор и, подняв глаза, внимательно оглядел Нехлюдова.— Дело ее слушалось или еще нет?

— Она вчера судилась и приговорена к четырем годам каторги совершенно неправильно. Она невинна.

— Так-с. Если она приговорена только вчера,— сказал прокурор, не обращая никакого внимания на заявление Нехлюдова о невинности Масловой,— то до объявления приговора в окончательной форме она должна все-таки находиться в доме предварительного заключения. Свидания там разрешаются только в определенные дни. Туда вам и советую обратиться.

— Но мне нужно видеть ее как можно скорее,— дрожа нижней челюстью, сказал Нехлюдов, чувствуя приближение решительной минуты.

— Для чего же вам это нужно? — поднимая с некоторым беспокойством брови, спросил прокурор.

— Для того, что она невинна и приговорена к каторге. Виновник же всего я,— говорил Нехлюдов дрожащим голосом, чувствуя вместе с тем, что он говорит то, чего не нужно бы говорить.

— Каким же это образом? — спросил прокурор.

— Потому что я обманул ее и привел в то положение, в котором она теперь. Если бы она не была тем, до чего я ее довел, она и не подверглась бы такому обвинению.

— Все-таки я не вижу, какую связь это имеет с свиданием.

— А то, что я хочу следовать за нею и... жениться на ней,— выговорил Нехлюдов. И как всегда, как только он заговорил об этом, слезы выступили ему на глаза.

— Да? Вот как! — сказал прокурор.— Это действительно очень исключительный случай. Вы, кажется, гласный краснoперского земства? — спросил прокурор, как бы вспоминая, что он слышал прежде про этого Нехлюдова, теперь заявлявшего такое странное решение.

— Извините, я не думаю, чтобы это имело связь с моей просьбой,— вспыхнув, злобно ответил Нехлюдов.

— Конечно, нет,— чуть заметно улыбаясь и нисколько не смущаясь, сказал прокурор,— по ваше желание так необыкновенно и так выходит из обычных форм...

— Что же, могу я получить разрешение?

— Разрешение? Да, я сейчас дам вам пропуск. Потрудитесь посидеть.

Он подошел к столу, сел и стал писать.

— Пожалуйста, присядьте.

Нехлюдов стоял.

Написав пропуск, прокурор передал записку Нехлюдову, с любопытством глядя на него.

— Я еще должен заявить,— сказал Нехлюдов,— что я не могу продолжать участвовать в сессии.

— Нужно, как вы знаете, представить уважительные причины суду.

— Причины те, что я считаю всякий суд не только бесполезным, но и безнравственным.

— Так-с,— сказал прокурор все с той же чуть заметной улыбкой, как бы показывая этой улыбкой то, что такие заявления знакомы ему и принадлежат к известному ему забавному разряду.— Так-с, но вы, очевидно, понимаете, что я, как прокурор суда, не могу согласиться с вами. И потому советую вам заявить об этом на суде, и суд разрешит ваше заявление и признает его уважительным или неуважительным и в последнем случае наложит на вас взыскание. Обратитесь в суд.

— Я заявил и более никуда не пойду,— сердито проговорил Нехлюдов.

— Мое почтение,— сказал прокурор, наклоняя голову, очевидно желая скорее избавиться от этого странного посетителя.

— Кто это у вас был? — спросил член суда, вслед за выходом Нехлюдова входя в кабинет прокурора.

— Нехлюдов, знаете, который еще в Красноперском уезде, в земстве, разные странные заявления делал. И представьте, он присяжный, и в числе подсудимых оказалась женщина или девушка, приговоренная в каторгу, которая, как он говорит, была им обманута, и он теперь хочет жениться на ней.

— Да не может быть?

— Так он мне сказал... и в каком-то странном возбуждении.

— Что-то есть, какая-то ненормальность в нынешних молодых людях.

— Да он уже не очень молодой.

— Ну, уж как надоел, батюшка, ваш прославленный Иващенков. Он измором берет: говорит и говорит без конца.

— Их надо просто останавливать, а то ведь настоящие обструкционисты...

XXXVI

От прокурора Нехлюдов поехал прямо в дом предварительного заключения. Но оказалось, что никакой Масловой там не было, и смотритель объяснил Нехлюдову, что она должна быть в старой пересыльной тюрьме. Нехлюдов поехал туда.

Действительно, Екатерина Маслова находилась там. Прокурор забыл, что месяцев шесть тому назад жандармами, как видно, было возбуждено раздутое до последней степени политическое дело, и все места дома предварительного заключения были захвачены студентами, врачами, рабочими, курсистками и фельдшерицами.

Расстояние от дома предварительного заключения до пересыльного замка было огромное, и приехал Нехлюдов в замок уже только к вечеру. Он хотел подойти к двери огромного мрачного здания, но часовой не пустил его, а только позвонил. На звонок вышел надзиратель. Нехлюдов показал свой пропуск, но надзиратель сказал, что без смотрителя он не может пустить. Нехлюдов направился к смотрителю. Еще поднимаясь по лестнице, Нехлюдов слышал из-за дверей звуки какой-то сложной бравурной пьесы, разыгрываемой на фортепьяно. Когда же ему отворила дверь сердитая горничная с завязанным глазом, звуки эти как бы вырвались из комнаты и поразили его слух. Это была надоевшая рапсодия Листа, игранная прекрасно, но только до одного места. Когда доходило до этого места, то повторялось опять то же самое. Нехлюдов спросил повязанную горничную, дома ли смотритель.

Горничная сказала, что нет.

— Скоро ли будет?

Рапсодия опять остановилась и опять с блеском и шумом повторилась до заколдованного места.

— Я пойду спрошу.

И горничная вышла.

Рапсодия только что опять разбежалась, как вдруг,

не доходя до заколдованного места, оборвалась, и послышался голос.

— Скажи ему, что нет и нынче не будет. Он в гостях, чего пристают,— послышался женский голос из-за двери, и опять послышалась рапсодия, но опять остановилась, и послышался звук отодвигаемого стула. Очевидно, рассерженная пьянистка сама хотела сделать выговор приходящему не в урочный час назойливому посетителю.

— Папаши нет,— сердито сказала, выходя, с взбитыми волосами жалкого вида бледная девица с синяками под унылыми глазами. Увидав молодого человека в хорошем пальто, она смягчилась.— Войдите, пожалуй... Вам что же надо?

— Мне в остроге видеть заключенную.

— Верно, политическую?

— Нет, не политическую. У меня разрешение от прокурора.

— Ну, я не знаю, папаши нет. Да зайдите, пожалуйста,— опять позвала она его из маленькой передней.— А то обратитесь к помощнику, он теперь в конторе, с ним поговорите. Ваша как фамилия?

— Благодарю вас,— сказал Нехлюдов, не отвечая на вопрос, и вышел.

Еще не успели за ним затворить дверь, как опять раздались все те же бойкие, веселые звуки, так не шедшие ни к месту, в котором они производились, ни к лицу жалкой девушки, так упорно заучивавшей их. На дворе Нехлюдов встретил молодого офицера с торчащими нафабренными усами и спросил его о помощнике смотрителя. Это был сам помощник. Он взял пропуск, посмотрел его и сказал, что по пропуску в дом предварительного заключения он не решается пропустить сюда. Да уж и поздно...

— Пожалуйте завтра. Завтра в десять часов свидание разрешается всем; вы приезжайте, и сам смотритель будет дома. Тогда свидание можете иметь в общей, а если смотритель разрешит, то и в конторе.

Так и не добившись в этот день свидания, Нехлюдов отправился домой. Взволнованный мыслью увидать ее, Нехлюдов шел по улицам, вспоминая теперь не суд, а свои разговоры с прокурором и смотрителями. То, что он искал свидания с ней и сказал про свое намерение прокурору и был в двух тюрьмах, готовясь увидать ее, так взволновало его, что он долго не мог успокоиться.

Приехав домой, он тотчас же достал свои давно не тронутые дневники, перечел некоторые места из них и записал следующее: «Два года не писал дневника и думал, что никогда уже не вернусь к этому ребячеству. А это было не ребячество, а беседа с собой, с тем истинным, божественным собой, которое живет в каждом человеке. Все время этот *я* спал, и мне не с кем было беседовать. Пробудило его необыкновенное событие 28-го апреля, в суде, где я был присяжным. Я на скамье подсудимых увидал ее, обманутую мною Катюшу, в арестантском халате. По странному недоразумению и по моей ошибке ее приговорили к каторге. Я сейчас был у прокурора и в тюрьме. Меня не пустили к ней, но я решил все сделать, чтобы увидать ее, покаяться перед ней и загладить свою вину хотя женитьбой. Господи, помоги мне! Мне очень хорошо, радостно на душе».

XXXVII

Долго еще в эту ночь не могла заснуть Маслова, а лежала с открытыми глазами и, глядя на дверь, заслонявшуюся то взад, то вперед проходившею дьячихой, и слушая сопенье рыжей, думала.

Думала она о том, что ни за что не пойдет замуж за каторжного, на Сахалине, а как-нибудь иначе устроится,— с каким-нибудь из начальников, с писарем, хоть с надзирателем, хоть с помощником. Они все на это падки. «Только бы не похудеть. А то пропадешь». И она вспомнила, как защитник смотрел на нее, и как смотрел председатель, и как смотрели встречавшиеся и нарочно проходившие мимо нее люди в суде. Она вспомнила, как посетившая ее в остроге Берта рассказала ей, что тот студент, которого она любила, живя у Китаевой, приезжал к ним, спрашивал про нее и очень жалел. Вспоминала она о драке с рыжей и жалела ее; вспоминала о булочнике, выславшем ей лишний калач. Она вспоминала о многих, но только не о Нехлюдове. О своем детстве и молодости, а в особенности о любви к Нехлюдову, она никогда не вспоминала. Это было слишком больно. Эти воспоминания где-то далеко нетронутыми лежали в ее душе. Даже во сне никогда не видала Нехлюдова. Нынче на суде она не узнала его не столько потому, что, когда она видела его в последний раз, он был военный, без бороды, с маленькими усиками и хотя и

короткими, но густыми вьющимися волосами, а теперь был старообразный человек, с бородою, сколько потому, что она никогда не думала о нем. Похоронила она все воспоминания о своем прошедшем с ним в ту ужасную темную ночь, когда он приезжал из армии и не заехал к тетушкам.

До этой ночи, пока она надеялась на то, что он заедет, она не только не тяготилась ребенком, которого носила под сердцем, но часто удивленно умилялась на его мягкие, а иногда порывистые движения в себе. Но с этой ночи все стало другое. И будущий ребенок стал только одной помехой.

Тетушки ждали Нехлюдова, просили его заехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Когда Катюша узнала это, она решила пойти на станцию, чтобы увидать его. Поезд проходил ночью, в два часа. Катюша уложила спать барышень и, подговорив с собою девочку, кухаркину дочь Машку, надела старые ботинки, накрылась платком, подобралась и побежала на станцию.

Была темная осенняя, дождливая, ветреная ночь. Дождь то начинал хлестать теплыми крупными каплями, то переставал. В поле, под ногами, не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи, и Катюша, хотя и знала хорошо дорогу, сбилась с нее в лесу и дошла до маленькой станции, на которой поезд стоял три минуты, не загодя, как она надеялась, а после второго звонка. Выбежав на платформу, Катюша тотчас же в окне вагона первого класса увидала его. В вагоне этом был особенно яркий свет. На бархатных креслах сидели друг против друга два офицера без сюртуков и играли в карты. На столике у окна горели оплывшие толстые свечи. Он в обтянутых рейтузах и белой рубашке сидел на ручке кресла, облокотившись на его спинку, и чему-то смеялся. Как только она узнала его, она стукнула в окно зазябшей рукой. Но в это самое время ударил третий звонок, и поезд медленно тронулся, сначала назад, а потом один за другим стали подвигаться вперед толчками сдвигаемые вагоны. Один из играющих встал с картами в руках и стал глядеть в окно. Она стукнула еще раз и приложила лицо к стеклу. В это время дернулся и тот вагон, у которого она стояла, и пошел. Она пошла за ним, смотря в окно. Офицер хотел опустить окно, но никак не мог. Нехлюдов встал и, оттолкнув того офицера, стал спускать. Поезд прибавил хода. Она шла

быстрым шагом, не отставая, но поезд все прибавлял и прибавлял хода, и в ту самую минуту, как окно спустилось, кондуктор оттолкнул ее и вскочил в вагон. Катюша отстала, но все бежала по мокрым доскам платформы; потом платформа кончилась, и она насилу удержалась, чтобы не упасть, сбегая по ступенькам на землю. Она бежала, но вагон первого класса был далеко впереди. Мимо нее бежали уже вагоны второго класса, потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса, но она все-таки бежала. Когда пробежал последний вагон с фонарем сзади, она была за водокачкой, вне защиты, и ветер набросился на нее, срывая с головы ее платок и облепляя с одной стороны платьем ее ноги. Платок снесло с нее ветром, но она все бежала.

— Тетенька, Михайловна! — кричала девочка, едва поспевая за нею.— Платок потеряли!

«Он в освещенном вагоне, на бархатном кресле сидит, шутит, пьет, а я вот здесь, в грязи, в темноте, под дождем и ветром — стою и плачу»,— подумала Катюша, остановилась и, закинув голову назад и схватившись за нее руками, зарыдала.

— Уехал! — закричала она.

Девочка испугалась и обняла ее за мокрое платье.

— Тетенька, домой пойдем.

«Пройдет поезд — под вагон, и кончено»,— думала между тем Катюша, не отвечая девочке.

Она решила, что сделает так. Но тут же, как это и всегда бывает в первую минуту затишья после волнения, он, ребенок — его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся и опять стал толкаться чем-то тонким, нежным и острым. И вдруг все то, что за минуту так мучало ее, что, казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отомстить ему хоть своей смертью,— все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, оправилась, закуталась платком и поспешно пошла домой.

Измученная, мокрая, грязная, она вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она сделалась тем, чем была теперь. С этой страшной ночи она перестала верить в добро. Она прежде сама верила в добро и в то, что люди верят в него, но с этой ночи убедилась, что никто не верит в это и что все, что говорят про бога и добро, все это делают только для того, чтобы обманывать людей. Он, которого она любила и который ее любил,— она это

знала,— бросил ее, насладившись ею и надругавшись над ее чувствами. А он был самый лучший из всех людей, каких она знала. Все же остальные были еще хуже. И все, что с ней случилось, на каждом шагу подтверждало это. Тетки его, богомольные старушки, прогнали ее, когда она не могла уже так служить им, как прежде. Все люди, с которыми она сходилась,— женщины — старались через нее добыть денег, мужчины, начиная с старого станового и до тюремных надзирателей,— смотрели на нее как на предмет удовольствия. И ни для кого ничего не было другого на свете, как только удовольствие, именно это удовольствие. В этом еще больше утвердил ее старый писатель, с которым она сошлась на второй год своей жизни на свободе. Он прямо так и говорил ей, что в этом — он называл это поэзией и эстетикой — состоит все счастье.

Все жили только для себя, для своего удовольствия, и все слова о боге и добре были обман. Если же когда поднимались вопросы о том, зачем на свете все устроено так дурно, что все делают друг другу зло и все страдают, надо было не думать об этом. Станет скучно — покурила или выпила или, что лучше всего, полюбилась с мужчиной, и пройдет.

XXXVIII

На следующий день, в воскресенье, в пять часов утра, когда в женском коридоре тюрьмы раздался обычный свисток, не спавшая уже Кораблева разбудила Маслову.

«Каторжная»,— с ужасом подумала Маслова, протирая глаза и невольно вдыхая в себя ужасно вонючий к утру воздух, и хотела опять заснуть, уйти в область бессознательности, но привычка страха пересилила сон, и она поднялась и, подобрав ноги, села, оглядываясь. Женщины уже поднялись, только дети еще спали. Корчемница с выпуклыми глазами осторожно, чтобы не разбудить детей, вытаскивала из-под них халат. Бунтовщица развешивала у печки тряпки, служившие пеленками, а ребенок заливался отчаянным криком на руках у голубоглазой Федосьи, качавшейся с ним и баюкающей его нежным голосом. Чахоточная, схватившись за грудь, с налитым кровью лицом, откашливалась и, в промежутках вздыхая, почти вскрикивала.

Рыжая, проснувшись, лежала кверху животом, согнув толстые ноги, и громко и весело рассказывала виденный сон. Старушка поджигательница стояла опять перед образом и, шепча одни и те же слова, крестилась и кланялась. Дьячиха неподвижно сидела на нарах и непроснувшимся тупым взглядом смотрела перед собой. Хорошавка подвивала на палец масленые жесткие черные волосы.

По коридору послышались шаги в шлепающих котах, загремел замок, и вошли два арестанта — парашечники в куртках и коротких, много выше щиколок, серых штанах и, с серьезными, сердитыми лицами подняв на водонос вонючую кадку, понесли ее вон из камеры. Женщины вышли в коридор к кранам умываться. У кранов произошла ссора рыжей с женщиной, вышедшей из другой, соседней камеры. Опять ругательства, крики, жалобы...

— Или карцера захотели! — закричал надзиратель и хлопнул рыжую по жирной голой спине так, что щелкнуло на весь коридор.— Чтоб голосу твоего не слышно было.

— Вишь, разыгрался старый,— сказала рыжая, приняв это обращение за ласку.

— Ну, живо! Убирайтесь к обедне.

Не успела Маслова причесаться, как пришел смотритель со свитой.

— На поверку! — крикнул надзиратель.

Из другой камеры вышли другие арестантки, и все стали в два ряда коридора, причем женщины заднего ряда должны были класть руки на плечи женщин первого ряда. Всех пересчитали.

После поверки пришла надзирательница и повела арестанток в церковь. Маслова с Федосьей находились в середине колонны, состоящей более чем из ста женщин, вышедших из всех камер. Все были в белых косынках, кофтах и юбках, и только изредка среди них попадались женщины в своих цветных одеждах. Это были жены с детьми, следующие за мужьями. Вся лестница была захвачена этим шествием. Слышался мягкий топот обутых в коты ног, говор, иногда смех. На повороте Маслова увидала злобное лицо своего врага, Бочковой, шедшей впереди, и указала его Федосье. Сойдя вниз, женщины замолкли и, крестясь и кланяясь, стали проходить в отворенные двери еще пустой, блестевшей золотом церкви. Их место было направо, и они,

теснясь и напирая друг на дружку, стали устанавливаться. Вслед за женщинами вошли в серых халатах пересыльные, отсиживающие и ссылаемые по приговорам обществ, и, громко откашливаясь, стали тесной толпой налево и в середине церкви. Наверху же, на хорах, уже стояли приведенные прежде — с одной стороны с бритыми полуголовами каторжные, обнаруживавшие свое присутствие позвякиваньем цепей, с другой — небритые и незакованные подследственные.

Острожная церковь была вновь построена и отделана богатым купцом, потратившим на это дело несколько десятков тысяч рублей, и вся блестела яркими красками и золотом.

Некоторое время в церкви было молчание и слышались только сморкание, откашливание, крик младенцев и изредка звон цепей. Но вот арестанты, стоявшие посередине, шарахнулись, нажались друг на друга, оставляя дорогу посередине, и по дороге этой прошел смотритель и стал впереди всех, посередине церкви.

XXXIX

Началось богослужение.

Богослужение состояло в том, что священник, одевшись в особенную, странную и очень неудобную парчовую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдце и потом клал их в чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы. Дьячок же между тем не переставая сначала читал, а потом пел попеременкам с хором из арестантов разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы. Содержание молитв заключалось преимущественно в желании благоденствия государя императора и его семейства. Об этом произносились молитвы много раз, вместе с другими молитвами и отдельно, на коленях. Кроме того, было прочтено дьячком несколько стихов из Деяний апостолов таким странным, напряженным голосом, что ничего нельзя было понять, и священником очень внятно было прочтено место из Евангелия Марка, в котором сказано было, как Христос, воскресши, прежде чем улететь на небо и сесть по правую руку своего отца, явился сначала Марии Магдалине, из которой он изгнал семь бесов, и потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедовать Евангелие всей твари, причем объя-

вил, что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасен и, кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей, и если выпьет яд, то не умрет, а останется здоровым.

Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью.

— «Изрядно о пресвятей, пречистой и преблагословенней богородице»,— громко закричал после этого священник из-за перегородки, и хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем какие-то серафимы. После этого считалось, что превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусочек начетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела бога и выпил глоток его крови. После этого священник отдернул занавеску, отворил середние двери и, взяв в руки золоченую чашку, вышел с нею в середние двери и пригласил желающих тоже поесть тела и крови бога, находившихся в чашке.

Желающих оказалось несколько детей.

Предварительно опросив детей об их именах, священник, осторожно зачерпывая ложечкой из чашки, совал глубоко в рот каждому из детей поочередно по кусочку хлеба в вине, а дьячок тут же, отирая рты детям, веселым голосом пел песню о том, что дети едят тело бога и пьют его кровь. После этого священник унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся

в чашке кровь и съев все кусочки тела бога, старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки.

Этим закончилось главное христианское богослужение. Но священник, желая утешить несчастных арестантов, прибавил к обычной службе еще особенную. Особенная эта служба состояла в том, что священник, став перед предполагаемым выкованным золоченым изображением (с черным лицом и черными руками) того самого бога, которого он ел, освещенным десятком восковых свечей, начал странным и фальшивым голосом не то петь, не то говорить следующие слова:

— «Иисусе сладчайший, апостолов славо, Иисусе мой, похвала мучеников, владыко всесильне, Иисусе, спаси мя, Иисусе спасе мой, Иисусе мой краснейший, к тебе притекающего, спасе Иисусе, помилуй мя, молитвами рождшия тя, всех, Иисусе, святых твоих, пророк же всех, спасе мой Иисусе, и сладости райския сподоби, Иисусе человеколюбче!»

На этом он приостановился, перевел дух, перекрестился, поклонился в землю, и все сделали то же. Кланялся смотритель, надзиратели, арестанты, и наверху особенно часто забренчали кандалы.

— «Ангелов творче и господи сил,— продолжал он,— Иисусе пречудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародителей избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе преблагий, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепость, Иисусе претихий, монахов радосте, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладость, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе пречистый, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе, сыне божий, помилуй мя»,— добрался он, наконец, до остановки, все с большим и большим свистом повторяя слово «Иисусе», придержал рукою рясу на шелковой подкладке и, опустившись на одно колено, поклонился в землю, а хор запел последние слова: «Иисусе, сыне божий, помилуй мя», а арестанты падали и подымались, встряхивая волосами, остававшимися на половине головы, и гремя кандалами, натиравшими им худые ноги.

Так продолжалось очень долго. Сначала шли похва-

лы, которые кончались словами: «помилуй мя», а потом шли новые похвалы, кончавшиеся словом: «аллилуйя». И арестанты крестились, кланялись, падали на землю. Сначала арестанты кланялись на каждом перерыве, но потом они стали уже кланяться через раз, а то и через два, и все были очень рады, когда все похвалы окончились и священник, облегченно вздохнув, закрыл книжечку и ушел за перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в том, что священник взял с большого стола лежавший на нем золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах и вышел с ним на середину церкви. Сначала подошел к священнику и приложился к кресту смотритель, потом помощник, потом надзиратели, потом, напирая друг на друга и шепотом ругаясь, стали подходить арестанты. Священник, разговаривая с смотрителем, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантам, арестанты же старались поцеловать и крест и руку священника. Так кончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев.

XL

И никому из присутствующих, начиная с священника и смотрителя и кончая Масловой, не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя его, запретил именно все то, что делалось здесь; запретил не только такое бессмысленное многоглаголание и кощунственное волхвование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определенным образом запретил одним людям называть учителями других людей, запретил молитвы в храмах, а велел молиться каждому в уединении, запретил самые храмы, сказав, что пришел разрушить их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине; главное же, запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучать, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришел выпустить плененных на свободу.

Никому из присутствующих не приходило в голову того, что все, что совершалось здесь, было величайшим кощунством и насмешкой над тем самым Христом, именем которого все это делалось. Никому в голову не при-

ходило того, что золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах, который вынес священник и давал целовать людям, был не что иное, как изображение той виселицы, на которой был казнен Христос именно за то, что он запретил то самое, что теперь его именем совершалось здесь. Никому в голову не приходило, что те священники, которые воображают себе, что в виде хлеба и вина они едят тело и пьют кровь Христа, действительно едят тело и пьют кровь его, но не в кусочках и в вине, а тем, что не только соблазняют тех «малых сих», с которыми Христос отожествлял себя, но и лишают их величайшего блага и подвергают жесточайшим мучениям, скрывая от людей то возвещение блага, которое он принес им.

Священник с спокойной совестью делал все то, что он делал, потому что с детства был воспитан на том, что это единственная истинная вера, в которую верили все прежде жившие святые люди и теперь верят духовное и светское начальство. Он верил не в то, что из хлеба сделалось тело, что полезно для души произносить много слов или что он съел действительно кусочек бога,— в это нельзя верить,— а верил в то, что надо верить в эту веру. Главное же, утверждало его в этой вере то, что за исполнение треб этой веры он восемнадцать лет уже получал доходы, на которые содержал свою семью, сына в гимназии, дочь в духовном училище. Так же верил и дьячок и еще тверже, чем священник, потому что совсем забыл сущность догматов этой веры, а знал только, что за теплоту, за поминание, за часы, за молебен простой и за молебен с акафистом, за все есть определенная цена, которую настоящие христиане охотно платят, и потому выкрикивал свои «помилось, помилось», и пел, и читал, что положено, с такой же спокойной уверенностью в необходимости этого, с какой люди продают дрова, муку, картофель. Начальник же тюрьмы и надзиратели, хотя никогда и не знали и не вникали в то, в чем состоят догматы этой веры и что означало все то, что совершалось в церкви,— верили, что непременно надо верить в эту веру, потому что высшее начальство и сам царь верят в нее. Кроме того, хотя и смутно (они никак не могли бы объяснить, как это делается) они чувствовали, что эта вера оправдывала их жестокую службу. Если бы не было этой веры, им не только труднее, но, пожалуй, и невозможно бы было все свои силы употреблять на то, чтобы мучать

людей, как они это теперь делали с совершенно спокойной совестью. Смотритель был такой доброй души человек, что он никак не мог бы жить так, если бы не находил поддержки в этой вере. И потому он стоял неподвижно, прямо, усердно кланялся и крестился, старался умилиться, когда пели «Иже херувимы», а когда стали причащать детей, вышел вперед и собственноручно поднял мальчика, которого причащали, и подержал его.

Большинство же арестантов, за исключением немногих из них, ясно видевших весь обман, который производился над людьми этой веры, и в душе смеявшихся над нею, большинство верило, что в этих золоченых иконах, свечах, чашах, ризах, крестах, повторениях непонятных слов *«Иисусе сладчайший»* и *«помилось»* заключается таинственная сила, посредством которой можно приобресть большие удобства в этой и в будущей жизни. Хотя большинство из них, проделав несколько опытов приобретения удобств в этой жизни посредством молитв, молебнов, свечей, и не получило их,— молитвы их остались неисполненными,— каждый был твердо уверен, что эта неудача случайная и что это учреждение, одобряемое учеными людьми и митрополитами, есть все-таки учреждение очень важное и которое необходимо если не для этой, то для будущей жизни.

Так же верила и Маслова. Она, как и другие, испытывала во время богослужения смешанное чувство благоговения и скуки. Она стояла сначала в середине толпы за перегородкой и не могла видеть никого, кроме своих товарок; когда же причастницы двинулись вперед и она выдвинулась вместе с Федосьей, она увидала смотрителя, а за смотрителем и между надзирателями мужичка с светло-белой бородкой и русыми волосами — Федосьиного мужа, который остановившимися глазами глядел на жену. Маслова во время акафиста занялась рассматриванием его и перешептыванием с Федосьей и крестилась и кланялась, только когда все это делали.

XLI

Нехлюдов рано выехал из дома. По переулку еще ехал деревенский мужик и странным голосом кричал:

— Молока, молока, молока!

Накануне был первый теплый весенний дождь. Вез-

де, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава; березы в садах осыпались зеленым пухом, и черемуха и тополя расправляли свои длинные пахучие листья, а в домах и магазинах выставляли и вытирали рамы. На толкучем рынке, мимо которого пришлось проезжать Нехлюдову, кишела около выстроенных в ряд палаток сплошная толпа народа и ходили оборванные люди с сапогами под мышкой и перекинутыми через плечо выглаженными панталонами и жилетами.

У трактиров уже теснились, высвободившись из своих фабрик, мужчины в чистых поддевках и глянцевитых сапогах и женщины в шелковых ярких платках на головах и пальто с стеклярусом. Городовые с желтыми шнурками пистолетов стояли на местах, высматривая беспорядки, которые могли бы развлечь их от томящей скуки. По дорожкам бульваров и по зеленому, только что окрасившемуся газону бегали, играя, дети и собаки, и веселые нянюшки переговаривались между собой, сидя на скамейках.

По улицам, прохладным и влажным еще с левой стороны, в тени, и высохшим посередине, не переставая гремели по мостовой тяжелые воза ломовых, дребезжали пролетки и звенели конки. Со всех сторон дрожал воздух от разнообразного звона и гула колоколов, призывающих народ к присутствованию при таком же служении, какое совершалось теперь в тюрьме. И разряженный народ расходился каждый по своему приходу.

Извозчик подвез Нехлюдова не к самой тюрьме, а к повороту, ведущему к тюрьме.

Несколько человек мужчин и женщин, большей частью с узелками, стояли тут на этом повороте к тюрьме, шагах в ста от нее. Справа были невысокие деревянные строения, слева двухэтажный дом с какой-то вывеской. Само огромное каменное здание тюрьмы было впереди, и к нему не подпускали посетителей. Часовой солдат с ружьем ходил взад и вперед, строго окрикивая тех, которые хотели обойти его.

У калитки деревянных строений, с правой стороны, против часового сидел на лавочке надзиратель в мундире с галунами с записной книжкой. К нему подходили посетители и называли тех, кого желали видеть, и он записывал. Нехлюдов также подошел к нему и назвал Катерину Маслову. Надзиратель с галунами записал.

— Почему не пускают еще? — спросил Нехлюдов.

— Обедня идет. Вот отойдет обедня, тогда впустят.

Нехлюдов отошел к толпе дожидающихся. Из толпы выделился в оборванной одежде и смятой шляпе, в опорках на босу ногу человек с красными полосами во все лицо и направился к тюрьме.

— Ты куда лезешь? — крикнул на него солдат с ружьем.

— А ты чего орешь? — нисколько не смущаясь окриком часового, ответил оборванец и вернулся назад.— Не пускаешь — подожду. А то кричит, ровно енерал.

В толпе одобрительно засмеялись. Посетители были большей частью люди худо одетые, даже оборванные, но были и приличные по внешнему виду и мужчины и женщины. Рядом с Нехлюдовым стоял хорошо одетый, весь бритый, полный румяный человек с узелком, очевидно белья, в руке. Нехлюдов спросил его, в первый ли он раз тут. Человек с узелком ответил, что он каждое воскресенье бывает здесь, и они разговорились. Это был швейцар из банка; он пришел сюда проведать своего брата, судимого за подлог. Добродушный человек этот рассказал Нехлюдову всю свою историю и хотел расспрашивать и его, когда их внимание отвлекли приехавшие на крупной породистой вороной лошади, в пролетке на резиновых шинах студент с дамой под вуалью. Студент нес в руках большой узел. Он подошел к Нехлюдову и спросил его, можно ли и что нужно сделать для того, чтобы передать милостыню — калачи, которые он привез.

— Это я по желанию невесты. Это моя невеста. Родители ее посоветовали нам свезти заключенным.

— Я сам в первый раз и не знаю, но думаю, что надо спросить этого человека,— сказал Нехлюдов, указывая на надзирателя с галунами, сидевшего с книжкой направо.

В то самое время, когда Нехлюдов разговаривал с студентом, большие, с оконцем в середине, железные двери тюрьмы отворились, и из них вышел офицер в мундире с другим надзирателем, и надзиратель с книжкой объявил, что впуск посетителей начинается. Часовой посторонился, и все посетители, как будто боясь опоздать, скорым шагом, а кто и рысью, пустились к двери тюрьмы. У двери стоял один надзиратель, который, по мере того, как посетители проходили мимо него, считал их, громко произнося: «Шестнадцать, сем-

надцать» и т. д. Другой надзиратель, внутри здания, дотрагиваясь рукой до каждого, также считал проходивших в следующие двери, с тем чтобы при выпуске, проверив счет, не оставить ни одного посетителя в тюрьме и не выпустить ни одного заключенного. Счетчик этот, не глядя на того, кто проходил, хлопнул рукой по спине Нехлюдова, и это прикосновение руки надзирателя в первую минуту оскорбило Нехлюдова, но тотчас же он вспомнил, зачем он пришел сюда, и ему совестно стало этого чувства неудовольствия и оскорбления.

Первое помещение за дверьми была большая комната со сводами и железными решетками в небольших окнах. В комнате этой, называвшейся сборной, совершенно неожиданно Нехлюдов увидел в нише большое изображение распятия.

«Зачем это?» — подумал он, невольно соединяя в своем представлении изображение Христа с освобожденными, а не с заключенными.

Нехлюдов шел медленным шагом, пропуская вперед себя спешивших посетителей, испытывая смешанные чувства ужаса перед теми злодеями, которые заперты здесь, состр833данья к тем невинным, которые, как вчерашний мальчик и Катюша, должны быть здесь, и робости и умиления перед тем свиданием, которое ему предстояло. При выходе из первой комнаты, на другом конце ее, надзиратель проговорил что-то. Но Нехлюдов, поглощенный своими мыслями, не обратил внимания на это и продолжал идти туда, куда шло больше посетителей, то есть в мужское отделение, а не в женское, куда ему нужно было.

Пропуская спешащих вперед, он вошел последним в помещение, назначенное для свиданий. Первое, что поразило его, когда он, отворив дверь, вошел в это помещение, был оглушающий, сливающийся в один гул крик сотни голосов. Только ближе подойдя к людям, точно как мухи насевшим на сахар, прилепившимся к сетке, делившей комнату надвое, Нехлюдов понял, в чем дело. Комната с окнами на задней стене была разделена надвое не одной, а двумя проволочными сетками, шедшими от потолка до земли. Между сетками ходили надзиратели. На той стороне сеток были заключенные, на этой стороне — посетители. Между теми и другими были две сетки и аршина три расстояния, так что не только передать что-нибудь, но и рассмотреть

лицо, особенно близорукому человеку, было невозможно. Трудно было и говорить, надо было кричать из всех сил, чтобы быть услышанным. С обеих сторон были прижавшиеся к сеткам лица: жен, мужей, отцов, матерей, детей, старавшихся рассмотреть друг друга и сказать то, что нужно. Но так как каждый старался говорить так, чтобы его расслышал его собеседник, и соседи хотели того же, и их голоса мешали друг другу, то каждый старался перекричать другого. От этого-то стоял тот гул, перебиваемый криками, который поразил Нехлюдова, как только он вошел в эту комнату. Разобрать то, что говорилось, не было никакой возможности. Можно было только по лицам судить о том, что говорилось и какие отношения были между говорящими. Ближе к Нехлюдову была старушка в платочке, которая, прижавшись к сетке, дрожа подбородком, кричала что-то бледному молодому человеку с бритой половиной головы. Арестант, подняв брови и сморщив лоб, внимательно слушал ее. Рядом с старушкой был молодой человек в поддевке, который слушал, приставив руки к ушам, покачивая головой, то, что ему говорил похожий на него арестант с измученным лицом и седеющей бородой. Еще дальше стоял оборванец и, махая рукой, что-то кричал и смеялся. А рядом с ним сидела на полу женщина с ребенком, в хорошем шерстяном платке, и рыдала, очевидно в первый раз увидав того седого человека, который был на другой стороне в арестантской куртке, с бритой головой и в кандалах. Над этой же женщиной швейцар, с которым говорил Нехлюдов, кричал изо всех сил лысому с блестящими глазами арестанту на той стороне. Когда Нехлюдов понял, что он должен будет говорить в этих условиях, в нем поднялось чувство возмущения против тех людей, которые могли это устроить и соблюдать. Ему удивительно было, что такое ужасное положение, такое издевательство над чувствами людей никого не оскорбляло. И солдаты, и смотритель, и посетители, и заключенные делали все это так, как будто признавая, что это так и должно быть.

Нехлюдов пробыл в этой комнате минут пять, испытывая какое-то странное чувство тоски, сознанья своего бессилья и разлада со всем миром; нравственное чувство тошноты, похожее на качку на корабле, овладело им.

XLII

«Однако надо делать то, за чем пришел,— сказал он, подбадривая себя.— Как же быть?»

Он стал искать глазами начальство и, увидав невысокого худого человека с усами, в офицерских погонах, ходившего позади народа, обратился к нему:

— Не можете ли вы, милостивый государь, мне сказать,— сказал он с особенно напряженной вежливостью,— где содержатся женщины и где свидания с ними разрешаются?

— Вам разве в женскую надо?

— Да, я бы желал видеть одну женщину из заключенных,— с тою же напряженною вежливостью отвечал Нехлюдов.

— Так вы бы так говорили, когда в сборной были. Вам кого же нужно видеть?

— Мне нужно видеть Екатерину Маслову.

— Она политическая? — спросил помощник смотрителя.

— Нет, она просто...

— Она, что же, приговоренная?

— Да, третьего дня она была приговорена,— покорно отвечал Нехлюдов, боясь как-нибудь попортить настроение смотрителя, как будто принявшего в нем участие.

— Коли в женскую, так сюда пожалуйте,— сказал смотритель, очевидно решив по внешности Нехлюдова, что он стоит внимания.— Сидоров,— обратился он к усатому унтер-офицеру с медалями,— проводи вот их в женскую.

— Слушаю-с.

В это время у решетки послышались чьи-то раздирающие душу рыдания.

Все было странно Нехлюдову, и страннее всего то, что ему приходилось благодарить и чувствовать себя обязанным перед смотрителем и старшим надзирателем, перед людьми, делавшими все те жестокие дела, которые делались в этом доме.

Надзиратель вывел Нехлюдова из мужской посетительской в коридор и тотчас же, отворив дверь напротив, ввел его в женскую комнату для свиданий.

Комната эта, так же как и мужская, была разделена натрое двумя сетками, но она была значительно меньше, и в ней было меньше и посетителей и заключенных,

но крик и гул был такой же, как и в мужской. Так же между сетками ходило начальство. Начальство здесь представляла надзирательница в мундире с галунами на рукавах и синими выпушками и таким же кушаком, как у надзирателей. И так же, как и в мужской, с обеих сторон налипли к сеткам люди: с этой стороны — в разнообразных одеяниях городские жители, с той стороны — арестантки, некоторые в белых, некоторые в своих одеждах. Вся сетка была уставлена людьми. Одни поднимались на цыпочки, чтобы через головы других быть слышными, другие сидели на полу и переговаривались.

Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка с сбившейся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посередине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой, потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Это была Федосья с своим мужем. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной; потом две женщины, мужчина, опять женщина; против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток, на той стороне, стояла еще одна женщина, и Нехлюдов тотчас же понял, что это была она, и тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она стояла позади голубоглазой Федосьи и, улыбаясь, слушала то, что она говорила. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы.

«Сейчас решится,— думал он.— Как мне позвать ее? Или сама подойдет?»

Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней.

— Вам кого нужно? — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками.

— Екатерину Маслову,— едва мог выговорить Нехлюдов.

— Маслова, к тебе! — крикнула надзирательница.

XLIII

Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, с своим, знакомым Нехлюдову, выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его.

Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась.

— Вы ко мне? — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо.

— Я хотел видеть...— Нехлюдов не знал, как сказать: «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного.— Я хотел видеть вас... я...

— Ты мне зубы-то не заговаривай,— кричал подле него оборванец.— Брала или не брала?

— Говорят тебе, помирает, чего ж еще? — кричал кто-то с другой стороны.

Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица, в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться.

— Не слыхать, что говорите,— прокричала она, щурясь и все больше и больше морща лоб.

— Я пришел...

«Да, я делаю то, что должно, я каюсь»,— подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться.

— Я говорю: зачем встреваешь, куда не должно...— кричали с одной стороны.

— Верь ты богу, знать не знаю,— кричала арестантка с другой стороны.

Увидав его волнение, Маслова узнала его.

— Похоже, да не признаю,— закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее.

— Я пришел затем, чтобы просить у тебя прощения,— прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок.

Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал:

— Прости меня, я страшно виноват перед...— прокричал он еще.

Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда.

Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания.

Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно, заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал:

— Не могу говорить через решетку, ничего не слышно.

Смотритель задумался.

— Ну, что же, можно вывести ее сюда на время.

— Марья Карловна! — обратился он к надзирательнице.— Выведите Маслову наружу.

Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и исподлобья взглянула на него. Черные волосы, так же как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками, лицо, нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно; только глянцевито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели.

— Можно здесь говорить,— сказал смотритель и отошел.

Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены.

Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку.

— Я знаю, что вам трудно простить меня,— начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают,— но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите...

— Как это вы нашли меня? — не отвечая на его

вопрос, спросила она, и глядя и не глядя на него своими косыми глазами.

«Боже мой! Помоги мне. Научи меня, что мне делать!» — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо.

— Я третьего дня был присяжным,— сказал он,— когда вас судили. Вы не узнали меня?

— Нет, не узнала. Некогда мне было узнавать. Да я и не смотрела,— сказала она.

— Ведь был ребенок? — спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело.

— Тогда же, слава богу, помер,— коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.

— Как же, от чего?

— Я сама больна была, чуть не померла,— сказала она, не поднимая глаз.

— Как же тетушки вас отпустили?

— Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали. Да что говорить,— не помню ничего, все забыла. То все кончено.

— Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех.

— Нечего искупать; что было, то было и прошло,— сказала она, и, чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась.

Маслова никак не ожидала увидать его, особенно теперь и здесь, и потому в первую минуту появление его поразило ее и заставило вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом, чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. И ей сделалось больно. Но, не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда: отогнала от себя эти воспоминания и постаралась застлать их особенным туманом развратной жизни; так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила, но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее

не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она, должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него.

— То все кончено,— сказала она.— Теперь вот осудили в каторгу.

И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово.

— Я знал, я уверен был, что вы не виноваты,— сказал Нехлюдов.

— Известно, не виновата. Разве я воровка или грабительница. У нас говорят, что все от адвоката,— продолжала она.— Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут...

— Да, непременно,— сказал Нехлюдов.— Я уже обратился к адвокату.

— Надо не пожалеть денег, хорошего,— сказала она.

— Я все сделаю, что возможно.

Наступило молчание.

Она опять так же улыбнулась.

— А я хочу вас попросить... денег, если можете. Немного... десять рублей, больше не надо,— вдруг сказала она.

— Да, да,— сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник.

Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере.

— При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут.

Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать десятирублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке.

«Ведь это мертвая женщина»,— думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания.

Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда, стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно.

«Ничего ты не сделаешь с этой женщиной,— говорил этот голос,— только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, всё, что есть, проститься с ней и кончить все навсегда?» — подумалось ему.

Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того бога, которого он вчера почуял в своей душе, и бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все.

— Катюша! Я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне, простила ли ты меня, простишь ли ты меня когда-нибудь,— сказал он, вдруг переходя на «ты».

Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс.

— Чудно́, что говорите,— сказала она, презрительно, как ему показалось, улыбаясь.

Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такою, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца.

Но, удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно; но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он никогда не испытывал прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного: он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такою, какою она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такою, какою она была прежде.

— Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда, в Панове...

— Что старое поминать,— сухо сказала она.

— Я вспоминаю затем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша,— начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней, но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить.

В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят.

— Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя,— сказал Нехлюдов и протянул руку.— Я приду еще.

— Кажется, все сказали...

Она подала руку, но не пожала.

— Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам,— сказал Нехлюдов.

— Что же, приходите,— сказала она, улыбаясь той улыбкой, которой улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться.

— Вы ближе для меня, чем сестра,— сказал Нехлюдов.

— Чудно́,— повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.

XLIV

При первом свидании Нехлюдов ожидал, что, увидав его, узнав его намерение служить ей и его раскаяние, Катюша обрадуется и умилится и станет опять Катюшей, но, к ужасу своему, он увидал, что Катюши не было, а была одна Маслова. Это удивило и ужаснуло его.

Преимущественно удивляло его то, что Маслова не только не стыдилась своего положения — не арестантки (этого она стыдилась), а своего положения проститутки,— но как будто даже была довольна, почти гордилась им. А между тем это и не могло быть иначе. Всякому человеку, для того чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важною и хорошею. И потому, каково бы ни было положение человека, он непременно составит себе такой взгляд на людскую жизнь вообще, при котором его деятельность будет казаться ему важною и хорошею.

Обыкновенно думают, что вор, убийца, шпион, проститутка, признавая свою профессию дурною, должны стыдиться ее. Происходит же совершенно обратное. Люди, судьбою и своими грехами-ошибками поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, составляют себе такой взгляд на жизнь вообще,

при котором их положение представляется им хорошим и уважительным. Для поддержания же такого взгляда люди инстинктивно держатся того круга людей, в котором признается составленное ими о жизни и о своем в ней месте понятие. Нас это удивляет, когда дело касается воров, хвастающихся своею ловкостью, проституток — своим развратом, убийц — своей жестокостью. Но удивляет это нас только потому, что кружок-атмосфера этих людей ограничена и, главное, что мы находимся вне ее. Но разве не то же явление происходит среди богачей, хвастающихся своим богатством, то есть грабительством, военноначальников, хвастающихся своими победами, то есть убийством, властителей, хвастающихся своим могуществом, то есть насильничеством? Мы не видим в этих людях извращения понятия о жизни, о добре и зле для оправдания своего положения только потому, что круг людей с такими извращенными понятиями больше и мы сами принадлежим к нему.

И такой взгляд на свою жизнь и свое место в мире составился у Масловой. Она была проститутка, приговоренная к каторге, и, несмотря на это, она составила себе такое мировоззрение, при котором могла одобрить себя и даже гордиться перед людьми своим положением.

Мировоззрение это состояло в том, что главное благо всех мужчин, всех без исключения — старых, молодых, гимназистов, генералов, образованных, необразованных,— состоит в половом общении с привлекательными женщинами, и потому все мужчины, хотя и притворяются, что заняты другими делами, в сущности желают только одного этого. Она же — привлекательная женщина — может удовлетворять или же не удовлетворять это их желание, и потому она — важный и нужный человек. Вся ее прежняя и теперешняя жизнь была подтверждением справедливости этого взгляда.

В продолжение десяти лет она везде, где бы она ни была, начиная с Нехлюдова и старика станового и кончая острожными надзирателями, видела, что все мужчины нуждаются в ней; она не видела и не замечала тех мужчин, которые не нуждались в ней. И потому весь мир представлялся ей собранием обуреваемых похотью людей, со всех сторон стороживших ее и всеми возможными средствами — обманом, насилием, куплей, хитростью — старающихся овладеть ею.

Так понимала жизнь Маслова, и при таком понимании жизни она была не только не последний, а очень важный человек. И Маслова дорожила таким пониманием жизни больше всего на свете, не могла не дорожить им, потому что, изменив такое понимание жизни, она теряла то значение, которое такое понимание давало ей среди людей. И для того, чтобы не терять своего значения в жизни, она инстинктивно держалась такого круга людей, которые смотрели на жизнь так же, как и она. Чуя же, что Нехлюдов хочет вывести ее в другой мир, она противилась ему, предвидя, что в том мире, в который он привлекал ее, она должна будет потерять это свое место в жизни, дававшее ей уверенность и самоуважение. По этой же причине она отгоняла от себя и воспоминания первой юности и первых отношений с Нехлюдовым. Воспоминания эти не сходились с ее теперешним миросозерцанием и потому были совершенно вычеркнуты из ее памяти или скорее где-то хранились в ее памяти нетронутыми, но были так заперты, замазаны, как пчелы замазывают гнезда клочней (червей), которые могут погубить всю пчелиную работу, чтобы к ним не было никакого доступа. И потому теперешний Нехлюдов был для нее не тот человек, которого она когда-то любила чистой любовью, а только богатый господин, которым можно и должно воспользоваться и с которым могли быть только такие отношения, как и со всеми мужчинами.

«Нет, не мог сказать главного,— думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу.— Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это»,— думал он.

Надзиратели, стоя у дверей, опять, выпуская, в две руки считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого.

XLV

Нехлюдову хотелось изменить свою внешнюю жизнь: сдать большую квартиру, распустить прислугу и переехать в гостиницу. Но Аграфена Петровна доказала ему, что не было никакого резона до зимы что-либо изменять в устройстве жизни; летом квартиры никто не возьмет, а жить и держать мебель и вещи

где-нибудь да нужно. Так что все усилия Нехлюдова изменить свою внешнюю жизнь (ему хотелось устроиться просто, по-студенчески) не привели ни к чему. Мало того, что все осталось по-прежнему, в доме началась усиленная работа: проветривания, развешивания и выбивания всяких шерстяных и меховых вещей, в которой принимали участие и дворник, и его помощник, и кухарка, и сам Корней. Сначала выносили и вывешивали на веревки какие-то мундиры и странные меховые вещи, которые никогда никем не употреблялись; потом стали выносить ковры и мебель, и дворник с помощником, засучив рукава мускулистых рук, усиленно в такт выколачивали эти вещи, и по всем комнатам распространялся запах нафталина. Проходя по двору и глядя из окон, Нехлюдов удивлялся па то, как ужасно много всего этого было и как все это было несомненно бесполезно. «Единственное употребление и назначение этих вещей,— думал Нехлюдов,— состояло в том, чтобы доставить случай делать упражнения Аграфене Петровне, Корнею, дворнику, его помощнику и кухарке.

Не стоит изменять формы жизни теперь, когда дело Масловой не решено,— думал Нехлюдов.— Да и слишком трудно это. Все равно само собой все изменится, когда освободят или сошлют ее и я поеду за ней».

В назначенный адвокатом Фанариным день Нехлюдов приехал к нему. Войдя в его великолепную квартиру собственного дома с огромными растениями и удивительными занавесками в окнах и вообще той дорогой обстановкой, свидетельствующей о дурашных, то есть без труда полученных деньгах, которая бывает только у людей неожиданно разбогатевших, Нехлюдов застал в приемной дожидающихся очереди просителей, как у врачей, уныло сидящих около столов с долженствующими утешать их иллюстрированными журналами. Помощник адвоката, сидевший тут же, у высокой конторки, узнав Нехлюдова, подошел к нему, поздоровался и сказал, что он сейчас скажет принципалу. Но не успел помощник подойти к двери в кабинет, как она сама отворилась и послышались громкие, оживленные голоса немолодого коренастого человека с красным лицом и с густыми усами, в совершенно новом платье, и самого Фанарина. На обоих лицах было то выражение, какое бывает на лицах людей, только что сделавших выгодное, но не совсем хорошее дело.

— Сами виноваты, батюшка,— улыбаясь, говорил Фанарин.

— И рад бы в рай, да грехи не пущают.

— Ну, ну, мы знаем.

И оба ненатурально засмеялись.

— А, князь, пожалуйте,— сказал Фанарин, увидав Нехлюдова, и, кивнув еще раз удалявшемуся купцу, ввел Нехлюдова в свой строгого стиля деловой кабинет.— Пожалуйста, курите,— сказал адвокат, садясь против Нехлюдова и сдерживая улыбку, вызываемую успехом предшествующего дела.

— Благодарю, я о деле Масловой.

— Да, да, сейчас. У, какие шельмы эти толстосумы! — сказал он.— Видели этого молодца? У него миллионов двенадцать капитала. А говорит: пущает. Ну, а если только может вытянуть у вас двадцатипятирублевый билет — зубами вырвет.

«Он говорит «пущает», а ты говоришь «двадцатипятирублевый билет»,— думал между тем Нехлюдов, чувствуя непреодолимое отвращение к этому развязному человеку, тоном своим желающему показать, что он с ним, с Нехлюдовым, одного, а с пришедшими клиентами и остальными — другого, чуждого им лагеря.

— Уж очень он меня измучал — ужасный негодяй. Хотелось душу отвести,— сказал адвокат, как бы оправдываясь в том, что говорит не о деле.— Ну-с, о вашем деле... Я его прочел внимательно и «содержания оной не одобрил», как говорится у Тургенева, то есть адвокатишко был дрянной и все поводы кассации упустил.

— Так что же вы решили?

— Сию минуту. Скажите ему,— обратился он к вошедшему помощнику,— что, как я сказал, так и будет; может — хорошо, не может — не надо.

— Да он не согласен.

— Ну, и не надо,— сказал адвокат, и лицо у него из радостного и добродушного вдруг сделалось мрачное и злое.

— Вот говорят, что адвокаты даром деньги берут,— сказал он, наводя на свое лицо опять прежнюю приятность.— Я выпростал одного несостоятельного должника из совершенно неправильного обвинения, и теперь они все ко мне лезут. А каждое такое дело стоит огромного труда. Ведь и мы тоже, как какой-то писатель говорит, оставляем кусочек мяса в чернильнице. Ну-с, так ваше дело, или дело, которое интересует вас,— продол-

жал он,— ведено скверно, хороших поводов к кассации нет, но все-таки попытаться кассировать можно, и я вот написал следующее.

Он взял лист исписанной бумаги и, быстро проглатывая некоторые неинтересные формальные слова и особенно внушительно произнося другие, начал читать:

— «В Уголовный кассационный департамент и так далее и так далее, такой-то и так далее жалоба. Решением состоявшегося и так далее, и так далее вердикта и так далее, признана такая-то Маслова виновною в лишении жизни посредством отравления купца Смелькова и на основании 1454 статьи Уложения приговорена к и так далее каторжные работы и так далее».

Он остановился; очевидно, несмотря на большую привычку, он все-таки с удовольствием слушал свое произведение.

— «Приговор этот является результатом столь важных процессуальных нарушений и ошибок,— продолжал он внушительно,— что подлежит отмене. Во-первых, чтение во время судебного следствия акта исследования внутренностей Смелькова было прервано в самом начале председателем» — раз.

— Да ведь это обвинитель требовал чтения,— с удивлением сказал Нехлюдов.

— Все равно, защита могла иметь основания требовать того же самого.

— Но ведь это уже совсем ни на что не нужно было.

— Все-таки это повод. Далее: «Во-вторых, защитник Масловой,— продолжал он читать,— был остановлен во время речи председателем, когда, желая охарактеризовать личность Масловой, он коснулся внутренних причин ее падения, на том основании, что слова защитника якобы не относятся прямо к делу, а между тем в делах уголовных, как то было неоднократно указываемо сенатом, выяснение характера и вообще нравственного облика подсудимого имеет первенствующее значение, хотя бы для правильного решения вопроса о вменении» — два,— сказал он, взглянув на Нехлюдова.

— Да ведь он очень плохо говорил, так что нельзя было ничего понять,— еще более удивляясь, сказал Нехлюдов.

— Малый глупый совсем и, разумеется, ничего не мог сказать путного,— смеясь, сказал Фанарин,— но все-таки повод. Ну-с, потом. «В-третьих, в заключи-

тельном слове своем председатель, вопреки категорического требования 1 пункта 801 статьи Устава уголовного судопроизводства, не разъяснил присяжным заседателям, из каких юридических элементов слагается понятие о виновности, и не сказал им, что они имеют право, признав доказанным факт дачи Масловою яду Смелькову, не вменить ей это деяние в вину за отсутствием у нее умысла на убийство и таким образом признать ее виновною не в уголовном преступлении, а лишь в проступке — неосторожности, последствием коей, неожиданным для Масловой, была смерть купца». Это вот главное.

— Да мы и сами могли понять это. Это наша ошибка.

— «И наконец, в-четвертых,— продолжал адвокат,— присяжными заседателями ответ на вопрос суда о виновности Масловой был дан в такой форме, которая заключала в себе явное противоречие. Маслова обвинялась в умышленном отравлении Смелькова с исключительно корыстною целью, каковая являлась единственным мотивом убийства, присяжные же в ответе своем отвергли цель ограбления и участие Масловой в похищении ценностей, из чего очевидно было, что они имели в виду отвергнуть и умысел подсудимой на убийство и лишь по недоразумению, вызванному неполнотою заключительного слова председателя, не выразили этого надлежащим образом в своем ответе, а потому такой ответ присяжных безусловно требовал применения 816 и 808 статей Устава уголовного судопроизводства, то есть разъяснения присяжным со стороны председателя сделанной ими ошибки и возвращения к новому совещанию и новому ответу на вопрос о виновности подсудимой»,— прочел Фанарин.

— Так почему же председатель не сделал этого?

— Я бы тоже желал знать почему,— смеясь, сказал Фанарин.

— Стало быть, сенат исправит ошибку?

— Это смотря по тому, какие там в данный момент будут заседать богодулы.

— Как богодулы?

— Богодулы из богадельни. Ну, так вот-с. Дальше пишем: «Такой вердикт не давал суду права,— продолжал он быстро,— подвергнуть Маслову уголовному наказанию, и применение к ней 3 пункта 771 статьи Устава уголовного судопроизводства составляет резкое и

крупное нарушение основных положений нашего уголовного процесса. По изложенным основаниям имею честь ходатайствовать и так далее и так далее об отмене согласно 909, 910, 2 пункта 912 и 928 статей Устава уголовного судопроизводства и так далее и так далее и о передаче дела сего в другое отделение того же суда для нового рассмотрения». Так вот-с, все, что можно было сделать, сделано. Но буду откровенен, вероятия на успех мало. Впрочем, все зависит от состава департамента сената. Если есть рука, похлопочите.

— Я кое-кого знаю.

— Да и поскорее, а то они все уедут геморрои лечить, и тогда три месяца надо ждать... Ну, а в случае неуспеха остается прошение на высочайшее имя. Это тоже зависит от закулисной работы. И в этом случае готов служить, то есть не в закулисной, а в составлении прошения.

— Благодарю вас, гонорар, стало быть...

— Помощник передаст вам беловую жалобу и скажет.

— Еще я хотел спросить вас: прокурор дал мне пропуск в тюрьму к этому лицу, в тюрьме же мне сказали, что нужно еще разрешение губернатора для свиданий вне условных дней и места. Нужно ли это?

— Да, я думаю. Но теперь губернатора нет, правит должностью виц. Но это такой дремучий дурак, что вы с ним едва ли что сделаете.

— Это Масленников?

— Да.

— Я знаю его,— сказал Нехлюдов и встал, чтобы уходить.

В это время в комнату влетела быстрым шагом маленькая, страшно безобразная, курносая, костлявая, желтая женщина — жена адвоката, очевидно нисколько не унывавшая от своего безобразия. Она не только была необыкновенно оригинально нарядна,— что-то было на ней накручено и бархатное, и шелковое, и ярко-желтое, и зеленое,— но и жидкие волосы ее были подвиты, и она победительно влетела в приемную, сопутствуемая длинным улыбающимся человеком с земляным цветом лица, в сюртуке с шелковыми отворотами и белом галстуке. Это был писатель; его знал по лицу Нехлюдов.

— Анатоль,— проговорила она, отворяя дверь,— пойдем ко мне. Вот Семен Иванович обещает прочесть

свое стихотворение, а ты должен читать о Гаршине непременно.

Нехлюдов хотел уйти, но жена адвоката пошепталась с мужем и тотчас же обратилась к нему:

— Пожалуйста, князь,— я вас знаю и считаю излишним представления,— посетите наше литературное утро. Очень будет интересно. Анатоль прелестно читает.

— Видите, сколько у меня разнообразных дел,— сказал Анатоль, разводя руками, улыбаясь и указывая на жену, выражая этим невозможность противустоять такой обворожительной особе.

С грустным и строгим лицом и с величайшею учтивостью поблагодарив жену адвоката за честь приглашения, Нехлюдов отказался за неимением возможности и вышел в приемную.

— Какой гримасник! — сказала про него жена адвоката, когда он вышел.

В приемной помощник передал Нехлюдову готовое прошение и на вопрос о гонораре сказал, что Анатолий Петрович назначил тысячу рублей, объяснив при этом, что, собственно, таких дел Анатолий Петрович не берет, но делает это для него.

— Как же подписать прошение, кто должен? — спросил Нехлюдов.

— Может сама подсудимая, а если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность.

— Нет, я съезжу и возьму ее подпись,— сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня.

XLVI

В обычное время в остроге просвистели по коридорам свистки надзирателей; гремя железом, отворились двери коридоров и камер, зашлепали босые ноги и каблуки котов, по коридорам прошли парашечники, наполняя воздух отвратительною вонью; умылись, оделись арестанты и арестантки и вышли по коридорам на поверку, а после поверки пошли за кипятком для чая.

За чаем в этот день по всем камерам острога шли оживленные разговоры о том, что в этот день должны были быть наказаны розгами два арестанта. Один из этих арестантов был хорошо грамотный молодой человек, приказчик Васильев, убивший свою любовницу в припадке ревности. Его любили товарищи по камере за

его веселость, щедрость и твердость в отношениях с начальством. Он знал законы и требовал исполнения их. За это начальство не любило его. Три недели тому назад надзиратель ударил парашечника за то, что тот облил его новый мундир щами. Васильев вступился за парашечника, говоря, что нет закона бить арестантов. «Я тебе покажу закон»,— сказал надзиратель и изругал Васильева. Васильев ответил тем же. Надзиратель хотел ударить, но Васильев схватил его за руки, подержал так минуты три, повернул и вытолкнул из двери. Надзиратель пожаловался, и смотритель велел посадить Васильева в карцер.

Карцеры были ряд темных чуланов, запиравшихся снаружи запорами. В темном, холодном карцере не было ни кровати, ни стола, ни стула, так что посаженный сидел или лежал на грязном полу, где через него и на него бегали крысы, которых в карцере было очень много и которые были так смелы, что в темноте нельзя было уберечь хлеба. Они съедали хлеб из-под рук у посаженных и даже нападали на самих посаженных, если они переставали шевелиться. Васильев сказал, что не пойдет в карцер, потому что не виноват. Его повели силой. Он стал отбиваться, и двое арестантов помогли ему вырваться от надзирателей. Собрались надзиратели и между прочим знаменитый своей силой Петров. Арестантов смяли и втолкнули в карцеры. Губернатору тотчас же было донесено о том, что случилось нечто похожее на бунт. Была получена бумага, в которой предписывалось дать главным двум виновникам — Васильеву и бродяге Непомнящему — по тридцать розог.

Наказание должно было происходить в женской посетительской.

С вечера все это было известно всем обитателям острога, и по камерам шли оживленные переговоры о предстоящем наказании.

Кораблева, Хорошавка, Федосья и Маслова сидели в своем углу и, все красные и оживленные, выпив уже водки, которая теперь не переводилась у Масловой и которою она щедро угощала товарок, пили чай и говорили о том же.

— Разве он буянил или что,— говорила Кораблева про Васильева, откусывая крошечные кусочки сахару всеми своими крепкими зубами.— Он только за товарища стал. Потому нынче драться не велят.

— Малый, говорят, хорош,— прибавила Федосья,

простоволосая, с своими длинными косами, сидевшая на полене против нар, на которых был чайник.

— Вот бы ему сказать, Михайловна,— обратилась сторожиха к Масловой, подразумевая под «ним» Нехлюдова.

— Я скажу. Он для меня все сделает,— улыбаясь и встряхивая головой, отвечала Маслова.

— Да ведь когда приедет, а они, говорят, сейчас пошли за ними,— сказала Федосья.— Страсть это,— прибавила она, вздыхая.

— Я однова́ видела, как в волостном мужика драли. Меня к старшине батюшка свекор послал, пришла я, а он, глядь...— начала сторожиха длинную историю.

Рассказ сторожихи был прерван звуком голосов и шагов в верхнем коридоре.

Женщины притихли, прислушиваясь.

— Поволокли, черти,— сказала Хорошавка.— Запорют они его теперь. Злы уж больно на него надзиратели, потому он им спуска не дает.

Наверху все затихло, и сторожиха досказала свою историю, как она испужалась в волостном, когда там в сарае мужика секли, как у ней вся внутренность отскочила. Хорошавка же рассказала, как Щеглова плетьми драли, а он и голоса не дал. Потом Федосья убрала чай, и Кораблева и сторожиха взялись за шитье, а Маслова села, обняв коленки, на нары, тоскуя от скуки. Она собралась лечь заснуть, как надзирательница кликнула ее в контору к посетителю.

— Беспременно скажи про нас,— говорила ей старуха Меньшова, в то время как Маслова оправляла косынку перед зеркалом с облезшей наполовину ртутью,— не мы зажгли, а он сам, злодей, и работник видел; он души не убьет. Ты скажи ему, чтобы он Митрия вызвал. Митрий все ему выложит, как на ладонке; а то что ж это, заперли в за́мок, а мы и духом не слыхали, а он, злодей, царствует с чужой женой, в кабаке сидит.

— Не закон это! — подтвердила Кораблиха.

— Скажу, непременно скажу,— отвечала Маслова.— А то выпить еще для смелости,— прибавила она, подмигнув глазом.

Кораблиха налила ей полчашки. Маслова выпила, утерлась и в самом веселом расположении духа, повторяя сказанные ею слова: «для смелости», покачивая головой и улыбаясь, пошла за надзирательницей по коридору.

XLVII

Нехлюдов уже давно дожидался в сенях.

Приехав в острог, он позвонил у входной двери и подал дежурному надзирателю разрешение прокурора.

— Вам кого?

— Видеть арестантку Маслову.

— Нельзя теперь: смотритель занят.

— В конторе? — спросил Нехлюдов.

— Нет, здесь, в посетительской,— отвечал смущенно, как показалось Нехлюдову, надзиратель.

— Разве нынче принимают?

— Нет, особенное дело,— сказал он.

— Как же его увидать?

— Вот выйдут, тогда скажете. Обождите.

В это время из боковой двери вышел с блестящими галунами и сияющим, глянцевитым лицом, с пропитанными табачным дымом усами фельдфебель и строго обратился к надзирателю:

— Зачем сюда пустили?.. В контору...

— Мне сказали, что смотритель здесь,— сказал Нехлюдов, удивляясь на то беспокойство, которое заметно было и в фельдфебеле.

В это время внутренняя дверь отворилась, и вышел запотевший, разгоряченный Петров.

— Будет помнить,— проговорил он, обращаясь к фельдфебелю.

Фельдфебель указал глазами на Нехлюдова, и Петров замолчал, нахмурился и прошел в заднюю дверь.

«Кто будет помнить? Отчего они все так смущены? Отчего фельдфебель сделал ему какой-то знак?» — думал Нехлюдов.

— Нельзя здесь дожидаться, пожалуйте в контору,— опять обратился фельдфебель к Нехлюдову, и Нехлюдов уже хотел уходить, когда из задней двери вышел смотритель, еще более смущенный, чем его подчиненные. Он не переставая вздыхал. Увидав Нехлюдова, он обратился к надзирателю.

— Федотов, Маслову из пятой женской в контору,— сказал он.

— Пожалуйте,— обратился он к Нехлюдову. Они прошли по крутой лестнице в маленькую комнатку с одним окном, письменным столом и несколькими стульями. Смотритель сел.

— Тяжелые, тяжелые обязанности,— сказал он, обращаясь к Нехлюдову и доставая толстую папиросу.

— Вы, видно, устали,— сказал Нехлюдов.

— Устал от всей службы, очень трудные обязанности. Хочешь облегчить участь, а выходит хуже; только и думаю, как уйти: тяжелые, тяжелые обязанности.

Нехлюдов не знал, в чем особенно была для смотрителя трудность, но нынче он видел в нем какое-то особенное, возбуждающее жалость, унылое и безнадежное настроение.

— Да, я думаю, что очень тяжелые,— сказал он.— Зачем же вы исполняете эту обязанность?

— Средств не имею, семья.

— Но если вам тяжело...

— Ну, все-таки я вам скажу, по мере сил приносишь пользу, все-таки, что могу, смягчаю. Кто другой на моем месте совсем бы не так повел. Ведь это легко сказать: две тысячи с лишним человек, да каких. Надо знать, как обойтись. Тоже люди, жалеешь их. А распустить тоже нельзя.

Смотритель стал рассказывать недавний случай драки между арестантами, кончившейся убийством.

Рассказ его был прерван входом Масловой, предшествуемой надзирателем.

Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и не переставая улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову.

— Здравствуйте,— сказала она, нараспев и улыбаясь и сильно, не так, как тот раз, встряхнув его руку.

— Я вот привез вам подписать прошение,— сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его.— Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург.

— Что же, можно и подписать. Все можно,— сказала она, щуря один глаз и улыбаясь.

Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу.

— Можно здесь подписать? — спросил Нехлюдов у смотрителя.

— Иди сюда, садись,— сказал смотритель,— вот тебе и перо. Умеешь грамоте?

— Когда-то знала,— сказала она и, улыбаясь, опра-

вив юбку и рукав кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова.

Он указал ей, что и где написать.

Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя.

— Больше ничего не нужно? — спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаги.

— Мне нужно кое-что сказать вам,— сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо.

— Что же, скажите,— сказала она и вдруг, как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной.

Смотритель встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз.

XLVIII

Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он не переставая упрекал себя за то, что в то первое свидание не сказал ей главного — того, что он намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо,— морщинки около глаз и губ и подпухлость глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее.

Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надзирателем, человеком еврейского типа, с седеющими бакенбардами, сидевшим у окна, а одною ею, он сказал:

— Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно.

— Вот кабы прежде адвокат бы хороший...— перебила она его.— А то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил,— сказала она и засмеялась.— Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое б было. А то что? Думают все — воровка.

«Какая она странная нынче»,— подумал Нехлюдов и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила.

— А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все,

знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что сидит, и она и сын; и все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома,— сказала Маслова, вертя головой и взглядывая на него,— и говорит: «Скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет». Меньшовы их фамилия. Что ж, сделаете? Такая, знаете, старушка чудесная; видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите,— сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь.

— Хорошо, я сделаю, узнаю,— сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности.— Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз? — сказал он.

— Вы много говорили. Что говорили тот раз? — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.

— Я говорил, что пришел просить вас простить меня,— сказал он.

— Ну, что, все простить, простить, ни к чему это... вы лучше...

— Что я хочу загладить свою вину,— продолжал Нехлюдов,— и загладить не словами, а делом. Я решил жениться на вас.

Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него.

— Это еще зачем понадобилось? — проговорила она, злобно хмурясь.

— Я чувствую, что я перед богом должен сделать это.

— Какого еще бога там нашли? Всё вы не то говорите. Бога? Какого бога? Вот вы бы тогда помнили бога,— сказала она и, раскрыв рот, остановилась.

Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения.

— Успокойтесь,— сказал он.

— Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю,— вдруг быстро заговорила она и вся багрово покраснела,— я каторжная, б...., а вы барин, князь, и нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена — красненькая.

— Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую,— весь дрожа, тихо сказал

Нехлюдов,— не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобою!..

— Чувствую вину...— злобно передразнила она.— Тогда не чувствовал, а сунул сто рублей. Вот — твоя цена...

— Знаю, знаю, но что же теперь делать? — сказал Нехлюдов.— Теперь я решил, что не оставлю тебя,— повторил он,— и что сказал, то сделаю.

— А я говорю, не сделаешь! — проговорила она и громко засмеялась.

— Катюша! — начал он, дотрагиваясь до ее руки.

— Уйди от меня. Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть,— вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку.— Ты мной хочешь спастись,— продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе.— Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись! Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты! — закричала она, энергическим движением вскочив на ноги.

Надзиратель подошел к ним.

— Ты что скандалишь! Разве так можно...

— Оставьте, пожалуйста,— сказал Нехлюдов.

— Чтоб не забывалась,— сказал надзиратель.

— Нет, подождите, пожалуйста,— сказал Нехлюдов.

Надзиратель отошел опять к окну.

Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки.

Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать.

— Ты не веришь мне,— сказал он.

— Что вы жениться хотите — не будет этого никогда. Повешусь скорее! Вот вам.

— Я все-таки буду служить тебе.

— Ну, это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно. Это я верно вам говорю,— сказала она.— И зачем я не умерла тогда? — прибавила она и заплакала жалобным плачем.

Нехлюдов не мог говорить: ее слезы сообщились ему.

Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы.

Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала.

— Вы теперь возбуждены. Если можно будет, я завтра приеду. А вы подумайте,— сказал Нехлюдов.

Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем.

— Ну, девка, заживешь теперь,— говорила Кораблева Масловой, когда она вернулась в камеру.— Видно, здорово в тебя втреснувши; не зевай, пока он ездит. Он выручит. Богатым людям все можно.

— Это как есть,— певучим голосом говорила сторожиха.— Бедному жениться и ночь коротка, богатому только задумал, загадал,— все тебе, как пожелал, так и сбудется. У нас такой, касатка, почтенный, так что сделал...

— Что ж, о моем-то деле говорила? — спросила старуха.

Но Маслова не отвечала своим товаркам, а легла на нары и с уставленными в угол косыми глазами лежала так до вечера. В ней шла мучительная работа. То, что ей сказал Нехлюдов, вызывало ее в тот мир, в котором она страдала и из которого ушла, не поняв и возненавидев его. Она теперь потеряла то забвение, в котором жила, а жить с ясной памятью о том, что было, было слишком мучительно. Вечером она опять купила вина и напилась вместе с своими товарками.

XLIX

«Да, так вот оно что. Вот что»,— думал Нехлюдов, выходя из острога и только теперь вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его; мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние; теперь ему просто было страшно. Бросить ее — он чувствовал это — теперь он не мог, а между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношений к ней.

На самом выходе к Нехлюдову подошел надзиратель с крестами и медалями и неприятным, вкрадчивым лицом и таинственно передал ему записку.

— Вот вашему сиятельству записка от одной особы...— сказал он, подавая Нехлюдову конверт.

— Какой особы?

— Прочтете — увидите. Заключенная, политическая. Я при них состою. Так вот она просила меня. И хотя и не разрешено, но по человечеству...— ненатурально говорил надзиратель.

Нехлюдов был удивлен, каким образом надзиратель, приставленный к политическим, передает записки, и в самом остроге, почти на виду у всех; он не знал еще тогда, что это был и надзиратель и шпион, но взял записку и, выходя из тюрьмы, прочел ее. В записке было написано карандашом бойким почерком, без еров, следующее:

«Узнав, что вы посещаете острог, интересуясь одной уголовной личностью, мне захотелось повидаться с вами. Просите свидания со мной. Вам дадут, а я передам вам много важного и для вашей протеже, и для нашей группы. Благодарная вам Вера Богодуховская».

Вера Богодуховская была учительница в глухой Новгородской губернии, куда Нехлюдов с товарищами заехал для медвежьей охоты. Учительница эта обратилась к Нехлюдову с просьбой дать ей денег, для того чтобы ехать на курсы. Нехлюдов дал ей эти деньги и забыл про нее. Теперь оказывалось, что эта госпожа была политическая преступница, сидела в тюрьме, где, вероятно, узнала его историю, и вот предлагала ему свои услуги. Как тогда все было легко и просто. И как теперь все тяжело и сложно. Нехлюдов живо и радостно вспомнил тогдашнее время и свое знакомство с Богодуховской. Это было перед масленицей, в глуши, верст за шестьдесят от железной дороги. Охота была счастливая, убили двух медведей и обедали, собираясь уезжать, когда хозяин избы, в которой останавливались, пришел сказать, что пришла дьяконова дочка, хочет видеться с князем Нехлюдовым.

— Хорошенькая? — спросил кто-то.

— Ну, полно! — сказал Нехлюдов, сделал серьезное лицо, встал из-за стола и, утирая рот и удивляясь, зачем он понадобился дьяконовой дочери, пошел в хозяйскую хату.

В комнате была девушка в войлочной шляпе, в шубке, жилистая, с худым некрасивым лицом, в котором хороши были одни глаза с поднятыми над ними бровями.

— Вот, Вера Ефремовна, поговори с ними,— сказала старуха хозяйка,— это самый князь. А я уйду.

— Чем могу вам служить? — сказал Нехлюдов.

— Я... я... Видите ли, вы богаты, вы швыряете деньгами на пустяки, на охоту, я знаю,— начала девушка, сильно конфузясь,— а я хочу только одного — хочу быть полезной людям и ничего не могу, потому что ничего не знаю.

Глаза были правдивые, добрые, и все выражение и решимости и робости было так трогательно, что Нехлюдов, как это бывало с ним, вдруг перенесся в ее положение, понял ее и пожалел.

— Что же я могу сделать?

— Я учительница, но хотела бы на курсы, и меня не пускают. Не то что не пускают, они пускают, но надо средства. Дайте мне, и я кончу курс и заплачу вам. Я думаю, богатые люди бьют медведей, мужиков поят — все это дурно. Отчего бы им не сделать добро? Мне нужно бы только восемьдесят рублей. А не хотите, мне все равно,— сердито сказала она.

— Напротив, я очень благодарен вам, что вы мне дали случай... Я сейчас принесу,— сказал Нехлюдов.

Он вышел в сени и тут же застал товарища, который подслушивал их разговор. Он, не отвечая на шутки товарищей, достал из сумки деньги и понес ей.

— Пожалуйста, пожалуйста, не благодарите. Я вас должен благодарить.

Нехлюдову приятно было теперь вспомнить все это; приятно было вспомнить, как он чуть не поссорился с офицером, который хотел сделать из этого дурную шутку, как другой товарищ поддержал его и как вследствие этого ближе сошелся с ним, как и вся охота была счастливая и веселая и как ему было хорошо, когда они возвращались ночью назад к станции железной дороги. Вереница саней парами, гусем двигались без шума рысцой по узкой дороге лесами, иногда высокими, иногда низкими, с елками, сплошь задавленными сплошными лепешками снега. В темноте, блестя красным огнем, закуривал кто-нибудь хорошо пахнущую папиросу. Осип, обкладчик, перебегал от саней к саням по колено в снегу и прилаживался, рассказывая про лосей, которые теперь ходят по глубокому снегу и гложут осиновую кору, и про медведей, которые лежат теперь в своих дремучих берлогах, пыхтя в отдушины теплым дыханьем.

Нехлюдову вспомнилось все это и больше всего счастливое чувство сознания своего здоровья, силы и беззаботности. Легкие, напруживая полушубок, дышат морозным воздухом, на лицо сыплется с задетых дугой веток снег, телу тепло, лицу свежо, и на душе ни забот, ни упреков, ни страхов, ни желаний. Как было хорошо! А теперь? Боже мой, как все это было мучительно и трудно!..

Очевидно, Вера Ефремовна была революционерка и теперь за революционные дела была в тюрьме. Надо было увидать ее, в особенности потому, что она обещала посоветовать, как улучшить положение Масловой.

L

Проснувшись на другой день утром, Нехлюдов вспомнил все то, что было накануне, и ему стало страшно.

Но, несмотря на этот страх, он, больше чем когда-нибудь прежде, решил, что будет продолжать начатое.

С этим чувством сознания своего долга он выехал из дома и поехал к Масленникову — просить его разрешить ему посещения в остроге, кроме Масловой, еще и той старушки Меньшовой с сыном, о которой Маслова просила его. Кроме того, он хотел просить о свидании с Богодуховской, которая могла быть полезна Масловой.

Нехлюдов знал Масленникова еще давно по полку. Масленников был тогда казначеем полка. Это был добродушнейший, исполнительнейший офицер, ничего не знавший и не хотевший знать в мире, кроме полка и царской фамилии. Теперь Нехлюдов застал его администратором, заменившим полк губернией и губернским правлением. Он был женат на богатой и бойкой женщине, которая и заставила его перейти из военной в статскую службу.

Она смеялась над ним и ласкала его, как свое прирученное животное. Нехлюдов в прошлую зиму был один раз у них, но ему так неинтересна показалась эта чета, что ни разу после он не был.

Масленников весь расциял, увидав Нехлюдова. Такое же было жирное и красное лицо, и та же корпуленция, и такая же, как в военной службе, прекрасная одежда. Там это был всегда чистый, по последней моде облегавший его плечи и грудь мундир или тужурка;

теперь это было по последней моде статское платье, так же облегавшее его сытое тело и выставлявшее широкую грудь. Он был в вицмундире. Несмотря на разницу лет (Масленникову было под сорок), они были на «ты».

— Ну вот, спасибо, что приехал. Пойдем к жене. А у меня как раз десять минут свободных перед заседанием. Принципал ведь уехал. Я правлю губернией,— сказал он с удовольствием, которого не мог скрыть.

— Я к тебе по делу.

— Что такое? — вдруг, как будто насторожившись, испуганным и несколько строгим тоном сказал Масленников.

— В остроге есть одно лицо, которым я очень интересуюсь (при слове острог лицо Масленникова сделалось еще более строго), и мне хотелось бы иметь свидание не в общей, а в конторе, и не только в определенные дни, но и чаще. Мне сказали, что это от тебя зависит.

— Разумеется, mon cher[1], я все готов для тебя сделать,— дотрагиваясь обеими руками до его колен, сказал Масленников, как бы желая смягчить свое величие,— это можно, но, видишь ли, я калиф на час.

— Так ты можешь дать мне бумагу, чтобы я мог видеться с нею?

— Это женщина?

— Да.

— Так за что ж она?

— За отравление. Но она неправильно осуждена.

— Да, вот тебе и правый суд, ils n'en font point d'autres[2],— сказал он для чего-то по-французски.— Я знаю, ты не согласен со мною, но что же делать, c'est mon opinion bien arrêtée[3],— прибавил он, высказывая мнение, которое он в разных видах в продолжение года читал в ретроградной, консервативной газете.— Я знаю, ты либерал.

— Не знаю, либерал ли я, или что другое,— улыбаясь, сказал Нехлюдов, всегда удивлявшийся на то, что все его причисляли к какой-то партии и называли либералом только потому, что он, судя человека, говорил, что надо прежде выслушать его, что перед су-

[1] дорогой мой *(фр.)*.
[2] иного они не творят *(фр.)*.
[3] это мое твердое убеждение *(фр.)*.

дом все люди равны, что не надо мучать и бить людей вообще, а в особенности таких, которые не осуждены.— Не знаю, либерал ли я, или нет, но только знаю, что теперешние суды, как они ни дурны, все-таки лучше прежних.

— А кого ты взял в адвокаты?

— Я обратился к Фанарину.

— Ах, Фанарин! — морщась, сказал Масленников, вспоминая, как в прошлом году этот Фанарин на суде допрашивал его как свидетеля и с величайшей учтивостью в продолжение получаса поднимал на смех.— Я бы не посоветовал тебе иметь с ним дело. Фанарин — est un homme taré [1].

— И еще к тебе просьба,— не отвечая ему, сказал Нехлюдов.— Давно очень я знал одну девушку — учительницу. Она очень жалкое существо и теперь тоже в тюрьме, а желает повидаться со мной. Можешь ты мне дать и к ней пропуск?

Масленников немного набок склонил голову и задумался.

— Это политическая?

— Да, мне сказали так.

— Вот видишь, свидания с политическими даются только родственникам, но тебе я дам общий пропуск. Je sais que vous n'abuserez pas... [2] Как ее зовут, твою protégée?.. Богодуховской? Elle est jolie? [3]

— Hideuse [4].

Масленников неодобрительно покачал головой, подошел к столу и на бумаге с печатным заголовком бойко написал: «Подателю сего, князю Дмитрию Ивановичу Нехлюдову, разрешаю свидание в тюремной конторе с содержащейся в замке мещанкой Масловой, равно и с фельдшерицей Богодуховской»,— дописал он и сделал размашистый росчерк.

— Вот ты увидишь, какой порядок там. А соблюсти там порядок очень трудно, потому что переполнено, особенно пересыльными: но я все-таки строго смотрю и люблю это дело. Ты увидишь — им там очень хорошо, и они довольны. Только надо уметь обращаться с ними. Вот на днях была неприятность — неповиновение. Другой бы признал это бунтом и сделал бы много

[1] человек с подорванной репутацией *(фр.)*.
[2] Я знаю, что ты не злоупотребишь... *(фр.)*
[3] Она хорошенькая? *(фр.)*
[4] Безобразна *(фр.)*.

несчастных. А у нас все прошло очень хорошо. Нужна, с одной стороны, заботливость, с другой — твердая власть,— сказал он, сжимая выдающийся из-за белого крепкого рукава рубашки с золотой запонкой белый пухлый кулак с бирюзовым кольцом,— заботливость и твердая власть.

— Ну, этого я не знаю,— сказал Нехлюдов,— я был там два раза, и мне было ужасно тяжело.

— Знаешь что? Тебе надо сойтись с графиней Пассек,— продолжал разговорившийся Масленников,— она вся отдалась этому делу. Elle fait beaucoup de bien[1]. Благодаря ей, может быть, и мне, без ложной скромности скажу, удалось все изменить, и изменить так, что нет уже тех ужасов, которые были прежде, а им прямо там очень хорошо. Вот ты увидишь. Вот Фанарин, я не знаю его лично, да и по моему общественному положению наши пути не сходятся, но он положительно дурной человек, вместе с тем позволяет себе говорить на суде такие вещи, такие вещи...

— Ну благодарствуй,— сказал Нехлюдов, взяв бумагу, и, не дослушав, простился с своим бывшим товарищем.

— А к жене ты не пойдешь?

— Нет, извини меня, теперь мне некогда.

— Ну, как же, она не простит мне,— говорил Масленников, провожая бывшего товарища до первой площадки лестницы, как он провожал людей не первой важности, но второй важности, к которым он причислял Нехлюдова.— Нет, пожалуйста, зайди хоть на минуту.

Но Нехлюдов остался тверд, и, в то время как лакей и швейцар подскакивали к Нехлюдову, подавая ему пальто и палку, и отворяли дверь, у которой снаружи стоял городовой, он сказал, что никак не может теперь.

— Ну, так в четверг, пожалуйста. Это ее приемный день. Я ей скажу! — прокричал ему Масленников с лестницы.

LI

В тот же день прямо от Масленникова приехав в острог, Нехлюдов направился к знакомой уже квартире смотрителя. Опять слышались те же, как и в тот раз,

---

[1] Она делает много добра *(фр.)*.

звуки плохого фортепьяно, но теперь игралась не рапсодия, а этюды Клементи, тоже с необыкновенной силой, отчетливостью и быстротой. Отворившая горничная с подвязанным глазом сказала, что капитан дома, и провела Нехлюдова в маленькую гостиную с диваном, столом и подожженным с одной стороны розовым бумажным колпаком большой лампы, стоявшей на шерстяной вязаной салфеточке. Вышел главный смотритель с измученным, грустным лицом.

— Прошу покорно, что угодно? — сказал он, застегивая среднюю пуговицу своего мундира.

— Я вот был у вице-губернатора, и вот разрешение,— сказал Нехлюдов, подавая бумагу.— Я желал бы видеть Маслову.

— Маркову? — переспросил смотритель, не расслышав из-за музыки.

— Маслову.

— Ну, да! Ну, да!

Смотритель встал и подошел к двери, из которой слышались рулады Клементи.

— Маруся, хоть немножко подожди,— сказал он голосом, по которому видно было, что эта музыка составляла крест его жизни,— ничего не слышно.

Фортепьяно замолкло, послышались недовольные шаги, и кто-то заглянул в дверь.

Смотритель, как бы чувствуя облегчение от этого перерыва музыки, закурил толстую папиросу слабого табаку и предложил Нехлюдову. Нехлюдов отказался.

— Так вот я бы желал видеть Маслову.

— Маслову нынче неудобно видеть,— сказал смотритель.

— Отчего?

— Да так, вы сами виноваты,— слегка улыбаясь, сказал смотритель.— Князь, не давайте вы ей прямо денег. Если желаете, давайте мне. Все будет принадлежать ей. А то вчера вы ей, верно, дали денег, она достала вина — никак не искоренишь этого зла — и сегодня напилась совсем, так что даже буйная стала.

— Да неужели?

— Как же, даже должен был меры строгости употребить — перевел в другую камеру. Так она женщина смирная, но денег вы, пожалуйста, не давайте. Это такой народ...

Нехлюдов живо вспомнил вчерашнее, и ему стало опять страшно.

— А Богодуховскую, политическую, можно видеть? — спросил Нехлюдов, помолчав.

— Что ж, это можно,— сказал смотритель.— Ну, ты чего,— обратился он к девочке пяти или шести лет, пришедшей в комнату и, поворотив голову так, чтобы не спускать глаз с Нехлюдова, направлявшейся к отцу.— Вот и упадешь,— сказал смотритель, улыбаясь на то, как девочка, не глядя перед собой, зацепилась за коврик и подбежала к отцу.

— Так если можно, я бы пошел.

— Пожалуй, можно,— сказал смотритель, обняв девочку, все смотревшую на Нехлюдова, встал и, нежно отстранив девочку, вышел в переднюю.

Еще смотритель не успел надеть подаваемое ему подвязанной девушкой пальто и выйти в дверь, как опять зажурчали отчетливые рулады Клементи.

— В консерватории была, да там непорядки. А большое дарование,— сказал смотритель, спускаясь с лестницы.— Хочет выступать в концертах.

Смотритель с Нехлюдовым подошли к острогу. Калитка мгновенно отворилась при приближении смотрителя. Надзиратели, взяв под козырек, провожали его глазами. Четыре человека, с бритыми полуголовами и неся кадки с чем-то, встретились им в прихожей и все сжались, увидав смотрителя. Один особенно пригнулся и мрачно насупился, блестя черными глазами.

— Разумеется, талант надо совершенствовать, нельзя зарывать, но в маленькой квартире, знаете, тяжело бывает,— продолжал смотритель разговор, не обращая на этих арестантов никакого внимания, и усталыми шагами волоча ноги, прошел, сопутствуемый Нехлюдовым, в сборную.

— Вам кого видеть желательно? — спросил смотритель.

— Богодуховскую.

— Это из башни. Вам подождать придется,— обратился он к Нехлюдову.

— А нельзя ли мне покамест увидать арестантов Меньшовых — мать с сыном, обвиняемые за поджог.

— А это из двадцать первой камеры. Что ж, можно их вызвать.

— А нельзя ли мне повидать Меньшова в его камере?

— Да вам покойнее в сборной.

— Нет, мне интересно.

— Вот нашли интересное.

В это время из боковой двери вышел щеголеватый офицер помощник.

— Вот сведите князя в камеру к Меньшову. Камера двадцать первая,— сказал смотритель помощнику,— а потом в контору. А я вызову. Как ее звать?

— Вера Богодуховская,— сказал Нехлюдов.

Помощник смотрителя был белокурый молодой с нафабренными усами офицер, распространяющий вокруг себя запах цветочного одеколона.

— Пожалуйте,— обратился он к Нехлюдову с приятной улыбкой.— Интересуетесь нашим заведением?

— Да, и интересуюсь этим человеком, который, как мне говорили, совершенно невинно попал сюда.

Помощник пожал плечами.

— Да, это бывает,— спокойно сказал он, учтиво вперед себя пропуская гостя в широкий вонючий коридор.— Бывает, и врут они. Пожалуйте.

Двери камер были отперты, и несколько арестантов было в коридоре. Чуть заметно кивая надзирателям и косясь на арестантов, которые или, прижимаясь к стенам, проходили в свои камеры, или, вытянув руки по швам и по-солдатски провожая глазами начальство, останавливались у дверей, помощник провел Нехлюдова через один коридор, подвел его к другому коридору налево, запертому железной дверью.

Коридор этот был у́же, темнее и еще вонючее первого. В коридор с обеих сторон выходили двери, запертые замками. В дверях были дырочки, так называемые глазки, в полвершка в диаметре. В коридоре никого не было, кроме старичка надзирателя с грустным сморщенным лицом.

— В которой Меньшов? — спросил помощник надзирателя.

— Восьмая налево.

LII

— Можно поглядеть? — спросил Нехлюдов.

— Сделайте одолжение,— с приятной улыбкой сказал помощник и стал что-то спрашивать у надзирателя. Нехлюдов заглянул в одно отверстие: там высокий молодой человек в одном белье, с маленькой черной бородкой, быстро ходил взад и вперед; услыхав шорох у двери, он взглянул, нахмурился и продолжал ходить.

Нехлюдов заглянул в другое отверстие: глаз его встретился с другим испуганным большим глазом, смотревшим в дырочку; он поспешно отстранился. Заглянув в третье отверстие, он увидал на кровати спящего очень маленького роста свернувшегося человечка, с головою укрытого халатом. В четвертой камере сидел широколицый бледный человек, низко опустив голову и облокотившись локтями на колени. Услыхав шаги, человек этот поднял голову и поглядел. Во всем лице, в особенности в больших глазах, было выражение безнадежной тоски. Его, очевидно, не интересовало узнать, кто глядит к нему в камеру. Кто бы ни глядел, он, очевидно, не ждал ни от кого ничего доброго. Нехлюдову стало страшно; он перестал заглядывать и подошел к двадцать первой камере Меньшова. Надзиратель отпер замок и отворил дверь. Молодой с длинной шеей мускулистый человек, с до́брыми круглыми глазами и маленькой бородкой, стоял подле койки и с испуганным лицом, поспешно надевая халат, смотрел на входивших. Особенно поразили Нехлюдова добрые круглые глаза, вопросительно и испуганно перебегающие с него на надзирателя, на помощника и обратно.

— Вот господин хочет про твое дело расспросить.

— Покорно благодарим.

— Да, мне рассказывали про ваше дело,— сказал Нехлюдов, проходя в глубь камеры и становясь у решетчатого и грязного окна,— и хотелось бы от вас самих услышать.

Меньшов подошел тоже к окну и тотчас же начал рассказывать, сначала робко поглядывая на смотрителя, потом все смелее и смелее; когда же смотритель совсем ушел из камеры в коридор, отдавая там какие-то приказания, он совсем осмелел. Рассказ этот по языку и манерам был рассказ самого простого, хорошего мужицкого парня, и Нехлюдову было особенно странно слышать этот рассказ из уст арестанта в позорной одежде и в тюрьме. Нехлюдов слушал и вместе с тем оглядывал и низкую койку с соломенным тюфяком, и окно с толстой железной решеткой, и грязные отсыревшие и замазанные стены, и жалкое лицо и фигуру несчастного, изуродованного мужика в котах и халате, и ему все становилось грустнее и грустнее; не хотелось верить, чтобы было правда то, что рассказывал этот добродушный человек,— так было ужасно думать, что могли люди ни за что, только за то, что его же обидели,

схватить человека и, одев его в арестантскую одежду, посадить в это ужасное место. А между тем еще ужаснее было думать, чтобы этот правдивый рассказ, с этим добродушным лицом, был бы обман и выдумка. Рассказ состоял в том, что целовальник вскоре после женитьбы отбил у него жену. Он искал закона везде. Везде целовальник закупал начальство, и его оправдывали. Раз он силой увел жену, она убежала на другой день. Тогда он пришел требовать свою жену. Целовальник сказал, что жены его нет (а он видел ее, входя), и велел ему уходить. Он не пошел. Целовальник с работником избили его в кровь, а на другой день загорелся у целовальника двор. Его обвинили с матерью, а он не зажигал, а был у кума.

— И действительно ты не поджигал?

— И в мыслях, барин, не было. А он, злодей мой, должно, сам поджег. Сказывали, он только застраховал. А на нас с матерью сказали, что мы были, стращали его. Оп точно, я в тот раз обругал его, не стерпело сердце. А поджигать не поджигал. И не был там, как пожар начался. А это он нарочно подогнал к тому дню, что с матушкой были. Сам зажег для страховки, а на нас сказал.

— Да неужели?

— Верно, перед богом говорю, барин. Будьте отцом родным! — Он хотел кланяться в землю, и Нехлюдов насилу удержал его.— Вызвольте, ни за что пропадаю,— продолжал он.

И вдруг щеки его задергались, и он заплакал и, засучив рукав халата, стал утирать глаза рукавом грязной рубахи.

— Кончили? — спросил смотритель.

— Да. Так не унывайте; сделаем, что можно,— сказал Нехлюдов и вышел. Меньшов стоял в двери, так что надзиратель толкнул его дверью, когда затворял ее. Пока надзиратель запирал замок на двери, Меньшов смотрел в дырку в двери.

LIII

Проходя назад по широкому коридору (было время обеда, и камеры были отперты) между одетыми в светло-желтые халаты, короткие широкие штаны и коты людьми, жадно смотревшими на него, Нехлюдов

испытывал странные чувства — и сострадания к тем людям, которые сидели, и ужаса и недоумения перед теми, кто посадили и держат их тут, и почему-то стыда за себя, за то, что он спокойно рассматривает это.

В одном коридоре пробежал кто-то, хлопая котами, в дверь камеры, и оттуда вышли люди и стали на дороге Нехлюдову, кланяясь ему.

— Прикажите, ваше благородие, не знаю, как назвать, решить нас как-нибудь.

— Я не начальник, я ничего не знаю.

— Все равно, скажите кому, начальству, что ли,— сказал негодующий голос.— Ни в чем не виноваты, страдаем второй месяц.

— Как? Почему? — спросил Нехлюдов.

— Да вот заперли в тюрьму. Сидим второй месяц, сами не знаем за что.

— Правда, это по случаю,— сказал помощник смотрителя,— за бесписьменность взяли этих людей, и надо было отослать их в их губернию, а там острог сгорел, и губернское правление отнеслось к нам, чтобы не посылать к ним. Вот мы всех из других губерний разослали, а этих держим.

— Как, только поэтому? — спросил Нехлюдов, остановясь в дверях.

Толпа, человек сорок, все в арестантских халатах, окружила Нехлюдова и помощника. Сразу заговорило несколько голосов. Помощник остановил:

— Говорите один кто-нибудь.

Из всех выделился высокий благообразный крестьянин лет пятидесяти. Он разъяснил Нехлюдову, что они все высланы и заключены в тюрьму за то, что у них не было паспортов. Паспорта же у них были, но только просрочены недели на две. Всякий год бывали так просрочены паспорта, и ничего не взыскивали, а нынче взяли да вот второй месяц здесь держат, как преступников.

— Мы все по каменной работе, все одной артели. Говорят, в губернии острог сгорел. Так мы в этом не причины. Сделайте божескую милость.

Нехлюдов слушал и почти не понимал того, что говорил старый благообразный человек, потому что все внимание его было поглощено большой темно-серой многоногой вошью, которая ползла между волос по щеке благообразного каменщика.

— Как же так? Неужели только за это? — говорил Нехлюдов, обращаясь к смотрителю.

— Да, начальство оплошность сделало, их бы надо послать и водворить на место жительства,— говорил помощник.

Только что смотритель кончил, как из толпы выдвинулся маленький человечек, тоже в арестантском халате, начал, странно кривя ртом, говорить о том, что их здесь мучают ни за что.

— Хуже собак...— начал он.

— Ну, ну, лишнего тоже не разговаривай, помалкивай, а то знаешь...

— Что́ мне знать,— отчаянно заговорил маленький человечек.— Разве мы в чем виноваты?

— Молчать! — крикнул начальник, и маленький человечек замолчал.

«Что же это такое?» — говорил себе Нехлюдов, выходя из камер, как сквозь строй прогоняемый сотней глаз выглядывавших из дверей и встречавшихся арестантов.

— Неужели действительно держат так прямо невинных людей? — проговорил Нехлюдов, когда они вышли из коридора.

— Что ж прикажете делать? Но только что и много они врут. Послушать их — все невинны,— говорил помощник смотрителя.

— Да ведь эти-то не виноваты же ни в чем.

— Эти-то, положим. Но только народ очень испорченный. Без строгости невозможно. Есть такие типы бедовые, тоже палец в рот не клади. Вот вчера двоих вынуждены были наказать.

— Как наказать? — спросил Нехлюдов.

— Розгами наказывали по предписанию...

— Да ведь телесное наказание отменено.

— Не для лишенных прав. Эти подлежат.

Нехлюдов вспомнил все, что он видел вчера, дожидаясь в сенях, и понял, что наказание происходило именно в то время, как он дожидался, и на него с особенной силой нашло то смешанное чувство любопытства, тоски, недоумения и нравственной, переходящей почти в физическую, тошноты, которое и прежде, но никогда с такой силой не охватывало его.

Не слушая помощника смотрителя и не глядя вокруг себя, он поспешно вышел из коридоров и направился в контору. Смотритель был в коридоре и, занятый другим

делом, забыл вызвать Богодуховскую. Он вспомнил, что обещал вызвать ее, только тогда, когда Нехлюдов вошел в контору.

— Сейчас я пошлю за ней, а вы посидите,— сказал он.

LIV

Контора состояла из двух комнат. В первой комнате, с большой выступающей облезлой печью и двумя грязными окнами, стояла в одном углу черная мерка для измерения роста арестантов, в другом углу висел,— всегдашняя принадлежность всех мест мучительства, как бы в насмешку над его учением,— большой образ Христа. В этой первой комнате стояло несколько надзирателей. В другой же комнате сидели по стенам и отдельными группами или парочками человек двадцать мужчин и женщин и негромко разговаривали. У окна стоял письменный стол.

Смотритель сел у письменного стола и предложил Нехлюдову стул, стоявший тут же. Нехлюдов сел и стал рассматривать людей, бывших в комнате.

Прежде всех обратил его внимание молодой человек в короткой жакетке, с приятным лицом, который, стоя перед немолодой уже чернобровой женщиной, что-то горячо и с жестами рук говорил ей. Рядом сидел старый человек в синих очках и неподвижно слушал, держа за руку молодую женщину в арестантской одежде, что-то рассказывавшую ему. Мальчик-реалист с остановившимся испуганным выражением лица, не спуская глаз, смотрел на старика. Недалеко от них, в углу, сидела парочка влюбленных: она была с короткими волосами и с энергическим лицом, белокурая, миловидная, совсем молоденькая девушка в модном платье; он — с тонкими очертаниями лица и волнистыми волосами красивый юноша в гуттаперчевой куртке. Они сидели в уголку и шептались, очевидно млея от любви. Ближе же всех к столу сидела седая в черном платье женщина, очевидно мать. Она глядела во все глаза на чахоточного вида молодого человека в такой же куртке и хотела что-то сказать, но не могла выговорить от слез: и начинала и останавливалась. Молодой человек держал в руках бумажку и, очевидно не зная, что ему делать, с сердитым лицом перегибал и мял ее. Подле них сидела полная, румяная, красивая девушка с очень выпуклыми глаза-

ми, в сером платье и пелеринке. Она сидела рядом с плачущей матерью и нежно гладила ее по плечу. Все было красиво в этой девушке: и большие белые руки, и волнистые остриженные волосы, и крепкие нос и губы; но главную прелесть ее лица составляли карие, бараньи, добрые, правдивые глаза. Красивые глаза ее оторвались от лица матери в ту минуту, как вошел Нехлюдов, и встретились с его взглядом. Но тотчас же она отвернулась и что-то стала говорить матери. Недалеко от влюбленной парочки сидел черный лохматый человек с мрачным лицом и сердито говорил что-то безбородому посетителю, похожему на скопца. Нехлюдов сел рядом с смотрителем и с напряженным любопытством глядел вокруг себя. Его развлек подошедший к нему гладко стриженный ребенок-мальчик и тоненьким голоском обратился к нему с вопросом.

— А вы кого ждете?

Нехлюдов удивился вопросу, но, взглянув на мальчика и увидав серьезное, осмысленное лицо с внимательными, живыми глазами, серьезно ответил ему, что ждет знакомую женщину.

— Что же, она вам сестра? — спросил мальчик.

— Нет, не сестра,— ответил удивленно Нехлюдов.— А ты с кем здесь? — спросил он мальчика.

— Я с мамой. Она политическая,— гордо сказал мальчик.

— Марья Павловна, возьмите Колю,— сказал смотритель, нашедший, вероятно, противозаконным разговор Нехлюдова с мальчиком.

Марья Павловна, та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая обратила внимание Нехлюдова, встала во весь свой высокий рост и сильной, широкой, почти мужской походкой подошла к Нехлюдову и мальчику.

— Что он у вас спрашивает, кто вы? — спросила она у Нехлюдова, слегка улыбаясь и доверчиво глядя ему в глаза так просто, как будто не могло быть сомнения о том, что она со всеми была, есть и должна быть в простых, ласковых, братских отношениях.— Ему все нужно знать,— сказала она и совсем улыбнулась в лицо мальчику такой доброй, милой улыбкой, что и мальчик и Нехлюдов — оба невольно улыбнулись на ее улыбку.

— Да, спрашивал меня, к кому я.

— Марья Павловна, нельзя разговаривать с посторонними. Ведь вы знаете,— сказал смотритель.

— Хорошо, хорошо,— сказала она и, взяв своей большой белой рукой за ручку не спускавшего с нее глаз Колю, вернулась к матери чахоточного.

— Чей же это мальчик? — спросил Нехлюдов уже у смотрителя.

— Политической одной, он в тюрьме и родился,— сказал смотритель с некоторым удовольствием, как бы показывая редкость своего заведения.

— Неужели?

— Да, вот теперь едет в Сибирь с матерью.

— А эта девушка?

— Не могу вам отвечать,— сказал смотритель, пожимая плечами.— А вот и Богодуховская.

LV

Из задней двери вертлявой походкой вышла маленькая стриженая, худая, желтая Вера Ефремовна, с своими огромными добрыми глазами.

— Ну, спасибо, что пришли,— сказала она, пожимая руку Нехлюдова.— Вспомнили меня? Сядемте.

— Не думал вас найти так.

— О, мне прекрасно! Так хорошо, так хорошо, что лучшего и не желаю,— говорила Вера Ефремовна, как всегда, испуганно глядя своими огромными добрыми круглыми глазами на Нехлюдова и вертя желтой тонкой-тонкой жилистой шеей, выступающей из-за жалких, смятых и грязных воротничков кофточки.

Нехлюдов стал спрашивать ее о том, как она попала в это положение. Отвечая ему, она с большим оживлением стала рассказывать о своем деле. Речь ее была пересыпана иностранными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о группах, и секциях, и подсекциях, о которых она была, очевидно, вполне уверена, что все знали, а о которых Нехлюдов никогда не слыхивал.

Она рассказывала ему, очевидно вполне уверенная, что ему очень интересно и приятно знать все тайны народовольства. Нехлюдов же смотрел на ее жалкую шею, на редкие спутанные волосы и удивлялся, зачем она все это делала и рассказывала. Она жалка ему была, но совсем не так, как был жалок Меньшов-мужик, без всякой вины с его стороны сидевший в вонючем остроге. Она более всего была жалка той очевидной путаницей, которая была у нее в голове. Она, очевидно, считала

себя героиней, готовой пожертвовать жизнью для успеха своего дела, а между тем едва ли она могла бы объяснить, в чем состояло это дело и в чем успех его.

Дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна с Нехлюдовым, состояло в том, что одна товарка ее, некто Шустова, даже и не принадлежавшая к их подгруппе, как она выражалась, была схвачена пять месяцев тому назад вместе с нею и посажена в Петропавловскую крепость только потому, что у ней нашли книги и бумаги, переданные ей на сохранение. Вера Ефремовна считала себя отчасти виновной в заключении Шустовой и умоляла Нехлюдова, имеющего связи, сделать все возможное для того, чтобы освободить ее. Другое дело, о котором просила Богодуховская, состояло в том, чтобы выхлопотать содержащемуся в Петропавловской крепости Гуркевичу разрешение на свидание с родителями и на получение научных книг, которые ему нужны были для его ученых занятий.

Нехлюдов обещал попытаться сделать все возможное, когда будет в Петербурге.

Свою историю Вера Ефремовна рассказала так, что она, кончив акушерские курсы, сошлась с партией народовольцев и работала с ними. Сначала шло все хорошо, писали прокламации, пропагандировали на фабриках, но потом схватили одну выдающуюся личность, захватили бумаги и начали всех брать.

— Взяли и меня и вот теперь высылают...— закончила она свою историю.— Но это ничего. Я чувствую себя превосходно, самочувствие олимпийское,— сказала она и улыбнулась жалостною улыбкою.

Нехлюдов спросил про девушку с бараньими глазами. Вера Ефремовна рассказала, что это дочь генерала, давно уже принадлежит к революционной партии и попалась за то, что взяла на себя выстрел в жандарма. Она жила в конспиративной квартире, в которой был типографский станок. Когда ночью пришли с обыском, то обитатели квартиры решили защищаться, потушили огонь и стали уничтожать улики. Полицейские ворвались, и тогда один из заговорщиков выстрелил и ранил смертельно жандарма. Когда стали допрашивать, кто стрелял, она сказала, что стреляла она, несмотря на то, что никогда не держала в руке револьвера и паука не убьет. И так и осталось. И теперь идет в каторгу.

— Альтруистическая, хорошая личность...— одобрительно сказала Вера Ефремовна.

Третье дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна, касалось Масловой. Она знала, как все зналось в остроге, историю Масловой и отношения к ней Нехлюдова и советовала хлопотать о переводе ее к политическим или по крайней мере в сиделки в больницу, где теперь особенно много больных и нужны работницы. Нехлюдов поблагодарил ее за совет и сказал, что постарается воспользоваться им.

LVI

Разговор их был прерван смотрителем, который поднялся и объявил, что время свидания кончилось и надо расходиться. Нехлюдов встал, простился с Верой Ефремовной и отошел к двери, у которой остановился, наблюдая то, что происходило перед ним.

— Господа, пора, пора,— говорил смотритель, то вставая, то опять садясь.

Требование смотрителя вызвало в находящихся в комнате и заключенных и посетителях только особенное оживление, но никто и не думал расходиться. Некоторые встали и говорили стоя. Некоторые продолжали сидеть и разговаривать. Некоторые стали прощаться и плакать. Особенно трогательна была мать с сыном чахоточным. Молодой человек все вертел бумажку, и лицо его становилось все более и более злым,— так велики были усилия, которые он делал, чтобы не заразиться чувством матери. Мать же, услыхав, что надо прощаться, легла ему на плечо и рыдала, сопя носом. Девушка с бараньими глазами — Нехлюдов невольно следил за ней — стояла перед рыдающей матерью и что-то успокоительно говорила ей. Старик в синих очках, стоя, держал за руку свою дочь и кивал головой на то, что она говорила. Молодые влюбленные встали и держались за руки, молча глядя друг другу в глаза.

— Вот этим одним весело,— сказал, указывая на влюбленную парочку, молодой человек в короткой жакетке, стоя подле Нехлюдова, так же как и он, глядя на прощающихся.

Чувствуя на себе взгляды Нехлюдова и молодого человека, влюбленные — молодой человек в гуттаперчевой куртке и белокурая миловидная девушка — вытянули сцепленные руки, опрокинулись назад и, смеясь, начали кружиться.

— Нынче вечером женятся здесь, в остроге, и она с ним идет в Сибирь,— сказал молодой человек.

— Он что же?

— Каторжный. Хоть они повеселятся, а то уж слишком больно слушать,— прибавил молодой человек в жакетке, прислушиваясь к рыданиям матери чахоточного.

— Господа! Пожалуйста, пожалуйста! Не вынудьте меня принять меры строгости,— говорил смотритель, повторяя несколько раз одно и то же.— Пожалуйста, да ну, пожалуйста! — говорил он слабо и нерешительно.— Что ж это? Уж давно пора. Ведь этак невозможно. Я последний раз говорю,— повторял он уныло, то закуривая, то туша свою мариландскую папироску.

Очевидно было, что как ни искусны и ни стары и привычны были доводы, позволяющие людям делать зло другим, не чувствуя себя за него ответственными, смотритель не мог не сознавать, что он один из виновников того горя, которое проявлялось в этой комнате; и ему, очевидно, было ужасно тяжело.

Наконец заключенные и посетители стали расходиться: одни во внутреннюю, другие в наружную дверь. Прошли мужчины — в гуттаперчевых куртках, и чахоточный и черный лохматый; ушла и Марья Павловна с мальчиком, родившимся в остроге.

Стали выходить и посетители. Пошел тяжелой походкой старик в синих очках, за ним пошел и Нехлюдов.

— Да-с, удивительные порядки,— как бы продолжал прерванный разговор словоохотливый молодой человек, спускаясь с Нехлюдовым вместе с лестницы.— Спасибо еще, капитан — добрый человек, не держится правил. Всё поговорят — отведут душу.

— Разве в других тюрьмах нет таких свиданий?

— И-и! Ничего подобного. А не угодно ли поодиночке, да еще через решетку.

Когда Нехлюдов, разговаривая с Медынцевым — так отрекомендовал себя словоохотливый молодой человек,— сошел в сени, к ним подошел с усталым видом смотритель.

— Так если хотите видеть Маслову, то пожалуйте завтра,— сказал он, очевидно желая быть любезным с Нехлюдовым.

— Очень хорошо,— сказал Нехлюдов и поспешил выйти.

Ужасны были, очевидно, невинные страдания Меньшова — и не столько его физические страдания, сколь-

ко то недоумение, то недоверие к добру и к богу, которые он должен был испытывать, видя жестокость людей, беспричинно мучающих его; ужасно было опозорение и мучения, наложенные на эти сотни ни в чем не повинных людей только потому, что в бумаге не так написано; ужасны эти одурелые надзиратели, занятые мучительством своих братьев и уверенные, что они делают и хорошее и важное дело. Но ужаснее всего показался ему этот стареющийся и слабый здоровьем и добрый смотритель, который должен разлучать мать с сыном, отца с дочерью — точно таких же людей, как он сам и его дети.

«Зачем это?» — спрашивал Нехлюдов, испытывая теперь в высшей степени то чувство нравственной, переходящей в физическую, тошноты, которую он всегда испытывал в тюрьме, и не находил ответа.

LVII

На другой день Нехлюдов поехал к адвокату и сообщил ему дело Меньшовых, прося взять на себя защиту. Адвокат выслушал и сказал, что посмотрит дело, и если все так, как говорит Нехлюдов, что весьма вероятно, то он без всякого вознаграждения возьмется за защиту. Нехлюдов, между прочим, рассказал адвокату о содержимых ста тридцати человеках по недоразумению и спросил, от кого это зависит, кто виноват. Адвокат помолчал, очевидно желая ответить точно.

— Кто виноват? Никто,— сказал он решительно.— Скажите прокурору — он скажет, что виноват губернатор, скажите губернатору — он скажет, что виноват прокурор. Никто не виноват.

— Я сейчас еду к Масленникову и скажу ему.

— Ну-с, это бесполезно,— улыбаясь, возразил адвокат.— Это такая — он не родственник и не друг? — это такая, с позволения сказать, дубина и вместе с тем хитрая скотина.

Нехлюдов, вспомнив, что говорил Масленников про адвоката, ничего не ответил и, простившись, поехал к Масленникову.

Масленникова Нехлюдову нужно было просить о двух вещах: о переводе Масловой в больницу и о ста тридцати бесписьменных, безвинно содержимых в остроге. Как ни тяжело ему было просить человека, кото-

рого он не уважал, это было единственное средство достигнуть цели, и надо было пройти через это.

Подъезжая к дому Масленникова, Нехлюдов увидал у крыльца несколько экипажей: пролетки, коляски и кареты, и вспомнил, что как раз нынче был тот приемный день жены Масленникова, в который он просил его приехать. В то время как Нехлюдов подъезжал к дому, одна карета стояла у подъезда, и лакей в шляпе с кокардой и пелерине подсаживал с порога крыльца даму, подхватившую свой шлейф и открывшую черные тонкие щиколотки в туфлях. Среди стоящих уже экипажей он узнал закрытое ландо Корчагиных. Седой румяный кучер почтительно и приветливо снял шляпу, как особенно знакомому барину. Не успел Нехлюдов спросить швейцара о том, где Михаил Иванович (Масленников), как он сам показался на ковровой лестнице, провожая очень важного гостя, такого, какого он провожал уже не до площадки, а до самого низа. Очень важный военный гость этот, сходя, говорил по-французски об аллегри в пользу приютов, устраиваемых в городе, высказывая мнение, что это хорошее занятие для дам: «И им весело, и деньги собираются».

— Qu'elles s'amusent et que le bon Dieu les bénisse... [1] А, Нехлюдов, здравствуйте! Что давно вас не видно? — приветствовал он Нехлюдова.— Allez presenter vos devoirs à madame [2]. И Корчагины тут. Et Nadine Bukshevden. Toutes les jolies femmes de la ville [3],— сказал он, подставляя и несколько приподнимая свои военные плечи под подаваемую ему его же великолепным с золотыми галунами лакеем шинель.— Au revoir, mon cher! [4] — Он пожал еще руку Масленникову.

— Ну, пойдем наверх, как я рад! — возбужденно заговорил Масленников, подхватывая под руку Нехлюдова и, несмотря на свою корпуленцию, быстро увлекая его наверх.

Масленников был в особенно радостном возбуждении, причиной которого было оказанное ему внимание важным лицом. Казалось, служа в гвардейском, близком к царской фамилии полку, Масленникову пора бы привыкнуть к общению с царской фамилией, но, видно, под-

---

[1] Пусть веселятся, и да благословит их бог... *(фр.)*

[2] Подите засвидетельствуйте почтение хозяйке *(фр.)*.

[3] И Надин Буксгевден. Все городские красавицы *(фр.)*.

[4] До свиданья, дорогой мой! *(фр.)*

лость только усиливается повторением, и всякое такое внимание приводило Масленникова в такой же восторг, в который приходит ласковая собачка после того, как хозяин погладит, потреплет, почешет ее за ушами. Она крутит хвостом, сжимается, извивается, прижимает уши и безумно носится кругами. То же самое был готов делать Масленников. Он не замечал серьезного выражения лица Нехлюдова, не слушал его и неудержимо влек его в гостиную, так что нельзя было отказаться, и Нехлюдов шел с ним.

— Дело после; что прикажешь — все сделаю,— говорил Масленников, проходя с Нехлюдовым через залу.— Доложите *генеральше,* что князь Нехлюдов,— на ходу сказал он лакею. Лакей иноходью, обгоняя их, двинулся вперед.— Vous n'avez qu'à ordonner [1]. Но жену повидай непременно. Мне и то досталось за то, что я тот раз не привел тебя.

Лакей уже успел доложить, когда они вошли, и Анна Игнатьевна, вице-губернаторша, генеральша, как она называла себя, уже с сияющей улыбкой наклонилась к Нехлюдову из-за шляпок и голов, окружавших ее у дивана. На другом конце гостиной у стола с чаем сидели барыни и стояли мужчины — военные и штатские, и слышался неумолкаемый треск мужских и женских голосов.

— Enfin! [2] Что же это вы нас знать не хотите? Чем мы вас обидели?

Такими словами, предполагавшими интимность между нею и Нехлюдовым, которой никогда не было, встретила Анна Игнатьевна входящего.

— Вы знакомы? Знакомы? Мадам Белявская, Михаил Иванович Чернов. Садитесь поближе.

— Мисси, venez donc à notre table. On vous apportera votre thé... [3] И вы...— обратилась она к офицеру, говорившему с Мисси, очевидно забыв его имя,— пожалуйте сюда. Чаю, князь, прикажете?

— Ни за что, ни за что не соглашусь: она просто не любила,— говорил женский голос.

— А любила пирожки.

— Вечно глупые шутки,— со смехом вступилась другая дама в высокой шляпе, блестевшая шелком, золотом и камнями.

---

[1] Тебе стоит только приказать *(фр.).*

[2] Наконец! *(фр.)*

[3] идите к нашему столу. Вам сюда подадут чай... *(фр.)*

— C'est excellent[1] — эти вафельки, и легко. Подайте еще сюда.

— Что же, скоро едете?

— Да уж нынче последний день. От этого мы и приехали.

— Такая прелестная весна, так хорошо теперь в деревне!

Мисси в шляпе и каком-то темно-полосатом платье, схватывавшем без складочки ее тонкую талию, точно как будто она родилась в этом платье, была очень красива. Она покраснела, увидав Нехлюдова.

— А я думала, что вы уехали,— сказала она ему.

— Почти уехал,— сказал Нехлюдов.— Дела задерживают. Я и сюда приехал по делу.

— Заезжайте к мама. Она очень хочет вас видеть,— сказала она и, чувствуя, что она лжет и он понимает это, покраснела еще больше.

— Едва ли успею,— мрачно отвечал Нехлюдов, стараясь сделать вид, что не заметил, как она покраснела.

Мисси сердито нахмурилась, пожала плечами и обратилась к элегантному офицеру, который подхватил у нее из рук порожнюю чашку и, цепляя саблей за кресла, мужественно перенес ее на другой стол.

— Вы должны тоже пожертвовать для приюта.

— Да я и не отказываюсь, но хочу приберечь всю свою щедрость до аллегри. Там я выкажу себя уже во всей силе.

— Ну, смотрите! — послышался явно притворно смеющийся голос.

Приемный день был блестящий, и Анна Игнатьевна была в восхищении.

— Мне Мика говорил, что вы заняты в тюрьмах. Я очень понимаю это,— говорила она Нехлюдову.— Мика (это был ее толстый муж, Масленников) может иметь другие недостатки, но вы знаете, как он добр. Все эти несчастные заключенные — его дети. Он иначе не смотрит на них. Il est d'une bonté...[2]

Она остановилась, не найдя слов, которые могли бы выразить bonté того ее мужа, по распоряжению которого секли людей, и тотчас же, улыбаясь, обратилась к входившей старой сморщенной старухе в лиловых бантах.

---

[1] Великолепно *(фр.)*.

[2] Он так добр... *(фр.)*

Поговорив, сколько нужно было, и так бессодержательно, как тоже нужно было, для того чтобы не нарушить приличия, Нехлюдов встал и подошел к Масленникову.

— Так, пожалуйста, можешь ты меня выслушать?

— Ах, да! Ну, что же? Пойдем сюда.

Они вошли в маленький японский кабинетик и сели у окна.

LVIII

— Ну-с, je suis à vous[1]. Хочешь курить? Только постой, как бы нам тут не напортить,— сказал он и принес пепельницу.— Ну-с?

— У меня к тебе два дела.

— Вот как.

Лицо Масленникова сделалось мрачно и уныло. Все следы того возбуждения собачки, у которой хозяин почесал за ушами, исчезли совершенно. Из гостиной доносились голоса. Один женский говорил: «Jamais, jamais je ne croirais»[2], а другой, с другого конца, мужской, что-то рассказывал, все повторяя: «La comtesse Voronzoff и Victor Apraksine»[3]. С третьей стороны слышался только гул голосов и смех. Масленников прислушивался к тому, что происходило в гостиной, слушал и Нехлюдова.

— Я опять о той же женщине,— сказал Нехлюдов.

— Да, невинно осужденная. Знаю, знаю.

— Я просил бы перевести ее в служанки в больницу. Мне говорили, что это можно сделать.

Масленников сжал губы и задумался.

— Едва ли можно,— сказал он.— Впрочем, я посоветуюсь и завтра телеграфирую тебе.

— Мне говорили, что там много больных и нужны помощницы.

— Ну да, ну да. Так, во всяком случае, дам тебе знать.

— Пожалуйста,— сказал Нехлюдов.

Из гостиной раздался общий и даже натуральный смех.

— Это все Виктóр,— сказал Масленников, улыбаясь,— он удивительно остер, когда в ударе.

---

[1] я к твоим услугам *(фр.)*.

[2] Никогда, никогда не поверю *(фр.)*.

[3] Графиня Воронцова и Виктор Апраксин *(фр.)*.

— А еще,— сказал Нехлюдов,— сейчас в остроге сидят сто тридцать человек только за то, что у них просрочены паспорта. Их держат месяц здесь.

И он рассказал причины, по которым их держат.

— Как же ты узнал про это? — спросил Масленников, и на лице его вдруг выразилось беспокойство и недовольство.

— Я ходил к подсудимому, и меня в коридоре обступили эти люди и просили...

— К какому подсудимому ты ходил?

— Крестьянин, который невинно обвиняется и к которому я пригласил защитника. Но не в этом дело. Неужели эти люди, ни в чем не виноватые, содержатся в тюрьме только за то, что у них просрочены паспорты и...

— Это дело прокурора,— с досадой перебил Масленников Нехлюдова.— Вот ты говоришь: суд скорый и правый. Обязанность товарища прокурора — посещать острог и узнавать, законно ли содержатся заключенные. Они ничего не делают: играют в винт.

— Так ты ничего не можешь сделать? — мрачно сказал Нехлюдов, вспоминая слова адвоката о том, что губернатор будет сваливать на прокурора.

— Нет, я сделаю. Я справлюсь сейчас.

— Для нее же хуже. C'est un souffre-douleur [1],— слышался из гостиной голос женщины, очевидно совершенно равнодушной к тому, что она говорила.

— Тем лучше, я и эту возьму,— слышался с другой стороны игривый голос мужчины и игривый смех женщины, что-то не дававшей ему.

— Нет, нет, ни за что,— говорил женский голос.

— Так вот, я сделаю все,— повторил Масленников, туша папироску своей белой рукой с бирюзовым перстнем,— а теперь пойдем к дамам.

— Да, еще вот что,— сказал Нехлюдов, не входя в гостиную и останавливаясь у двери.— Мне говорили, что вчера в тюрьме наказывали телесно людей. Правда ли это?

Масленников покраснел.

— Ах, ты об этом? Нет, mon cher, решительно тебя не надо пускать, тебе до всего дело. Пойдем, пойдем, Annette зовет нас,— сказал он, подхватывая его под руку и выказывая опять такое же возбуждение, как и

---

[1] Это страдалица *(фр.)*.

после внимания важного лица, но только теперь уже не радостное, а тревожное.

Нехлюдов вырвал свою руку из его и, никому не кланяясь и ничего не говоря, с мрачным видом прошел через гостиную, залу и мимо выскочивших лакеев в переднюю и на улицу.

— Что с ним? Что ты ему сделал? — спросила Annette у мужа.

— Это à la française [1],— сказал кто-то.

— Какой это à la française, это à la zoulou [2].

— Ну, да он всегда был такой.

Кто-то поднялся, кто-то приехал, и щебетанья пошли своим чередом: общество пользовалось эпизодом Нехлюдова как удобным предметом разговора нынешнего jour fixe'а.

На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глянцевитой с гербом и печатями бумаге письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано: «Любящий тебя старый товарищ», и под подписью «Масленников» был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк.

— Дурак! — не мог удержаться не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него, то есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем.

LIX

Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или

[1] по-французски *(фр.)*.

[2] по-зулусски *(фр.)*.

умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь.

То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого; но это было ему тяжело и мучительно.

На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в острог, чтобы увидать ее.

Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде, с Нехлюдовым; очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписание большей осторожности с этим посетителем.

— Видеться можно,— сказал он,— только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас... А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, так это можно, и врач согласен. Только она сама не хочет, говорит: «Очень мне нужно за паршивцами горшки выносить...» Ведь это, князь, такой народ,— прибавил он.

Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую.

Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала:

— Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня.

— Не мне прощать вас...— начал было Нехлюдов.

— Но только все-таки вы оставьте меня,— прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение.

— Зачем же мне оставить вас?

— Да уж так.

— Отчего так?

Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом.

— Ну, так вот что,— сказала она.— Вы меня оставьте, это я вам верно говорю. Не могу я. Вы это совсем оставьте,— сказала она дрожащими губами и замолчала.— Это верно. Лучше повешусь.

Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое — хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию.

— Катюша, как я сказал, так и говорю,— произнес он особенно серьезно.— Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я, так же как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут.

— Это ваше дело, я больше говорить не буду,— сказала она, и опять губы ее задрожали.

Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить.

— Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург,— сказал он, наконец оправившись.— Буду хлопотать по вашему, по нашему делу, и, бог даст, отменят приговор.

— И не отменят — все равно. Я не за это, так за другое того стою...— сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы.— Ну что же, видели Меньшова? — спросила она вдруг, чтобы скрыть свое волнение.— Правда ведь, что они не виноваты?

— Да, я думаю.

— Такая чудесная старушка,— сказала она.

Он рассказал ей все, что узнал от Меньшова, и спросил, не нужно ли ей чего; она ответила, что ничего не нужно.

Они опять помолчали.

— Ну, а насчет больницы,— вдруг сказала она,

взглянув на него своим косым взглядом,— если вы хотите, я пойду и вина тоже не буду пить...

Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались.

— Это очень хорошо,— только мог сказать он и простился с нею.

«Да, да, она совсем другой человек»,— думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви.

Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колена. В камере были только: чахоточная владимирская с грудным ребенком, старушка Меньшова и сторожиха с двумя детьми. Дьячкову дочь вчера признали душевнобольной и отправили в больницу. Остальные же все женщины стирали. Старушка лежала на нарах и спала; дети были в коридоре, дверь в который была отворена. Владимирская с ребенком на руках и сторожиха с чулком, который она не переставала вязать быстрыми пальцами, подошли к Масловой.

— Ну, что, повидались? — спросили они.

Маслова, не отвечая, сидела на высоких нарах, болтая не достающими до полу ногами.

— Чего рюмишь? — сказала сторожиха.— Пуще всего не впадай духом. Эх, Катюха! Ну! — сказала она, быстро шевеля пальцами.

Маслова не отвечала.

— А наши стирать пошли. Сказывали, нынче подаяние большое. Наносили много, говорят,— сказала владимирская.

— Финашка! — закричала сторожиха в дверь.— Куда, постреленок, забежал.

И она вынула одну спицу и, воткнув ее в клубок и чулок, вышла в коридор.

В это время послышался шум шагов и женский говор в коридоре, и обитательницы камеры в котах на босу ногу вошли в нее, каждая неся по калачу, а некоторые и по два. Федосья тотчас же подошла к Масловой.

— Что ж, али что не ладно? — спросила Федосья, своими ясными голубыми глазами любовно глядя на Маслову.— А вот нам к чаю,— и она стала укладывать калачи на полочку.

— Что ж, или раздумал жениться? — сказала Кораблева.

— Нет, не раздумал, да я не хочу,— сказала Маслова.— Так и сказала.

— Вот и дура! — сказала своим басом Кораблева.

— Что ж, коли не жить вместе, на кой ляд жениться? — сказала Федосья.

— Да ведь вот твой муж идет же с тобой,— сказала сторожиха.

— Что ж, мы с ним в законе,— сказала Федосья.— А ему зачем закон принимать, коли не жить?

— Во дура! Зачем? Да женись он, так он озолотит ее.

— Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду»,— сказала Маслова.— Поедет — поедет, не поедет — не поедет. Я просить не стану. Теперь он в Петербург едет хлопотать. У него там все министры родные,— продолжала она,— только все-таки не нуждаюсь я им.

— Известное дело! — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом.— Что же, винца выпьем?

— Я не стану,— отвечала Маслова.— Пейте сами.

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Через две недели дело могло слушаться в сенате, и к этому времени Нехлюдов намеревался поехать в Петербург и в случае неудачи в сенате подать прошение на высочайшее имя, как советовал составивший прошение адвокат. В случае оставления жалобы без последствий, к чему, по мнению адвоката, надо быть готовым, так как кассационные поводы очень слабы, партия каторжных, в числе которых была Маслова, могла отправиться в первых числах июня, и потому для того, чтобы приготовиться к поездке за Масловой в Сибирь, что было твердо решено Нехлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела.

Прежде всего Нехлюдов поехал в Кузминское, ближайшее большое черноземное имение, с которого получался главный доход. Он живал в этом имении в детстве и в юности, потом уже взрослым два раза был в нем и один раз по просьбе матери привозил туда управляющего-немца и поверял с ним хозяйство, так что он давно знал положение имения и отношения крестьян к конторе, то есть к землевладельцу. Отношения крестьян к землевладельцу были таковы, что крестьяне находились, говоря учтиво, в полной зависимости, выражаясь же просто,— в рабстве у конторы. Это было не живое рабство, как то, которое было отменено в шестьдесят первом году, рабство определенных лиц хозяину, но рабство общее всех безземельных или малоземельных крестьян большим землевладельцам вообще и преимущественно, а иногда и исключительно тем, среди которых жили крестьяне. Нехлюдов знал это, не мог не знать этого, так что на этом рабстве было основано хозяйство, а он со-

действовал устройству этого хозяйства. Но мало того что Нехлюдов знал это, он знал и то, что это было несправедливо и жестоко, и знал это со времен студенчества, когда он исповедовал и проповедовал учение Генри Джорджа и на основании этого учения отдал отцовскую землю крестьянам, считая владение землею таким же грехом в наше время, каким было владение крепостными пятьдесят лет тому назад. Правда, что после военной службы, когда он привык проживать около двадцати тысяч в год, все эти знания его перестали быть обязательными для его жизни, забылись, и он никогда не только не задавал себе вопроса о своем отношении к собственности и о том, откуда получаются те деньги, которые ему давала мать, но старался не думать об этом. Но смерть матери, наследство и необходимость распоряжения своим имуществом, то есть землею, опять подняли для него вопрос об его отношении к земельной собственности. За месяц тому назад Нехлюдов сказал бы себе, что изменить существующий порядок он не в силах, что управляет имением не он,— и более или менее успокоился бы, живя далеко от имения и получая с него деньги. Теперь же он решил, что, хотя ему предстоит поездка в Сибирь и сложное и трудное отношение с миром острогов, для которого необходимы деньги, он всетаки не может оставить дело в прежнем положении, а должен, в ущерб себе, изменить его. Для этого он решил не обрабатывать землю самому, а, отдав ее по недорогой цене крестьянам, дать им возможность быть независимыми от землевладельцев вообще. Не раз, сравнивая положение землевладельца с владельцем крепостных, Нехлюдов приравнивал отдачу земли крестьянам, вместо обработки ее работниками, к тому, что делали рабовладельцы, переводя крестьян с барщины на оброк. Это не было разрешение вопроса, но это был шаг к его разрешению: это был переход от более грубой к менее грубой форме насилия. Так он и намерен был поступить.

Нехлюдов приехал в Кузминское около полудня. Во всем упрощая свою жизнь, он не телеграфировал, а взял со станции тарантасик парой. Ямщик был молодой малый в нанковой, подпоясанной по складкам ниже длинной талии поддевке, сидевший по-ямски, бочком, на козлах и тем охотнее разговаривавший с барином, что, пока они говорили, разбитая, хромая белая коренная и поджарая, запаленная пристяжная могли идти шагом, чего им всегда очень хотелось.

Ямщик рассказывал про управляющего в Кузминском, не зная того, что он везет хозяина. Нехлюдов нарочно не сказал ему.

— Шикарный немец,— говорил поживший в городе и читавший романы извозчик. Он сидел, повернувшись вполуоборот к седоку, то снизу, то сверху перехватывая длинное кнутовище, и, очевидно, щеголял своим образованием — тройку завел соловых, выедет с своей хозяйкой — так куда годишься! — продолжал он.— Зимой, на рождестве, елка была в большом доме, я гостей возил тоже; с еклектрической искрой. В губернии такой не увидишь! Награбил денег — страсть! Чего ему: вся его власть. Сказывают, хорошее имение купил.

Нехлюдов думал, что он совершенно равнодушен к тому, как управляет немец его имением и как пользуется. Но рассказ ямщика с длинной талией был неприятен ему. Он любовался прекрасным днем, густыми темнеющими облаками, иногда закрывавшими солнце, и яровыми полями, в которых везде ходили мужики за сохами, перепахивая овес, и густо зеленевшими зеленями, над которыми поднимались жаворонки, и лесами, покрытыми уже, кроме позднего дуба, свежей зеленью, и лугами, на которых пестрели стада и лошади, и полями, на которых виднелись пахари,— и, нет-нет, ему вспоминалось, что было что-то неприятное, и когда он спрашивал себя: что? — то вспоминал рассказ ямщика о том, как немец хозяйничает в Кузминском.

Приехав в Кузминское и занявшись делами, Нехлюдов забыл про это чувство.

Просмотр конторских книг и разговор с приказчиком, который с наивностью выставлял выгоды малоземельности крестьян и того, что они окружены господской землей, еще больше утвердил Нехлюдова в намерении прекратить свое хозяйство и отдать всю землю крестьянам. Из конторских книг и разговоров с приказчиком он узнал, что, как и было прежде, две трети лучшей пахотной земли обрабатывались своими работниками усовершенствованными орудиями, остальная же треть земли обрабатывалась крестьянами наймом по пяти рублей за десятину, то есть за пять рублей крестьянин обязывался три раза вспахать, три раза заскородить и засеять десятину, потом скосить, связать или сжать и свезти на гумно, то есть совершить работы, стоящие по вольному дешевому найму по меньшей мере десять рублей за десятину. Платили же крестьяне работой за все, что им

нужно было от конторы, самые дорогие цены. Они работали за луга, за лес, ботву от картофеля, и все почти были в долгу у конторы. Так, за запольные земли, отдаваемые внаймы крестьянам, бралось за десятину в четыре раза больше того, что цена ее могла приносить по расчету из пяти процентов.

Все это Нехлюдов знал и прежде, но он теперь узнавал это как новое и только удивлялся тому, как мог он и как могут все люди, находящиеся в его положении, не видеть всей ненормальности таких отношений. Доводы управляющего о том, как при передаче земли крестьянам ни за что пропадет весь инвентарь, который нельзя будет продать за одну четверть того, что он стоит, как крестьяне испортят землю, вообще как много Нехлюдов потеряет при такой передаче, только подтверждали Нехлюдова в том, что он совершает хороший поступок, отдавая крестьянам землю и лишая себя большой части дохода. Он решил покончить это дело сейчас же, в этот свой приезд. Собрать и продать посеянный хлеб, распродать инвентарь и ненужные постройки — все это должен был сделать управляющий уже после него. Теперь же он просил управляющего собрать на другой день сходку крестьян трех деревень, окруженных землею Кузминского, для того, чтобы объявить им о своем намерении и условиться в цене за отдаваемую землю.

С приятным сознанием своей твердости против доводов управляющего и готовности на жертву для крестьян Нехлюдов вышел из конторы и, обдумывая предстоящее дело, прошелся вокруг дома, по цветникам, запущенным в нынешнем году (цветник был разбит против дома управляющего), по зарастающему цикорием lawn-tennis'у и по липовой аллее, где он обыкновенно ходил курить свою сигару и где кокетничала с ним три года тому назад гостившая у матери хорошенькая Киримова. Придумав вкратце речь, которую он скажет завтра мужикам, Нехлюдов пошел к управляющему и, обсудив с ним за чаем еще раз вопрос о том, как ликвидировать все хозяйство, совершенно успокоившись в этом отношении, вошел в приготовленную для него комнату большого дома, всегда отводившуюся для приема гостей.

В небольшой чистой комнате этой с картинами видов Венеции и зеркалом между двух окон была поставлена чистая пружинная кровать и столик с графином воды, спичками и гасилкой. На большом столе у зерка-

ла лежал его открытый чемодан, из которого виднелись его туалетный несессер и книги, взятые им с собою: русская — опыт исследования законов преступности, о том же одна немецкая и одна английская книга. Он хотел их читать в свободные минуты во время поездки по деревням, но нынче уж некогда было, и он собирался ложиться спать, чтобы завтра пораньше приготовиться к объяснению с крестьянами.

В комнате в углу стояло старинное кресло красного дерева с инкрустациями, и вид этого кресла, которое он помнил в спальне матери, вдруг поднял в душе Нехлюдова совершенно неожиданное чувство. Ему вдруг жалко стало и дома, который развалится, и сада, который запустится, и лесов, которые вырубятся, и всех тех скотных дворов, конюшен, инструментных сараев, машин, лошадей, коров, которые хотя и не им, но — он знал — заводились и поддерживались с такими усилиями. Прежде ему казалось легко отказаться от всего этого, но теперь ему жалко стало не только этого, но и земли и половины дохода, который мог так понадобиться теперь. И тотчас к его услугам явились рассуждения, по которым выходило, что неблагоразумно и не следует отдавать землю крестьянам и уничтожать свое хозяйство.

«Землей я не должен владеть. Не владея же землею, я не могу поддерживать все это хозяйство. Кроме того, я теперь уеду в Сибирь, и потому ни дом, ни имение мне не нужны»,— говорил один голос. «Все это так,— говорил другой голос,— но, во-первых, ты не проведешь же всей жизни в Сибири. Если же ты женишься, то у тебя могут быть дети. И как ты получил имение в порядке, ты должен таким же передать его. Есть обязанность к земле. Отдать, уничтожить все очень легко, завести же все очень трудно. Главное же — ты должен обдумать свою жизнь и решить, что ты будешь делать с собой, и соответственно этому и распорядиться своей собственностью. А твердо ли в тебе это решение? Потом — истинно ли ты перед своей совестью поступаешь так, как ты поступаешь, или делаешь это для людей, для того, чтобы похвалиться перед ними?» — спрашивал себя Нехлюдов и не мог не признаться, что то, что будут говорить о нем люди, имело влияние на его решение. И чем больше он думал, тем больше и больше поднималось вопросов и тем они становились неразрешимее. Чтобы избавиться от этих мыслей, он лег в свежую постель и

хотел заснуть с тем, чтобы завтра, на свежую голову, решить вопросы, в которых он теперь запутался. Но он долго не мог уснуть; в открытые окна вместе с свежим воздухом и светом луны вливалось кваканье лягушек, перебиваемое чаханьем и свистом соловьев далеких, из парка, и одного близко — под окном, в кусте распускавшейся сирени. Слушая соловьев и лягушек, Нехлюдов вспомнил о музыке дочери смотрителя; вспомнив о смотрителе, он вспомнил о Масловой, как у нее, так же, как кваканье лягушек, дрожали губы, когда она говорила: «Вы это совсем оставьте». Потом немец-управляющий стал спускаться к лягушкам. Надо было его удержать, но он не только слез, но сделался Масловой и стал упрекать его: «Я каторжная, а вы князь». «Нет, не поддамся»,— подумал Нехлюдов, и очнулся, и спросил себя: «Что же, хорошо или дурно я делаю? Не знаю, да и мне все равно. Все равно. Надо только спать». И он сам стал спускаться туда, куда полез управляющий и Маслова, и там все кончилось.

II

На другой день Нехлюдов проснулся в девять часов утра. Молодой конторщик, прислуживавший барину, услыхав, что он шевелится, принес ему ботинки, такие блестящие, какими они никогда не были, и холодную чистейшую ключевую воду и объявил, что крестьяне собираются. Нехлюдов вскочил с постели, опоминаясь. Вчерашних чувств сожаления о том, что он отдает землю и уничтожает хозяйство, не было и следа. Он с удивлением вспоминал о них теперь. Теперь он радовался тому делу, которое предстояло ему, и невольно гордился им. Из окна его комнаты видна была поросшая цикорием площадка lawn-tennis'а, на которой, по указанию управляющего, собирались крестьяне. Лягушки недаром квакали с вечера. Погода была пасмурная. С утра шел тихий, без ветра, теплый дождичек, висевший капельками на листьях, на сучьях, на траве. В окне стоял, кроме запаха зелени, еще запах земли, просящей дождя. Нехлюдов несколько раз, одеваясь, выглядывал из окна и смотрел, как крестьяне собирались на площадку. Одни за другими они подходили, снимали друг перед другом шапки и картузы и становились кружком, опираясь на палки. Управляющий, налитой, мускулистый, силь-

ный молодой человек, в коротком пиджаке с зеленым стоячим воротником и огромными пуговицами, пришел сказать Нехлюдову, что все собрались, но что они подождут,— пускай прежде Нехлюдов напьется кофею или чаю, и то и другое готово.

— Нет, уж я лучше пойду к ним,— сказал Нехлюдов, испытывая совершенно неожиданно для себя чувство робости и стыда при мысли о предстоявшем разговоре с крестьянами.

Он шел исполнить то желание крестьян, об исполнении которого они и не смели думать,— отдать им за дешевую цену землю, то есть он шел сделать им благодеяние, а ему было чего-то совестно. Когда Нехлюдов подошел к собравшимся крестьянам и обнажились русые, курчавые, плешивые, седые головы, он так смутился, что долго ничего не мог сказать. Дождичек мелкими капельками продолжал идти и оставался на волосах, бородах и на ворсе кафтанов крестьян. Крестьяне смотрели на барина и ждали, что он им скажет, а он так смутился, что ничего не мог сказать. Смущенное молчание разбил спокойный, самоуверенный немец-управляющий, считавший себя знатоком русского мужика и прекрасно, правильно говоривший по-русски. Сильный, перекормленный человек этот, так же как и сам Нехлюдов, представлял поразительный контраст с худыми, сморщенными лицами и выдающимися из-под кафтанов худыми лопатками мужиков.

— Вот князь хочет вам добро сделать — землю отдать, только вы того не стоите,— сказал управляющий.

— Как не стоим, Василий Карлыч, разве мы тебе не работали? Мы много довольны барыней-покойницей, царство небесное, и молодой князь, спасибо, нас не бросает,— начал рыжеватый мужик-краснобай.

— Я затем и призвал вас, что хочу, если вы желаете этого, отдать вам всю землю,— проговорил Нехлюдов.

Мужики молчали, как бы не понимая или не веря.

— В каких, значит, смыслах землю отдать? — сказал один, средних лет, мужик в поддевке.

— Отдать вам внаймы, чтобы вы пользовались за невысокую плату.

— Разлюбезное дело,— сказал один старик.

— Только бы в силу платеж был,— сказал другой.

— Землю отчего не взять!

— Нам дело привычное,— землей кормимся!

— Вам же покойнее, только знай получай денежки, а то греха сколько! — послышались голоса.

— Грех от вас,— сказал немец,— если бы вы работали да порядок держали...

— Нельзя нашему брату, Василий Карлыч,— заговорил остроносый худой старик.— Ты говоришь, зачем лошадь пустил в хлеб, а кто ее пускал: я день-деньской, а день — что год, намахался косой, либо что заснул в ночном, а она у тебя в овсах, а ты с меня шкуру дерешь.

— А вы бы порядок вели.

— Хорошо тебе говорить — порядок, сила наша не берет,— возразил высокий черноволосый, обросший весь волосами, нестарый мужик.

— Ведь я говорил вам, обгородили бы.

— А ты лесу дай,— сзади вступился маленький, невзрачный мужичок.— Я хотел летось загородить, так ты меня на три месяца затурил вшей кормить в зáмок. Вот и загородил.

— Это что же он говорит? — спросил Нехлюдов у управляющего.

— Der erste Dieb im Dorfe[1],— по-немецки сказал управляющий.— Каждый год в лесу попадался. А ты научись уважать чужую собственность,— сказал управляющий.

— Да мы разве не уважаем тебя? — сказал старик.— Нам тебя нельзя не уважать, потому мы у тебя в руках; ты из нас веревки вьешь.

— Ну, брат, вас не обидишь; вы бы не обидели.

— Как же, обидишь! Разбил мне летось морду, так и осталось. С богатым не судись, видно.

— А ты делай по закону.

Очевидно, шел словесный турнир, в котором участвующие не понимали хорошенько, зачем и что они говорят. Заметно было только, с одной стороны, сдерживаемое страхом озлобление, с другой — сознание своего превосходства и власти. Нехлюдову было тяжело слушать это, и он постарался вернуться к делу: установить цены и сроки платежей.

— Так как же насчет земли? Желаете ли вы? И какую цену назначите, если отдать всю землю?

— Товар ваш, вы цену назначьте.

Нехлюдов назначил цену. Как всегда, несмотря на

[1] Первый вор в деревне *(нем.)*.

то, что цена, назначенная Нехлюдовым, была много ниже той, которую платили кругом, мужики начали торговаться и находили цену высокой. Нехлюдов ожидал, что его предложение будет принято с радостью, но проявления удовольствия совсем не было заметно. Только потому Нехлюдов мог заключить, что предложение его им выгодно, что когда зашла речь о том, кто берет землю — все ли общество или товарищество, то начались жестокие споры между теми крестьянами, которые хотели выключить слабосильных и плохих плательщиков из участия в земле, и теми, которых хотели выключить. Наконец благодаря управляющему установили цену и сроки платежей, и крестьяне, шумно разговаривая, пошли под гору, к деревне, а Нехлюдов пошел в контору составлять с управляющим проект условия.

Все устроилось так, как этого хотел и ожидал Нехлюдов: крестьяне получили землю процентов на тридцать дешевле, чем отдавалась земля в округе; его доход с земли уменьшился почти наполовину, но был с избытком достаточен для Нехлюдова, особенно с прибавлением суммы, которую он получил за проданный лес и которая должна была выручиться за продажу инвентаря. Все, казалось, было прекрасно, а Нехлюдову все время было чего-то совестно. Он видел, что крестьяне, несмотря на то, что некоторые из них говорили ему благодарственные слова, были недовольны и ожидали чего-то большего. Выходило, что он лишил себя многого, а крестьянам не сделал того, чего они ожидали.

На другой день условие домашнее было подписано, и провожаемый пришедшими выборными стариками, Нехлюдов с неприятным чувством чего-то недоделанного сел в шикарную, как говорил ямщик со станции, троечную коляску управляющего и уехал на станцию, простившись с мужиками, недоумевающе и недовольно покачивавшими головами. Нехлюдов был недоволен собой. Чем он был недоволен, он не знал, но ему все время чего-то было грустно и чего-то стыдно.

III

Из Кузминского Нехлюдов поехал в доставшееся ему по наследству от тетушек имение — то самое, в котором он узнал Катюшу. Он хотел и в этом имении устроить дело с землею так же, как он устроил его в

Кузминском; кроме того, узнать все, что можно еще узнать про Катюшу и ее и своего ребенка: правда ли, что он умер, и как он умер? Он приехал в Паново рано утром, и первое, что поразило его, когда он въехал во двор, был вид запустения и ветхости, в которой были все постройки и в особенности дом. Железная когда-то зеленая крыша, давно не крашенная, краснела от ржавчины, и несколько листов были задраны кверху, вероятно бурей; тес, которым был обшит дом, был ободран местами людьми, обдиравшими его там, где он легче отдирался, отворачивая ржавые гвозди. Крыльца — оба, переднее и особенно памятное ему заднее,— сгнили и были разломаны, оставались только переметы; окна некоторые вместо стекла были заделаны тесом, и флигель, в котором жил приказчик, и кухня, и конюшни — все было ветхо и серо. Только сад не только не обветшал, но разросся, сросся и теперь был весь в цвету; из-за забора видны были, точно белые облака, цветущие вишни, яблони и сливы. Ограда же сирени цвела точно так же, как в тот год, четырнадцать лет тому назад, когда за этой сиренью Нехлюдов играл в горелки с восемнадцатилетней Катюшей и, упав, острекался крапивой. Лиственница, которая была посажена Софьей Ивановной около дома и была тогда в кол, была теперь большое дерево, годное на бревно, все одетое желто-зеленой, нежно-пушистой хвоей. Река была в берегах и шумела на мельнице в спусках. На лугу за рекой паслось пестрое смешанное крестьянское стадо. Приказчик, не кончивший курса семинарист, улыбаясь, встретил Нехлюдова на дворе, не переставая улыбаться, пригласил его в контору и, улыбаясь же, как будто этой улыбкой обещая что-то особенное, ушел за перегородку. За перегородкой пошептались и замолкли. Извозчик, получив на чай, погромыхивая бубенчиками, уехал со двора, и стало совершенно тихо. Вслед за этим мимо окна пробежала босая девушка в вышитой рубахе с пушками на ушах, за девушкой пробежал мужик, стуча гвоздями толстых сапогов по убитой тропинке.

Нехлюдов сел у окна, глядя в сад и слушая. В маленькое створчатое окно, слегка пошевеливая волосами на его потном лбу и записками, лежавшими на изрезанном ножом подоконнике, тянуло свежим весенним воздухом и запахом раскопанной земли. На реке «тра-патап, тра-па-тап» шлепали, перебивая друг друга, вальки баб, и звуки эти разбегались по блестящему на солнце

плесу запруженной реки, и равномерно слышалось падение воды на мельнице, и мимо уха, испуганно и звонко жужжа, пролетела муха.

И вдруг Нехлюдов вспомнил, что точно так же он когда-то давно, когда он был еще молод и невинен, слышал здесь на реке эти звуки вальков по мокрому белью из-за равномерного шума мельницы, и точно так же весенний ветер шевелил его волосами на мокром лбу и листками на изрезанном ножом подоконнике, и точно так же испуганно пролетела мимо уха муха, и он не то что вспомнил себя восемнадцатилетним мальчиком, каким он был тогда, но почувствовал себя таким же, с той же свежестью, чистотой и исполненным самых великих возможностей будущим, и вместе с тем, как это бывает во сне, он знал, что этого уже нет, и ему стало ужасно грустно.

— Когда прикажете кушать? — спросил приказчик, улыбаясь.

— Когда хотите,— я не голоден. Я пойду пройдусь по деревне.

— А то не угодно ли в дом пройти, у меня все в порядке внутри. Извольте посмотреть, если в наружности...

— Нет, после, а теперь скажите, пожалуйста, есть у вас тут женщина Матрена Харина?

Это была тетка Катюши.

— Как же, на деревне, никак не могу с ней справиться. Шинок держит. Знаю, и обличаю, и браню ее, а коли акт составить — жалко: старуха, внучата у ней,— сказал приказчик все с той же улыбкой, выражавшей и желание быть приятным хозяину, и уверенность в том, что Нехлюдов, точно так же как и он, понимает всякие дела.

— Где она живет? Я бы прошел к ней.

— В конце слободы, с того края третья избушка. На левой руке кирпичная изба будет, а тут за кирпичной избой и ее хибарка. Да я вас провожу лучше,— радостно улыбаясь, говорил приказчик.

— Нет, благодарю вас, я найду, а вы, пожалуйста, прикажите оповестить мужикам, чтобы собрались: мне надо поговорить с ними о земле,— сказал Нехлюдов, намереваясь здесь покончить с мужиками так же, как и в Кузминском, и, если можно, нынче же вечером.

IV

Выйдя за ворота, Нехлюдов встретил на твердо убитой тропинке, по поросшему подорожником и клоповником выгону, быстро перебиравшую толстыми босыми ногами крестьянскую девушку в пестрой занавеске с пушками на ушах. Возвращаясь уже назад, она быстро махала одной левой рукой поперек своего хода, правой же крепко прижимала к животу красного петуха. Петух с своим качающимся красным гребнем казался совершенно спокойным и только закатывал глаза, то вытягивал, то поднимал одну черную ногу, цепляя когтями за занавеску девушки. Когда девушка стала подходить к барину, она сначала умерила ход и перешла с бега на шаг, поравнявшись же с ним, остановилась и, размахнувшись назад головой, поклонилась ему, и только когда он прошел, пошла с петухом дальше. Спускаясь к колодцу, Нехлюдов встретил еще старуху, несшую на сгорбленной спине грязной суровой рубахи тяжелые, полные ведра. Старуха осторожно поставила ведра и точно так же, с размахом назад, поклонилась ему.

За колодцем начиналась деревня. Был ясный жаркий день, и в десять часов уже парило, собиравшиеся облака изредка закрывали солнце. По всей улице стоял резкий, едкий и не неприятный запах навоза, шедший и от тянувшихся в гору по глянцевито-укатанной дороге телег, и, главное, из раскопанного навоза дворов, мимо отворенных ворот которых проходил Нехлюдов. Шедшие за возами в гору мужики, босые, в измазанных навозной жижей портках и рубахах, оглядывались на высокого толстого барина, который в серой шляпе, блестевшей на солнце своей шелковой лентой, шел вверх по деревне, через шаг дотрагиваясь до земли глянцевитой коленчатой палкой с блестящим набалдашником. Возвращавшиеся с поля мужики, трясясь рысью на облучках пустых телег, снимая шапки, с удивлением следили за необыкновенным человеком, шедшим по их улице; бабы выходили за ворота и на крыльца и показывали его друг другу, провожая глазами.

У четвертых ворот, мимо которых проходил Нехлюдов, его остановили со скрипом выезжающие из ворот телеги, высоко наложенные ушлепанным навозом с наложенной на него рогожкой для сидения. Шестилетний

мальчик, взволнованный ожиданием катанья, шел за возом. Молодой мужик в лаптях, широко шагая, выгонял лошадь за ворота. Длинноногий голубой жеребенок выскочил из ворот, но, испугавшись Нехлюдова, нажался на телегу и, обивая ноги о колеса, проскочил вперед вывозившей из ворот тяжелый воз, беспокоившейся и слегка заржавшей матки. Следующую лошадь выводил худой бодрый старик, тоже босиком, в полосатых портках и длинной грязной рубахе, с выдающимися на спине худыми кострецами.

Когда лошади выбрались на накатанную дорогу, усыпанную серыми, как бы сожженными клоками навозу, старик вернулся к воротам и поклонился Нехлюдову.

— Барышень наших племянничек будешь?

— Да, я племянник их.

— С приездом. Что же, приехал нас проведать? — словоохотливо заговорил старик.

— Да, да. Что ж, как вы живете? — сказал Нехлюдов, не зная, что сказать.

— Какая наша жизнь! Самая плохая наша жизнь,— как будто с удовольствием, нараспев протянул словоохотливый старик.

— Отчего плохая? — сказал Нехлюдов, входя под ворота.

— Да какая же жизнь? Самая плохая жизнь,— сказал старик, следуя за Нехлюдовым на вычищенную до земли часть под навесом.

Нехлюдов вошел за ним под навес.

— У меня вон они двенадцать душ,— продолжал старик, указывая на двух женщин, которые с сбившимися платками, потные, подоткнувшись, с голыми, до половины испачканными навозной жижей икрами стояли с вилами на уступе не вычищенного еще навоза.— Что ни месяц, то купи шесть пудов, а где их взять?

— А своего разве недостает?

— Своего?! — с презрительной усмешкой сказал старик.— У меня земли на три души, а нынче всего восемь копен собрали,— до рожества не хватило.

— Да как же вы делаете?

— Так и делаем; вот одного в работники отдал, да у вашей милости деньжонок взял. Еще до заговенья всё забрали, а подати не плачены.

— А сколько податей?

— Да с моего двора рублей семнадцать в треть схо-

дит. Ох, не дай бог, житье, и сам не знаешь, как обораchиваешься!

— А можно к вам пройти в избу? — сказал Нехлюдов, подвигаясь вперед по дворику и с очищенного места входя на не тронутые еще и развороченные вилами желто-шафранные, сильно пахучие слои навоза.

— Отчего же, заходи,— сказал старик и быстрыми шагами босых ног, выдавливавших жижу между пальцами, обогнав Нехлюдова, отворил ему дверь в избу.

Бабы, оправив на головах платки и спустив поневы, с любопытным ужасом смотрели на чистого барина с золотыми застежками на рукавах, входившего в их дом.

Из избы выскочили в рубашонках две девочки. Пригнувшись и сняв шляпу, Нехлюдов вошел в сени и в пахнувшую кислой едой грязную и тесную, занятую двумя станами избу. В избе у печи стояла старуха с засученными рукавами худых жилистых загорелых рук.

— Вот барин наш к нам в гости зашел,— сказал старик.

— Что ж, милости просим,— ласково сказала старуха, отворачивая засученные рукава.

— Хотел посмотреть, как вы живете,— сказал Нехлюдов.

— Да так живем, вот, как видишь. Изба завалиться хочет, того гляди, убьет кого. А старик говорит — и эта хороша. Вот и живем — царствуем,— говорила бойкая старуха, нервно подергиваясь головой.— Вот сейчас обедать соберу. Рабочий народ кормить стану.

— А что вы обедать будете?

— Что обедать? Пищея наша хорошая. Первая перемена хлеб с квасом, а другая — квас с хлебом,— сказала старуха, оскаливая свои съеденные до половины зубы.

— Нет, без шуток, покажите мне, что вы будете кушать нынче.

— Кушать? — смеясь, сказал старик.— Кушанье наше не хитрое. Покажь ему, старуха.

Старуха покачала головой.

— Захотелось нашу мужицкую еду посмотреть? Дотошный ты, барин, посмотрю я на тебя. Все ему знать надо. Сказывала — хлеб с квасом, а еще щи, снытки бабы вчера принесли; вот и щи, апосля того — картошки.

— И больше ничего?

— Чего ж еще, забелим молочком,— сказала старуха, посмеиваясь и глядя на дверь.

Дверь была отворена, и сени были полны народом; и ребята, девочки, бабы с грудными детьми жались в дверях, глядя на чудно́го барина, рассматривавшего мужицкую еду. Старуха, очевидно, гордилась своим умением обойтись с барином.

— Да, плохая, плохая, барин, жизнь наша, что говорить,— сказал старик.— Куда лезете! — закричал он на стоявших в дверях.

— Ну, прощайте,— сказал Нехлюдов, чувствуя неловкость и стыд, в причине которых он не давал себе отчета.

— Благодарим покорно, что проведал нас,— сказал старик.

В сенях народ, нажавшись друг на друга, пропустил его, и он вышел на улицу и пошел вверх по ней. Следом за ним из сеней вышли два мальчика босиком: один, постарше,— в грязной, бывшей белой рубахе, а другой — в худенькой слинявшей розовой. Нехлюдов оглянулся на них.

— А теперь куда пойдешь? — сказал мальчик в белой рубашке.

— К Матрене Хариной,— сказал он.— Знаете?

Маленький мальчик в розовой рубашке чему-то засмеялся, старший же серьезно переспросил:

— Какая Матрена? Старая она?

— Да, старая.

— О-о,— протянул он.— Это Семениха, эта на конце деревни. Мы тебя проводим. Айда, Федька, проводим его.

— А лошади-то?

— Авось ничего!

Федька согласился, и они втроем пошли вверх по деревне.

V

Нехлюдову было легче с мальчиками, чем с большими, и он дорогой разговорился с ними. Маленький в розовой рубашке перестал смеяться и говорил так же умно и обстоятельно, как и старший.

— Ну, а кто у вас самый бедный? — спросил Нехлюдов.

— Кто бедный? Михайла бедный, Семен Макаров, еще Марфа дюже бедная.

— А Анисья — та еще бедней. У Анисьи и коровы нет — побираются,— сказал маленький Федька.

— У ней коровы нет, да зато их всего трое, а Марфа сама пята,— возражал старший мальчик.

— Все-таки та вдова,— отстаивал розовый мальчик Анисью.

— Ты говоришь, Анисья вдова, а Марфа все равно что вдова,— продолжал старший мальчик.— Все равно — мужа нет.

— Где же муж? — спросил Нехлюдов.

— В остроге вшей кормит,— употребляя обычное выражение, сказал старший мальчик.

— Летось в господском лесу две березки срезал, его и посадили,— поторопился сказать маленький розовый мальчик.— Теперь шестой месяц сидит, а баба побирается, трое ребят да старуха убогая,— обстоятельно говорил он.

— Где она живет? — сказал Нехлюдов.

— А вот этот самый двор,— сказал мальчик, указывая на дом, против которого крошечный белоголовый ребенок, насилу державшийся на кривых, выгнутых наружу в коленях ногах, качаясь, стоял на самой тропинке, по которой шел Нехлюдов.

— Васька, куда, постреленок, убежал? — закричала выбежавшая из избы в грязной, серой, как бы засыпанной золой рубахе баба и с испуганным лицом бросилась вперед Нехлюдова, подхватила ребенка и унесла в избу, точно она боялась, что Нехлюдов сделает что-нибудь над ее дитей.

Это была та самая женщина, муж которой за березки из леса Нехлюдова сидел в остроге.

— Ну, а Матрена — эта бедная? — спросил Нехлюдов, когда они уже подходили к избушке Матрены.

— Какая она бедная: она вином торгует,— решительно ответил розовый худенький мальчик.

Дойдя до избушки Матрены, Нехлюдов отпустил мальчиков и вошел в сени и потом в избу. Хатка старухи Матрены была шести аршин, так что на кровати, которая была за печью, нельзя было вытянуться большому человеку. «На этой самой кровати,— подумал он,— рожала и болела потом Катюша». Почти вся хата была занята станом, который, в то время как вошел Нехлюдов, стукнувшись головой в низкую дверь, старуха только что улаживала с своей старшей внучкой. Еще двое внучат вслед за барином стремглав вбежали в избу и

остановились за ним в дверях, ухватившись за притолки руками.

— Кого надо? — сердито спросила старуха, находившаяся в дурном расположении духа от неладившегося стана. Кроме того, тайно торгуя вином, она боялась всяких незнакомых людей.

— Я помещик. Мне поговорить хотелось бы с вами.

Старуха помолчала, пристально вглядываясь, потом вдруг вся преобразилась.

— Ах ты, касатик, а я-то, дура, не вознала: я думаю, какой прохожий,— притворно ласковым голосом заговорила она.— Ах ты, сокол ты мой ясный...

— Как бы поговорить без народа,— сказал Нехлюдов, глядя на отворенную дверь, в которой стояли ребята, а за ребятами худая женщина с исчахшим, но все улыбавшимся, от болезни бледным ребеночком в скуфеечке из лоскутиков.

— Чего не видали, я вам дам, подай-ка мне сюда костыль! — крикнула старуха на стоявших в двери.— Затвори, что ли!

Ребята отошли, баба с ребенком затворила дверь.

— Я-то думаю: кто пришел? А это сам барин, золотой ты мой, красавчик ненаглядный! — говорила старуха.— Куда зашел, не побрезговал. Ах ты, брильянтовый! Сюда садись, ваше сиятельство, вот сюда на коник,— говорила она, вытирая коник занавеской.— А я думаю, какой черт лезет, ан это сам ваше сиятельство, барин хороший, благодетель, кормилец наш. Прости ты меня, старую дуру,— слепа стала.

Нехлюдов сел, старуха стала перед ним, подперла правой рукой щеку, подхватив левой рукой острый локоть правой, и заговорила певучим голосом:

— И старый же ты стал, ваше сиятельство; то как репей хороший был, а теперь что! Тоже забота, видно.

— Я вот что пришел спросить: помнишь ли ты Катюшу Маслову?

— Катерину-то? Как же не помнить — она мне племенница... Как не помнить; и слез-то, слез я по ней пролила. Ведь я все знаю. Кто, батюшка, богу не грешен, царю не виноват? Дело молодое, тоже чай-кофей пили, ну и попутал нечистый, ведь он силен тоже. Что ж делать! Кабы ты ее бросил, а ты как ее наградил: сто рублей отвалил. А она что сделала. Не могла в разум взять. Кабы она меня слушала, она бы жить могла. Да хоть и племенница мне, а прямо скажу — девка непуте-

вая. Я ведь ее после к какому месту хорошему приставила: не хотела покориться, обругала барина. Разве нам можно господ ругать? Ну, ее и разочли. А потом опять же у лесничего жить можно было, да вот не захотела.

— Я спросить хотел про ребенка. Ведь она у вас родила? Где ребенок?

— Ребеночка, батюшка мой, я тогда хорошо обдумала. Она дюже трудна была, не чаяла ей подняться. Я и окрестила мальчика, как должно, и в воспитательный представила. Ну, ангельскую душку что ж томить, когда мать помирает. Другие так делают, что оставят младенца, не кормят,— он и сгаснет; но я думаю: что ж так, лучше потружусь, пошлю в воспитательный. Деньги были, ну и свезли.

— А номер был?

— Номер был, да помер он тогда же. Она сказывала: как привезли, а он и кончился.

— Кто она?

— А самая, эта женщина, в Скородном жила. Она этим займалася. Маланьей звали, померла она теперь. Умная была женщина,— ведь она как делала! Бывало, принесут ей ребеночка, она возьмет и держит его у себя в доме, прикармливает. И прикармливает, батюшка ты мой, пока на отправку соберет. А как соберет троих или четверых, сразу и везет. Так у ней было умно изделано: такая люлька большая, вроде двуспальная, и туда и сюда класть. И ручка приделана. Вот она их положит четверых, головками врозь, чтоб не бились, ножками вместе, так и везет сразу четверых. Сосочки им в ротики посует, они и молчат, сердечные.

— Ну, так что же?

— Ну, так и Катерининого ребенка повезла. Да, никак, недели две у себя держала. Он и зачиврел у ней еще дома.

— А хороший был ребенок? — спросил Нехлюдов.

— Такой ребеночек, что надо бы лучше, да некуда. Как есть в тебя,— прибавила старуха, подмигивая старым глазом.

— Отчего же он ослабел? Верно, дурно кормили?

— Какой уж корм! Только пример один. Известное дело, не свое детище. Абы довезть живым. Сказывала, довезла только до Москвы, так в ту же пору и сгас. Она и свидетельство привезла,— все как должно. Умная женщина была.

Только и мог узнать Нехлюдов о своем ребенке.

VI

Ударившись еще раз головой об обе двери в избе и в сенях, Нехлюдов вышел на улицу. Ребята: белый, дымчатый и розовый, дожидались его. Еще несколько новых пристало к ним. Дожидалось и несколько женщин с грудными детьми, и между ними была и та худая женщина, которая легко держала на руке бескровного ребеночка в скуфеечке из лоскутиков. Ребенок этот не переставая странно улыбался всем своим старческим личиком и все шевелил напряженно искривленными большими пальцами. Нехлюдов знал, что это была улыбка страдания. Он спросил, кто была эта женщина.

— Это самая Анисья, что я тебе говорил,— сказал старший мальчик.

Нехлюдов обратился к Анисье.

— Как ты живешь? — спросил он.— Чем кормишься?

— Как живу? Побираюсь,— сказала Анисья и заплакала.

Старческий же ребенок весь расплылся в улыбку, изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки.

Нехлюдов достал бумажник и дал десять рублей женщине. Не успел он сделать двух шагов, как его догнала другая женщина с ребенком, потом старуха, потом еще женщина. Все говорили о своей нищете и просили помочь им. Нехлюдов роздал те шестьдесят рублей мелкими бумажками, которые были у него в бумажнике, и с страшной тоскою в сердце вернулся домой, то есть во флигель приказчика. Приказчик, улыбаясь, встретил Нехлюдова с известием, что мужики соберутся вечером. Нехлюдов поблагодарил его и, не входя в комнаты, пошел ходить в сад по усыпанным белыми лепестками яблочных цветов заросшим дорожкам, обдумывая все то, что он видел.

Сначала около флигеля было тихо, но потом Нехлюдов услыхал у приказчика во флигеле два перебивавшие друг друга озлобленные голоса женщин, из-за которых только изредка слышался спокойный голос улыбающегося приказчика. Нехлюдов прислушался.

— Сила моя не берет, что же ты крест с шеи тащишь? — говорил один озлобленный бабий голос.

— Да ведь только забежала,— говорил другой голос.— Отдай, говорю. А то что же мучаешь и скотину и ребят без молока.

— Заплати или отработай,— отвечал спокойный голос приказчика.

Нехлюдов вышел из сада и подошел к крыльцу, у которого стояли две растрепанные бабы, из которых одна, очевидно, была на сносе беременна. На ступеньках крыльца, сложив руки в карманы парусинного пальто, стоял приказчик. Увидав барина, бабы замолчали и стали оправлять сбившиеся платки на головах, а приказчик вынул руки из карманов и стал улыбаться.

Дело было в том, что мужики, как это говорил приказчик, нарочно пускали своих телят и даже коров на барский луг. И вот две коровы из дворов этих баб были пойманы в лугу и загнаны. Приказчик требовал с баб по тридцать копеек с коровы или два дня отработки. Бабы же утверждали, во-первых, что коровы их только зашли, во-вторых, что денег у них нет, и, в-третьих, хотя бы и за обещание отработки, требовали немедленного возвращения коров, стоявших с утра на варке без корма и жалобно мычавших.

— Сколько честью просил,— говорил улыбающийся приказчик, оглядываясь на Нехлюдова, как бы призывая его в свидетели,— если пригоняете в обед, так смотрите за своей скотиной.

— Только побежала к малому, а они ушли.

— А не уходи, коли взялась стеречь.

— А малого кто накормит? Ты ему сиську не дашь.

— Добро бы вправду потравила луга, и живот бы не болел, а то только зашла,— говорила другая.

— Все луга стравили,— обращался приказчик к Нехлюдову.— Если не взыскивать, ничего сена не будет.

— Эх, не греши,— закричала беременная.— Мои никогда не попадались.

— Ну, а попались, отдай или отработай.

— Ну, и отработаю, отпусти корову-то, не мори голодом! — злобно прокричала она.— И так ни дня, ни ночи отдыха нет. Свекровь больная. Муж закатился. Одна поспеваю во все концы, а силы нет. Подавись ты отработкой своей.

Нехлюдов попросил приказчика отпустить коров, а сам ушел опять в сад додумывать свою думу, но думать теперь уже нечего было. Все это было ему теперь так ясно, что он не мог достаточно удивляться тому, как люди не видят и он сам так долго не видел того, что так очевидно ясно.

«Народ вымирает, привык к своему вымиранию, сре-

ди него образовались приемы жизни, свойственные вымиранию,— умирание детей, сверхсильная работа женщин, недостаток пищи для всех, особенно для стариков. И так понемногу приходил народ в это положение, что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него. А потому и мы считаем, что положение это естественно и таким и должно быть». Теперь ему было ясно, как день, что главная причина народной нужды, сознаваемая и всегда выставляемая самим народом, состояла в том, что у народа была отнята землевладельцами та земля, с которой одной он мог кормиться. А между тем ясно совершенно, что дети и старые люди мрут оттого, что у них нет молока, а нет молока потому, что нет земли, чтобы пасти скотину и собирать хлеб и сено. Совершенно ясно, что все бедствие народа или, по крайней мере, главная, ближайшая причина бедствия народа в том, что земля, которая кормит его, не в его руках, а в руках людей, которые, пользуясь этим правом на землю, живут трудами этого народа. Земля же, которая так необходима ему, что люди мрут от отсутствия ее, обрабатывается этими же доведенными до крайней нужды людьми для того, чтобы хлеб с нее продавался за границу и владельцы земли могли бы покупать себе шляпы, трости, коляски, бронзы и т. п. Это было ему теперь так же ясно, как ясно было то, что лошади, запертые в ограде, в которой они съели всю траву под ногами, будут худы и будут мереть от голода, пока им не дадут возможности пользоваться той землей, на которой они могут найти себе корм... И это ужасно и никак не может и не должно быть. И надо найти средства, для того чтобы этого не было, или, по крайней мере, самому не участвовать в этом. «И я непременно найду их,— думал он, ходя взад и вперед по ближайшей березовой аллее.— В ученых обществах, правительственных учреждениях и газетах толкуем о причинах бедности народа и средствах поднятия его, только не о том одном несомненном средстве, которое наверное поднимет народ и состоит в том, чтобы перестать отнимать у него необходимую ему землю.— И он живо вспомнил основные положения Генри Джорджа и свое увлечение им и удивлялся на то, как он мог забыть все это.— Не может земля быть предметом собственности, не может она быть предметом купли и продажи, как вода, как воздух, как лучи солнца. Все имеют одинаковое право на землю и на все преимущества, которые она

дает людям». И он понял теперь, почему ему было стыдно вспоминать свое устройство дел в Кузминском. Он обманывал сам себя. Зная, что человек не может иметь права на землю, он признал это право за собой и подарил крестьянам часть того, на что он знал в глубине души, что не имел права. Теперь он не сделает этого и изменит то, что он сделал в Кузминском. И он составил в голове своей проект, состоящий в том, чтобы отдать землю крестьянам внаем за ренту, а ренту признать собственностью этих же крестьян, с тем чтобы они платили эти деньги и употребляли их на подати и на дела общественные. Это не было Single-tax [1], но было наиболее возможное при теперешнем порядке приближение к ней. Главное же было то, что он отказывался от пользования правом земельной собственности.

Когда он пришел в дом, приказчик, особенно радостно улыбаясь, предложил обедать, выражая опасение, чтобы не переварилось и не пережарилось приготовленное его женой с помощью девицы с пушками угощение.

Стол был накрыт суровой скатертью, вышитое полотенце было вместо салфетки, и на столе в vieux-saxe [2], с отбитой ручкой суповой чашке, был картофельный суп с тем самым петухом, который выставлял то одну, то другую черную ногу и теперь был разрезан, даже разрублен на куски, во многих местах покрытые волосами. После супа был тот же петух с поджаренными волосами и творожники с большим количеством масла и сахара. Как ни мало вкусно все это было, Нехлюдов ел, не замечая того, что́ ест: так он был занят своею мыслью, сразу разрешившею ту тоску, с которой он пришел с деревни.

Жена приказчика выглядывала из двери, в то время как испуганная девушка с пушками подавала блюдо, а сам приказчик, гордясь искусством своей жены, все более и более радостно улыбался.

После обеда Нехлюдов с усилием усадил приказчика и, для того чтобы проверить себя и вместе с тем высказать кому-нибудь то, что его так занимало, передал ему свой проект отдачи земли крестьянам и спрашивал его мнение об этом. Приказчик улыбался, делая вид, что он это самое давно думал и очень рад слышать, но,

---

[1] единый налог *(англ.)*.

[2] старинном саксонском фарфоре *(фр.)*.

в сущности, ничего не понимал, очевидно не оттого, что Нехлюдов неясно выражался, но оттого, что по этому проекту выходило то, что Нехлюдов отказывался от своей выгоды для выгоды других, а между тем истина о том, что всякий человек заботится только о своей выгоде в ущерб выгоде других людей, так укоренилась в сознании приказчика, что он предполагал, что чего-нибудь не понимает, когда Нехлюдов говорил о том, что весь доход с земли должен поступать в общественный капитал крестьян.

— Понял. Вы, значит, процент с этого капитала будете получать? — сказал он, совсем просияв.

— Да нет же. Вы поймите, что земля не может быть предметом собственности отдельных лиц.

— Это верно!

— И все то, что дает земля, поэтому принадлежит всем.

— Так ведь дохода вам уже не будет? — спросил, перестав улыбаться, приказчик.

— Да я и отказываюсь.

Приказчик тяжело вздохнул и потом опять стал улыбаться. Теперь он понял. Он понял, что Нехлюдов человек не вполне здравый, и тотчас же начал искать в проекте Нехлюдова, отказывавшегося от земли, возможность личной пользы и непременно хотел понять проект так, чтобы ему можно было воспользоваться отдаваемой землей.

Когда же он понял, что и это невозможно, он огорчился и перестал интересоваться проектом, и только для того, чтобы угодить хозяину, продолжал улыбаться. Видя, что приказчик не понимает его, Нехлюдов отпустил его, а сам сел за изрезанный и залитый чернилами стол и занялся изложением на бумаге своего проекта.

Солнце спустилось уже за только что распустившиеся липы, и комары роями влетали в горницу и жалили Нехлюдова. Когда он в одно и то же время кончил свою записку и услыхал из деревни доносившиеся звуки блеяния стада, скрипа отворяющихся ворот и говора мужиков, собравшихся на сходке, Нехлюдов сказал приказчику, что не надо мужиков звать к конторе, а что он сам пойдет на деревню, к тому двору, где они соберутся. Выпив наскоро предложенный приказчиком стакан чаю, Нехлюдов пошел на деревню.

VII

Над толпой у двора старосты стоял говор, но как только Нехлюдов подошел, говор утих, и крестьяне, так же как и в Кузминском, все друг за другом поснимали шапки. Крестьяне этой местности были гораздо серее крестьян Кузминского; как девки и бабы носили пушки в ушах, так и мужики были почти все в лаптях и самодельных рубахах и кафтанах. Некоторые были босые, в одних рубахах, как пришли с работы.

Нехлюдов сделал усилие над собой и начал свою речь тем, что объявил мужикам о своем намерении отдать им землю совсем. Мужики молчали, и в выражении их лиц не произошло никакого изменения.

— Потому что я считаю,— краснея, говорил Нехлюдов,— что землею не должно владеть тому, кто на ней не работает, и что каждый имеет право пользоваться землею.

— Известное дело. Это так точно, как есть,— послышались голоса мужиков.

Нехлюдов продолжал говорить о том, как доход земли должен быть распределен между всеми, и потому он предлагает им взять землю и платить за нее цену, какую они назначат, в общественный капитал, которым они же будут пользоваться. Продолжали слышаться слова одобрения и согласия, но серьезные лица крестьян становились все серьезнее и серьезнее, и глаза, смотревшие прежде на барина, опускались вниз, как бы не желая стыдить его в том, что хитрость его понята всеми и он никого не обманет.

Нехлюдов говорил довольно ясно, и мужики были люди понятливые; но его не понимали и не могли понять по той самой причине, по которой приказчик долго не понимал. Они были несомненно убеждены в том, что всякому человеку свойственно соблюдать свою выгоду. Про помещиков же они давно уже по опыту нескольких поколений знали, что помещик всегда соблюдает свою выгоду в ущерб крестьянам. И потому, если помещик призывает их и предлагает что-то новое, то, очевидно, для того, чтобы как-нибудь еще хитрее обмануть их.

— Ну, что же, по скольку вы думаете обложить землю? — спросил Нехлюдов.

— Что же нам обкладывать? Мы этого не можем. Земля ваша и власть ваша,— отвечали из толпы.

— Да нет, вы сами будете пользоваться этими деньгами на общественные нужды.

— Мы этого не можем. Общество сама собой, а это опять сама собой.

— Вы поймите,— желая разъяснить дело, улыбаясь, сказал пришедший за Нехлюдовым приказчик,— что князь отдает вам землю за деньги, а деньги эти самые опять в ваш же капитал, на общество отдаются.

— Мы очень хорошо понимаем,— сказал беззубый сердитый старик, не поднимая глаз.— Вроде как у банке, только мы платить должны у срок. Мы этого не желаем, потому и так нам тяжело, а то, значит, вовсе разориться.

— Ни к чему это. Мы лучше по-прежнему,— заговорили недовольные и даже грубые голоса.

Особенно горячо стали отказываться, когда Нехлюдов упомянул о том, что составит условие, в котором подпишется он, и они должны будут подписаться.

— Что ж подписываться? Мы так, как работали, так и будем работать. А это к чему ж? Мы люди темные.

— Не согласны, потому дело непривычное. Как было, так и пускай будет. Семена бы только отменить,— послышались голоса.

Отменить семена значило то, что при теперешнем порядке семена на испольный посев полагались крестьянские, а они просили, чтоб семена были господские.

— Вы, стало быть, отказываетесь, не хотите взять землю? — спросил Нехлюдов, обращаясь к нестарому, с сияющим лицом босому крестьянину в оборванном кафтане, который держал особенно прямо на согнутой левой руке свою разорванную шапку так, как держат солдаты свои шапки, когда по команде снимают их.

— Так точно,— проговорил этот, очевидно еще не освободившийся от гипнотизма солдатства, крестьянин.

— Стало быть, у вас достаточно земли? — сказал Нехлюдов.

— Никак нет-с,— отвечал с искусственно-веселым видом бывший солдат, старательно держа перед собою свою разорванную шапку, как будто предлагая ее всякому желающему воспользоваться ею.

— Ну, все-таки вы обдумайте то, что я сказал вам,— говорил удивленный Нехлюдов и повторил свое предложение.

— Нам нечего думать: как сказали, так и будет,— сердито проговорил беззубый мрачный старик.

— Я завтра пробуду здесь день,— если передумаете, то пришлите ко мне сказать.

Мужики ничего не ответили.

Так ничего и не мог добиться Нехлюдов и пошел назад в контору.

— А я вам доложу, князь,— сказал приказчик, когда они вернулись домой,— что вы с ними не столкуетесь; народ упрямый. А как только он на сходке — он уперся, и не сдвинешь его. Потому, всего боится. Ведь эти самые мужики, хотя бы тот седой или черноватый, что не соглашался,— мужики умные. Когда придет в контору, посадишь его чай пить,— улыбаясь, говорил приказчик,— разговоришься — ума палата, министр,— все обсудит, как должно. А на сходке совсем другой человек, заладит одно...

— Так нельзя ли позвать сюда таких самых понятливых крестьян, несколько человек,— сказал Нехлюдов,— я бы им подробно растолковал.

— Это можно,— сказал улыбающийся приказчик.

— Так вот, пожалуйста, позовите к завтрему.

— Это все возможно, на завтра соберу,— сказал приказчик и еще радостнее улыбнулся.

— Ишь ловкий какой! — говорил раскачивавшийся на сытой кобыле черный мужик с лохматой, никогда не расчесываемой бородой ехавшему с ним рядом и звеневшему железными путами другому, старому худому мужику в прорванном кафтане.

Мужики ехали в ночное кормить лошадей на большой дороге и тайком в барском лесу.

— Даром землю отдам, только подпишись. Мало они нашего брата околпачивали. Нет, брат, шалишь, нынче мы и сами понимать стали,— добавил он и стал подзывать отбившегося стригуна-жеребенка.— Коняш, коняш! — кричал он, остановив лошадь и оглядываясь назад, но стригун был не назади, а сбоку,— ушел в луга.

— Вишь, повадился, сукин кот, в барские луга,— проговорил черный мужик с лохматой бородой, услыхав треск конского щавеля, по которому с ржанием скакал из росистых, хорошо пахнувших болотом лугов отставший стригун.

— Слышь, зарастают луга, надо будет праздником

бабенок послать испольные прополоть,— сказал худой мужик в прорванном кафтане,— а то косы порвешь.

— Подпишись, говорит,— продолжал лохматый мужик свое суждение о речи барина.— Подпишись, он тебя живого проглотит.

— Это как есть,— ответил старый.

И они ничего больше не говорили. Слышен был только топот лошадиных ног по жесткой дороге.

VIII

Вернувшись домой, Нехлюдов нашел в приготовленной для его ночлега конторе высокую постель с пуховиками, двумя подушками и красным-бордо двуспальным шелковым, мелко и узорно стеганным, негнувшимся одеялом — очевидно, приданое приказчицы. Приказчик предложил Нехлюдову остатки обеда, но, получив отказ и извинившись за плохое угощение и убранство, удалился, оставив Нехлюдова одного.

Отказ крестьян нисколько не смутил Нехлюдова. Напротив, несмотря на то, что там, в Кузминском, его предложение приняли и все время благодарили, а здесь ему выказали недоверие и даже враждебность, он чувствовал себя спокойным и радостным. В конторе было душно и нечисто. Нехлюдов вышел на двор и хотел идти в сад, но вспомнил ту ночь, окно в девичьей, заднее крыльцо — и ему неприятно было ходить по местам, оскверненным преступными воспоминаниями. Он сел опять на крылечко и, вдыхая в себя наполнивший теплый воздух крепкий запах молодого березового листа, долго глядел на темневший сад и слушал мельницу, соловьев и еще какую-то птицу, однообразно свистевшую в кусте у самого крыльца. В окне приказчика потушили огонь, на востоке, из-за сарая, зажглось зарево поднимающегося месяца, зарницы все светлее и светлее стали озарять заросший цветущий сад и разваливающийся дом, послышался дальний гром, и треть неба задвинулась черною тучею. Соловьи и птицы замолкли. Из-за шума воды на мельнице послышалось гоготание гусей, а потом на деревне и на дворе приказчика стали перекликаться ранние петухи, как они обыкновенно раньше времени кричат в жаркие грозовые ночи. Есть поговорка, что петухи кричат рано к веселой ночи. Для Нехлюдова эта ночь была более чем веселая. Это была для него радостная, счастливая ночь.

Воображение возобновило перед ним впечатления того счастливого лета, которое он провел здесь невинным юношей, и он почувствовал себя теперь таким, каким он был не только тогда, но и во все лучшие минуты своей жизни. Он не только вспомнил, но почувствовал себя таким, каким он был тогда, когда он четырнадцатилетним мальчиком молился богу, чтобы бог открыл ему истину, когда плакал ребенком на коленях матери, расставаясь с ней и обещаясь ей быть всегда добрым и никогда не огорчать ее,— почувствовал себя таким, каким он был, когда они с Николенькой Иртеневым решали, что будут всегда поддерживать друг друга в доброй жизни и будут стараться сделать всех людей счастливыми.

Он вспомнил теперь, как в Кузминском на него нашло искушение и он стал жалеть и дом, и лес, и хозяйство, и землю, и спросил себя теперь: жалеет ли он? И ему даже странно было, что он мог жалеть. Он вспомнил все, что он видел нынче: и женщину с детьми без мужа, посаженного в острог за порубку в его, нехлюдовском, лесу, и ужасную Матрену, считавшую или, по крайней мере, говорившую, что женщины их состояния должны отдаваться в любовницы господам; вспомнил отношение ее к детям, приемы отвоза их в воспитательный дом, и этот несчастный, старческий, улыбающийся, умирающий от недокорма ребенок в скуфеечке; вспомнил эту беременную, слабую женщину, которую должны были заставить работать на него за то, что она, измученная трудами, не усмотрела за своей голодной коровой. И тут же вспомнил острог, бритые головы, камеры, отвратительный запах, цепи и рядом с этим — безумную роскошь своей и всей городской, столичной, господской жизни. Все было совсем ясно и несомненно.

Светлый месяц, почти полный, вышел из-за сарая, и через двор легли черные тени, и заблестело железо на крыше разрушающегося дома.

И как будто не желая пропустить этот свет, замолкший соловей засвистал и защелкал из сада.

Нехлюдов вспомнил, как он в Кузминском стал обдумывать свою жизнь, решать вопросы о том, что и как он будет делать, и вспомнил, как он запутался в этих вопросах и не мог решить их: столько было соображений по каждому вопросу. Он теперь задал себе эти вопросы и удивился, как все было просто. Было просто потому, что он теперь не думал о том, что с ним произойдет, и его даже не интересовало это, а думал толь-

ко о том, что он должен делать. И удивительное дело, что нужно для себя, он никак не мог решить, а что нужно делать для других, он знал несомненно. Он знал теперь несомненно, что надо было отдать землю крестьянам, потому что удерживать ее было дурно. Знал несомненно, что нужно было не оставлять Катюшу, помогать ей, быть готовым на все, чтобы искупить свою вину перед ней. Знал несомненно, что нужно было изучить, разобрать, уяснить себе, понять все эти дела судов и наказаний, в которых он чувствовал, что видит что-то такое, чего не видят другие. Что выйдет из всего этого — он не знал, но знал несомненно, что и то, и другое, и третье ему необходимо нужно делать. И эта твердая уверенность была радостна ему.

Черная туча совсем надвинулась, и стали видны уже не зарницы, а молнии, освещавшие весь двор и разрушающийся дом с отломанными крыльцами, и гром послышался уже над головой. Все птицы притихли, но зато зашелестили листья, и ветер добежал до крыльца, на котором сидел Нехлюдов, шевеля его волосами. Долетела одна капля, другая, забарабанило по лопухам, железу крыши, и ярко вспыхнул весь воздух; все затихло, и не успел Нехлюдов сосчитать три, как страшно треснуло что-то над самой головой и раскатилось по небу.

Нехлюдов вошел в дом.

«Да, да,— думал он.— Дело, которое делается нашей жизнью, все дело, весь смысл этого дела не понятен и не может быть понятен мне: зачем были тетушки; зачем Николенька Иртенев умер, а я живу? Зачем была Катюша? И мое сумасшествие? Зачем была эта война? И вся моя последующая беспутная жизнь? Все это понять, понять все дело хозяина — не в моей власти. Но делать его волю, написанную в моей совести,— это в моей власти, и это я знаю несомненно. И когда делаю, несомненно спокоен».

Дождик шел уже ливнем и стекал с крыш, журча, в кадушку; молния реже освещала двор и дом. Нехлюдов вернулся в горницу, разделся и лег в постель не без опасения о клопах, присутствие которых заставляли подозревать оторванные грязные бумажки стен.

«Да, чувствовать себя не хозяином, а слугой»,— думал он и радовался этой мысли.

Опасения его оправдались. Только что он потушил свечу, его, облипая, стали кусать насекомые.

«Отдать землю, ехать в Сибирь,— блохи, клопы, нечистота... Ну, что ж, коли надо нести это — понесу». Но, несмотря на все желание, он не мог вынести этого и сел у открытого окна, любуясь на убегающую тучу и на открывшийся опять месяц.

IX

К утру только Нехлюдов заснул и потому на другой день проснулся поздно.

В полдень семь выбранных мужиков, приглашенных приказчиком, пришли в яблочный сад под яблони, где у приказчика был устроен на столбиках, вбитых в землю, столик и лавочки. Довольно долго крестьян уговаривали надеть шапки и сесть на лавки. Особенно упорно держал перед собой, по правилу, как держат «на погребенье», свою разорванную шапку бывший солдат, обутый нынче в чистые онучи и лапти. Когда же один из них, почтенного вида широкий старец, с завитками полуседой бороды, как у Моисея Микеланджело, и седыми густыми вьющимися волосами вокруг загорелого и оголившегося коричневого лба, надел свою большую шапку и, запахивая новый домодельный кафтан, пролез на лавку и сел, остальные последовали его примеру.

Когда все разместились, Нехлюдов сел против них и, облокотившись на стол над бумагой, в которой у него был написан конспект проекта, начал излагать его.

Потому ли, что крестьян было меньше, или потому, что он был занят не собой, а делом, Нехлюдов в этот раз не чувствовал никакого смущения. Невольно он обращался преимущественно к широкому старцу с белыми завитками бороды, ожидая от него одобрения или возражения. Но представление, составленное о нем Нехлюдовым, было ошибочное. Благообразный старец, хотя и кивал одобрительно своей красивой патриархальной головой или встряхивал ею, хмурясь, когда другие возражали, очевидно, с большим трудом понимал то, что говорил Нехлюдов, и то только тогда, когда это же пересказывали на своем языке другие крестьяне. Гораздо более понимал слова Нехлюдова сидевший рядом с патриархальным старцем маленький, кривой на один глаз, одетый в платанную нанковую поддевку и старые, сбитые на сторону сапоги, почти безбородый

старичок — печник, как узнал потом Нехлюдов. Человек этот быстро водил бровями, делая усилия внимания, и тотчас же пересказывал по-своему то, что говорил Нехлюдов. Так же быстро понимал и невысокий коренастый старик с белой бородой и блестящими умными глазами, который пользовался всяким случаем, чтобы вставлять шутливые, иронические замечания на слова Нехлюдова, и, очевидно, щеголял этим. Бывший солдат тоже, казалось, мог бы понимать дело, если бы не был одурен солдатством и не путался в привычках бессмысленной солдатской речи. Серьезнее всех относился к делу говоривший густым басом длинноносый с маленькой бородкой высокий человек, одетый в чистое домодельное платье и в новые лапти. Человек этот все понимал и говорил только тогда, когда это нужно было. Остальные два старика, один — тот самый беззубый, который вчера на сходке кричал решительный отказ на все предложения Нехлюдова, и другой — высокий, белый, хромой старик с добродушным лицом, в бахилках и туго умотанных белыми онучами худых ногах, оба почти все время молчали, хотя и внимательно слушали.

Нехлюдов прежде всего высказал свой взгляд на земельную собственность.

— Землю, по-моему,— сказал он,— нельзя ни продавать, ни покупать, потому что если можно продавать ее, то те, у кого есть деньги, скупят ее всю и тогда будут брать с тех, у кого нет земли, что хотят, за право пользоваться землею. Будут брать деньги за то, чтобы стоять на земле,— прибавил он, пользуясь аргументом Спенсера.

— Одно средство — крылья подвязать — летать,— сказал старик с смеющимися глазами и белой бородой.

— Это верно,— сказал густым басом длинноносый.

— Так точно,— сказал бывший солдат.

— Бабенка травы коровенке нарвала, поймали — в острог,— сказал хромой добродушный старик.

— Земли свои за пять верст, а нанять — приступу нет, взнесли цену так, что не оправдаешь,— прибавил беззубый сердитый старик,— веревки вьют из нас, как хотят, хуже барщины.

— Я так же думаю, как и вы,— сказал Нехлюдов,— и считаю грехом владеть землею. И вот хочу отдать ее.

— Что ж, дело доброе,— сказал старец с Моисеевыми завитками, очевидно подразумевая то, что Нехлюдов хочет отдать ее внаймы.

— Я затем и приехал: я не хочу больше владеть землею; да вот надо обдумать, как с нею разделаться.

— Да отдай мужикам, вот и все,— сказал беззубый сердитый старик.

Нехлюдов смутился в первую минуту, почувствовав в этих словах сомнение в искренности своего намерения. Но он тотчас же оправился и воспользовался этим замечанием, чтобы высказать то, что имел сказать.

— И рад бы отдать,— сказал он,— да кому и как? Каким мужикам? Почему вашему обществу, а не Деминскому? (Это было соседнее село с нищенским наделом.)

Все молчали. Только бывший солдат сказал:

— Так точно.

— Ну вот,— сказал Нехлюдов,— вы мне скажите, если бы царь сказал, чтобы землю отобрать от помещиков и раздать крестьянам...

— А разве слушок есть? — спросил тот же старик.

— Нет, от царя ничего нет. Я просто от себя говорю: что если бы царь сказал: отобрать от помещиков землю и отдать мужикам,— как бы вы сделали?

— Как сделали? Разделили бы всю по душам всем поровну, что мужику, что барину,— сказал печник, быстро поднимая и опуская брови.

— А то как же? Разделить по душам,— подтвердил добродушный хромой старик в белых онучах.

Все подтвердили это решение, считая его удовлетворительным.

— Как же по душам? — спросил Нехлюдов.— Дворовым тоже разделить?

— Никак нет,— сказал бывший солдат, стараясь изобразить веселую бодрость на своем лице.

Но рассудительный высокий крестьянин не согласился с ним.

— Делить — так всем поровну,— подумавши, ответил он своим густым басом.

— Нельзя,— сказал Нехлюдов, уже вперед приготовив свое возражение.— Если всем разделить поровну, то все те, кто сами не работают, не пашут,— господа, лакеи, повара, чиновники, писцы, все городские люди,— возьмут свои паи да и продадут богатым. И опять у богачей соберется земля. А у тех, которые на своей доле, опять народится народ, а земля уже разобрана. Опять богачи заберут в руки тех, кому земля нужна.

— Так точно,— поспешно подтвердил солдат.

— Запретить, чтобы не продавали землю, а только кто сам пашет,— сказал печник, сердито перебивая солдата.

На это Нехлюдов возразил, что усмотреть нельзя, будет ли кто для себя пахать или для другого.

Тогда высокий рассудительный мужик предложил устроить так, чтобы всем артелью пахать.

— И кто пашет, на того и делить. А кто не пашет, тому ничего,— проговорил он своим решительным басом.

На этот коммунистический проект у Нехлюдова аргументы тоже были готовы, и он возразил, что для этого надо, чтобы у всех были плуги, и лошади были бы одинаковые, и чтобы одни не отставали от других, или чтобы всё — и лошади, и плуги, и молотилки, и все хозяйство — было бы общее, а что для того, чтобы завести это, надо, чтобы все люди были согласны.

— Наш народ не согласишь ни в жизнь,— сказал сердитый старик.

— Сплошь драка пойдет,— сказал старик с белой бородой и смеющимися глазами.— Бабы друг дружке все глаза повыцарапают.

— Потом, как разделить землю по качеству,— сказал Нехлюдов.— За что одним будет чернозем, а другим глина да песок?

— А раздать делянками, чтобы всем поровну,— сказал печник.

На это Нехлюдов возразил, что дело идет не о дележе в одном обществе, а о дележе земли вообще по разным губерниям. Если землю даром отдать крестьянам, то за что же одни будут владеть хорошей, а другие плохой землей? Все захотят на хорошую землю.

— Так точно,— сказал солдат.

Остальные молчали.

— Так что это не так просто, как кажется,— сказал Нехлюдов.— И об этом не мы одни, а многие люди думают. И вот есть один американец, Джордж, так он вот как придумал. И я согласен с ним.

— Да ты хозяин, ты и отдай. Что тебе? Твоя воля,— сказал сердитый старик.

Перерыв этот смутил Нехлюдова; но, к удовольствию своему, он заметил, что и не он один был недоволен этим перерывом.

— Погоди, дядя Семен, дай он расскажет,— своим внушительным басом сказал рассудительный мужик.

Это ободрило Нехлюдова, и он стал объяснять им по Генри Джорджу проект единой подати.

— Земля — ничья, божья,— начал он.

— Это так. Так точно,— отозвались несколько голосов.

— Вся земля — общая. Все имеют на нее равное право. Но есть земля лучше и хуже. И всякий желает взять хорошую. Как же сделать, чтобы уравнять? А так, чтобы тот, кто будет владеть хорошей, платил бы тем, которые не владеют землею, то, что его земля стоит,— сам себе отвечал Нехлюдов.— А так как трудно распределить, кто кому должен платить, и так как на общественные нужды деньги собирать нужно, то и сделать так, чтобы тот, кто владеет землей, платил бы в общество на всякие нужды то, что его земля стоит. Так всем ровно будет. Хочешь владеть землей — плати за хорошую землю больше, за плохую меньше. А не хочешь владеть — ничего не платишь, а подать па общественные нужды за тебя будут платить те, кто землей владеет.

— Это правильно,— сказал печник, двигая бровями.— У кого лучше земля, тот больше плати.

— И голова же был этот Жоржа,— сказал представительный старец с завитками.

— Только бы плата была по силе,— сказал басом высокий, очевидно уже предвидя, к чему идет дело.

— А плата должна быть такая, чтобы было не дорого и не дешево... Если дорого, то не выплатят, и убытки будут, а если дешево, все станут покупать друг у друга, будут торговать землею. Вот это самое я хотел сделать у вас.

— Это правильно, это верно. Что ж, это ничего,— говорили мужики.

— Ну и голова,— повторял широкий старик с завитками.— Жоржа! А что вздумал.

— Ну, а как же, если я пожелаю взять земли? — сказал, улыбаясь, приказчик.

— Коли свободный есть участок, берите и работайте,— сказал Нехлюдов.

— Тебе зачем? Ты и так сыт,— сказал старик с смеющимися глазами.

На этом кончилось совещание.

Нехлюдов опять повторил свое предложение, но не требовал ответа теперь же, а советовал переговорить с обществом и тогда прийти и дать ответ ему.

Мужики сказали, что переговорят с обществом и дадут ответ, и, распрощавшись, ушли в возбужденном состоянии. По дороге долго слышался их громкий удаляющийся говор. И до позднего вечера гудели их голоса и доносились по реке от деревни.

На другой день мужики не работали, а обсуждали предложение барина. Общество разделилось на две партии: одна признавала выгодным и безопасным предложение барина, другая видела в этом подвох, сущность которого она не могла понять и которого поэтому особенно боялась. На третий день, однако, все согласились принять предлагаемые условия и пришли к Нехлюдову объявить решение всего общества. На согласие это имело влияние высказанное одной старушкой, принятое стариками и уничтожающее всякое опасение в обмане объяснение поступка барина, состоящее в том, что барин стал о душе думать и поступает так для ее спасения. Объяснение это подтверждалось теми большими денежными милостынями, которые раздавал Нехлюдов во время своего пребывания в Панове. Денежные же милостыни, которые раздавал здесь Нехлюдов, были вызваны тем, что он здесь в первый раз узнал ту степень бедности и суровости жизни, до которой дошли крестьяне, и, пораженный этой бедностью, хотя и знал, что это неразумно, не мог не давать тех денег, которых у него теперь собралось в особенности много, так как он получил их за проданный еще в прошлом году лес в Кузминском и еще задатки за продажу инвентаря.

Как только узнали, что барин просящим дает деньги, толпы народа, преимущественно баб, стали ходить к нему изо всей округи, выпрашивая помощи. Он решительно не знал, как быть с ними, чем руководиться в решении вопроса, сколько и кому дать. Он чувствовал, что не давать просящим и, очевидно, бедным людям денег, которых у него было много, нельзя было. Давать же случайно тем, которые просят, не имеет смысла. Единственное средство выйти из этого положения состояло в том, чтобы уехать. Это самое он и поспешил сделать.

В последний день своего пребывания в Панове Нехлюдов пошел в дом и занялся перебиранием оставшихся там вещей. Перебирая их, он в нижнем ящике старой тетушкиной шифоньерки красного дерева, с брю-

хом и бронзовыми кольцами в львиных головах, нашел много писем и среди них карточку, представлявшую группу: Софью Ивановну, Марью Ивановну, его самого студентом и Катюшу — чистую, свежую, красивую и жизнерадостную. Из всех вещей, бывших в доме, Нехлюдов взял только письма и это изображение. Остальное все он оставил мельнику, купившему за десятую часть цены, по ходатайству улыбающегося приказчика, на своз дом и всю мебель Панова.

Вспоминая теперь свое чувство сожаления к потере собственности, которое он испытал в Кузминском, Нехлюдов удивлялся на то, как мог он испытать это чувство; теперь он испытывал неперестающую радость освобождения и чувство новизны, подобное тому, которое должен испытывать путешественник, открывая новые земли.

X

Город особенно странно и по-новому в этот приезд поразил Нехлюдова. Он вечером, при зажженных фонарях, приехал с вокзала в свою квартиру. По всем комнатам еще пахло нафталином, а Аграфена Петровна и Корней — оба чувствовали себя измучёнными и недовольными и даже поссорились вследствие уборки вещей, употребление которых, казалось, состояло только в том, чтобы их развешивать, сушить и прятать. Комната Нехлюдова была не занята, но не убрана, и от сундуков проходы к ней были трудны, так что приезд Нехлюдова, очевидно, мешал тем делам, которые по какой-то странной инерции совершались в этой квартире. Все это так неприятно своим очевидным безумием, которого он когда-то был участником, показалось Нехлюдову после впечатлений деревенской нужды, что он решил переехать на другой же день в гостиницу, предоставив Аграфене Петровне убирать вещи, как она это считала нужным, до приезда сестры, которая распорядится окончательно всем тем, что было в доме.

Нехлюдов с утра вышел из дома, выбрал себе недалеко от острога в первых попавшихся, очень скромных и грязноватых меблированных комнатах помещение из двух номеров и, распорядившись о том, чтобы туда были перевезены отобранные им из дома вещи, пошел к адвокату.

На дворе было холодно. После гроз и дождей на-

ступили те холода, которые обыкновенно бывают весной. Было так холодно и такой пронзительный ветер, что Нехлюдов озяб в легком пальто и все прибавлял шагу, стараясь согреться.

В его воспоминании были деревенские люди: женщины, дети, старики, бедность и измученность, которые он как будто теперь в первый раз увидал, в особенности улыбающийся старичок-младенец, сучащий безыкорными ножками,— и он невольно сравнивал с ними то, что было в городе. Проходя мимо лавок мясных, рыбных и готового платья, он был поражен — точно в первый раз увидел это — сытостью того огромного количества таких чистых и жирных лавочников, каких нет ни одного человека в деревне. Люди эти, очевидно, твердо были убеждены в том, что их старания обмануть людей, не знающих толка в их товаре, составляют не праздное, но очень полезное занятие. Такие же сытые были кучера с огромными задами и пуговицами на спине, такие же швейцары в фуражках, обшитых галунами, такие же горничные в фартуках и кудряшках и в особенности лихачи-извозчики с подбритыми затылками, сидевшие, развалясь, в своих пролетках, презрительно и развратно рассматривая проходящих. Во всех этих людях он невольно видел теперь тех самых деревенских людей, лишенных земли и этим лишением согнанных в город. Одни из этих людей сумели воспользоваться городскими условиями и стали такие же, как и господа, и радовались своему положению, другие же стали в городе в еще худшие условия, чем в деревне, и были еще более жалки. Такими жалкими показались Нехлюдову те сапожники, которых он увидал работающих в окне одного подвала; такие же были худые, бледные, растрепанные прачки, худыми оголенными руками гладившие перед открытыми окнами, из которых валил мыльный пар. Такие же были два красильщика в фартуках и опорках на босу ногу, все от головы до пяток измазанные краской, встретившиеся Нехлюдову. В засученных выше локтя загорелых жилистых слабых руках они несли ведро краски и не переставая бранились. Лица были измученные и сердитые. Такие же лица были и у запыленных с черными лицами ломовых извозчиков, трясущихся на своих дрогах. Такие же были у оборванных опухших мужчин и женщин, с детьми стоявших на углах улиц и просивших милостыню. Такие же лица были видны в открытых окнах трактира,

мимо которого пришлось пройти Нехлюдову. У грязных, уставленных бутылками и чайной посудой столиков, между которыми, раскачиваясь, сновали белые половые, сидели, крича и распевая, потные, покрасневшие люди с одуренными лицами. Один сидел у окна, подняв брови и выставив губы, глядел перед собою, как будто стараясь вспомнить что-то.

«И зачем они все собрались тут?» — думал Нехлюдов, невольно вдыхая вместе с пылью, которую нес на него холодный ветер, везде распространенный запах прогорклого масла свежей краски.

На одной из улиц с ним поравнялся обоз ломовых, везущих какое-то железо и так страшно гремящих по неровной мостовой своим железом, что ему стало больно ушам и голове. Он прибавил шагу, чтобы обогнать обоз, когда вдруг из-за грохота железа услыхал свое имя. Он остановился и увидал немного впереди себя военного с остроконечными слепленными усами и с сияющим глянцевитым лицом, который, сидя на пролетке лихача, приветственно махал ему рукой, открывая улыбкой необыкновенно белые зубы.

— Нехлюдов! Ты ли?

Первое чувство Нехлюдова было удовольствие.

— А! Шенбок,— радостно проговорил он, но тотчас же понял, что радоваться совершенно было нечему.

Это был тот самый Шенбок, который тогда заезжал к тетушкам. Нехлюдов давно потерял его из вида, но слышал про него, что он, несмотря на свои долги, выйдя из полка и оставшись по кавалерии, все как-то держался какими-то средствами в мире богатых людей. Довольный, веселый вид подтверждал это.

— Вот хорошо-то, что поймал тебя! А то никого в городе нет. Ну, брат, а ты постарел,— говорил он, выходя из пролетки и расправляя плечи.— Я только по походке и узнал тебя. Ну, что ж, обедаем вместе? Где у вас тут кормят порядочно?

— Не знаю, успею ли,— отвечал Нехлюдов, думая только о том, как бы ему отделаться от товарища, не оскорбив его.— Ты зачем же здесь? — спросил он.

— Да дела, братец. Дела по опеке. Я опекун ведь. Управляю делами Саманова. Знаешь, богача. Он рамоли. А пятьдесят четыре тысячи десятин земли,— сказал он с какой-то особенной гордостью, точно он сам сделал все эти десятины.— Запущены дела были ужасно. Земля вся была по крестьянам. Они ничего не пла-

тили, недоимки было больше восьмидесяти тысяч. Я в один год все переменил и дал опеке на семьдесят процентов больше. А? — спросил он с гордостью.

Нехлюдов вспомнил, что слышал, как этот Шенбок именно потому, что он прожил все свое состояние и наделал неоплатных долгов, был по какой-то особенной протекции назначен опекуном над состоянием старого богача, проматывавшего свое состояние, и теперь, очевидно, жил этой опекой.

«Как бы отделаться от него, не обидев его?» — думал Нехлюдов, глядя на его глянцевитое, налитое лицо с нафиксатуаренными усами и слушая его добродушно-товарищескую болтовню о том, где хорошо кормят, и хвастовство о том, как он устроил дела опеки.

— Ну, так где же обедаем?

— Да мне некогда,— сказал Нехлюдов, глядя на часы.

— Так вот что. Вечером нынче скачки. Ты будешь?

— Нет, я не буду.

— Приезжай. Своих уж у меня нет. Но я держу за Гришиных лошадей. Помнишь? У него хорошая конюшня. Так вот приезжай, и поужинаем.

— И ужинать не могу,— улыбаясь, сказал Нехлюдов.

— Ну что ж это? Ты куда теперь? Хочешь, я довезу.

— Я к адвокату. Он тут за углом,— сказал Нехлюдов.

— А, да ведь ты что-то в остроге делаешь? Острожным ходатаем стал? Мне Корчагины говорили,— смеясь, заговорил Шенбок.— Они уже уехали. Что такое? Расскажи!

— Да, да, все это правда,— отвечал Нехлюдов,— что же рассказывать на улице!

— Ну да, ну да, ты ведь всегда чудак был. Так приедешь на скачки?

— Да нет, и не могу и не хочу. Ты, пожалуйста, не сердись.

— Вот, сердиться! Ты где стоишь? — спросил он, и вдруг лицо его сделалось серьезно, глаза остановились, брови поднялись. Он, очевидно, хотел вспомнить, и Нехлюдов увидал в нем совершенно такое же тупое выражение, как у того человека с поднятыми бровями и оттопыренными губами, которое поразило его в окне трактира.

— Холодище-то какой! А?

— Да, да.

— Покупки у тебя? — обратился он к извозчику.

— Ну, так прощай; очень, очень рад, что встретил тебя,— сказал Шенбок и, пожав крепко руку Нехлюдову, вскочил в пролетку, махая перед глянцевитым лицом широкой рукой в новой белой замшевой перчатке и привычно улыбаясь своими необыкновенно белыми зубами.

«Неужели я был такой? — думал Нехлюдов, продолжая свой путь к адвокату.— Да, хоть не совсем такой, но хотел быть таким и думал, что так и проживу жизнь».

XI

Адвокат принял Нехлюдова не в очередь и тотчас разговорился о деле Меньшовых, которое он прочел, и был возмущен неосновательностью обвинения.

— Дело это возмутительное,— говорил он.— Очень вероятно, что поджог сделан самим владельцем для получения страховой премии, но дело в том, что виновность Меньшовых совершенно не доказана. Нет никаких улик. Это особенное усердие следователя и небрежность товарища прокурора. Только бы дело слушалось не в уезде, а здесь, и я ручаюсь за выигрыш, и гонорара не беру никакого. Ну-с, другое дело — прошение на высочайшее имя Федосии Бирюковой — написано; если поедете в Петербург, возьмите с собой, сами подайте и попросите. А то сделают запрос в министерство юстиции, там ответят так, чтобы скорее с рук долой, то есть отказать, и ничего не выйдет. А вы постарайтесь добраться до высших чинов.

— До государя? — спросил Нехлюдов.

Адвокат засмеялся.

— Это уж наивысшая — высочайшая инстанция. А высшая — значит секретаря при комиссии прошений или заведывающего. Ну-с, все теперь?

— Нет, вот мне еще пишут сектанты,— сказал Нехлюдов, вынимая из кармана письмо сектантов.— Это удивительное дело, если справедливо, что́ они пишут. Я нынче постараюсь увидать их и узнать, в чем дело.

— Вы, я вижу, сделались воронкой, горлышком, через которое выливаются все жалобы острога,— улыбаясь, сказал адвокат.— Слишком уж много, не осилите.

— Нет, да это поразительное дело,— сказал Нехлю-

дов и рассказал вкратце сущность дела: люди в деревне собирались читать Евангелие, пришло начальство и разогнало их. Следующее воскресенье опять собрались, тогда позвали урядника, составили акт, и их предали суду. Судебный следователь допрашивал, товарищ прокурора составил обвинительный акт, судебная палата утвердила обвинение, и их предали суду. Товарищ прокурора обвинял, на столе были вещественные доказательства — Евангелие, и их приговорили в ссылку.— Это что-то ужасное,— говорил Нехлюдов.— Неужели это правда?

— Что же вас тут удивляет?

— Да все; ну, я понимаю урядника, которому велено, но товарищ прокурора, который составлял акт, ведь он человек образованный.

— В этом-то и ошибка, что мы привыкли думать, что прокуратура, судейские вообще — это какие-то новые либеральные люди. Они и были когда-то такими, но теперь это совершенно другое. Это чиновники, озабоченные только двадцатым числом. Он получает жалованье, ему нужно побольше, и этим и ограничиваются все его принципы. Он кого хотите будет обвинять, судить, приговаривать.

— Да неужели существуют законы, по которым можно сослать человека за то, что он вместе с другими читает Евангелие?

— Не только сослать в места не столь отдаленные, но в каторгу, если только будет доказано, что, читая Евангелие, они позволили себе толковать его другим не так, как велено, и потому осуждали церковное толкование. Хула на православную веру при народе и по статье сто девяносто шестой — ссылка на поселение.

— Да не может быть.

— Я вам говорю. Я всегда говорю господам судейским,— продолжал адвокат,— что не могу без благодарности видеть их, потому что если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только благодаря их доброте. А подвести каждого из нас к лишению особенных прав и местам не столь отдаленным — самое легкое дело.

— Но если так и все зависит от произвола прокурора и лиц, могущих применять и не применять закон, так зачем же суд?

Адвокат весело расхохотался.

— Вот какие вопросы вы задаете! Ну-с, это, батюшка, философия. Что ж, можно и об этом потолковать.

Вот приезжайте в субботу. Встретите у меня ученых, литераторов, художников. Тогда и поговорим об общих вопросах,— сказал адвокат, с ироническим пафосом произнося слова: «общие вопросы».— С женой знакомы. Приезжайте.

— Да, постараюсь,— отвечал Нехлюдов, чувствуя, что он говорит неправду, и если о чем постарается, то только о том, чтобы не быть вечером у адвоката в среде собирающихся у него ученых, литераторов и художников.

Смех, которым ответил адвокат на замечание Нехлюдова о том, что суд не имеет значения, если судейские могут по своему произволу применять или не применять закон, и интонация, с которой он произнес слова: «философия» и «общие вопросы», показали Нехлюдову, как совершенно различно он и адвокат, и вероятно и друзья адвоката, смотрят на вещи и как, несмотря на все свое теперешнее удаление от прежних своих приятелей, как Шенбок, Нехлюдов еще гораздо дальше чувствует себя от адвоката и людей его круга.

XII

До острога было далеко, а было уже поздно, и потому Нехлюдов взял извозчика и поехал к острогу. На одной из улиц извозчик, человек средних лет, с умным и добродушным лицом, обратился к Нехлюдову и указал на огромный строящийся дом.

— Вон какой домина занесли,— сказал он, как будто он отчасти был виновником этой постройки и гордился этим.

Действительно, дом строился огромный и в каком-то сложном, необыкновенном стиле. Прочные леса из больших сосновых бревен, схваченных железными скрепами, окружали воздвигаемую постройку и отделяли ее от улицы тесовой оградой. По подмостям лесов сновали, как муравьи, забрызганные известью рабочие: одни клали, другие тесали камень, третьи вверх вносили тяжелые и вниз пустые носилки и кадушки.

Толстый и прекрасно одетый господин, вероятно архитектор, стоя у лесов, что-то указывая наверх, говорил почтительно слушающему владимирцу-рядчику. Из ворот мимо архитектора с рядчиком выезжали пустые и въезжали нагруженные подводы.

«И как они все уверены, и те, которые работают, так же как и те, которые заставляют их работать, что это так и должно быть, что, в то время как дома их брюхатые бабы работают непосильную работу и дети их в скуфеечках перед скорой голодной смертью старчески улыбаются, суча ножками, им должно строить этот глупый ненужный дворец какому-то глупому и ненужному человеку, одному из тех самых, которые разоряют и грабят их»,— думал Нехлюдов, глядя на этот дом.

— Да, дурацкий дом,— сказал он вслух свою мысль.

— Как дурацкий? — с обидой возразил извозчик.— Спасибо, народу работу дает, а не дурацкий.

— Да ведь работа ненужная.

— Стало быть, нужная, коли строят,— возразил извозчик,— народ кормится.

Нехлюдов замолчал, тем более что трудно было говорить от грохота колес. Недалеко от острога извозчик съехал с мостовой на шоссе, так что легко было говорить, и опять обратился к Нехлюдову.

— И что этого народа нынче в город валит — страсть,— сказал он, поворачиваясь на козлах и указывая Нехлюдову на артель деревенских рабочих с пилами, топорами, полушубками и мешками за плечами, шедших им навстречу.

— Разве больше, чем в прежние года? — спросил Нехлюдов.

— Куда! Нынче так набиваются во все места, что беда. Хозяева швыряются народом, как щепками. Везде полно.

— Отчего же это так?

— Размножилось. Деваться некуда.

— Так что же, что размножилось? Отчего же не остаются в деревне?

— Нечего в деревне делать. Земли нет.

Нехлюдов испытывал то, что бывает с ушибленным местом. Кажется, что, как нарочно, ударяешься все больным местом, а кажется это только потому, что только удары по больному месту заметны.

«Неужели везде то же самое?» — подумал он и стал расспрашивать извозчика о том, сколько в их деревне земли, и сколько у самого извозчика земли, и зачем он живет в городе.

— Земли у нас, барин, десятина на душу. Держим мы на три души,— охотно разговорился извозчик.— У меня дома отец, брат, другой в солдатах. Они управ-

ляются. Да управляться-то нечего. И то брат хотел в Москву уйти.

— А нельзя нанять земли?

— Где нынче нанять? Господишки, какие были, размотали свою. Купцы всю к рукам прибрали. У них не укупишь,— сами работают. У нас француз владеет, у прежнего барина купил. Не сдает — да и шабаш.

— Какой француз?

— Дюфар француз, может, слыхали. Он в большом театре на ахтерок парики делает. Дело хорошее, ну и нажился. У нашей барышни купил все имение. Теперь он нами владеет. Как хочет, так и ездит на нас. Спасибо, сам человек хороший. Только жена у него из русских,— такая-то собака, что не приведи бог. Грабит народ. Беда. Ну, вот и тюрьма. Вам куда, к подъезду? Не пущают, я чай.

XIII

С замиранием сердца и ужасом перед мыслью о том, в каком состоянии он нынче найдет Маслову, и той тайной, которая была для него и в ней, и в том соединении людей, которое было в остроге, позвонил Нехлюдов у главного входа и у вышедшего к нему надзирателя спросил про Маслову. Надзиратель справился и сказал, что она в больнице. Нехлюдов пошел в больницу. Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же впустил его и, узнав, кого ему нужно было видеть, направился в детское отделение.

Молодой доктор, весь пропитанный карболовой кислотой, вышел к Нехлюдову в коридор и строго спросил его, что ему нужно. Доктор этот делал всякие послабления арестантам и потому постоянно входил в неприятные столкновения с начальством тюрьмы и даже с старшим доктором. Опасаясь того, чтобы Нехлюдов не потребовал от него чего-нибудь незаконного, и, кроме того, желая показать, что он ни для каких лиц не делает исключений, он притворился сердитым.

— Здесь нет женщин — детские палаты,— сказал он.

— Я знаю, но здесь есть переведенная из тюрьмы сиделка-служанка.

— Да, есть тут две. Так что же вам угодно?

— Я близко стою к одной из них, к Масловой,— сказал Нехлюдов,— и вот желал бы видеть ее: я еду в

Петербург для подачи кассационной жалобы по ее делу. И хотел передать вот это. Это только фотографическая карточка,— сказал Нехлюдов, вынимая из кармана конверт.

— Что ж, это можно,— сказал доктор, смягчившись, и, обратившись к старушке в белом фартуке, сказал, чтобы она позвала сиделку-арестантку Маслову.— Не хотите ли присесть, хоть пройти в приемную?

— Благодарю вас,— сказал Нехлюдов и, пользуясь благоприятной для себя переменой в докторе, спросил его о том, как довольны Масловой в больнице.

— Ничего, работает недурно, принимая во внимание условия, в которых она была,— сказал доктор.— Впрочем, вот и она.

Из одной двери вышла старушка сиделка и за нею Маслова. Она была в белом фартуке на полосатом платье; на голове была косынка, скрывавшая волосы. Увидав Нехлюдова, она вспыхнула, остановилась как бы в нерешительности, а потом нахмурилась и, опустив глаза, быстрыми шагами направилась к нему по полосушке коридора. Подошед к Нехлюдову, она хотела не подать руки, потом подала и еще больше покраснела. Нехлюдов не видал ее после того разговора, в котором она извинялась за свою горячность, и он теперь ожидал ее найти такою же, как тогда. Но нынче она была совсем другая, в выражении лица ее было что-то новое: сдержанное, застенчивое и, как показалось Нехлюдову, недоброжелательное к нему. Он сказал ей то же, что сказал доктору,— что едет в Петербург, и передал ей конверт с фотографией, которую он привез из Панова.

— Это я нашел в Панове, давнишняя фотография, может быть, вам приятно. Возьмите.

Она, приподняв черные брови, удивленно взглянула на него своими раскосыми глазами, как бы спрашивая, зачем это, и молча взяла конверт и положила его за фартук.

— Я видел там тетку вашу,— сказал Нехлюдов.

— Видели? — сказала она равнодушно.

— Хорошо ли вам здесь? — спросил Нехлюдов.

— Ничего, хорошо,— сказала она.

— Не слишком трудно?

— Нет, ничего. Я не привыкла еще.

— Я за вас очень рад. Все лучше, чем там.

— Чем где *там?* — сказала она, и лицо ее залилось румянцем.

— Там, в остроге,— поспешил сказать Нехлюдов.

— Чем же лучше? — спросила она.

— Я думаю, люди здесь лучше. Нет таких, какие там.

— Там много хороших,— сказала она.

— Об Меньшовых я хлопотал и надеюсь, что их освободят,— сказал Нехлюдов.

— Это дай бог, такая старушка чудесная,— сказала она, повторяя свое определение старушки, и слегка улыбнулась.

— Я нынче еду в Петербург. Дело ваше будет слушаться скоро, и я надеюсь, что решение отменят.

— Отменят, не отменят, теперь все равно,— сказала она.

— Отчего: теперь?

— Так,— сказала она, мельком вопросительно взглянув ему в лицо.

Нехлюдов понял это слово и этот взгляд так, что она хочет знать, держится ли он своего решения или принял ее отказ и изменил его.

— Не знаю, отчего для вас все равно,— сказал он.— Но для меня действительно все равно: оправдают вас или нет. Я во всяком случае готов сделать, что говорил,— сказал он решительно.

Она подняла голову, и черные косящие глаза остановились и на его лице, и мимо него, и все лицо ее просияло радостью. Но она сказала совсем не то, что говорили ее глаза.

— Это вы напрасно говорите,— сказала она.

— Я говорю, чтобы вы знали.

— Про это все сказано, и говорить нечего,— сказала она, с трудом удерживая улыбку.

В палате что-то зашумели. Послышался детский плач.

— Меня зовут, кажется,— сказала она, беспокойно оглядываясь.

— Ну, так прощайте,— сказал он.

Она сделала вид, что не заметила протянутую руку, и, не пожав ее, повернулась и, стараясь скрыть свое торжество, быстрыми шагами ушла по полосушкам коридора.

«Что в ней происходит? Как она думает? Как она чувствует? Хочет ли она испытать меня, или действительно не может простить? Не может она сказать всего, что думает и чувствует, или не хочет? Смягчилась ли

она, или озлобилась?» — спрашивал себя Нехлюдов и никак не мог ответить себе. Одно он знал — это то, что она изменилась и в ней шла важная для ее души перемена, и эта перемена соединяла его не только с нею, но и с тем, во имя кого совершалась эта перемена. И это-то соединение приводило его в радостно-возбужденное и умиленное состояние.

Вернувшись в палату, где стояло восемь детских кроваток, Маслова стала по приказанию сестры перестилать постель и, слишком далеко перегнувшись с простыней, поскользнулась и чуть не упала. Выздоравливающий, обвязанный по шее, смотревший на нее мальчик засмеялся, и Маслова не могла уже больше удерживаться и, присев на кровать, закатилась громким и таким заразительным смехом, что несколько детей тоже расхохотались, а сестра сердито крикнула на нее:

— Что гогочешь? Думаешь, что ты там, где была! Иди за порциями.

Маслова замолчала и, взяв посуду, пошла, куда ее посылали, но, переглянувшись с обвязанным мальчиком, которому запрещено было смеяться, опять фыркнула. Несколько раз в продолжение дня, как только она оставалась одна, Маслова выдвигала карточку из конверта и любовалась ею; но только вечером после дежурства, оставшись одна в комнате, где они спали вдвоем с сиделкой, Маслова совсем вынула из конверта фотографию и долго неподвижно, лаская глазами всякую подробность и лиц, и одежд, и ступенек балкона, и кустов, на фоне которых вышли изображенные лица его, и ее, и тетушек, смотрела на выцветшую пожелтевшую карточку и не могла налюбоваться в особенности собою, своим молодым, красивым лицом с вьющимися вокруг лба волосами. Она так загляделась, что не заметила, как ее товарка-сиделка вошла в комнату.

— Это что ж? Он тебе дал? — сказала толстая добродушная сиделка, нагибаясь над фотографией.— Ужли ж ты это?

— А то кто ж? — улыбаясь, глядя на лицо товарки, проговорила Маслова.

— А это кто ж? Он самый? А это мать ему?

— Тетка. А разве не узнала бы? — спрашивала Маслова.

— Где узнать? Ни в жизнь не узнала бы. Совсем вся лицо другая. Ведь, я чай, лет десять с тех пор-то!

— Не года, а жизнь,— сказала Маслова, и вдруг все

оживление ее прошло. Лицо стало унылое, и морщина врезалась между бровей.

— Чего ж, жизнь *там* легкая должна быть.

— Да, легкая,— повторила Маслова, закрыв глаза и качая головой.— Хуже каторги.

— Да чем же так?

— А тем же. От восьми вечера и до четырех утра. Это каждый день.

— Так отчего же не бросают?

— И хотят бросить, да нельзя. Да что говорить! — проговорила Маслова, вскочила, швырнула фотографию в ящик столика и, насилу удерживая злые слезы, выбежала в коридор, хлопнув дверью. Глядя на фотографию, она чувствовала себя такой, какой она была изображена на ней, и мечтала о том, как она была счастлива тогда и могла бы еще быть счастлива с ним теперь. Слова товарки напомнили ей то, что она была теперь, и то, что она была там,— напомнили ей весь ужас той жизни, который она тогда смутно чувствовала, но не позволяла себе сознавать. Теперь только она живо вспомнила все эти ужасные ночи и особенно одну на масленице, когда ожидала студента, обещавшего выкупить ее. Вспомнила она, как она в открытом, залитом вином красном шелковом платье с красным бантом в спутанных волосах, измученная, и ослабевшая, и опьяненная, проводив гостей к двум часам ночи, подсела в промежуток танцев к худой, костлявой, прыщеватой аккомпаньяторше скрипача и стала жаловаться ей на свою тяжелую жизнь, и как эта аккомпаньяторша тоже говорила, что тяготится своим положением и хочет переменить его, и как к ним подошла Клара, и как они вдруг решили все три бросить эту жизнь. Они думали, что нынешняя ночь кончена, и хотели расходиться, как вдруг зашумели в передней пьяные гости. Скрипач сыграл ритурнель, аккомпаньяторша заколотила на пьянино аккомпанемент развеселой русской песни первой фигуры кадрили; как маленький, потный, воняющий вином и икающий человечек в белом галстуке и фраке, который он снял во второй фигуре, подхватил ее, а другой толстяк с бородой, тоже во фраке (они приехали с какого-то бала), подхватил Клару, и как они долго вертелись, плясали, кричали, пили... И так шло год, и два, и три. Как же не измениться! И причиной этого всего был он. И в ней вдруг поднялось опять прежнее озлобление к нему, захотелось бранить, упрекать его. Она

жалела, что упустила случай нынче высказать ему еще раз то же, что она знает его и не поддастся ему, не позволит ему духовно воспользоваться ею, как он воспользовался ею телесно, не позволит ему сделать ее предметом своего великодушия. И чтобы как-нибудь затушить это мучительное чувство жалости к себе и бесполезного упрека ему, ей захотелось вина. И она не сдержала бы слова и выпила бы вина, если бы была в остроге. Здесь же достать вина нельзя было иначе, как у фельдшера, а фельдшера она боялась, потому что он приставал к ней. Отношения же с мужчинами были ей противны. Посидев на лавочке в коридоре, она вернулась в каморку и, не отвечая товарке, долго плакала над своей погубленной жизнью.

XIV

В Петербурге у Нехлюдова было три дела: кассационное прошение Масловой в сенате, дело Федосьи Бирюковой в комиссии прошений и, по поручению Веры Богодуховской, дело в жандармском управлении или в Третьем отделении об освобождении Шустовой и о свидании матери с сыном, содержащимся в крепости, о котором прислала ему записку Вера Богодуховская. Эти оба дела он считал за одно третье дело. И четвертое дело было дело сектантов, ссылаемых от своих семей на Кавказ за то, что они читали и толковали Евангелие. Он обещал не столько им, сколько себе сделать для разъяснения этого дела все, что только будет возможно.

Со времени своего последнего посещения Масленникова, в особенности после своей поездки в деревню, Нехлюдов не то что решил, но всем существом почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты были страдания, несомые миллионами людей для обеспечения удобств и удовольствий малого числа, что люди этой среды не видят, не могут видеть этих страданий и потому жестокости и преступности своей жизни. Нехлюдов теперь уже не мог без неловкости и упрека самому себе общаться с людьми этой среды. А между тем в эту среду влекли его привычки его прошедшей жизни, влекли и родственные и дружеские отношения и, главное, то, что для того, чтобы делать то, что теперь одно занимало его: помочь и Масловой, и всем тем страдающим,

которым он хотел помочь, он должен был просить помощи и услуг от людей этой среды, не только не уважаемых, но часто вызывающих в нем негодование и презрение.

Приехав в Петербург и остановившись у своей тетки по матери, графини Чарской, жены бывшего министра, Нехлюдов сразу попал в самую сердцевину ставшего ему столь чуждым аристократического общества. Ему неприятно было это, а нельзя было поступить иначе. Остановиться не у тетушки, а в гостинице, значило обидеть ее, и между тем тетушка имела большие связи и могла быть в высшей степени полезна во всех тех делах, по которым он намеревался хлопотать.

— Ну, что я слышу про тебя? Какие-то чудеса,— говорила ему графиня Катерина Ивановна, поя его кофеем тотчас после его приезда.— Vous posez pour un Howard! [1] Помогаешь преступникам. Ездишь по тюрьмам. Исправляешь.

— Да нет, я и не думаю.

— Что ж, это хорошо. Только тут какая-то романическая история. Ну-ка, расскажи.

Нехлюдов рассказал свои отношения к Масловой — все, как было.

— Помню, помню, бедная Элен говорила мне что-то тогда, когда ты у тех старушек жил: они тебя, кажется, женить хотели на своей воспитаннице (графиня Катерина Ивановна всегда презирала теток Нехлюдова по отцу)... Так это она? Elle est encore jolie? [2]

Тетушка Катерина Ивановна была шестидесятилетняя здоровая, веселая, энергичная, болтливая женщина. Ростом она была высока и очень полная, на губе у нее были заметны черные усы. Нехлюдов любил ее и с детства еще привык заражаться ее энергией и веселостью.

— Нет, ma tante [3], это все кончено. Мне только хотелось помочь ей, потому что, во-первых, она невинно осуждена, и я в этом виноват, виноват и во всей ее судьбе. Я чувствую себя обязанным сделать для нее, что могу.

— Но как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней?

— Да и хотел, но она не хочет.

[1] Ты разыгрываешь из себя Говарда! *(фр.)*
[2] Она еще красива? *(фр.)*
[3] тетушка *(фр.)*.

Катерина Ивановна, выпятив лоб и опустив зрачки, удивленно и молча посмотрела на племянника. Вдруг лицо ее изменилось, и на нем выразилось удовольствие.

— Ну, она умнее тебя. Ах, какой ты дурак! И ты бы женился на ней?

— Непременно.

— После того, что́ она была?

— Тем более. Ведь я всему виною.

— Нет, ты просто оболтус,— сказала тетушка, удерживая улыбку.— Ужасный оболтус, но я тебя именно за это люблю, что ты такой ужасный оболтус,— повторяла она, видимо особенно полюбив это слово, верно передававшее в ее глазах умственное и нравственное состояние ее племянника.— Ты знаешь, как это кстати,— продолжала она.— У Aline удивительный приют Магдалин. Я была раз. Они препротивные. Я потом все мылась. Но Aline corps et âme[1] занята этим. Так мы ее, твою, к ней отдадим. Уж если кто исправит, так это Aline.

— Да ведь она приговорена в каторгу. Я затем приехал, чтобы хлопотать об отмене этого решения. Это мое первое дело к вам.

— Вот как! Где же это дело об ней?

— В сенате.

— В сенате? Да, мой милый cousin Левушка в сенате. Да, впрочем, он в департаменте дураков — герольдии. Ну, а из настоящих я не знаю никого. Все это бог знает кто — или немцы: Ге, Фе, Де,— tout l'alphabet[2], или разные Ивановы, Семеновы, Никитины, или Иваненко, Симоненко, Никитенко, pour varier. Des gens de l'autre monde[3]. Ну, все-таки я скажу мужу. Он их знает. Он всяких людей знает. Я ему скажу. А ты ему растолкуй, а то он никогда меня не понимает. Что бы я ни говорила, он говорит, что ничего не понимает. C'est un parti pris[4]. Все понимают, только он не понимает.

В это время лакей в чулках принес на серебряном подносе письмо.

— Как раз от Aline. Вот ты и Кизеветера услышишь.

— Кто это — Кизеветер?

— Кизеветер? Вот приходи нынче. Ты и узнаешь, кто он такой. Он так говорит, что самые закоренелые

---

[1] телом и душою *(фр.)*.
[2] весь алфавит *(фр.)*.
[3] для разнообразия. Люди другого общества *(фр.)*.
[4] Это у него заранее решено *(фр.)*.

преступники бросаются на колени и плачут и раскаиваются.

Графиня Катерина Ивановна, как это ни странно было и как ни мало это шло к ее характеру, была горячая сторонница того учения, по которому считалось, что сущность христианства заключается в вере в искупление. Она ездила на собрания, где проповедовалось это бывшее модным тогда учение, и собирала у себя верующих. Несмотря на то, что по этому учению отвергались не только все обряды, иконы, но и таинства, у графини Катерины Ивановны во всех комнатах и даже над ее постелью были иконы, и она исполняла все требуемое церковью, не видя в этом никакого противоречия.

— Вот бы твоя Магдалина послушала его; она бы обратилась,— сказала графиня.— А ты непременно будь дома вечером. Ты услышишь его. Это удивительный человек.

— Мне это неинтересно, ma tante.

— А я тебе говорю, что интересно. И ты непременно приезжай. Ну, говори, еще что тебе от меня нужно? Videz votre sac [1].

— А еще дело в крепости.

— В крепости? Ну, туда я могу дать тебе записку к барону Кригсмуту. C'est un très brave homme [2]. Да ты сам его знаешь. Он с твоим отцом товарищ. Il donne dans le spiritisme [3]. Ну, да это ничего. Он добрый. Что же тебе там надо?

— Надо просить о том, чтобы разрешили свиданье матери с сыном, который там сидит. Но мне говорили, что это не от Кригсмута зависит, а от Червянского.

— Червянского я не люблю, но ведь это муж Mariette. Можно ее попросить. Она сделает для меня. Elle est très gentille [4].

— Надо просить еще об одной женщине. Она сидит несколько месяцев, и никто не знает за что.

— Ну, нет, она-то сама наверно знает за что. Они очень хорошо знают. И им, этим стриженым, поделом

— Мы не знаем, поделом или нет. А они страдают Вы — христианка и верите Евангелию, а так безжалостны...

— Ничего это не мешает. Евангелие Евангелием, а

[1] Выкладывай все *(фр.)*.
[2] Это очень достойный человек *(фр.)*.
[3] Он увлекается спиритизмом *(фр.)*.
[4] Она очень мила *(фр.)*.

что противно, то противно. Хуже будет, когда я буду притворяться, что люблю нигилистов и, главное, стриженых нигилисток, когда я их терпеть не могу.

— За что же вы их терпеть не можете?

— После Первого марта спрашиваешь за что?

— Да ведь не все ж участницы Первого марта.

— Все равно, зачем мешаются не в свое дело. Не женское это дело.

— Ну, да вот Mariette, вы находите, что может заниматься делами,— сказал Нехлюдов.

— Mariette? Mariette — Mariette. А это бог знает кто, Халтюнкина какая-то хочет всех учить.

— Не учить, а просто хотят помочь народу.

— Без них знают, кому надо и кому не надо помочь.

— Да ведь народ бедствует. Вот я сейчас из деревни приехал. Разве это надо, чтоб мужики работали из последних сил и не ели досыта, а чтобы мы жили в страшной роскоши,— говорил Нехлюдов, невольно добродушием тетушки вовлекаемый в желание высказать ей все, что он думал.

— А ты что ж хочешь, чтобы я работала и ничего не ела?

— Нет, я не хочу, чтоб вы не кушали,— невольно улыбаясь, отвечал Нехлюдов,— а хочу только, чтобы мы все работали и все кушали.

Тетушка, опять опустив лоб и зрачки, с любопытством уставилась на него.

— Mon cher, vous finirez mal [1],— сказала она.

— Да отчего же?

В это время в комнату вошел высокий, широкоплечий генерал. Это был муж графини Чарской, отставной министр.

— А, Дмитрий, здравствуй,— сказал он, подставляя ему свежевыбритую щеку.— Когда приехал?

Он молча поцеловал в лоб жену.

— Non, il est impayable [2],— обратилась графиня Катерина Ивановна к мужу.— Он мне велит идти на речку белье полоскать и есть один картофель. Он ужасный дурак, но все-таки ты ему сделай, что он тебя просит. Ужасный оболтус,— поправилась она.— А ты слышал: Каменская, говорят, в таком отчаянии, что боятся за ее жизнь,— обратилась она к мужу,— ты бы съездил к ней.

---

[1] Мой дорогой, ты плохо кончишь *(фр.)*.

[2] Нет, он бесподобен *(фр.)*.

— Да, это ужасно,— сказал муж.

— Ну, идите с ним говорить, а мне нужно письма писать.

Только что Нехлюдов вышел в комнату подле гостиной, как она закричала ему оттуда:

— Так написать Mariette?

— Пожалуйста, ma tante.

— Так я оставлю en blanc[1], что тебе нужно о стриженой, а она уж велит своему мужу. И он сделает. Ты не думай, что я злая. Они все препротивные, твои protégées, но je ne leur veux pas de mal[2]. Бог с ними! Ну, ступай. А вечером непременно будь дома. Услышишь Кизеветера. И мы помолимся. И если ты только не будешь противиться, ça vous fera beaucoup de bien[3]. Я ведь знаю, и Элен и вы все очень отстали в этом. Так до свиданья.

XV

Граф Иван Михайлович был отставной министр и человек очень твердых убеждений.

Убеждения графа Ивана Михайловича с молодых лет состояли в том, что как птице свойственно питаться червяками, быть одетой перьями и пухом и летать по воздуху, так и ему свойственно питаться дорогими кушаньями, приготовленными дорогими поварами, быть одетым в самую покойную и дорогую одежду, ездить на самых покойных и быстрых лошадях, и что поэтому это все должно быть для него готово. Кроме того, граф Иван Михайлович считал, что чем больше у него будет получения всякого рода денег из казны, и чем больше будет орденов, до алмазных знаков чего-то включительно, и чем чаще он будет видеться и говорить с коронованными особами обоих полов, тем будет лучше. Все же остальное в сравнении с этими основными догматами граф Иван Михайлович считал ничтожным и неинтересным. Все остальное могло быть так или обратно совершенно. Соответственно этой вере граф Иван Михайлович жил и действовал в Петербурге в продолжение сорока лет и по истечение сорока лет достиг поста министра.

Главные качества графа Ивана Михайловича, по-

---

[1] пробел *(фр.)*.

[2] я им зла не желаю *(фр.)*.

[3] это тебе принесет большую пользу *(фр.)*.

средством которых он достиг этого, состояли в том, что он, во-первых, умел понимать смысл написанных бумаг и законов, и хотя и нескладно, но умел составлять удобопонятные бумаги и писать их без орфографических ошибок; во-вторых, был чрезвычайно представителен и, где нужно было, мог являть вид не только гордости, но неприступности и величия, а где нужно было, мог быть подобострастен до страстности и подлости; в-третьих, в том, что у него не было никаких общих принципов или правил, ни лично нравственных, ни государственных, и что он поэтому со всеми мог быть согласен, когда это нужно было, и, когда это нужно было, мог быть со всеми не согласен. Поступая так, он старался только о том, чтобы был выдержан тон и не было явного противоречия самому себе, к тому же, нравственны или безнравственны его поступки сами по себе, и о том, произойдет ли от них величайшее благо или величайший вред для Российской империи или для всего мира, он был совершенно равнодушен.

Когда он сделался министром, не только все зависящие от него, а зависело от него очень много людей и приближенных,— но и все посторонние люди и он сам были уверены, что он очень умный государственный человек. Но когда прошло известное время, и он ничего не устроил, ничего не показал, и когда, по закону борьбы за существование, точно такие же, как и он, научившиеся писать и понимать бумаги, представительные и беспринципные чиновники вытеснили его, и он должен был выйти в отставку, то всем стало ясно, что он был не только не особенно умный и не глубокомысленный человек, но очень ограниченный и малообразованный, хотя и очень самоуверенный человек, который едва-едва поднимался в своих взглядах до уровня передовых статей самых пошлых консервативных газет. Оказалось, что в нем ничего не было отличающего его от других малообразованных, самоуверенных чиновников, которые его вытеснили, и он сам понял это, но это нисколько не поколебало его убеждений о том, что он должен каждый год получать большое количество казенных денег и новые украшения для своего парадного наряда. Это убеждение было так сильно, что никто не решался отказать ему в этом, и он получал каждый год, в виде отчасти пенсии, отчасти вознаграждения за членство в высшем государственном учреждении и за председательство в разных комиссиях, комитетах, несколько

десятков тысяч рублей и сверх того высоко ценимые им всякий год новые права на нашивку новых галунов на свои плечи или панталоны и подлевание под фрак новых ленточек и эмалевых звездочек. Вследствие этого у графа Ивана Михайловича были большие связи.

Граф Иван Михайлович выслушал Нехлюдова так, как он, бывало, выслушивал доклады правителя дел, и, выслушав, сказал, что он даст ему две записки — одну к сенатору Вольфу, кассационного департамента.

— Говорят про него разное, но dans tous les cas c'est un homme très comme il faut[1],— сказал он.— И он мне обязан и сделает что может.

Другую записку граф Иван Михайлович дал к влиятельному лицу в комиссии прошений. Дело Федосьи Бирюковой, как его рассказал ему Нехлюдов, очень заинтересовало его. Когда Нехлюдов сказал ему, что он хотел писать письмо императрице, он сказал, что действительно это дело очень трогательное и можно бы при случае рассказать это там. Но обещать он не мог. Пускай прошение пойдет своим порядком. А если будет случай, подумал он, если позовут на petit comité[2] в четверг, он, может быть, скажет.

Получив обе записки от графа и записку к Mariette от тетушки, Нехлюдов тотчас же отправился по всем этим местам.

Прежде всего он направился к Mariette. Он знал ее девочкой-подростком небогатого аристократического семейства, знал, что она вышла за делавшего карьеру человека, про которого он слыхал нехорошие вещи, главное, слышал про его бессердечность к тем сотням и тысячам политических, мучать которых составляло его специальную обязанность, и Нехлюдову было, как всегда, мучительно тяжело то, что для того, чтобы помочь угнетенным, он должен становиться на сторону угнетающих, как будто признавая их деятельность законною тем, что обращался к ним с просьбами о том, чтобы они немного, хотя бы по отношению известных лиц, воздержались от своих обычных и, вероятно, незаметных им самим жестокостей. В этих случаях всегда он чувствовал внутренний разлад и недовольство собой и колебание: просить или не просить, но всегда решал, что надо просить. Дело ведь в том, что ему будет не-

---

[1] во всяком случае, это человек вполне порядочный *(фр.)*.
[2] маленькое интимное собрание *(фр.)*.

ловко, стыдно, неприятно у этой Mariette и ее мужа, но зато может быть то, что несчастная, мучащаяся в одиночном заключении женщина будет выпущена и перестанет страдать, и она и ее родные. Кроме того, что он чувствовал фальшь в этом положении просителя среди людей, которых он уже не считал своими, но которые его считали своим, в этом обществе он чувствовал, что вступал в прежнюю привычную колею и невольно поддавался тому легкомысленному и безнравственному тону, который царствовал в этом кружке. Он это испытал уже у тетушки Катерины Ивановны. Он уже нынче утром, говоря с нею о самых серьезных вещах, впадал в шуточный тон.

Вообще Петербург, в котором он давно не был, производил на него свое обычное, физически подбадривающее и нравственно притупляющее впечатление: все так чисто, удобно, благоустроенно, главное — люди так нравственно нетребовательны, что жизнь кажется особенно легкой.

Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повез его мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых но прекрасной, чисто политой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов к тому дому на канаве, в котором жила Mariette.

У подъезда стояла пара английских лошадей в шорах, и похожий на англичанина кучер с бакенбардами до половины щек, в ливрее, с бичом и гордым видом сидел на козлах.

Швейцар в необыкновенно чистом мундире отворил дверь в сени, где стоял в еще более чистой ливрее с галунами выездной лакей с великолепно расчесанными бакенбардами и дежурный вестовой солдат со штыком в новом чистом мундире.

— Генерал не принимают. Генеральша тоже. Они сейчас изволят ехать.

Нехлюдов отдал письмо графини Катерины Ивановны и, достав карточку, подошел к столику, на котором лежала книга для записи посетителей, и начал писать, что очень жалеет, что не застал, как лакей подвинулся к лестнице, швейцар вышел на подъезд, крикнув: «Подавай!», а вестовой, вытянувшись, руки по швам, замер, встречая и провожая глазами сходившую с лестницы быстрой, не соответственной ее важности походкой невысокую тоненькую барыню.

Mariette была в большой шляпе с пером и в черном

платье, в черной накидке и в новых черных перчатках; лицо ее было закрыто вуалью.

Увидев Нехлюдова, она подняла вуаль, открыла очень миловидное лицо с блестящими глазами и вопросительно взглянула на него.

— А, князь Дмитрий Иванович! — веселым, приятным голосом проговорила она.— Я бы узнала...

— Как, вы даже помните, как меня зовут?

— Как же, мы с сестрой даже в вас влюблены были,— заговорила она по-французски.— Но как вы переменились. Ах, как жаль, что я уезжаю. Впрочем, пойдем назад,— сказала она, останавливаясь в нерешительности.

Она взглянула на стенные часы.

— Нет, нельзя. Я на панихиду еду к Каменской. Она ужасно убита.

— А что это Каменская?

— Разве вы не слыхали?.. ее сын убит на дуэли. Дрались с Позеном. Единственный сын. Ужасно. Мать так убита.

— Да, я слышал.

— Нет, лучше я поеду, а вы приходите завтра или нынче вечером,— сказала она и быстрыми легкими шагами пошла в выходную дверь.

— Нынче вечером не могу,— отвечал он, выходя с ней вместе на крыльцо.— А у меня ведь дело к вам,— сказал он, глядя на пару рыжих, подъезжавших к крыльцу.

— Что такое?

— А вот записка об этом от тетушки,— сказал Нехлюдов, подавая ей узенький конверт с большим вензелем.— Там вы все увидите.

— Я знаю: графиня Катерина Ивановна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Она заблуждается. Я ничего не могу и не хочу вступаться. Но, разумеется, для графини и вас я готова отступить от своего правила. В чем же дело? — говорила она, маленькой рукой в черной перчатке тщетно отыскивая карман.

— Посажена в крепость одна девушка, а она больная и не замешана.

— А как ее фамилия?

— Шустова. Лидия Шустова. В записке есть.

— Ну, хорошо, я попытаюсь сделать,— сказала она и легко вошла в мягко капитонированную коляску, блестящую на солнце лаком своих крыльев, и раскрыла

зонтик. Лакей сел на козлы и дал знак кучеру ехать. Коляска двинулась, но в ту же минуту она дотронулась зонтиком до спины кучера, и тонкокожие красавицы, энглизированные кобылы, поджимая затянутые мундштуками красивые головы, остановились, перебирая тонкими ногами.

— А вы приходите, но, пожалуйста, бескорыстно,— сказала она, улыбнулась улыбкой, силу которой она хорошо знала, и, как будто окончив представление, опустила занавес: спустила вуаль.— Ну, поедем,— она опять тронула зонтиком кучера.

Нехлюдов поднял шляпу. А рыжие чистокровные кобылы, пофыркивая, забили подковами по мостовой, и экипаж быстро покатил, только кое-где мягко подпрыгивая своими новыми шинами на неровностях пути.

XVI

Вспоминая улыбку, которою он обменялся с Mariette, Нехлюдов покачал на себя головою.

«Не успеешь оглянуться, как втянешься опять в эту жизнь»,— подумал он, испытывая ту раздвоенность и сомнения, которые в нем вызывала необходимость заискивания в людях, которых он не уважал. Сообразив, куда прежде, куда после ехать, чтоб не возвращаться, Нехлюдов прежде всего направился в сенат. Его проводили в канцелярию, где он в великолепнейшем помещении увидал огромное количество чрезвычайно учтивых и чистых чиновников.

Прошение Масловой было получено и передано на рассмотрение и доклад тому самому сенатору Вольфу, к которому у него было письмо от дяди, сказали Нехлюдову чиновники.

— Заседание же сената будет на этой неделе, и дело Масловой едва ли попадет в это заседание. Если же попросить, то можно надеяться, что пустят и на этой неделе, в среду,— сказал один.

В канцелярии сената, пока Нехлюдов дожидался делаемой справки, он слышал опять разговор о дуэли и подробный рассказ о том, как убит был молодой Каменский. Здесь он в первый раз узнал подробности этой занимавшей весь Петербург истории. Дело было в том, что офицеры ели в лавке устрицы и, как всегда, много пили. Один сказал что-то неодобрительно о полку, в ко-

тором служил Каменский; Каменский назвал того лгуном. Тот ударил Каменского. На другой день дрались, и Каменскому попала пуля в живот, и он умер через два часа. Убийца и секунданты арестованы, но, как говорят, хотя их и посадили на гауптвахту, их выпустят через две недели.

Из канцелярии сената Нехлюдов поехал в комиссию прошений к имевшему в ней влияние чиновнику барону Воробьеву, занимавшему великолепное помещение в казенном доме. Швейцар и лакей объявили строго Нехлюдову, что видеть барона нельзя помимо приемных дней, что он нынче у государя императора, а завтра опять доклад. Нехлюдов передал письмо и поехал к сенатору Вольфу.

Вольф только что позавтракал и, по обыкновению поощряя пищеварение курением сигары и прогулкой по комнате, принял Нехлюдова. Владимир Васильевич Вольф был действительно un homme très comme il faut, и это свое свойство ставил выше всего, с высоты его смотрел на всех других людей и не мог не ценить высоко этого свойства, потому что благодаря только ему он сделал блестящую карьеру, ту самую, какую желал, то есть посредством женитьбы приобрел состояние, дающее восемнадцать тысяч дохода, и своими трудами — место сенатора. Он считал себя не только un homme très comme il faut, но еще и человеком рыцарской честности. Под честностью же он разумел то, чтобы не брать с частных лиц потихоньку взяток. Выпрашивать же себе всякого рода прогоны, подъемные, аренды от казны, рабски исполняя за то все, что ни требовало от него правительство, он не считал бесчестным. Погубить же, разорить, быть причиной ссылки и заточения сотен невинных людей вследствие их привязанности к своему народу и религии отцов, как он сделал это в то время, как был губернатором в одной из губерний Царства Польского, он не только не считал бесчестным, но считал подвигом благородства, мужества, патриотизма; не считал также бесчестным то, что он обобрал влюбленную в себя жену и свояченицу. Напротив, считал это разумным устройством своей семейной жизни.

Семейную жизнь Владимира Васильевича составляли его безличная жена, свояченица, состояние которой он также прибрал к рукам, продав ее имение и положив деньги на свое имя, и кроткая, запуганная, некрасивая дочь, ведущая одинокую тяжелую жизнь, развле-

чение в которой она нашла в последнее время в евангелизме — в собраниях у Aline и у графини Катерины Ивановны.

Сын же Владимира Васильевича — добродушный, обросший бородой в пятнадцать лет и с тех пор начавший пить и развратничать, что он продолжал делать до двадцатилетнего возраста,— был изгнан из дома за то, что он нигде не кончил курса и, вращаясь в дурном обществе и делая долги, компрометировал отца. Отец один раз заплатил за сына двести тридцать рублей долга, заплатил и другой раз шестьсот рублей, но объявил сыну, что это последний раз, что если он не исправится, то он выгонит его из дома и прекратит с ним сношения. Сын не только не исправился, но сделал еще тысячу рублей долга и позволил себе сказать отцу, что ему и так дома жить мучение. И тогда Владимир Васильевич объявил сыну, что он может отправляться куда хочет, что он не сын ему. С тех пор Владимир Васильевич делал вид, что у него нет сына, и домашние никто не смели говорить ему о сыне, и Владимир Васильевич был вполне уверен, что он наилучшим образом устроил свою семейную жизнь.

Вольф с ласковой и несколько насмешливой улыбкой — это была его манера: невольное выражение сознания своего комильфотного превосходства над большинством людей,— остановившись в своей прогулке по кабинету, поздоровался с Нехлюдовым и прочел записку.

— Прошу покорно, садитесь, а меня извините. Я буду ходить, если позволите,— сказал он, заложив руки в карманы своей куртки и ступая легкими мягкими шагами по диагонали большого строгого стиля кабинета.— Очень рад с вами познакомиться и, само собой, сделать угодное графу Ивану Михайловичу,— говорил он, выпуская душистый голубоватый дым и осторожно относя сигару ото рта, чтобы не сронить пепел.

— Я только попросил бы о том, чтобы дело слушалось поскорее, потому что если подсудимой придется ехать в Сибирь, то ехать пораньше,— сказал Нехлюдов.

— Да, да, с первыми пароходами из Нижнего, знаю,— сказал Вольф с своей снисходительной улыбкой, всегда все знавший вперед, что только начинали ему говорить.— Как фамилия подсудимой?

— Маслова...

Вольф подошел к столу и взглянул в бумагу, лежавшую на картоне с делами.

— Так, так, Маслова. Хорошо, я попрошу товарищей. Мы выслушаем дело в середу.

— Могу я так телеграфировать адвокату?

— А у вас адвокат? Зачем это? Но если хотите, что ж.

— Поводы к кассации могут быть недостаточны,— сказал Нехлюдов,— но по делу, я думаю, видно, что обвинение произошло от недоразумения.

— Да, да, это может быть, но сенат не может рассматривать дело по существу,— сказал Владимир Васильевич строго, глядя на пепел.— Сенат следит только за правильностью применения закона и толкования его.

— Это, мне кажется, исключительный случай.

— Знаю, знаю. Все случаи исключительные. Мы сделаем, что должно. Вот и все.— Пепел все еще держался, но уже дал трещину и был в опасности.— А вы в Петербурге редко бываете? — сказал Вольф, держа сигару так, чтобы пепел не упал. Пепел все-таки заколебался, и Вольф осторожно поднес его к пепельнице, куда он и обрушился.— А какое ужасное событие с Каменским! — сказал он.— Прекрасный молодой человек. Единственный сын. Особенно положение матери,— говорил он, повторяя почти слово в слово все то, что все в Петербурге говорили в это время о Каменском.

Поговорив еще о графине Катерине Ивановне и ее увлечении новым религиозным направлением, которое Владимир Васильевич не осуждал и не оправдывал, но которое при его комильфотности, очевидно, было для него излишне, он позвонил.

Нехлюдов откланялся.

— Если вам удобно, приходите обедать,— сказал Вольф, подавая руку,— хоть в середу. Я и ответ вам дам положительный.

Было уже поздно, и Нехлюдов поехал домой, то есть к тетушке.

XVII

Обедали у графини Катерины Ивановны в половине восьмого, и обед подавался по новому, еще не виданному Нехлюдовым способу. Кушанья ставились на стол, и лакеи тотчас же уходили, так что обедающие

брали сами кушанья. Мужчины не позволяли дамам утруждать себя излишними движениями и, как сильный пол, несли мужественно всю тяжесть накладыванья дамам и себе кушаний и наливания напитков. Когда же одно блюдо было съедено, графиня пожимала в столе пуговку электрического звонка, и лакеи беззвучно входили, быстро убирали, меняли приборы и приносили следующую перемену. Обед был утонченный, такие же были и вина. В большой светлой кухне работали французский шеф с двумя белыми помощниками. Обедали шестеро: граф и графиня, их сын, угрюмый гвардейский офицер, клавший локти на стол, Нехлюдов, лектриса-француженка и приехавший из деревни главноуправляющий графа.

Разговор и здесь зашел о дуэли. Суждения шли о том, как отнесся к делу государь. Было известно, что государь очень огорчен за мать, и все были огорчены за мать. Но так как было известно, что государь, хотя и соболезнует, не хочет быть строгим к убийце, защищавшему честь мундира, то и все были снисходительны к убийце, защищавшему честь мундира. Только графиня Катерина Ивановна с своим свободолегкомыслием выразила осуждение убийце.

— Будут пьянствовать да убивать порядочных молодых людей — ни за что бы не простила,— сказала она.

— Вот этого я не понимаю,— сказал граф.

— Я знаю, что ты никогда не понимаешь того, что я говорю,— заговорила графиня, обращаясь к Нехлюдову.— Все понимают, только не муж. Я говорю, что мне жалко мать, и я не хочу, чтобы он убил и был очень доволен.

Тогда молчавший до этого сын вступился за убийцу и напал на свою мать, довольно грубо доказывая ей, что офицер не мог поступить иначе, что иначе его судом офицеров выгнали бы из полка. Нехлюдов слушал, не вступая в разговор, и, как бывший офицер, понимал, хоть и не признавал, доводы молодого Чарского, но вместе с тем невольно сопоставлял с офицером, убившим другого, того арестанта, красавца юношу, которого он видел в тюрьме и который был приговорен к каторге за убийство в драке. Оба стали убийцами от пьянства. Тот, мужик, убил в минуту раздражения, и он разлучен с женою, с семьей, с родными, закован в кандалы и с бритой головой идет в каторгу, а этот сидит в пре-

красной комнате на гауптвахте, ест хороший обед, пьет хорошее вино, читает книги и нынче-завтра будет выпущен и будет жить по-прежнему, только сделавшись особенно интересным.

Он сказал то, что думал. Сначала было графиня Катерина Ивановна согласилась с племянником, но потом замолчала. Так же как и все, и Нехлюдов чувствовал, что этим рассказом он сделал что-то вроде неприличия.

Вечером, вскоре после обеда, в большой зале, где особенно, как для лекции, поставили рядами стулья с высокими резными спинками, а перед столом кресло и столик с графином воды для проповедника, стали собираться на собрание, на котором должен был проповедовать приезжий Кизеветер.

У подъезда стояли дорогие экипажи. В зале с дорогим убранством сидели дамы в шелку, бархате, кружевах, с накладными волосами и перетянутыми и накладными тальями. Между дамами сидели мужчины — военные и статские и человек пять простолюдинов: двое дворников, лавочник, лакей и кучер.

Кизеветер, крепкий, седеющий человек, говорил по-английски, а молодая худая девушка в pince-nez хорошо и быстро переводила.

Он говорил о том, что грехи наши так велики, казнь за них так велика и неизбежна, что жить в ожидании этой казни нельзя.

— Только подумаем, любезные сестры и братья, о себе, о своей жизни, о том, что мы делаем, как живем, как прогневляем любвеобильного бога, как заставляем страдать Христа, и мы поймем, что нет нам прощения, нет выхода, нет спасения, что все мы обречены погибели. Погибель ужасная, вечные мученья ждут нас,— говорил он дрожащим, плачущим голосом.— Как спастись? Братья, как спастись из этого ужасного пожара? Он объял уже дом, и нет выхода.

Он помолчал, и настоящие слезы текли по его щекам. Уже лет восемь всякий раз без ошибки, как только он доходил до этого места своей очень нравившейся ему речи, он чувствовал спазму в горле, щипание в носу, и из глаз текли слезы. И эти слезы еще больше трогали его. В комнате слышались рыдания. Графиня Катерина Ивановна сидела у мозаикового столика, облокотив голову на обе руки, и толстые плечи ее вздрагивали. Кучер удивленно и испуганно смотрел на немца, точно он наезжал на него дышлом, а он не сторо-

нился. Большинство сидело в таких же позах, как и графиня Катерина Ивановна. Дочь Вольфа, похожая на него, в модном платье стояла на коленках, закрыв лицо руками.

Оратор вдруг открыл лицо и вызвал на нем очень похожую на настоящую улыбку, которой актеры выражают радость, и сладким, нежным голосом начал говорить:

— А спасенье есть. Вот оно, легкое, радостное. Спасенье это — пролитая за нас кровь единственного сына бога, отдавшего себя за нас на мучение. Его мучение, его кровь спасает нас. Братья и сестры,— опять со слезами в голосе заговорил он,— возблагодарим бога, отдавшего единственного сына в искупление за род человеческий. Святая кровь его...

Нехлюдову стало так мучительно гадко, что он потихоньку встал и, морщась и сдерживая кряхтение стыда, вышел на цыпочках и пошел в свою комнату.

XVIII

На другой день, только что Нехлюдов оделся и собирался спуститься вниз, как лакей принес ему карточку московского адвоката. Адвокат приехал по своим делам и вместе с тем для того, чтобы присутствовать при разборе дела Масловой в сенате, если оно скоро будет слушаться. Телеграмма, посланная Нехлюдовым, разъехалась с ним. Узнав от Нехлюдова, когда будет слушаться дело Масловой и кто сенаторы, он улыбнулся.

— Как раз все три типа сенаторов,— сказал он.— Вольф — это петербургский чиновник, Сковородников — это ученый юрист, и Бе — это практический юрист, а потому более всех живой,— сказал адвокат.— На него больше всего надежды. Ну, а что же в комиссии прошений?

— Да вот нынче поеду к барону Воробьеву, вчера не мог добиться аудиенции.

— Вы знаете, отчего барон — Воробьев? — сказал адвокат, отвечая на несколько комическую интонацию, с которой Нехлюдов произнес этот иностранный титул в соединении с такой русской фамилией.— Это Павел за что-то наградил его дедушку,— кажется, камер-лакея,— этим титулом. Чем-то очень угодил ему. Сделать его бароном, моему нраву не препятствуй. Так и по-

шел: барон Воробьев. И очень гордится этим. А большой пройдоха.

— Так вот к нему еду,— сказал Нехлюдов.

— Ну, и прекрасно, поедемте вместе. Я вас довезу.

Перед тем как уехать, уже в передней Нехлюдова встретил лакей с запиской к нему от Mariette:

«Pour vous faire plaisir, j'ai agi tout à fait contre mes principes, et j'ai intercedé auprès de mon mari pour votre protégée. Il se trouve que cette personne peut être relachée immédiatement. Mon mari a écrit au commandant. Venez donc бескорыстно. Je vous attend[1]. M.».

— Каково? — сказал Нехлюдов адвокату.— Ведь это ужасно! Женщина, которую они держат семь месяцев в одиночном заключении, оказывается ни в чем не виновата, и, чтобы ее выпустить, надо было сказать только слово.

— Это всегда так. Ну, да по крайней мере вы достигли желаемого.

— Да, но этот успех огорчает меня. Стало быть, что же там делается? Зачем же они держали ее?

— Ну, да это лучше не апрофондировать. Так я вас довезу,— сказал адвокат, когда они вышли на крыльцо и прекрасная извозчичья карета, взятая адвокатом, подъехала к крыльцу.— Вам ведь к барону Воробьеву?

Адвокат сказал кучеру, куда ехать, и добрые лошади скоро подвезли Нехлюдова к дому, занимаемому бароном. Барон был дома. В первой комнате был молодой чиновник в вицмундире, с чрезвычайно длинной шеей и выпуклым кадыком и необыкновенно легкой походкой, и две дамы.

— Ваша фамилия? — спросил молодой чиновник с кадыком, необыкновенно легко и грациозно переходя от дам к Нехлюдову.

Нехлюдов назвался.

— Барон говорил про вас. Сейчас!

Молодой чиновник прошел в затворенную дверь и вывел оттуда заплаканную даму в трауре. Дама опускала костлявыми пальцами запутавшийся вуаль, чтобы скрыть слезы.

— Пожалуйте,— обратился молодой чиновник к

[1] Чтобы доставить вам удовольствие, я поступила совершенно против своих правил и ходатайствовала перед мужем за вашу протеже. Оказывается, эта особа может быть освобождена немедленно. Муж написал коменданту. Итак, приезжайте... Жду вас *(фр.)*.

Нехлюдову, легким шагом подходя к двери кабинета, отворяя ее и останавливаясь в ней.

Войдя в кабинет, Нехлюдов очутился перед среднего роста коренастым, коротко остриженным человеком в сюртуке, который сидел в кресле у большого письменного стола и весело смотрел перед собой. Особенно заметное своим красным румянцем среди белых усов и бороды добродушное лицо сложилось в ласковую улыбку при виде Нехлюдова.

— Очень рад вас видеть, мы были старые знакомые и друзья с вашей матушкой. Видал вас мальчиком и офицером потом. Ну, садитесь, расскажите, чем могу вам служить. Да, да,— говорил он, покачивая стриженой седой головой, в то время как Нехлюдов рассказывал историю Федосьи.— Говорите, говорите, я все понял; да, да, это в самом деле трогательно. Что же, вы подали прошение?

— Я приготовил прошение,— сказал Нехлюдов, доставая его из кармана.— Но я хотел просить вас, надеялся, что на это дело обратят особое внимание.

— И прекрасно сделали. Я непременно сам доложу,— сказал барон, совсем непохоже выражая сострадание на своем веселом лице.— Очень трогательно. Очевидно, она была ребенок, муж грубо обошелся с нею, это оттолкнуло ее, и потом пришло время, они полюбили... Да, я доложу.

— Граф Иван Михайлович говорил, что он хотел просить императрицу.

Не успел Нехлюдов сказать этих слов, как выражение лица барона изменилось.

— Впрочем, вы подайте прошение в канцелярию, и я сделаю, что могу,— сказал он Нехлюдову.

В это время в комнату вошел молодой чиновник, очевидно щеголявший своей походкой.

— Дама эта просит еще сказать два слова.

— Ну, позовите. Ах, mon cher, сколько тут слез перевидаешь, если бы только можно все их утереть! Делаешь, что можешь.

Дама вошла.

— Я забыла просить о том, чтобы не допустить его отдать дочь, а то он на все...

— Да ведь я сказал, что сделаю.

— Барон, ради бога, вы спасете мать.

Она схватила его руку и стала целовать.

— Все будет сделано.

Когда дама вышла, Нехлюдов тоже стал откланиваться.

— Сделаем, что можем. Снесемся с министерством юстиции. Они ответят нам, и тогда мы сделаем, что можно.

Нехлюдов вышел и прошел в канцелярию. Опять, как в сенате, он нашел в великолепном помещении великолепных чиновников, чистых, учтивых, корректных от одежды до разговоров, отчетливых и строгих.

«Как их много, как ужасно их много, и какие они сытые, какие у них чистые рубашки, руки, как хорошо начищены у всех сапоги, и кто это все делает? И как им всем хорошо в сравнении не только с острожными, но и с деревенскими»,— опять невольно думал Нехлюдов.

XIX

Человек, от которого зависело смягчение участи заключенных в Петербурге, был увешанный орденами, которые он не носил, за исключением белого креста в петличке, заслуженный, но выживший из ума, как говорили про него, старый генерал из немецких баронов. Он служил на Кавказе, где он получил этот особенно лестный для него крест за то, что под его предводительством тогда русскими мужиками, обстриженными и одетыми в мундиры и вооруженными ружьями со штыками, было убито более тысячи людей, защищавших свою свободу и свои дома и семьи. Потом он служил в Польше, где тоже заставлял русских крестьян совершать много различных преступлений, за что тоже получил ордена и новые украшения на мундир; потом был еще где-то и теперь, уже расслабленным стариком, получил то дававшее ему хорошее помещение, содержание и почет место, на котором он находился в настоящую минуту. Он строго исполнял предписания свыше и особенно дорожил этим исполнением. Приписывая этим предписаниям свыше особенное значение, он считал, что все на свете можно изменить, но только не эти предписания свыше. Обязанность его состояла в том, чтобы содержать в казематах, в одиночных заключениях политических преступников и преступниц и содержать этих людей так, что половина их в продолжение десяти лет гибла, частью сойдя с ума, частью умирая

от чахотки и частью убивая себя: кто голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь.

Старый генерал знал все это, все это происходило на его глазах, но все такие случаи не трогали его совести, так же как не трогали его совести несчастья, случавшиеся от грозы, наводнений и т. п. Случаи эти происходили вследствие исполнения предписаний свыше, именем государя императора. Предписания же эти должны неизбежно были быть исполнены, и потому было совершенно бесполезно думать о последствиях таких предписаний. Старый генерал и не позволял себе думать о таких делах, считая своим патриотическим, солдатским долгом не думать для того, чтобы не ослабеть в исполнении этих, по его мнению, очень важных своих обязанностей.

Раз в неделю старый генерал по долгу службы обходил все казематы и спрашивал заключенных, не имеют ли они каких-либо просьб. Заключенные обращались к нему с различными просьбами. Он выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда ничего не исполнял, потому что все просьбы были не согласны с законоположениями.

В то время как Нехлюдов подъезжал к месту жительства старого генерала, куранты часов на башне сыграли тонкими колокольчиками «Коль славен бог», а потом пробили два часа. Слушая эти куранты, Нехлюдов невольно вспоминал то, о чем он читал в записках декабристов, как отзывается эта ежечасно повторяющаяся сладкая музыка в душе вечно заключенных. Старый генерал, в то время как Нехлюдов подъехал к подъезду его квартиры, сидел в темной гостиной за инкрустованным столиком и вертел вместе с молодым человеком, художником, братом одного из своих подчиненных, блюдцем по листу бумаги. Тонкие, влажные, слабые пальцы художника были вставлены в жесткие, морщинистые и окостеневшие в сочленениях пальцы старого генерала, и эти соединенные руки дергались вместе с опрокинутым чайным блюдечком по листу бумаги с изображенными на нем всеми буквами алфавита. Блюдечко отвечало на заданный генералом вопрос о том, как будут души узнавать друг друга после смерти.

В то время как один из денщиков, исполнявший должность камердинера, вошел с карточкой Нехлюдова, посредством блюдечка говорила душа Иоанны д'Арк. Душа Иоанны д'Арк уже сказала по буквам сло-

ва: «Будут признавать друг друга», и это было записано. В то же время, как пришел денщик, блюдечко, остановившись раз на «п», другой раз на «о» и потом, дойдя до «с», остановилось на этой букве и стало дергаться туда и сюда. Дергалось оно потому, что следующая буква, по мнению генерала, должна была быть «л», то есть Иоанна д'Арк, по его мнению, должна была сказать, что души будут признавать друг друга только *после* своего очищения от всего земного или что-нибудь подобное, и потому следующая буква должна быть «л», художник же думал, что следующая буква будет «в», что душа скажет, что потом души будут узнавать друг друга *по свету*, который будет исходить из эфирного тела душ. Генерал, мрачно насупив свои густые седые брови, пристально смотрел на руки и, воображая, что блюдечко движется само, тянул его к «л». Молодой же бескровный художник с заложенными за уши жидкими волосами глядел в темный угол гостиной своими безжизненными голубыми глазами и, нервно шевеля губами, тянул к «в». Генерал поморщился на перерыв своего занятия и после минуты молчания взял карточку, надел pince-nez и, крякнув от боли в широкой пояснице, встал во весь свой большой рост, потирая свои окоченевшие пальцы.

— Пригласи в кабинет.

— Позвольте, ваше превосходительство, я один докончу,— сказал художник, вставая.— Я чувствую присутствие.

— Хорошо, заканчивайте,— сказал решительно и строго генерал и направился своими большими шагами невывернутых ног решительной, мерной походкой в кабинет.— Приятно видеть,— сказал генерал Нехлюдову грубым голосом ласковые слова, указывая ему на кресло у письменного стола.— Давно приехали в Петербург?

Нехлюдов сказал, что приехал недавно.

— Княгиня, матушка ваша, здорова ли?

— Матушка скончалась.

— Простите, очень сожалею. Мне сын говорил, что он вас встретил.

Сын генерала делал такую же карьеру, как и отец, и после военной академии служил в разведочном бюро и очень гордился теми занятиями, которые были там поручены ему. Занятия его состояли в заведывании шпионами.

— Как же, с батюшкой вашим служил. Друзья были, товарищи. Что ж, служите?

— Нет, не служу.

Генерал неодобрительно наклонил голову.

— У меня к вам просьба, генерал,— сказал Нехлюдов.

— О-о-очень рад. Чем могу служить?

— Если моя просьба неуместна, то, пожалуйста, простите меня. Но мне необходимо передать ее.

— Что такое?

— У вас содержится некто Гуркевич. Так его мать просит о свидании с ним или, по крайней мере, о том, чтобы можно было передать ему книги.

Генерал не выразил никакого ни удовольствия, ни неудовольствия при вопросе Нехлюдова, а, склонив голову набок, зажмурился, как бы обдумывая. Он, собственно, ничего не обдумывал и даже не интересовался вопросом Нехлюдова, очень хорошо зная, что он ответит ему по закону. Он просто умственно отдыхал, ни о чем не думая.

— Это, видите ли, от меня не зависит,— сказал он, отдохнув немного.— О свиданиях есть высочайше утвержденное положение, и что там разрешено, то и разрешается. Что же касается книг, то у нас есть библиотека, и им дают те, которые разрешены.

— Да, но ему нужны научные: он хочет заниматься.

— Не верьте этому.— Генерал помолчал.— Это не для занятий. А так, беспокойство одно.

— Но как же, ведь нужно занять время в их тяжелом положении,— сказал Нехлюдов.

— Они всегда жалуются,— сказал генерал.— Ведь мы их знаем.— Он говорил о них вообще, как о какой-то особенной, нехорошей породе людей.— А им тут доставляется такое удобство, которое редко можно встретить в местах заключения,— продолжал генерал.

И он стал, как бы оправдываясь, подробно описывать все удобства, доставляемые содержимым, как будто главная цель этого учреждения состояла в том, чтобы устроить для содержащихся лиц приятное местопребывание.

— Прежде — правда, что было довольно сурово, но теперь содержатся они здесь прекрасно. Они кушают три блюда и всегда одно мясное: битки или котлеты. По воскресеньям они имеют еще одно четвертое — сладкое

блюдо. Так что дай бог, чтобы всякий русский человек мог так кушать.

Генерал, как все старые люди, очевидно раз напав на затверженное, говорил все то, что он повторял много раз в доказательство их требовательности и неблагодарности.

— Книги им даются и духовного содержания, и журналы старые. У нас библиотека соответствующих книг. Только редко они читают. Сначала как будто интересуются, а потом так и остаются новые книги до половины неразрезанными, а старые с неперевернутыми страницами. Мы пробовали даже,— с далеким подобием улыбки сказал генерал,— нарочно заложим бумажку. Так и останется невынута. Тоже и писать им не возбраняется,— продолжал генерал.— Дается аспидная доска, и грифель дается, так что они могут писать для развлечения. Могут стирать и опять писать. И тоже не пишут. Нет, они очень скоро делаются совсем спокойны. Только сначала они тревожатся, а потом даже толстеют и очень тихи делаются,— говорил генерал, не подозревая того ужасного значения, которое имели его слова.

Нехлюдов слушал его хриплый старческий голос, смотрел на эти окостеневшие члены, на потухшие глаза из-под седых бровей, на эти старческие бритые отвисшие скулы, подпертые военным воротником, на этот белый крест, которым гордился этот человек, особенно потому, что получил его за исключительно жестокое и многодушное убийство, и понимал, что возражать, объяснять ему значение его слов — бесполезно. Но он все-таки, сделав усилие, спросил еще о другом деле, об арестантке Шустовой, про которую он получил нынче сведение, что ее приказано выпустить.

— Шустова? Шустова... Не помню всех по именам. Ведь их так много,— сказал он, очевидно упрекая их за это переполнение. Он позвонил и велел позвать письмоводителя.

Пока ходили за письмоводителем, он увещевал Нехлюдова служить, говоря, что честные, благородные люди, подразумевая себя в числе таких людей, особенно нужны царю... «и отечеству»,— прибавил он, очевидно только для красоты слога.

— Я вот стар, а все-таки служу, насколько силы позволяют.

Письмоводитель, сухой, поджарый человек с беспо-

койными умными глазами, пришел доложить, что Шустова содержится в каком-то странном фортификационном месте и что бумаг о ней не получалось.

— Когда получим, в тот же день отправляем. Мы их не держим, не дорожим особенно их посещениями,— сказал генерал, опять с попыткой игривой улыбки, кривившей только его старое лицо.

Нехлюдов встал, стараясь удержаться от выражения смешанного чувства отвращения и жалости, которое он испытывал к этому ужасному старику. Старик же считал, что ему тоже не надо быть слишком строгим к легкомысленному и, очевидно, заблуждающемуся сыну своего товарища и не оставить его без наставления.

— Прощайте, мой милый, не взыщите с меня, но я, любя вас, говорю. Не общайтесь с людьми, которые у нас содержатся. Невинных не бывает. А люди это всё самые безнравственные. Мы-то их знаем,— сказал он тоном, не допускавшим возможности сомнения. И он точно не сомневался в этом не потому, что это было так, а потому, что если бы это было не так, ему бы надо было признать себя не почтенным героем, достойно доживающим хорошую жизнь, а негодяем, продавшим и на старости лет продолжающим продавать свою совесть.— А лучше всего служите,— продолжал он.— Царю нужны честные люди... и отечеству,— прибавил он.— Ну, если бы и я и все так, как вы, не служили бы? Кто же бы остался? Мы вот осуждаем порядки, а сами не хотим помогать правительству.

Нехлюдов вздохнул глубоко, низко поклонился, пожал снисходительно протянутую ему костлявую большую руку и вышел из комнаты.

Генерал неодобрительно покачал головой и, потирая поясницу, пошел опять в гостиную, где ожидал его художник, уже записавший полученный ответ от души Иоанны д'Арк. Генерал надел pince-nez и прочел: «Будут признавать друг друга по свету, исходящему из эфирных тел».

— А,— одобрительно сказал генерал, закрыв глаза.— Но как узнаешь, если свет у всех один? — спросил он и, опять скрестив пальцы с художником, сел за столик.

Извозчик Нехлюдова выехал в ворота.

— А скучно тут, барин,— сказал он, обращаясь к Нехлюдову.— Хотел, не дождавшись, уехать.

— Да, скучно,— согласился Нехлюдов, вздыхая полной грудью и с успокоением останавливая глаза на дымчатых облаках, плывущих по небу, и на блестящей ряби Невы от движущихся по ней лодок и пароходов.

XX

На другой день дело Масловой должно было слушаться, и Нехлюдов поехал в сенат. Адвокат съехался с ним у величественного подъезда сенатского здания, у которого уже стояло несколько экипажей. Войдя по великолепной, торжественной лестнице во второй этаж, адвокат, знавший все ходы, направился налево в дверь, на которой была изображена цифра года введения судебных уставов. Сняв в первой длинной комнате пальто и узнав от швейцара, что сенаторы все съехались и последний только что прошел, Фанарин, оставшись в своем фраке и белом галстуке над белой грудью, с веселою уверенностью вошел в следующую комнату. В этой следующей комнате был направо большой шкаф, потом стол, а налево витая лестница, по которой спускался в это время элегантный чиновник в вицмундире с портфелем под мышкой. В комнате обращал на себя внимание патриархального вида старичок с длинными белыми волосами, в пиджачке и серых панталонах, около которого с особенной почтительностью стояли два служителя.

Старичок с белыми волосами прошел в шкаф и скрылся там. В это время Фанарин, увидав товарища, такого же, как и он, адвоката, в белом галстуке и фраке, тотчас же вступил с ним в оживленный разговор; Нехлюдов же разглядывал бывших в комнате. Было человек пятнадцать публики, из которых две дамы, одна в pince-nez молодая и другая седая. Слушавшееся нынче дело было о клевете в печати, и потому собралось более, чем обыкновенно, публики — всё люди преимущественно из журнального мира.

Судебный пристав, румяный, красивый человек, в великолепном мундире, с бумажкой в руке, подошел к Фанарину с вопросом, по какому он делу, и, узнав, что по делу Масловой, записал что-то и отошел. В это время дверь шкафа отворилась, и оттуда вышел патриархального вида старичок, но уже не в пиджаке, а в обшитом галунами с блестящими бляхами на груди наряде, делавшем его похожим на птицу.

Смешной костюмчик этот, очевидно, смущал самого старичка, и он поспешно, более быстро, чем он ходил обыкновенно, прошел в дверь, противоположную входной.

— Это Бе, почтеннейший человек,— сказал Фанарин Нехлюдову и, познакомив его с своим коллегой, рассказал про предстоящее очень интересное, по его мнению, дело, которое должно было слушаться.

Дело скоро началось, и Нехлюдов вместе с публикой вошел налево в залу заседаний. Все они, и Фанарин, зашли за решетку на места для публики. Только петербургский адвокат вышел вперед за конторку перед решеткой.

Зала заседаний сената была меньше залы окружного суда, была проще устройством и отличалась только тем, что стол, за которым сидели сенаторы, был покрыт не зеленым сукном, а малиновым бархатом, обшитым золотым галуном, но те же были всегдашние атрибуты мест отправления правосудия: зерцало, икона, портрет государя. Так же торжественно объявлял пристав: «Суд идет». Так же все вставали, так же входили сенаторы в своих мундирах, так же садились в кресла с высокими спинками, так же облокачивались на стол, стараясь иметь естественный вид.

Сенаторов было четверо. Председательствующий Никитин, весь бритый человек с узким лицом и стальными глазами; Вольф, с значительно поджатыми губами и белыми ручками, которыми он перебирал листы дела; потом Сковородников, толстый, грузный, рябой человек, ученый юрист, и четвертый Бе, тот самый патриархальный старичок, который приехал последним. Вместе с сенаторами вышел обер-секретарь и товарищ обер-прокурора, среднего роста, сухой, бритый молодой человек с очень темным цветом лица и черными грустными глазами. Нехлюдов тотчас же, несмотря на странный мундир и на то, что он лет шесть не видал его, узнал в нем одного из лучших друзей своего студенческого времени.

— Товарищ обер-прокурора Селенин? — спросил он у адвоката.

— Да, а что?

— Я его хорошо знаю, это прекрасный человек...

— И хороший товарищ обер-прокурора, дельный. Вот его бы надо было просить,— сказал Фанарин.

— Он, во всяком случае, поступит по совести,—

сказал Нехлюдов, вспоминая свои близкие отношения и дружбу с Селениным и его милые свойства чистоты, честности, порядочности в самом лучшем смысле этого слова.

— Да теперь и некогда,— прошептал Фанарин, отдавшись слушанию начавшегося доклада дела.

Началось дело по жалобе на приговор судебной палаты, оставившей без изменения решение окружного суда.

Нехлюдов стал слушать и старался понять значение того, что происходило перед ним, но, так же как и в окружном суде, главное затруднение для понимания состояло в том, что речь шла не о том, что естественно представлялось главным, а о совершенно побочном. Дело шло о статье в газете, в которой изобличались мошенничества одного председателя акционерной компании. Казалось бы, важно могло быть только то, правда ли, что председатель акционерного общества обкрадывает своих доверителей, и как сделать так, чтобы он перестал их обкрадывать. Но об этом и речи не было. Речь шла только о том, имел или не имел по закону издатель право напечатать статью фельетониста и какое он совершил преступление, напечатав ее,— диффамацию или клевету, и как диффамация включает в себе клевету или клевета диффамацию, и еще что-то мало понятное для простых людей о разных статьях и решениях какого-то общего департамента.

Одно, что понял Нехлюдов, это было то, что, несмотря на то, что Вольф, докладывавший дело, так строго внушал вчера ему то, что сенат не может входить в рассмотрение дела по существу,— в этом деле докладывал, очевидно, пристрастно в пользу кассирования приговора палаты, и что Селенин, совершенно несогласно с своей характерной сдержанностью, неожиданно горячо выразил свое противоположное мнение. Удивившая Нехлюдова горячность всегда сдержанного Селенина имела основанием то, что он знал председателя акционерного общества за грязного в денежных делах человека, а между тем случайно узнал, что Вольф почти накануне слушания о нем дела был у этого дельца на роскошном обеде. Теперь же, когда Вольф, хотя и очень осторожно, но явно односторонне доложил дело, Селенин разгорячился и слишком нервно для обыкновенного дела выразил свое мнение. Речь эта, очевидно, оскорбила Вольфа; он краснел, подергивался, делал молча-

ливые жесты удивления и с очень достойным и оскорбленным видом удалился вместе с другими сенаторами в комнату совещаний.

— Вы, собственно, по какому делу? — опять спросил судебный пристав у Фанарина, как только сенаторы удалились.

— Я уже говорил вам, что по делу Масловой,— сказал Фанарин.

— Это так. Дело будет слушаться нынче. Но...

— Да что же? — спросил адвокат.

— Изволите видеть, дело это полагалось без сторон, так что господа сенаторы едва ли выйдут после объявления решения. Но я доложу...

— То есть как же?..

— Я доложу, доложу.— И пристав что-то отметил на своей бумажке.

Сенаторы действительно намеревались, объявив решение по делу о клевете, окончить остальные дела, в том числе масловское, за чаем и папиросами, не выходя из совещательной комнаты.

XXI

Как только сенаторы сели за стол совещательной комнаты, Вольф стал очень оживленно выставлять мотивы, по которым дело должно было быть кассировано.

Председательствующий, и всегда человек недоброжелательный, нынче был особенно не в духе. Слушая дело во время заседания, он составил уже свое мнение и теперь сидел, не слушая Вольфа, погруженный в свои думы. Думы же его состояли в припоминании того, что он вчера написал в своих мемуарах по случаю назначения Вилянова, а не его, на тот важный пост, который он уже давно желал получить. Председательствующий Никитин был совершенно искренно уверен, что суждения о разных чиновниках первых двух классов, с которыми он входил в сношения во время своей службы, составляют очень важный исторический материал. Написав вчера главу, в которой сильно досталось некоторым чиновникам первых двух классов за то, что они помешали ему, как он формулировал это, спасти Россию от погибели, в которую увлекали ее теперешние правители,— в сущности же, только за то, что они помешали ему получать больше, чем теперь, жалованья, он думал теперь

о том, как для потомства все это обстоятельство получит совершенно новое освещение.

— Да, разумеется,— сказал он, не слушая их, на слова обратившегося к нему Вольфа.

Бе же слушал Вольфа с грустным лицом, рисуя гирлянды на лежавшей перед ним бумаге. Бе был либерал самого чистого закала. Он свято хранил традиции шестидесятых годов и если и отступал от строгого беспристрастия, то только в сторону либеральности. Так, в настоящем случае, кроме того, что акционерный делец, жаловавшийся на клевету, был грязный человек, Бе был на стороне оставления жалобы без последствий еще и потому, что это обвинение в клевете журналиста было стеснение свободы печати. Когда Вольф кончил свои доводы, Бе, не дорисовав гирлянду, с грустью — ему было грустно за то, что приходилось доказывать такие труизмы,— мягким, приятным голосом, коротко, просто и убедительно показал неосновательность жалобы и, опустив голову с белыми волосами, продолжал дорисовывать гирлянду.

Сковородников, сидевший против Вольфа и все время собиравший толстыми пальцами бороду и усы в рот, тотчас же, как только Бе перестал говорить, перестал жевать свою бороду и громким, скрипучим голосом сказал, что, несмотря на то, что председатель акционерного общества большой мерзавец, он бы стоял за кассирование приговора, если бы были законные основания, но так как таковых нет, он присоединяется к мнению Ивана Семеновича (Бе), сказал он, радуясь той шпильке, которую он этим поднустил Вольфу. Председательствующий присоединился к мнению Сковородникова, и дело было решено отрицательно.

Вольф был недоволен в особенности тем, что он как будто был уличен в недобросовестном пристрастии, и, притворяясь равнодушным, раскрыл следующее к докладу дело Масловой и погрузился в него. Сенаторы между тем позвонили и потребовали себе чаю и разговорились о случае, занимавшем в это время, вместе с дуэлью Каменского, всех петербуржцев.

Это было дело директора департамента, пойманного и уличенного в преступлении, предусмотренном статьей 995.

— Какая мерзость,— с гадливостью сказал Бе.

— Что же тут дурного? Я вам в нашей литературе укажу на проект одного немецкого писателя, который

прямо предлагает, чтобы это не считалось преступлением, и возможен был брак между мужчинами,— сказал Сковородников, жадно, с всхлюпыванием затягиваясь смятой папиросой, которую он держал между корнями пальцев у ладони, и громко захохотал.

— Да не может быть,— сказал Бе.

— Я вам покажу,— сказал Сковородников, цитируя полное заглавие сочинения и даже год и место издания.

— Говорят, его в какой-то сибирский город губернатором назначают,— сказал Никитин.

— И прекрасно. Архиерей его с крестом встретит. Надо бы архиерея такого же. Я бы им такого рекомендовал,— сказал Сковородников и, бросив окурок папироски в блюдечко, забрал, что мог, бороды и усов в рот и начал жевать их.

В это время вошедший пристав доложил о желании адвоката и Нехлюдова присутствовать при разборе дела Масловой.

— Вот это дело,— сказал Вольф,— это целая романическая история,— и рассказал то, что знал об отношениях Нехлюдова к Масловой.

Поговорив об этом, докурив папиросы и допив чай, сенаторы вышли в залу заседаний, объявили решение по предшествующему делу и приступили к делу Масловой.

Вольф очень обстоятельно своим тонким голосом доложил кассационную жалобу Масловой и опять не совсем беспристрастно, а с очевидным желанием кассирования решения суда.

— Имеете ли что добавить? — обратился председательствующий к Фанарину.

Фанарин встал и, выпятив свою белую широкую грудь, по пунктам, с удивительной внушительностью и точностью выражения, доказал отступление суда в шести пунктах от точного смысла закона и, кроме того, позволил себе, хотя вкратце, коснуться и самого дела по существу, и вопиющей несправедливости его решения. Тон короткой, но сильной речи Фанарина был такой, что он извиняется за то, что настаивает на том, что господа сенаторы с своей проницательностью и юридической мудростью видят и понимают лучше его, но что делает он это только потому, что этого требует взятая им на себя обязанность. После речи Фанарина, казалось, не могло быть ни малейшего сомнения в том, что сенат должен отменить решение суда. Окончив свою речь, Фа-

нарин победоносно улыбнулся. Глядя на своего адвоката и увидав эту улыбку, Нехлюдов был уверен, что дело выиграно. Но, взглянув на сенаторов, он увидал, что Фанарин улыбался и торжествовал один. Сенаторы и товарищ обер-прокурора не улыбались и не торжествовали, а имели вид людей, скучающих и говоривших: «Слыхали мы много вашего брата, и все это ни к чему». Они все, очевидно, были удовлетворены только тогда, когда адвокат кончил и перестал бесполезно задерживать их. Тотчас же по окончании речи адвоката председательствующий обратился к товарищу обер-прокурора. Селенин кратко, но ясно и точно высказался за оставление дела без изменения, находя все поводы к кассации неосновательными. Вслед за этим сенаторы встали и пошли совещаться. В совещательной комнате голоса разделились. Вольф был за кассацию; Бе, поняв, в чем дело, очень горячо стоял тоже за кассацию, живо представив товарищам картину суда и недоразумения присяжных, как он его совершенно верно понял; Никитин, как всегда, стоявший за строгость вообще и за строгую формальность, был против. Все дело решалось голосом Сковородникова. И этот голос стал на сторону отказа преимущественно потому, что решение Нехлюдова жениться на этой девушке во имя нравственных требований было в высшей степени противно ему.

Сковородников был материалист, дарвинист и считал всякие проявления отвлеченной нравственности или, еще хуже, религиозности не только презренным безумием, но личным себе оскорблением. Вся эта возня с этой проституткой и присутствие здесь, в сенате, защищающего ее знаменитого адвоката и самого Нехлюдова было ему в высшей степени противно. И он, засовывая себе в рот бороду и делая гримасы, очень натурально притворился, что он ничего не знает об этом деле, как только то, что поводы к кассации недостаточны, и потому согласен с председательствующим об оставлении жалобы без последствий.

В жалобе было отказано.

XXII

— Ужасно! — говорил Нехлюдов, выходя в приемную с адвокатом, укладывавшим свой портфель.— В самом очевидном деле они придираются к форме и отказывают. Ужасно!

— Дело испорчено в суде,— сказал адвокат.

— И Селенин за отказ. Ужасно, ужасно! — продолжал повторять Нехлюдов.— Что же делать теперь?

— А подадим на высочайшее имя. Сами и подайте, пока вы здесь. Я напишу вам.

В это время маленький Вольф, в своих звездах и мундире, вышел в приемную и подошел к Нехлюдову.

— Что делать, милый князь. Не было достаточных поводов,— сказал он, пожимая узкими плечами и закрывая глаза, и прошел, куда ему было нужно.

Вслед за Вольфом вышел и Селенин, узнав от сенаторов, что Нехлюдов, его прежний приятель, был здесь.

— Вот не ожидал тебя здесь встретить,— сказал он, подходя к Нехлюдову, улыбаясь губами, между тем как глаза его оставались грустными.— Я и не знал, что ты в Петербурге.

— А я не знал, что ты обер-прокурор...

— Товарищ,— поправил Селенин.— Как ты в сенате? — спросил он, грустно и уныло глядя на приятеля.— Я знал, что ты в Петербурге. Но каким образом ты здесь?

— Здесь я затем, что надеялся найти справедливость и спасти ни за что осужденную женщину.

— Какую женщину?

— Дело, которое сейчас решили.

— А, дело Масловой,— вспомнив, сказал Селенин.— Совершенно неосновательная жалоба.

— Дело не в жалобе, а в женщине, которая не виновата и несет наказание.

Селенин вздохнул.

— Очень может быть, но...

— Не может быть, а наверно...

— Почему же ты знаешь?

— А потому, что я был присяжным. Я знаю, в чем мы сделали ошибку.

Селенин задумался.

— Надо было заявить тогда же,— сказал он.

— Я заявлял.

— Надо было записать в протокол. Если бы это было при кассационной жалобе...

Селенин, всегда занятый и мало бывавший в свете, очевидно, ничего не слыхал о романе Нехлюдова; Нехлюдов же, заметив это, решил, что ему и не нужно говорить о своих отношениях к Масловой.

— Да, но ведь и теперь очевидно было, что решение нелепо,— сказал он.

— Сенат не имеет права сказать этого. Если бы сенат позволял себе кассировать решения судов на основании своего взгляда на справедливость самих решений, не говоря уже о том, что сенат потерял бы всякую точку опоры и скорее рисковал бы нарушать справедливость, чем восстановлять ее,— сказал Селенин, вспоминая предшествовавшее дело,— не говоря об этом, решения присяжных потеряли бы все свое значение.

— Я только одно знаю, что женщина эта совершенно невинна и последняя надежда спасти ее от незаслуженного наказания потеряна. Высшее учреждение подтвердило совершенное беззаконие.

— Оно не подтвердило, потому что не входило и не может входить в рассмотрение самого дела,— сказал Селенин, щуря глаза.— Ты, верно, у тетушки остановился,— прибавил он, очевидно желая переменить разговор.— Я вчера узнал от нее, что ты здесь. Графиня приглашала меня вместе с тобой присутствовать на собрании приезжего проповедника,— улыбаясь губами, сказал Селенин.

— Да, я был, но ушел с отвращением,— сердито сказал Нехлюдов, досадуя на то, что Селенин отводит разговор на другое.

— Ну, отчего ж с отвращением? Все-таки это проявление религиозного чувства, хотя и одностороннее, сектантское,— сказал Селенин.

— Это какая-то дикая бессмыслица,— сказал Нехлюдов.

— Ну, нет. Тут странно только то, что мы так мало знаем учение нашей церкви, что принимаем за какое-то новое откровение наши же основные догматы,— сказал Селенин, как бы торопясь высказать бывшему приятелю свои новые для него взгляды.

Нехлюдов удивленно-внимательно посмотрел на Селенина. Селенин не опустил глаз, в которых выразилась не только грусть, но и недоброжелательство.

— Да ты разве веришь в догматы церкви? — спросил Нехлюдов.

— Разумеется, верю,— отвечал Селенин, прямо и мертво глядя в глаза Нехлюдову.

Нехлюдов вздохнул.

— Удивительно,— сказал он.

— Впрочем, мы после поговорим,— сказал Селе-

нин.— Иду,— обратился он к почтительно подошедшему к нему судебному приставу.— Непременно надо видеться,— прибавил он, вздыхая.— Только застанешь ли тебя? Меня же всегда застанешь в семь часов, к обеду. Надеждинская,— он назвал номер.— Много с тех пор воды утекло,— прибавил он, уходя, опять улыбаясь одними губами.

— Приду, если успею,— сказал Нехлюдов, чувствуя, что когда-то близкий и любимый им человек Селенин сделался ему вдруг, вследствие этого короткого разговора, чуждым, далеким и непонятным, если не враждебным.

XXIII

Когда Нехлюдов знал Селенина студентом, это был прекрасный сын, верный товарищ и по своим годам хорошо образованный светский человек, с большим тактом, всегда элегантный и красивый и вместе с тем необыкновенно правдивый и честный. Он учился прекрасно без особенного труда и без малейшего педантизма, получая золотые медали за сочинения.

Он не на словах только, а в действительности целью своей молодой жизни ставил служение людям. Служение это он не представлял себе иначе, как в форме государственной службы, и потому, как только кончил курс, он систематически рассмотрел все деятельности, которым он мог посвятить свои силы, и решил, что он будет полезнее всего во втором отделении собственной канцелярии, заведующей составлением законов, и поступил туда. Но, несмотря на самое точное и добросовестное исполнение всего того, что от него требовалось, он не нашел в этой службе удовлетворения своей потребности быть полезным и не мог вызвать в себе сознания того, что он делает то, что должно. Неудовлетворенность эта, вследствие столкновений с очень мелочным и тщеславным ближайшим начальником, так усилилась, что он вышел из второго отделения и перешел в сенат. В сенате ему было лучше, но то же сознание неудовлетворенности преследовало его.

Он не переставая чувствовал, что было совсем не то, чего он ожидал и что должно было быть. Тут, во время службы в сенате, его родные выхлопотали ему назначение камер-юнкером, и он должен был ехать в шитом мундире, в белом полотняном фартуке, в карете благодарить разных людей за то, что его произвели в долж-

ность лакея. Как он ни старался, он никак не мог найти разумного объяснения этой должности. И он еще больше, чем на службе, чувствовал, что это было «не то», а между тем, с одной стороны, не мог отказаться от этого назначения, чтобы не огорчить тех, которые были уверены, что они делают ему этим большое удовольствие, а с другой стороны, назначение это льстило низшим свойствам его природы, и ему доставляло удовольствие видеть себя в зеркале в шитом золотом мундире и пользоваться тем уважением, которое вызывало это назначение в некоторых людях.

То же случилось с ним и по отношению женитьбы. Ему устроили, с точки зрения света, очень блестящую женитьбу. И он женился тоже преимущественно потому, что, отказавшись, он оскорбил бы, сделал бы больно и желавшей этого брака невесте, и тем, кто устраивал этот брак, и потому, что женитьба на молодой, миловидной, знатной девушке льстила его самолюбию и доставляла удовольствие. Но женитьба очень скоро оказалась еще более «не то», чем служба и придворная должность. После первого ребенка жена не захотела больше иметь детей и стала вести роскошную светскую жизнь, в которой и он волей-неволей должен был участвовать. Она не была особенно красива, была верна ему, и, казалось, не говоря уже о том, что она этим отравляла жизнь мужу и сама ничего, кроме страшных усилий и усталости, не получала от такой жизни,— она все-таки старательно вела ее. Всякие попытки его изменить эту жизнь разбивались, как о каменную стену, об ее уверенность, поддерживаемую всеми ее родными и знакомыми, что так нужно.

Ребенок, девочка с золотистыми длинными локонами и голыми ногами, было существо совершенно чуждое отцу, в особенности потому, что оно было ведено совсем не так, как он хотел этого. Между супругами установилось обычное непонимание и даже нежелание понять друг друга и тихая, молчаливая, скрываемая от посторонних и умеряемая приличиями борьба, делавшая для него жизнь дома очень тяжелою. Так что семейная жизнь оказалась еще более «не то», чем служба и придворное назначение.

Более же всего «не то» было его отношение к религии. Как и все люди его круга и времени, он без малейшего усилия разорвал своим умственным ростом те путы религиозных суеверий, в которых он был воспи-

тан, и сам не знал, когда именно он освободился. Как человек серьезный и честный, он не скрывал этой своей свободы от суеверий официальной религии во время первой молодости, студенчества и сближения с Нехлюдовым. Но с годами и с повышениями его по службе и в особенности с реакцией консерватизма, наступившей в это время в обществе, эта духовная свобода стала мешать ему. Не говоря о домашних отношениях, в особенности при смерти его отца, панихидах по нем, и о том, что мать его желала, чтобы он говел, и что это отчасти требовалось общественным мнением,— по службе приходилось беспрестанно присутствовать на молебнах, освящениях, благодарственных и тому подобных службах: редкий день проходил, чтобы не было какого-нибудь отношения к внешним формам религии, избежать которых нельзя было. Надо было, присутствуя при этих службах, одно из двух: или притворяться (чего он с своим правдивым характером никогда не мог), что он верит в то, во что не верит, или, признав все эти внешние формы ложью, устроить свою жизнь так, чтобы не быть в необходимости участвовать в том, что он считает ложью. Но для того, чтобы сделать это кажущееся столь неважным дело, надо было очень много: надо было, кроме того, что стать в постоянную борьбу со всеми близкими людьми, надо было еще изменить все свое положение, бросить службу и пожертвовать всей той пользой людям, которую он думал, что приносит на этой службе уже теперь и надеялся еще больше приносить в будущем. И для того, чтобы сделать это, надо было быть твердо уверенным в своей правоте. Он и был твердо уверен в своей правоте, как не может не быть уверен в правоте здравого смысла всякий образованный человек нашего времени, который знает немного историю, знает происхождение религии вообще и о происхождении и распадении церковно-христианской религии. Он не мог не знать, что он был прав, не признавая истинности церковного учения.

Но под давлением жизненных условий он, правдивый человек, допустил маленькую ложь, состоящую в том, что сказал себе, что для того, чтобы утверждать то, что неразумное — неразумно, надо прежде изучить это неразумное. Это была маленькая ложь, но она-то завела его в ту большую ложь, в которой он завяз теперь.

Поставив себе вопрос о том, справедливо ли то православие, в котором он рожден и воспитан, которое тре-

буется от него всеми окружающими, без признания которого он не может продолжать свою полезную для людей деятельность,— он уже предрешал его. И потому для уяснения этого вопроса он взял не Вольтера, Шопенгауера, Спенсера, Конта, а философские книги Гегеля и религиозные сочинения Vinet, Хомякова и, естественно, нашел в них то самое, что ему было нужно: подобие успокоения и оправдания того религиозного учения, в котором он был воспитан и которое разум его давно уже не допускал, но без которого вся жизнь переполнялась неприятностями, а при признании которого все эти неприятности сразу устранялись. И он усвоил себе все те обычные софизмы о том, что отдельный разум человека не может познать истины, что истина открывается только совокупности людей, что единственное средство познания ее есть откровение, что откровение хранится церковью и т. п.; и с тех пор уже мог спокойно, без сознания совершаемой лжи, присутствовать при молебнах, панихидах, обеднях, мог говеть и креститься на образа и мог продолжать служебную деятельность, дававшую ему сознание приносимой пользы и утешение в нерадостной семейной жизни. Он думал, что он верит, но между тем больше, чем в чем-либо другом, он всем существом сознавал, что эта вера его была что-то совсем «не то».

И от этого у него всегда были грустные глаза. И от этого, увидав Нехлюдова, которого он знал тогда, когда все эти лжи еще не установились в нем, он вспомнил себя таким, каким он был тогда; и в особенности после того как он поторопился намекнуть ему на свое религиозное воззрение, он больше чем когда-нибудь почувствовал все это «не то», и ему стало мучительно грустно. Это же самое — после первого впечатления радости увидать старого приятеля — почувствовал и Нехлюдов.

И от этого они оба, пообещав друг другу, что увидятся, оба не искали этого свидания и так и не виделись в этот приезд в Петербург Нехлюдова.

XXIV

Выйдя из сената, Нехлюдов с адвокатом пошли вместе по тротуару. Карете своей адвокат велел ехать за собой и начал рассказывать Нехлюдову историю того директора департамента, про которого говорили сена-

торы о том, как его уличили и как вместо каторги, которая по закону предстояла ему, его назначают губернатором в Сибирь. Досказав всю историю и всю гадость ее и еще с особенным удовольствием историю о том, как украдены разными высокопоставленными людьми деньги, собранные на тот все не достраивающийся памятник, мимо которого они проехали сегодня утром, и еще про то, как любовница такого-то нажила миллионы на бирже, и такой-то продал, а такой-то купил жену, адвокат начал еще новое повествование о мошенничествах и всякого рода преступлениях высших чинов государства, сидевших не в остроге, а на председательских креслах в разных учреждениях. Рассказы эти, запас которых был, очевидно, неистощим, доставляли адвокату большое удовольствие, показывая с полною очевидностью то, что средства, употребляемые им, адвокатом, для добывания себе денег, были вполне правильны и невинны в сравнении с теми средствами, которые употреблялись для той же цели высшими чинами в Петербурге. И потому адвокат был очень удивлен, когда Нехлюдов, не дослушав его последней истории о преступлениях высших чинов, простился с ним и, взяв извозчика, поехал домой, на набережную.

Нехлюдову было очень грустно. Ему было грустно преимущественно оттого, что отказ сената утверждал это бессмысленное мучительство над невинной Масловой, и оттого, что этот отказ делал еще более трудным его неизменное решение соединить с ней свою судьбу. Грусть эта усилилась еще от тех ужасных историй царствующего зла, про которые с такой радостью говорил адвокат, и, кроме того, он беспрестанно вспоминал недобрый, холодный, отталкивающий взгляд когда-то милого, открытого, благородного Селенина.

Когда Нехлюдов вернулся домой, швейцар с некоторым презрением подал ему записку, которую написала в швейцарской какая-то женщина, как выразился швейцар. Это была записка от матери Шустовой. Она писала, что приезжала благодарить благодетеля, спасителя дочери, и, кроме того, просить, умолять его приехать к ним на Васильевский, в Пятую линию, такую-то квартиру. Это крайне нужно было, писала она ему, для Веры Ефремовны. Пусть он не боится, что его будут утруждать выражением благодарности: про благодарность не будут говорить, а просто будут рады его видеть. Если можно, то не приедет ли он завтра утром.

Другая записка была от бывшего товарища Нехлюдова, флигель-адъютанта Богатырева, которого Нехлюдов просил лично передать приготовленное им прошение от имени сектантов государю. Богатырев своим крупным, решительным почерком писал, что прошение он, как обещал, подаст прямо в руки государю, но что ему пришла мысль: не лучше ли Нехлюдову прежде съездить к тому лицу, от которого зависит это дело, и попросить его.

Нехлюдов после впечатлений последних дней своего пребывания в Петербурге находился в состоянии полной безнадежности достигнуть чего-либо. Его планы, составленные в Москве, казались ему чем-то вроде тех юношеских мечтаний, в которых неизбежно разочаровываются люди, вступающие в жизнь. Но все-таки теперь, будучи в Петербурге, он считал своим долгом исполнить все то, что намеревался сделать, и решил завтра же, побывав у Богатырева, исполнить его совет и поехать к тому лицу, от которого зависело дело сектантов.

Теперь он, достав из портфеля прошение сектантов, перечитывал его, когда к нему постучался и вошел лакей графини Катерины Ивановны с приглашением пожаловать наверх чай кушать.

Нехлюдов сказал, что сейчас придет, и, сложив бумаги в портфель, пошел к тетушке. По дороге наверх он заглянул в окно на улицу и увидал пару рыжих Mariette, и ему вдруг неожиданно стало весело и захотелось улыбаться.

Mariette в шляпе, но уже не в черном, а в каком-то светлом, разных цветов платье сидела с чашкой в руке подле кресла графини и что-то щебетала, блестя своими красивыми смеющимися глазами. В то время, как Нехлюдов входил в комнату, Mariette только что отпустила что-то такое смешное, и смешное неприличное — это Нехлюдов видел по характеру смеха,— что добродушная усатая графиня Катерина Ивановна, вся сотрясаясь толстым своим телом, закатывалась от смеха, а Mariette с особенным mischievous[1] выражением, перекосив немножко улыбающийся рот и склонив набок энергическое и веселое лицо, молча смотрела на свою собеседницу.

Нехлюдов по нескольким словам понял, что они го-

---

[1] шаловливым *(фр.)*.

ворили про вторую новость петербургскую того времени, об эпизоде нового сибирского губернатора, и что Mariette именно в этой области что-то сказала такое смешное, что графиня долго не могла удержаться.

— Ты меня уморишь,— говорила она, закашлявшись.

Нехлюдов поздоровался и присел к ним. И только что он хотел осудить Mariette за ее легкомыслие, как она, заметив серьезное и чуть-чуть недовольное выражение его лица, тотчас же, чтобы понравиться ему,—а ей этого захотелось с тех пор, как она увидала его,— изменила не только выражение своего лица, но все свое душевное настроение. Она вдруг стала серьезной, недовольной своею жизнью и, чего-то ищущая, к чему-то стремящаяся, не то что притворилась, а действительно усвоила себе точно то самое душевное настроение,— хотя она словами никак не могла бы выразить, в чем оно состояло,— в каком был Нехлюдов в эту минуту.

Она спросила его, как он окончил свои дела. Он рассказал про неуспех в сенате и про свою встречу с Селениным.

— Ах! какая чистая душа! Вот именно chevalier sans peur et sans reproche[1]. Чистая душа,— приложили обе дамы тот постоянный эпитет, под которым Селенин был известен в обществе.

— Что такое его жена? — спросил Нехлюдов.

— Она? Ну, да я не буду осуждать. Но она не понимает его. Что же, неужели и он был за отказ? — спросила она с искренним сочувствием.— Это ужасно, как мне ее жалко! — прибавила она, вздыхая.

Он нахмурился и, желая переменить разговор, начал говорить о Шустовой, содержавшейся в крепости и выпущенной по ее ходатайству. Он поблагодарил за ходатайство перед мужем и хотел сказать о том, как ужасно думать, что женщина эта и вся семья ее страдали только потому, что никто не напомнил о них, но она не дала ему договорить и сама выразила свое негодование.

— Не говорите мне,— сказала она.— Как только муж сказал мне, что ее можно выпустить, меня именно поразила эта мысль. За что же держали ее, если она не виновата? — высказала она то, что хотел сказать Нехлюдов.— Это возмутительно, возмутительно!

[1] рыцарь без страха и упрека *(фр.)*.

Графиня Катерина Ивановна видела, что Mariette кокетничает с племянником, и это забавляло ее.

— Знаешь что? — сказала она, когда они замолчали,— приезжай завтра вечером к Aline, у ней будет Кизеветер. И ты тоже,— обратилась она к Mariette.

— Il vous a remarqué [1],— сказала она племяннику.— Он мне сказал, что все, что ты говорил,— я ему рассказала,— все это хороший признак и что ты непременно придешь ко Христу. Непременно приезжай. Скажи ему, Mariette, чтобы он приехал. И сама приезжай.

— Я, графиня, во-первых, не имею никаких прав что-либо советовать князю,— сказала Mariette, глядя на Нехлюдова и этим взглядом устанавливая между ним и ею какое-то полное соглашение об отношении к словам графини и вообще к евангелизму,— и, во-вторых, я не очень люблю, вы знаете...

— Да ты всегда все делаешь навыворот и по-своему.

— Как по-своему? Я верю, как баба самая простая,— сказала она, улыбаясь.— А в-третьих,— продолжала она,— я завтра еду в французский театр...

— Ах! А видел ты эту... ну, как ее? — сказала графиня Катерина Ивановна.

Mariette подсказала имя знаменитой французской актрисы.

— Поезжай непременно,— это удивительно.

— Кого же прежде смотреть, ma tante, актрису или проповедника? — сказал Нехлюдов, улыбаясь.

— Пожалуйста, не лови меня на словах.

— Я думаю, прежде проповедника, а потом французскую актрису, а то как бы совсем не потерять вкуса к проповеди,— сказал Нехлюдов.

— Нет, лучше начать с французского театра, потом покаяться,— сказала Mariette.

— Ну, вы меня на смех не смейте подымать. Проповедник проповедником, а театр театром. Для того чтобы спастись, совсем не нужно сделать в аршин лицо и все плакать. Надо верить, и тогда будет весело.

— Вы, ma tante, лучше всякого проповедника проповедуете.

— А знаете что,— сказала Mariette, задумавшись,— приезжайте завтра ко мне в ложу.

— Я боюсь, что мне нельзя будет...

Разговор перебил лакей с докладом о посетителе,

[1] Он тебя заметил *(фр.)*.

Это был секретарь благотворительного общества, председательницей которого состояла графиня.

— Ну, это прескучный господин. Я лучше его там приму. А потом приду к вам. Напоите его чаем, Mariette,— сказала графиня, уходя своим быстрым вертлявым шагом в залу.

Mariette сняла перчатку и оголила энергическую, довольно плоскую руку с покрытой перстнями безымянкой.

— Хотите? — сказала она, берясь за серебряный чайник на спирту и странно оттопыривая мизинец.

Лицо ее сделалось серьезно и грустно.

— Мне всегда ужасно-ужасно больно бывает думать, что люди, мнением которых я дорожу, смешивают меня с тем положением, в котором я нахожусь.

Она как будто готова была заплакать, говоря последние слова. И хотя, если разобрать их, слова эти или не имели никакого, или имели очень неопределенный смысл, они Нехлюдову показались необыкновенной глубины, искренности и доброты: так привлекал его к себе тот взгляд блестящих глаз, который сопровождал эти слова молодой, красивой и хорошо одетой женщины.

Нехлюдов смотрел на нее молча и не мог оторвать глаз от ее лица.

— Вы думаете, что я не понимаю вас и всего, что в вас происходит. Ведь то, что вы сделали, всем известно. C'est le secret de polichinelle[1]. И я восхищаюсь этим и одобряю вас.

— Право, нечем восхищаться, я так мало еще сделал.

— Это все равно. Я понимаю ваше чувство и понимаю ее,— ну, хорошо, хорошо, я не буду говорить об этом,— перебила она себя, заметив на его лице неудовольствие.— Но я понимаю еще и то, что, увидев все страдания, весь ужас того, что делается в тюрьмах,— говорила Mariette, желая только одного — привлечь его к себе, своим женским чутьем угадывая все то, что было ему важно и дорого,— вы хотите помочь страдающим, и страдающим так ужасно, так ужасно от людей, от равнодушия, жестокости... Я понимаю, как можно отдать за это жизнь, и сама бы отдала. Но у каждого своя судьба.

— Разве вы не довольны своей судьбой?

---

[1] Это секрет полишинеля *(фр.)*.

— Я? — спросила она, как будто пораженная удивлением, что можно об этом спрашивать.— Я *должна* быть довольна — и довольна. Но есть червяк, который просыпается...

— И ему не надо давать засыпать, надо верить этому голосу,— сказал Нехлюдов, совершенно поддавшись ее обману.

Потом много раз Нехлюдов с стыдом вспоминал весь свой разговор с ней; вспоминал ее не столько лживые, сколько поддельные под него слова и то лицо — будто бы умиленного внимания, с которым она слушала его, когда он рассказывал ей про ужасы острога и про свои впечатления в деревне.

Когда графиня вернулась, они разговаривали как не только старые, но исключительные друзья, одни понимавшие друг друга среди толпы, не понимавшей их.

Они говорили о несправедливости власти, о страданиях несчастных, о бедности народа, но, в сущности, глаза их, смотревшие друг на друга под шумок разговора, не переставая спрашивали: «Можешь любить меня?» — и отвечали: «Могу»,— и половое чувство, принимая самые неожиданные и радужные формы, влекло их друг к другу.

Уезжая, она сказала ему, что всегда готова служить ему, чем может, и просила его приехать к ней завтра вечером непременно, хоть на минуту, в театр, что ей нужно еще поговорить с ним об одной важной вещи.

— Да и когда я вас увижу опять? — прибавила она, вздохнув, и стала осторожно надевать перчатку на покрытую перстнями руку.— Так скажите, что приедете.

Нехлюдов обещал.

В эту ночь, когда Нехлюдов, оставшись один в своей комнате, лег в постель и потушил свечу, он долго не мог заснуть. Вспоминая о Масловой, о решении сената и о том, что он все-таки решил ехать за нею, о своем отказе от права на землю, ему вдруг, как ответ на эти вопросы, представилось лицо Mariette, ее вздох и взгляд, когда она сказала: «Когда я вас увижу опять?», и ее улыбка,— с такою ясностью, что он как будто видел ее, и сам улыбнулся. «Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?» — спросил он себя.

И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределенные. Все спуталось в его голо-

ве. Он вызвал в себе прежнее настроение и вспомнил прежний ход мыслей; но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности.

«А вдруг все это я выдумал и не буду в силах жить этим: раскаюсь в том, что я поступил хорошо»,— сказал он себе, и, не в силах ответить на эти вопросы, он испытал такое чувство тоски и отчаяния, какого он давно не испытывал. Не в силах разобраться в этих вопросах, он заснул тем тяжелым сном, которым он, бывало, засыпал после большого карточного проигрыша.

XXV

Первое чувство Нехлюдова, когда он проснулся на другое утро, было то, что он накануне сделал какую-то гадость.

Он стал вспоминать: гадости не было, поступка не было дурного, но были мысли, дурные мысли о том, что все его теперешние намерения — женитьбы на Катюше и отдачи земли крестьянам,— что все это неосуществимые мечты, что всего этого он не выдержит, что все это искусственно, неестественно, а надо жить, как жил.

Поступка дурного не было, но было то, что много хуже дурного поступка: были те мысли, от которых происходят все дурные поступки. Поступок дурной можно не повторить и раскаяться в нем, дурные же мысли родят все дурные поступки.

Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам; дурные же мысли неудержимо влекут по этой дороге.

Повторив в своем воображении утром вчерашние мысли, Нехлюдов удивился тому, как мог он хоть на минуту поверить им. Как ни ново и трудно было то, что он намерен был сделать, он знал, что это была единственная возможная для него теперь жизнь, и как ни привычно и легко было вернуться к прежнему, он знал, что это была смерть. Вчерашний соблазн представился ему теперь тем, что бывает с человеком, когда он разоспался, и ему хочется хоть не спать, а еще поваляться, понежиться в постели, несмотря на то, что он знает, что пора вставать для ожидающего его важного и радостного дела.

В этот день, последний его пребывания в Петербур-

ге, он с утра поехал на Васильевский остров к Шустовой.

Квартира Шустовой была во втором этаже. Нехлюдов по указанию дворника попал на черный ход и по прямой и крутой лестнице вошел прямо в жаркую, густо пахнувшую едой кухню. Пожилая женщина, с засученными рукавами, в фартуке и в очках, стояла у плиты и что-то мешала в дымящейся кастрюле.

— Вам кого? — спросила она строго, глядя поверх очков на вошедшего.

Не успел Нехлюдов назвать себя, как лицо женщины приняло испуганное и радостное выражение.

— Ах, князь! — обтирая руки о фартук, вскрикнула женщина.— Да зачем вы с черной лестницы? Благодетель вы наш! Я мать ей. Погубили ведь было совсем девочку. Спаситель вы наш,— говорила она, хватая Нехлюдова за руку и стараясь поцеловать ее.— Я вчера была у вас. Меня сестра особенно просила. Она здесь. Сюда, сюда, пожалуйте за мной,— говорила мать-Шустова, провожая Нехлюдова через узкую дверь и темный коридорчик и дорогой оправляя то подтыканное платье, то волосы.— Сестра моя Корнилова, верно слышали,— шепотом прибавила она, остановившись перед дверью.— Она была замешана в политических делах. Умнейшая женщина.

Отворив дверь из коридора, мать-Шустова ввела Нехлюдова в маленькую комнатку, где перед столом на диванчике сидела невысокая полная девушка в полосатой ситцевой кофточке и с вьющимися белокурыми волосами, окаймлявшими ее круглое и очень бледное, похожее на мать лицо. Против нее сидел, согнувшись вдвое на кресле, в русской, с вышитым воротом рубашке молодой человек с черными усиками и бородкой. Они оба, очевидно, были так увлечены разговором, что оглянулись только тогда, когда Нехлюдов уже вошел в дверь.

— Лида, князь Нехлюдов, тот самый...

Бледная девушка нервно вскочила, оправляя выбившуюся из-за уха прядь волос, и испуганно уставилась своими большими серыми глазами на входившего.

— Так вы та самая опасная женщина, за которую просила Вера Ефремовна? — сказал Нехлюдов, улыбаясь и протягивая руку.

— Да, я самая,— сказала Лидия и, во весь рот, открывая ряд прекрасных зубов, улыбнулась доброю, дет-

скою улыбкой.— Это тетя очень хотела вас видеть. Тетя! — обратилась она в дверь приятным нежным голосом.

— Вера Ефремовна была очень огорчена вашим арестом,— сказал Нехлюдов.

— Сюда или сюда садитесь лучше,— говорила Лидия, указывая на мягкое сломанное кресло, с которого только что встал молодой человек.— Мой двоюродный брат — Захаров,— сказала она, заметив взгляд, которым Нехлюдов оглядывал молодого человека.

Молодой человек, так же добродушно улыбаясь, как и сама Лидия, поздоровался с гостем и, когда Нехлюдов сел на его место, взял себе стул от окна и сел рядом. Из другой двери вышел еще белокурый гимназист лет шестнадцати и молча сел на подоконник.

— Вера Ефремовна большой друг с тетей, а я почти не знаю ее,— сказала Лидия.

В это время из соседней комнаты вышла в белой кофточке, подпоясанной кожаным поясом, женщина с очень приятным, умным лицом.

— Здравствуйте, вот спасибо, что приехали,— начала она, как только уселась на диван рядом с Лидией.— Ну, что Верочка? Вы ее видели? Как же она переносит свое положение?

— Она не жалуется,— сказал Нехлюдов,— говорит, что у нее самочувствие олимпийское.

— Ах, Верочка, узнаю ее,— улыбаясь и покачивая головой, сказала тетка.— Ее надо знать. Это великолепная личность. Все для других, ничего для себя.

— Да, она ничего для себя не хотела, а только была озабочена о вашей племяннице. Ее мучало, главное, то, что ее, как она говорила, ни за что взяли.

— Это так,— сказала тетка,— это ужасное дело! Пострадала она, собственно, за меня.

— Да совсем нет, тетя! — сказала Лидия.— Я бы и без вас взяла бумаги.

— Уж позволь мне знать лучше тебя,— продолжала тетка.— Видите ли,— продолжала она, обращаясь к Нехлюдову,— все вышло оттого, что одна личность просила меня приберечь на время его бумаги, а я, не имея квартиры, отнесла ей. А у ней в ту же ночь сделали обыск и взяли и бумаги и ее и вот держали до сих пор, требовали, чтоб она сказала, от кого получила.

— Я и не сказала,— быстро проговорила Лидия, нервно теребя прядь, которая и не мешала ей,

— Да я и не говорю, что ты сказала,— возразила тетка.

— Если они взяли Митина, то никак не через меня,— сказала Лидия, краснея и беспокойно оглядываясь вокруг себя.

— Да ты не говори про это, Лидочка,— сказала мать.

— Отчего же, я хочу рассказать,— сказала Лидия, уже не улыбаясь, а краснея, и уже не оправляя, а крутя на палец свою прядь и все оглядываясь.

— Вчера ведь что было, когда ты стала говорить про это.

— Нисколько... Оставьте, мамаша. Я не сказала, а только промолчала. Когда он допрашивал меня два раза про тетю и про Митина, я ничего не сказала и объявила ему, что ничего отвечать не буду. Тогда этот... Петров...

— Петров сыщик, жандарм и большой негодяй,— вставила тетка, объясняя Нехлюдову слова племянницы.

— Тогда он,— продолжала Лидия, волнуясь и торопясь,— стал уговаривать меня. «Все, говорит, что вы мне скажете, никому повредить не может, а напротив... Если вы скажете, то освободите невинных, которых мы, может быть, напрасно мучим». Ну, а я все-таки сказала, что не скажу. Тогда он говорит: «Ну, хорошо, не говорите ничего, а только не отрицайте того, что я скажу». И он стал называть и назвал Митина.

— Да ты не говори,— сказала тетка.

— Ах, тетя, не мешайте...— И она не переставая тянула себя за прядь волос и все оглядывалась.— И вдруг, представьте себе, на другой день узнаю — мне перестукиванием передают,— что Митин взят. Ну, думаю, я выдала. И так это меня стало мучать, так стало мучать, что я чуть с ума не сошла.

— И оказалось, что совсем не через тебя он был взят,— сказала тетка.

— Да я-то не знала. Думаю — я выдала. Хожу, хожу от стены до стены, не могу не думать. Думаю: выдала. Лягу, закроюсь и слышу — шепчет кто-то мне на ухо: выдала, выдала Митина, Митина выдала. Знаю, что это галлюцинация, и не могу не слушать. Хочу заснуть — не могу, хочу не думать — тоже не могу. Вот это было ужасно! — говорила Лидия, все более и более волнуясь, наматывая на палец прядь волос и опять разматывая ее и все оглядываясь.

— Лидочка, ты успокойся,— повторила мать, дотрагиваясь до ее плеча.

Но Лидочка не могла уже остановиться.

— Это тем ужасно...— начала она что-то еще, но всхлипнула, не договорив, вскочила с дивана и, зацепившись за кресло, выбежала из комнаты. Мать пошла за ней.

— Перевешать мерзавцев,— проговорил гимназист, сидевший на окне.

— Ты что? — спросила мать.

— Я ничего... Я так,— отвечал гимназист и схватил лежавшую на столе папиросу и стал закуривать ее.

XXVI

— Да, для молодых это одиночное заключение ужасно,— сказала тетка, покачивая головой и тоже закуривая папиросу.

— Я думаю, для всех,— сказал Нехлюдов.

— Нет, не для всех,— отвечала тетка.— Для настоящих революционеров, мне рассказывали, это отдых, успокоение. Нелегальный живет вечно в тревоге и материальных лишениях и страхе и за себя и за других, и за дело, и, наконец, его берут, и все кончено, вся ответственность снята: сиди и отдыхай. Прямо, мне говорили, испытывают радость, когда берут. Ну, а для молодых, невинных — всегда сначала берут невинных, как Лидочка,— для этих первый шок ужасен. Не то, что вас лишили свободы, грубо обращаются, дурно кормят, дурной воздух, вообще всякие лишения — все это ничего. Если б было втрое больше лишений, все бы это переносилось легко, если бы не тот нравственный шок, который получаешь, когда попадешься в первый раз.

— Разве вы испытали?

— Я? Два раза сидела,— улыбаясь грустной приятной улыбкой, сказала тетка.— Когда меня взяли в первый раз — и взяли ни за что,— продолжала она,— мне было двадцать два года, у меня был ребенок, и я была беременна. Как ни тяжело мне было тогда лишение свободы, разлука с ребенком, с мужем, все это было ничто в сравнении с тем, что я почувствовала, когда поняла, что я перестала быть человеком и стала вещью. Я хочу проститься с дочкой — мне говорят, чтобы я шла и садилась на извозчика. Я спрашиваю, куда меня везут,—

мне отвечают, что я узнаю, когда привезут. Я спрашиваю, в чем меня обвиняют,— мне не отвечают. Когда меня после допроса раздели, одели в тюремное платье за номером, ввели под своды, отперли двери, толкнули туда, и заперли на замок, и ушли, и остался один часовой с ружьем, который ходил молча и изредка заглядывал в щелку моей двери,— мне стало ужасно тяжело. Меня, помню, более всего тогда сразило то, что жандармский офицер, когда допрашивал меня, предложил мне курить. Стало быть, он знает, как любят люди курить, знает, стало быть, и как любят люди свободу, свет, знает, как любят матери детей и дети мать. Так как же они безжалостно оторвали меня от всего, что дорого, и заперли, как дикого зверя? Этого нельзя перенести безнаказанно. Если кто верил в бога и людей, в то, что люди любят друг друга, тот после этого перестанет верить в это. Я с тех пор перестала верить в людей и озлобилась,— закончила она и улыбнулась.

Из двери, куда ушла Лидия, вышла ее мать и объявила, что Лидочка очень расстроилась и не выйдет.

— И за что загублена молодая жизнь? — сказала тетка.— Особенно больно мне потому, что я была невольной причиной.

— Бог даст, на деревенском воздухе поправится,— сказала мать,— пошлем ее к отцу.

— Да, кабы не вы, погибла бы совсем,— сказала тетка.— Спасибо вам. Видеть же вас я хотела затем, чтобы попросить вас передать письмо Вере Ефремовне,— сказала она, доставая письмо из кармана.— Письмо не запечатано, можете прочесть его и разорвать или передать — что найдете более сообразным с вашими убеждениями,— сказала она.— В письме нет ничего компрометирующего.

Нехлюдов взял письмо и, пообещав передать его, встал и, простившись, вышел на улицу.

Письмо он, не прочтя его, запечатал и решил передать по назначению.

XXVII

Последнее дело, задержавшее Нехлюдова в Петербурге, было дело сектантов, прошение которых на имя царя он намеревался подать через бывшего товарища по полку флигель-адъютанта Богатырева. Поутру он

приехал к Богатыреву и застал его еще дома, хотя и на отъезде, за завтраком. Богатырев был невысокий коренастый человек, одаренный редкой физической силой — он гнул подковы,— добрый, честный, прямой и даже либеральный. Несмотря на эти свойства, он был близкий человек ко двору, и любил царя и его семью, и умел каким-то удивительным приемом, живя в этой высшей среде, видеть в ней одно хорошее и не участвовать ни в чем дурном и нечестном. Он никогда не осуждал ни людей, ни мероприятия, а или молчал, или говорил смелым, громким, точно он кричал, голосом то, что ему нужно было сказать, часто при этом смеясь таким же громким смехом. И делал он это не из политичности, а потому, что такой был его характер.

— Ну, чудесно, что ты заехал. Не хочешь позавтракать? А то садись. Бифштекс чудесный. Я всегда с существенного начинаю и кончаю. Ха, ха, ха! Ну, вина выпей,— кричал он, указывая на графин с красным вином.— А я об тебе думал. Прошение я подам. В руки отдам — это верно; только пришло мне в голову, не лучше ли тебе прежде съездить к Топорову.

Нехлюдов поморщился при упоминании Топорова.

— Все от него зависит. Ведь все равно у него же спросят. А может, он сам тебя удовлетворит.

— Если ты советуешь, я поеду.

— И прекрасно. Ну, что Питер, как на тебя действует,— прокричал Богатырев,— скажи, а?

— Чувствую, что загипнотизировываюсь,— сказал Нехлюдов.

— Загипнотизировываешься? — повторил Богатырев и громко захохотал.— Не хочешь, ну как хочешь.— Он вытер салфеткой усы.— Так поедешь? А? Если он не сделает, то давай мне, я завтра же отдам,— прокричал он и, встав из-за стола, перекрестился широким крестом, очевидно так же бессознательно, как он отер рот, и стал застегивать саблю.— А теперь прощай, мне надо ехать.

— Вместе выйдем,— сказал Нехлюдов, с удовольствием пожимая сильную, широкую руку Богатырева, и, как всегда, под приятным впечатлением чего-то здорового, бессознательного, свежего, расстался с ним на крыльце его дома.

Хотя он и не ожидал ничего хорошего от своей поездки, Нехлюдов все-таки, по совету Богатырева, по-

ехал к Топорову, к тому лицу, от которого зависело дело о сектантах.

Должность, которую занимал Топоров, по назначению своему составляла внутреннее противоречие, не видеть которое мог только человек тупой и лишенный нравственного чувства. Топоров обладал обоими этими отрицательными свойствами. Противоречие, заключавшееся в занимаемой им должности, состояло в том, что назначение должности состояло в поддерживании и защите внешними средствами, не исключая и насилия, той церкви, которая по своему же определению установлена самим богом и не может быть поколеблена ни вратами ада, ни какими бы то ни было человеческими усилиями. Это-то божественное и ничем не поколебимое божеское учреждение должно было поддерживать и защищать то человеческое учреждение, во главе которого стоял Топоров с своими чиновниками. Топоров не видел этого противоречия или не хотел его видеть и потому очень серьезно был озабочен тем, чтобы какой-нибудь ксендз, пастор или сектант не разрушил ту церковь, которую не могут одолеть врата ада. Топоров, как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознанья равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ.

Так же как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтоб их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом,— думал и говорил, что народ любит быть суеверным.

Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которою он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью.

Разумеется, все эти Иверские, Казанские и Смоленские — очень грубое идолопоклонство, но народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суеверия. Так думал Топоров, не соображая того, что ему казалось, что народ любит суеверия только потому,

что всегда находились и теперь находятся такие жестокие люди, каков и был он, Топоров, которые, просветившись, употребляют свой свет не на то, на что они должны бы употреблять его,— на помощь выбивающемуся из мрака невежества народу, а только на то, чтобы закрепить его в нем.

В то время как Нехлюдов вошел в его приемную, Топоров в кабинете своем беседовал с монахиней-игуменьей, бойкой аристократкой, которая распространяла и поддерживала православие в Западном крае среди насильно пригнанных к православию униатов.

Чиновник по особым поручениям, дежуривший в приемной, расспросил Нехлюдова об его деле и, узнав, что Нехлюдов взялся передать прошение сектантов государю, спросил его, не может ли он дать просмотреть прошение. Нехлюдов дал прошение, и чиновник с прошением пошел в кабинет. Монахиня в клобуке, с развевающимся вуалем и тянущимся за ней черным шлейфом, сложив белые с очищенными ногтями руки, в которых она держала топазовые четки, вышла из кабинета и прошла к выходу. Нехлюдова все еще не приглашали войти. Топоров читал прошение и покачивал головой. Он был неприятно удивлен, читая ясно и сильно написанное прошение.

«Если только оно попадет в руки государя, оно может возбудить неприятные вопросы и недоразумения»,— подумал он, дочитав прошение. И, положив его на стол, позвонил и приказал просить Нехлюдова.

Он помнил дело этих сектантов, у него было уже их прошение. Дело состояло в том, что отпавших от православия христиан увещевали, а потом отдали под суд, но суд оправдал их. Тогда архиерей с губернатором решили на основании незаконности брака разослать мужей, жен и детей в разные места ссылки. Вот эти-то отцы и жены и просили, чтобы их не разлучали. Топоров вспомнил об этом деле, когда оно в первый раз попало к нему. И тогда он колебался, не прекратить ли его. Но вреда не могло быть никакого от утверждения распоряжения о том, чтобы разослать в разные места членов семей этих крестьян; оставление же их на местах могло иметь дурные последствия на остальное население в смысле отпадения их от православия, притом же это показывало усердие архиерея, и потому он дал ход делу так, как оно было направлено.

Теперь же с таким защитником, как Нехлюдов, имевшим связи в Петербурге, дело могло быть представлено государю как нечто жестокое или попасть в заграничные газеты, и потому он тотчас же принял неожиданное решение.

— Здравствуйте,— сказал он с видом очень занятого человека, стоя встречая Нехлюдова и тотчас же приступая к делу.

— Я знаю это дело. Как только я взглянул на имена, я вспомнил об этом несчастном деле,— сказал он, взяв в руки прошение и показывая его Нехлюдову.— И я очень благодарен вам, что вы напомнили мне о нем. Это губернские власти переусердствовали...— Нехлюдов молчал, с недобрым чувством глядя на неподвижную маску бледного лица.— И я сделаю распоряженье, чтобы эта мера была отменена и люди эти водворены на место жительства.

— Так что я могу не давать ходу этому прошению? — сказал Нехлюдов.

— Вполне. *Я* вам обещаю это,— сказал он с особенным ударением на слове «я», очевидно вполне уверенный, что *его* честность, *его* слово были самое лучшее ручательство.— Да лучше всего я сейчас напишу. Потрудитесь присесть.

Он подошел к столу и стал писать. Нехлюдов, не садясь, смотрел сверху на этот узкий плешивый череп, на эту с толстыми синими жилами руку, быстро водящую пером, и удивлялся, зачем делает то, что он делает, и так озабоченно делает, этот ко всему, очевидно, равнодушный человек. Зачем?..

— Так вот-с,— сказал Топоров, запечатывая конверт,— объявите это вашим *клиентам,*— прибавил он, поджимая губы в виде улыбки.

— За что же эти люди страдали? — сказал Нехлюдов, принимая конверт.

Топоров поднял голову и улыбнулся, как будто вопрос Нехлюдова доставлял ему удовольствие.

— Этого я вам не могу сказать. Могу сказать только то, что интересы народа, охраняемые нами, так важны, что излишнее усердие к вопросам веры не так страшно и вредно, как распространяющееся теперь излишнее равнодушие к ним.

— Но каким же образом во имя религии нарушаются самые первые требования добра — разлучаются семьи...

Топоров все так же снисходительно улыбался, очевидно находя милым то, что говорил Нехлюдов. Что бы ни сказал Нехлюдов, Топоров все нашел бы милым и односторонним с высоты того, как он думал, широкого государственного положения, на котором он стоял.

— С точки зрения частного человека, это может представляться так,— сказал он,— но с государственной точки зрения представляется несколько иное. Впрочем, мое почтение,— сказал Топоров, наклоняя голову и протягивая руку.

Нехлюдов пожал ее и молча поспешно вышел, раскаиваясь в том, что он пожал эту руку.

«Интересы народа,— повторил он слова Топорова.— Твои интересы, только твои»,— думал он, выходя от Топорова.

И мыслью пробежав по всем тем лицам, на которых проявлялась деятельность учреждений, восстанавливающих справедливость, поддерживающих веру и воспитывающих народ,— от бабы, наказанной за беспатентную торговлю вином, и малого за воровство, и бродягу за бродяжничество, и поджигателя за поджог, и банкира за расхищение, и тут же эту несчастную Лидию за то только, что от нее можно было получить нужные сведения, и сектантов за нарушение православия, и Гуркевича за желание конституции,— Нехлюдову с необыкновенной ясностью пришла мысль о том, что всех этих людей хватали, запирали или ссылали совсем не потому, что эти люди нарушали справедливость или совершали беззакония, а только потому, что они мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством, которое они собирали с народа.

А этому мешала и баба, торговавшая без патента, и вор, шляющийся по городу, и Лидия с прокламациями, и сектанты, разрушающие суеверия, и Гуркевич с конституцией. И потому Нехлюдову казалось совершенно ясно, что все эти чиновники, начиная от мужа его тетки, сенаторов и Топорова, до всех тех маленьких, чистых и корректных господ, которые сидели за столами в министерствах,— нисколько не смущались тем, что страдали невинные, а были озабочены только тем, как бы устранить всех опасных.

Так что не только не соблюдалось правило о прощении десяти виновных для того, чтобы не обвинить невинного, а, напротив, так же, как для того, чтобы вырезать гнилое, приходится захватить свежего,—

устранялись посредством наказания десять безопасных для того, чтобы устранить одного истинно опасного.

Такое объяснение всего того, что происходило, казалось Нехлюдову очень просто и ясно, но именно эта простота и ясность и заставляли Нехлюдова колебаться в признании его. Не может же быть, чтобы такое сложное явление имело такое простое и ужасное объяснение, не могло же быть, чтобы все те слова о справедливости, добре, законе, вере, боге и т. п. были только слова и прикрывали самую грубую корысть и жестокость.

XXVIII

Нехлюдов уехал бы в тот же день вечером, но он обещал Mariette быть у нее в театре, и хотя он знал, что этого не надо было делать, он все-таки, кривя перед самим собой душой, поехал, считая себя обязанным данным словом.

«Могу ли я противостоять этим соблазнам? — не совсем искренно думал он.— Посмотрю в последний раз».

Переодевшись во фрак, он приехал ко второму акту вечной «Dame aux camélias» [1], в которой приезжая актриса еще по-новому показывала, как умирают чахоточные женщины.

Театр был полон, и бенуар Mariette тотчас же, с уважением к тому лицу, кто спросил про него, указали Нехлюдову.

В коридоре стоял ливрейный лакей и, как знакомому, поклонился и отворил ему дверь.

Все ряды противоположных лож с сидящими и стоящими за ними фигурами и близкие спины, и седые, полуседые, лысые, плешивые и помаженные, завитые головы сидевших в партере — все зрители были сосредоточены в созерцании нарядной, в шелку и кружевах, ломавшейся и ненатуральным голосом говорившей монолог худой, костлявой актрисы. Кто-то шикнул, когда отворилась дверь, и две струи холодного и теплого воздуха пробежали по лицу Нехлюдова.

В ложе была Mariette и незнакомая дама в красной накидке и большой, грузной прическе и двое мужчин: генерал, муж Mariette, красивый, высокий человек с строгим, непроницаемым горбоносым лицом и военной,

[1] «Дамы с камелиями» *(фр.)*.

ватой и крашениной подделанной высокой грудью, и белокурый плешивый человек, с пробритым с фосеткой подбородком между двумя торжественными бакенбардами. Mariette, грациозная, тонкая, элегантная, декольте, с своими крепкими мускулистыми плечами, спускающимися покато от шеи, на соединении которой с плечами чернела родинка, тотчас же оглянулась и, указывая Нехлюдову веером на стул сзади себя, приветственно-благодарно и, как ему показалось, многозначительно улыбнулась ему. Муж ее спокойно, как все он делал, взглянул на Нехлюдова и наклонил голову. Так и видно в нем было — в его позе, его взгляде, которым он обменялся с женою,— властелин, собственник красивой жены.

Когда кончился монолог, театр затрещал от рукоплесканий. Mariette встала и, сдерживая шуршащую шелковую юбку, вышла в заднюю часть ложи и познакомила мужа с Нехлюдовым. Генерал не переставая улыбался глазами и, сказав, что он очень рад, спокойно и непроницаемо замолчал.

— Мне нынче ехать надо, но я обещал вам,— сказал Нехлюдов, обращаясь к Mariette.

— Если вы меня не хотите видеть, то увидите удивительную актрису,— отвечая на смысл его слов, сказала Mariette.— Не правда ли, как она хороша была в последней сцене? — обратилась она к мужу.

Муж наклонил голову.

— Это не трогает меня,— сказал Нехлюдов.— Я так много видел нынче настоящих несчастий, что...

— Да садитесь, расскажите.

Муж прислушивался и иронически все больше и больше улыбался глазами.

— Я был у той женщины, которую выпустили и которую держали так долго; совсем разбитое существо.

— Это та женщина, о которой я тебе говорила,— сказала Mariette мужу.

— Да, я очень рад был, что ее можно было освободить,— спокойно сказал он, кивая головой и совсем уже иронически, как показалось Нехлюдову, улыбаясь под усами.— Я пойду курить.

Нехлюдов сидел, ожидая, что Mariette скажет ему то *что-то,* что́ она имела сказать ему, но она ничего не сказала ему и даже не искала сказать, а шутила и говорила о пьесе, которая, она думала, должна была особенно тронуть Нехлюдова.

Нехлюдов видел, что ей и не нужно было ничего сказать ему, но нужно было только показаться ему во всей прелести своего вечернего туалета, с своими плечами и родинкой, и ему было и приятно и гадко в одно и то же время.

Тот покров прелести, который был прежде на всем этом, был теперь для Нехлюдова не то что снят, но он видел, что́ было под покровом. Глядя на Mariette, он любовался ею, но знал, что она лгунья, которая живет с мужем, делающим свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен людей, и ей это совершенно все равно, и что все, что она говорила вчера, было неправда, а что ей хочется — он не знал для чего, да и она сама не знала — заставить его полюбить себя. И ему было и привлекательно и противно. Он несколько раз собирался уйти, брался за шляпу и опять оставался. Но, наконец, когда муж, с запахом табаку на своих густых усах, вернулся в ложу и покровительственно-презрительно взглянул на Нехлюдова, как будто не узнавая его, Нехлюдов, не дав затвориться двери, вышел в коридор и, найдя свое пальто, ушел из театра.

Когда он возвращался домой по Невскому, он впереди себя невольно заметил высокую, очень хорошо сложенную и вызывающе нарядно одетую женщину, которая спокойно шла по асфальту широкого тротуара, и на лице ее и во всей фигуре видно было сознание своей скверной власти. Все встречающие и обгоняющие эту женщину оглядывали ее. Нехлюдов шел скорее ее и тоже невольно заглянул ей в лицо. Лицо, вероятно подкрашенное, было красиво, и женщина улыбнулась Нехлюдову, блеснув на него глазами. И странное дело, Нехлюдов тотчас же вспомнил о Mariette, потому что испытал то же чувство влеченья и отвращения, которое он испытывал в театре. Поспешно обогнав ее, Нехлюдов, рассердившись на себя, повернул на Морскую и, выйдя на набережную, стал, удивляя городового, взад и вперед ходить там.

«Так же и та в театре улыбнулась мне, когда я вошел,— думал он,— и тот же смысл был в той и в этой улыбке. Разница только в том, что эта говорит просто и прямо: «Нужна я тебе — бери меня. Не нужна — проходи мимо». Та же притворяется, что она не об этом думает, а живет какими-то высшими, утонченными чувствами, а в основе то же. Эта по крайней мере правдива, а та лжет. Мало того, эта нуждой приведена в свое

положение, та же играет, забавляется этой прекрасной, отвратительной и страшной страстью. Эта, уличная женщина,— вонючая, грязная вода, которая предлагается тем, у кого жажда сильнее отвращения; та, в театре,— яд, который незаметно отравляет все, во что попадает.— Нехлюдов вспомнил свою связь с женой предводителя, и на него нахлынули постыдные воспоминания.— Отвратительна животность зверя в человеке,— думал он,— но когда она в чистом виде, ты с высоты своей духовной жизни видишь и презираешь ее, пал ли, или устоял, ты остаешься тем, чем был; но когда это же животное скрывается под мнимо эстетической, поэтической оболочкой и требует перед собой преклонения, тогда, обоготворяя животное, ты весь уходишь в него, не различая уже хорошего от дурного. Тогда это ужасно».

Нехлюдов видел это теперь так же ясно, как он ясно видел дворцы, часовых, крепость, реку, лодки, биржу.

И как не было успокаивающей, дающей отдых темноты на земле в эту ночь, а был неясный, невеселый, неестественный свет без своего источника, так и в душе Нехлюдова не было больше дающей отдых темноты незнания. Все было ясно. Ясно было, что все то, что считается важным и хорошим, все это ничтожно или гадко, и что весь этот блеск, вся эта роскошь прикрывают преступления старые, всем привычные, не только не наказуемые, но торжествующие и изукрашенные всею тою прелестью, которую только могут придумать люди.

Нехлюдову хотелось забыть это, не видать этого, но он уже не мог не видеть. Хотя он и не видал источника того света, при котором все это открывалось ему, как не видал источника света, лежавшего на Петербурге, и хотя свет этот казался ему неясным, невеселым и неестественным, он не мог не видеть того, что открывалось ему при этом свете, и ему было в одно и то же время и радостно и тревожно.

XXIX

Приехав в Москву, Нехлюдов первым делом поехал в острожную больницу объявить Масловой печальное известие о том, что сенат утвердил решение суда и что надо готовиться к отъезду в Сибирь.

На прошение на высочайшее имя, которое ему напи-

сал адвокат и которое он теперь вез в острог Масловой для подписи, он имел мало надежды. Да и странно сказать, ему теперь и не хотелось успеха. Он приготовился к мысли о поездке в Сибирь, о жизни среди сосланных и каторжных, и ему трудно было себе представить, как бы он устроил свою жизнь и жизнь Масловой, если бы ее оправдали. Он вспоминал слова американского писателя Торо, который, в то время как в Америке было рабство, говорил, что единственное место, приличествующее честному гражданину в том государстве, в котором узаконивается и покровительствуется рабство, есть тюрьма. Точно так же думал Нехлюдов, особенно после поездки в Петербург и всего, что он узнал там.

«Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма!» — думал он. И он даже непосредственно испытывал это, подъезжая к тюрьме и входя в ее стены.

Швейцар в больнице, узнав Нехлюдова, сейчас же сообщил ему, что Масловой уж нет у них.

— Где же она?

— Да опять в за́мке.

— Отчего же перевели? — спросил Нехлюдов.

— Ведь это какой народ, ваше сиятельство,— сказал швейцар, презрительно улыбаясь,— шашни завела с фершалом, старший доктор и отправил.

Нехлюдов никак не думал, чтобы Маслова и ее душевное состояние были так близки ему. Известие это ошеломило его. Он испытал чувство, подобное тому, которое испытывают люди при известии о неожиданном большом несчастье. Ему сделалось очень больно. Первое чувство, испытанное им при этом известии, был стыд. Прежде всего он показался себе смешон с своим радостным представлением о ее будто бы изменяющемся душевном состоянии. Все эти слова ее о нежелании принять его жертву, и упреки, и слезы — все это были, подумал он, только хитрости извращенной женщины, желающей как можно лучше воспользоваться им. Ему казалось теперь, что в последнее посещение он видел в ней признаки той неисправимости, которая обозначилась теперь. Все это промелькнуло в его голове, в то время как он инстинктивно надевал шляпу и выходил из больницы.

«Но что же делать теперь? — спросил он себя.— Связан ли я с нею? Не освобожден ли я теперь именно этим ее поступком?» — спросил он себя.

Но как только он задал себе этот вопрос, он тотчас же понял, что, сочтя себя освобожденным и бросив ее, он накажет не ее, чего ему хотелось, а себя, и ему стало страшно.

«Нет! То, что случилось, не может изменить — может только подтвердить мое решение. Она пусть делает то, что вытекает из ее душевного состояния,— шашни с фельдшером, так шашни с фельдшером — это ее дело... А мое дело — делать то, чего требует от меня моя совесть,— сказал он себе.— Совесть же моя требует жертвы своей свободой для искупления моего греха, и решение мое жениться на ней, хотя и фиктивным браком, и пойти за ней, куда бы ее ни послали, остается неизменным»,— с злым упрямством сказал он себе и, выйдя из больницы, решительным шагом направился к большим воротам острога.

Подойдя к воротам, он попросил дежурного доложить смотрителю о том, что желал бы видеть Маслову. Дежурный знал Нехлюдова и, как знакомому человеку, сообщил ему их важную острожную новость: капитан уволился, и на место его поступил другой, строгий, начальник.

— Строгости пошли теперь — беда,— сказал надзиратель.— Он здесь теперь, сейчас доложат.

Действительно, смотритель был в тюрьме и скоро вышел к Нехлюдову. Новый смотритель был высокий костлявый человек с выдающимися мослаками над щеками, очень медлительный в движениях и мрачный.

— Свидания разрешают в определенные дни в посетительской,— сказал он, не глядя на Нехлюдова.

— Но мне нужно подписать прошение на высочайшее имя.

— Можете передать мне.

— Мне нужно самому видеть арестантку. Мне всегда разрешали прежде.

— То было прежде,— бегло взглянув на Нехлюдова, сказал смотритель.

— Я имею разрешение от губернатора,— настаивал Нехлюдов, доставая бумажник.

— Позвольте,— все так же, не глядя в глаза, сказал смотритель, и, взяв длинными сухими белыми пальцами, из которых на указательном было золотое кольцо, поданную Нехлюдовым бумагу, он медленно прочел ее.— Пожалуйте в контору,— сказал он.

В конторе в этот раз никого не было. Смотритель сел за стол, перебирая лежавшие на нем бумаги, очевидно намереваясь присутствовать сам при свидании. Когда Нехлюдов спросил его, не может ли он видеть политическую Богодуховскую, то смотритель коротко ответил, что этого нельзя.

— Свиданий с политическими не полагается,— сказал он и опять погрузился в чтение бумаг.

Имея в кармане письмо к Богодуховской, Нехлюдов чувствовал себя в положении провинившегося человека, замыслы которого были открыты и разрушены.

Когда Маслова вошла в контору, смотритель поднял голову и, не глядя ни на Маслову, ни на Нехлюдова, сказал:

— Можете! — и продолжал заниматься своими бумагами.

Маслова была одета опять по-прежнему: в белой кофте, юбке и косынке. Подойдя к Нехлюдову и увидав его холодное, злое лицо, она багрово покраснела и, перебирая рукою край кофты, опустила глаза. Смущение ее было для Нехлюдова подтверждением слов больничного швейцара.

Нехлюдов хотел обращаться с ней, как в прежний раз, но *не мог*, как он хотел, подать руки; так она теперь была противна ему.

— Я привез вам дурное известие,— сказал он ровным голосом, не глядя на нее и не подавая руки,— в сенате отказали.

— Я так и знала,— сказала она странным голосом, точно она задыхалась.

По-прежнему Нехлюдов спросил бы, почему она говорит, что так и знала; теперь он только взглянул на нее. Глаза ее были полны слез.

Но это не только не смягчило, а, напротив, еще более раздражило его против нее.

Смотритель встал и стал ходить взад и вперед по комнате.

Несмотря на все отвращение, которое испытывал теперь Нехлюдов к Масловой, он все-таки счел нужным выразить ей сожаление о сенатском отказе.

— Вы не отчаивайтесь,— сказал он,— прошение на высочайшее имя может выйти, и я надеюсь, что...

— Да я не об этом...— сказала она, жалостно мокрыми и косящими глазами глядя на него.

— А что же?

— Вы были в больнице, и вам, верно, сказали про меня...

— Да что ж, это ваше дело,— нахмурившись, холодно сказал Нехлюдов.

Затихшее было жестокое чувство оскорбленной гордости поднялось в нем с новой силой, как только она упомянула о больнице. «Он, человек света, за которого за счастье сочла бы выйти всякая девушка высшего круга, предложил себя мужем этой женщине, и она не могла подождать и завела шашни с фельдшером»,— думал он, с ненавистью глядя на нее.

— Вы вот подпишите прошение,— сказал он и, достав из кармана большой конверт, выложил его на стол. Она утерла слезы концом косынки и села за стол, спрашивая, где и что писать.

Он показал ей, что и где писать, и она села за стол, оправляя левой рукой рукав правой; он же стоял над ней и молча глядел на ее пригнувшуюся к столу спину, изредка вздрагивавшую от сдерживаемых рыданий, и в душе его боролись два чувства — зла и добра, оскорбленной гордости и жалости к ней, страдающей, и последнее чувство победило.

Что было прежде,— прежде ли он сердцем пожалел ее, или прежде вспомнил себя, свои грехи, свою гадость именно в том, в чем он упрекал ее,— он не помнил. Но вдруг в одно и то же время он почувствовал себя виноватым и пожалел ее.

Подписав прошение и отерев испачканный палец об юбку, она встала и взглянула на него.

— Что бы ни вышло и что бы ни было, ничто не изменит моего решения,— сказал Нехлюдов.

Мысль о том, что он прощает ее, усиливала в нем чувство жалости и нежности к ней, и ему хотелось утешить ее.

— Что я сказал, то сделаю. Куда бы вас ни послали, я буду с вами.

— Напрасно,— поспешно перебила она его и вся рассияла.

— Вспомните, что вам нужно в дорогу.

— Кажется, ничего особенного. Благодарствуйте.

Смотритель подошел к ним, и Нехлюдов, не дожидаясь его замечания, простился с ней и вышел, испытывая никогда прежде не испытанное чувство тихой радости, спокойствия и любви ко всем людям. Радовало и подымало Нехлюдова на не испытанную им высоту

сознание того, что никакие поступки Масловой не могут изменить его любви к ней. Пускай она заводит шашни с фельдшером — это ее дело: он любит ее не для себя, а для нее и для бога.

А между тем шашни с фельдшером, за которые Маслова была изгнана из больницы и в существование которых поверил Нехлюдов, состояли только в том, что, по распоряжению фельдшерицы придя за грудным чаем в аптеку, помещавшуюся в конце коридора, и застав там одного фельдшера, высокого с угреватым лицом Устинова, который уже давно надоедал ей своим приставанием, Маслова, вырываясь от него, так сильно оттолкнула его, что он ткнулся о полку, с которой упали и разбились две склянки.

Проходивший в это время по коридору старший доктор, услыхав звон разбитой посуды и увидав выбежавшую раскрасневшуюся Маслову, сердито крикнул на нее:

— Ну, матушка, если ты здесь будешь шашни заводить, я тебя спроважу. Что такое? — обратился он к фельдшеру, поверх очков строго глядя на него.

Фельдшер, улыбаясь, стал оправдываться. Доктор, не дослушав его, поднял голову так, что стал смотреть в очки, и прошел в палаты и в тот же день сказал смотрителю о том, чтобы прислали на место Масловой другую помощницу, постепеннее. В этом только и состояли шашни Масловой с фельдшером. Изгнание это из больницы под предлогом шашней с мужчинами было для Масловой особенно больно тем, что после ее встречи с Нехлюдовым давно уже опротивевшие ей отношения с мужчинами сделались ей особенно отвратительны. То, что, судя по ее прошедшему и теперешнему положению, всякий, и между прочим угреватый фельдшер, считал себя вправе оскорблять ее и удивлялся ее отказу, было ей ужасно обидно и вызывало в ней жалость к самой себе и слезы. Теперь, выйдя к Нехлюдову, она хотела оправдаться перед ним в том несправедливом обвинении, которое он, наверное, услышит. Но, начав оправдываться, почувствовала, что он не верит, что ее оправдания только подтверждают его подозрения, и слезы выступили ей в горло, и она замолчала.

Маслова все еще думала и продолжала уверять себя, что она, как она это высказала ему во второе свидание,

не простила ему и ненавидит его, но она уже давно опять любила его и любила так, что невольно исполняла все то, что и чего он желал от нее: перестала пить, курить, оставила кокетство и поступила в больницу служанкой. Все это она делала потому, что знала, что он желает этого. Если она так решительно отказывалась всякий раз, когда он упоминал об этом, принять его жертву жениться на ней, то это происходило и оттого, что ей хотелось повторить те гордые слова, которые она раз сказала ему, и, главное, оттого, что она знала, что брак с нею сделает его несчастье. Она твердо решила, что не примет его жертвы, а между тем ей было мучительно думать, что он презирает ее, думает, что она продолжает быть такою, какою она была, и не видит той перемены, которая произошла в ней. То, что он может думать теперь, что она сделала что-нибудь дурное в больнице, мучало ее больше, чем известие о том, что она окончательно приговорена к каторге.

XXX

Маслову могли отправить с первой отходящей партией, и потому Нехлюдов готовился к отъезду. Но дел у него было столько, что он чувствовал, что сколько бы времени свободного у него ни было, он никогда не окончит их. Было совершенно противоположное тому, что было прежде. Прежде надо было придумывать, что делать, и интерес дела был всегда один и тот же — Дмитрий Иванович Нехлюдов; а между тем, несмотря на то, что весь интерес жизни сосредоточивался тогда на Дмитрии Ивановиче, все дела эти были скучны. Теперь все дела касались других людей, а не Дмитрия Ивановича, и все были интересны и увлекательны, и дел этих было пропасть.

Мало того, прежде занятия делами Дмитрия Ивановича всегда вызывали досаду, раздражение; эти же чужие дела большей частью вызывали радостное настроение.

Дела, занимавшие в это время Нехлюдова, разделялись на три отдела; он сам с своим привычным педантизмом разделял их так и сообразно этому разложил в три портфеля.

Первое дело касалось Масловой и помощи ей. Это дело теперь состояло в ходатайстве о поддержании по-

данного на высочайшее имя прошения и в приготовлении к путешествию в Сибирь.

Второе дело было устройство имений. В Панове земля была отдана крестьянам под условием уплачивания ими ренты для общих их крестьянских потребностей. Но для того чтобы закрепить эту сделку, надо было составить и подписать условие и завещание. В Кузминском же дело оставалось еще так, как он сам устроил его, то есть, что деньги за землю должен был получать он, но нужно было установить сроки и определить, сколько брать из этих денег для жизни и сколько оставить в пользу крестьян. Не зная, какие расходы будут предстоять ему при его поездке в Сибирь, он не решился еще лишиться этого дохода, хотя наполовину убавил его.

Третье дело было помощь арестантам, которые все чаще и чаще обращались к нему.

Сначала, приходя в сношение с арестантами, обращавшимися к нему за помощью, он тотчас же принимался ходатайствовать за них, стараясь облегчить их участь; но потом явилось так много просителей, что он почувствовал невозможность помочь каждому из них и невольно был приведен к четвертому делу, более всех других в последнее время занявшему его.

Четвертое дело это состояло в разрешении вопроса о том, что такое, зачем и откуда взялось это удивительное учреждение, называемое уголовным судом, результатом которого был тот острог, с жителями которого он отчасти ознакомился, и все те места заключения, от Петропавловской крепости до Сахалина, где томились сотни, тысячи жертв этого удивительного для него уголовного закона.

Из личных отношений с арестантами, из расспросов адвоката, острожного священника, смотрителя и из списков содержащихся Нехлюдов пришел к заключению, что состав арестантов, так называемых преступников, разделяется на пять разрядов людей.

Один, первый, разряд — люди совершенно невинные, жертвы судебных ошибок, как мнимый поджигатель Меньшов, как Маслова и другие. Людей этого разряда было не очень много, по наблюдениям священника — около семи процентов, но положение этих людей вызывало особенный интерес.

Другой разряд составляли люди, осужденные за поступки, совершенные в исключительных обстоятельст-

вах, как озлобление, ревность, опьянение и т. п., такие поступки, которые почти наверное совершили бы в таких же условиях все те, которые судили и наказывали их. Этот разряд составлял, по наблюдению Нехлюдова, едва ли не более половины всех преступников.

Третий разряд составляли люди, наказанные за то, что они совершали, по их понятиям, самые обыкновенные и даже хорошие поступки, но такие; которые, по понятиям чуждых им людей, писавших законы, считались преступлениями. К этому разряду принадлежали люди, тайно торгующие вином, перевозящие контрабанду, рвущие траву, собирающие дрова в больших владельческих и казенных лесах. К этим же людям принадлежали ворующие горцы и еще неверующие люди, обворовывающие церкви.

Четвертый разряд составляли люди, потому только зачисленные в преступники, что они стояли нравственно выше среднего уровня общества. Таковы были сектанты, таковы были поляки, черкесы, бунтовавшие за свою независимость, таковы были и политические преступники — социалисты и стачечники, осужденные за сопротивление властям. Процент таких людей, самых лучших общества, по наблюдению Нехлюдова, был очень большой.

Пятый разряд, наконец, составляли люди, перед которыми общество было гораздо больше виновато, чем они перед обществом. Это были люди заброшенные, одуренные постоянным угнетением и соблазнами, как тот мальчик с половиками и сотни других людей, которых видел Нехлюдов в остроге и вне его, которых условия жизни как будто систематически доводят до необходимости того поступка, который называется преступлением. К таким людям принадлежали, по наблюдению Нехлюдова, очень много воров и убийц, с некоторыми из которых он за это время приходил в сношение. К этим людям он, ближе узнав их, причислил и тех развращенных, испорченных людей, которых новая школа называет преступным типом и существование которых в обществе признается главным доказательством необходимости уголовного закона и наказания. Эти так называемые испорченные, преступные, ненормальные типы были, по мнению Нехлюдова, не что иное, как такие же люди, как и те, перед которыми общество виновато более, чем они перед обществом, но перед которыми общество виновато не непосредственно перед ними

самими теперь, а в прежнее время виновато прежде еще перед их родителями и предками.

Из этих людей особенно в этом отношении поразил его рецидивист-вор Охотин, незаконный сын проститутки, воспитанник ночлежного дома, очевидно до тридцати лет жизни никогда не встречавший людей более высокой нравственности, чем городовые, и смолоду попавший в шайку воров и вместе с тем одаренный необыкновенным даром комизма, которым он привлекал к себе людей. Он просил у Нехлюдова защиты, а между тем подтрунивал и над собой, и над судьями, и над тюрьмой, и над всеми законами, не только уголовными, но и божескими. Другой был красавец Федоров, убивший и ограбивший с шайкой, которою он руководил, старика чиновника. Это был крестьянин, у отца которого отняли его дом совершенно незаконно, который потом был в солдатах и там пострадал за то, что влюбился в любовницу офицера. Это была привлекательная, страстная натура, человек, желавший во что бы то ни стало наслаждаться, никогда не видавший людей, которые бы для чего-либо воздерживались от своего наслаждения, и никогда не слыхавший слова о том, чтобы была какая-нибудь другая цель в жизни, кроме наслаждения. Нехлюдову было ясно, что оба были богатые натуры и были только запущены и изуродованы, как бывают запущены и изуродованы заброшенные растения. Видел он и одного бродягу и одну женщину, отталкивавших своей тупостью и как будто жестокостью, но он никак не мог видеть в них того преступного типа, о котором говорит итальянская школа, а видел только себе лично противных людей, точно таких же, каких он видал на воле во фраках, эполетах и кружевах.

Так вот в исследовании вопроса о том, зачем все эти столь разнообразные люди были посажены в тюрьмы, а другие, точно такие же люди ходили на воле и даже судили этих людей, и состояло четвертое дело, занимавшее в это время Нехлюдова.

Сначала ответ на этот вопрос Нехлюдов надеялся найти в книгах и купил все то, что касалось этого предмета. Он купил книги Ломброзо, и Гарофало, и Ферри, и Листа, и Маудслея, и Тарда и внимательно читал эти книги. Но по мере того как он читал их, он все больше и больше разочаровывался. С ним случилось то, что всегда случается с людьми, обращающимися к науке не для того, чтобы играть роль в науке: писать, спорить,

учить, а обращающимися к науке с прямыми, простыми, жизненными вопросами; наука отвечала ему на тысячи разных очень хитрых и мудреных вопросов, имеющих связь с уголовным законом, но только не на тот, на который он искал ответа. Он спрашивал очень простую вещь; он спрашивал: зачем и по какому праву одни люди заперли, мучают, ссылают, секут и убивают других людей, тогда как они сами точно такие же, как и те, которых они мучают, секут, убивают? А ему отвечали рассуждениями о том, есть ли у человека свобода воли, или нет. Можно ли человека по измерению черепа и проч. признать преступным, или нет? Какую роль играет наследственность в преступлении? Есть ли прирожденная безнравственность? Что такое нравственность? Что такое сумасшествие? Что такое вырождение? Что такое темперамент? Как влияют на преступление климат, пища, невежество, подражание, гипнотизм, страсти? Что такое общество? Какие его обязанности? и проч., и проч.

Рассуждения эти напоминали Нехлюдову полученный им раз ответ от маленького мальчика, шедшего из школы. Нехлюдов спросил мальчика, выучился ли он складывать. «Выучился»,— отвечал мальчик. «Ну, сложи: лапа».— «Какая лапа — собачья?» — с хитрым лицом ответил мальчик. Точно такие же ответы в виде вопросов находил Нехлюдов в научных книгах на свой один основной вопрос.

Очень много было там умного, ученого, интересного, но не было ответа на главное: по какому праву одни наказывают других? Не только не было этого ответа, но все рассуждения велись к тому, чтобы объяснить и оправдать наказание, необходимость которого признавалась аксиомой. Нехлюдов читал много, но урывками, и отсутствие ответа приписывал такому поверхностному изучению, надеясь впоследствии найти этот ответ, и потому не позволял себе еще верить в справедливость того ответа, который в последнее время все чаще и чаще представлялся ему.

XXXI

Отправка партии, в которой шла Маслова, была назначена на 5-е июля. В этот же день приготовился ехать за нею и Нехлюдов. Накануне его отъезда приехала в

город, чтоб повидаться с братом, сестра Нехлюдова с мужем.

Сестра Нехлюдова, Наталья Ивановна Рагожинская, была старше брата на десять лет. Он рос отчасти под ее влиянием. Она очень любила его мальчиком, потом, перед самым своим замужеством, они сошлись с ним почти как ровные: она — двадцатипятилетняя девушка, он — пятнадцатилетний мальчик. Она тогда была влюблена в его умершего друга Николеньку Иртенева. Они оба любили Николеньку и любили в нем и себе то, что было в них хорошего и единящего всех людей.

С тех пор они оба развратились: он — военной службой, дурной жизнью, она — замужеством с человеком, которого она полюбила чувственно, но который не только не любил всего того, что было когда-то для нее с Дмитрием самым святым и дорогим, но даже не понимал, что это такое, и приписывал все те стремления к нравственному совершенствованию и служению людям, которыми она жила когда-то, одному, понятному ему, увлечению самолюбием, желанием выказаться перед людьми.

Рагожинский был человек без имени и состояния, но очень ловкий служака, который, искусно лавируя между либерализмом и консерватизмом, пользуясь тем из двух направлений, которое в данное время и в данном случае давало лучшие для его жизни результаты, и, главное, чем-то особенным, чем он нравился женщинам, сделал блестящую относительно судейскую карьеру. Уже человеком не первой молодости он за границей познакомился с Нехлюдовыми, влюбил в себя Наташу, девушку тоже уже не молодую, и женился на ней почти против желания матери, которая видела в этом браке mésalliance [1]. Нехлюдов, хотя и скрывал это от себя, хотя и боролся с этим чувством, ненавидел своего зятя. Антипатичен он ему был своей вульгарностью чувств, самоуверенной ограниченностью и, главное, антипатичен был ему за сестру, которая могла так страстно, эгоистично, чувственно любить эту бедную натуру и в угоду ему могла заглушить все то хорошее, что было в ней. Нехлюдову всегда было мучительно больно думать, что Наташа — жена этого волосатого, с глянцевитой лысиной самоуверенного человека. Он не мог даже удерживать отвращения к его детям. И всякий

[1] неравный брак *(фр.)*.

раз, когда узнавал, что она готовится быть матерью, испытывал чувство, подобное соболезнованию о том, что опять она чем-то дурным заразилась от этого чуждого им всем человека.

Рагожинские приехали одни, без детей,— детей у них было двое: мальчик и девочка,— и остановились в лучшем номере лучшей гостиницы. Наталья Ивановна тотчас же поехала на старую квартиру матери, но, не найдя там брата и узнав от Аграфены Петровны, что он переехал в меблированные комнаты, поехала туда. Грязный служитель, встретив ее в темном, с тяжелым запахом, днем освещавшемся лампою коридоре, объявил ей, что князя нет дома.

Наталья Ивановна пожелала войти в номер брата, чтобы оставить ему записку. Коридорный провел ее.

Войдя в его маленькие две комнатки, Наталья Ивановна внимательно осмотрела их. На всем она увидала знакомую ей чистоту и аккуратность и поразившую ее совершенно новую для него скромность обстановки. На письменном столе она увидала знакомое ей пресс-папье с бронзовой собачкой; тоже знакомо аккуратно разложенные портфели и бумаги, и письменные принадлежности, и томы уложения о наказаниях, и английскую книгу Генри Джорджа, и французскую — Тарда с вложенным в нее знакомым ей кривым большим ножом слоновой кости.

Присев к столу, она написала ему записку, в которой просила его прийти к ней непременно, нынче же, и, с удивлением покачивая головой на то, что она видела, вернулась к себе в гостиницу.

Наталью Ивановну интересовали теперь по отношению брата два вопроса: его женитьба на Катюше, про которую она слышала в своем городе, так как все говорили про это, и его отдача земли крестьянам, которая тоже была всем известна и представлялась многим чем-то политическим и опасным. Женитьба на Катюше, с одной стороны, нравилась Наталье Ивановне. Она любовалась этой решительностью, узнавала в этом его и себя, какими они были оба в те хорошие времена до замужества, но вместе с тем ее брал ужас при мысли о том, что брат ее женится на такой ужасной женщине. Последнее чувство было сильнее, и она решила сколько возможно повлиять на него и удержать его, хотя она и знала, как это трудно.

Другое же дело, отдача земли крестьянам, было не

так близко ее сердцу; но муж ее очень возмущался этим и требовал от нее воздействия на брата. Игнатий Никифорович говорил, что такой поступок есть верх неосновательности, легкомыслия и гордости, что объяснить такой поступок, если есть какая-нибудь возможность объяснить его, можно только желанием выделиться, похвастаться, вызвать о себе разговоры.

— Какой смысл имеет отдача земли крестьянам с платой им самим же себе? — говорил он.— Если уж он хотел это сделать, мог продать им через крестьянский банк. Это имело бы смысл. Вообще это поступок, граничащий с ненормальностью,— говорил Игнатий Никифорович, подумывая уже об опеке, и требовал от жены, чтобы она серьезно переговорила с братом об этом его странном намерении.

XXXII

Вернувшись домой и найдя у себя на столе записку сестры, Нехлюдов тотчас же поехал к ней. Это было вечером. Игнатий Никифорович отдыхал в другой комнате, и Наталья Ивановна одна встретила брата. Она была в черном шелковом платье по талии, с красным бантом на груди, и черные волосы ее были взбиты и причесаны по-модному. Она, очевидно, старательно молодилась для ровесника-мужа. Увидав брата, она вскочила с дивана и быстрым шагом, свистя шелковой юбкой, вышла ему навстречу. Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, невыразимый словами, многозначительный обмен взглядов, в котором все было правда, и начался обмен слов, в котором уже не было той правды. Они не видались со смерти матери.

— Ты потолстела и помолодела,— сказал он.

У нее сморщились губы от удовольствия.

— А ты похудел.

— Ну, что Игнатий Никифорович? — спросил Нехлюдов.

— Он отдыхает. Он не спал ночь.

Много бы тут надо сказать, но слова ничего не сказали, а взгляды сказали, что то, что надо бы сказать, не сказано.

— Я была у тебя.

— Да, я знаю. Я уехал из дома. Мне велико, одино-

ко, скучно. А мне ничего этого не нужно, так что ты возьми это все, то есть мебель,— все вещи.

— Да, мне сказала Аграфена Петровна. Я была там. Очень тебе благодарна. Но...

В это время лакей гостиницы принес серебряный чайный прибор.

Они помолчали, покуда лакей расставлял чайный прибор. Наталья Ивановна перешла на кресло против столика и молча засыпала чай. Нехлюдов молчал.

— Ну, что же, Дмитрий, я все знаю,— с решительностью сказала Наташа, взглянув на него.

— Что ж, я очень рад, что ты знаешь.

— Ведь разве ты можешь надеяться исправить ее после такой жизни? — сказала Наталья Ивановна.

Он сидел, не облокотившись, прямо, на маленьком стуле и внимательно слушал ее, стараясь хорошенько понять и хорошенько ответить. Настроение, вызванное в нем последним свиданием с Масловой, еще продолжало наполнять его душу спокойной радостью и благорасположением ко всем людям.

— Я не ее исправить, а себя исправить хочу,— ответил он.

Наталья Ивановна вздохнула.

— Есть другие средства, кроме женитьбы.

— А я думаю, что это лучшее; кроме того, это вводит меня в тот мир, в котором я могу быть полезен.

— Я не думаю,— сказала Наталья Ивановна,— чтобы ты мог быть счастлив.

— Дело не в моем счастье.

— Разумеется, но она, если у ней есть сердце, не может быть счастлива, не может даже желать этого.

— Она и не желает.

— Я понимаю, но жизнь...

— Что жизнь?

— Требует другого.

— Ничего не требует, кроме того, чтобы мы делали, что должно,— сказал Нехлюдов, глядя в ее красивое еще, хотя и покрытое около глаз и рта мелкими морщинками, лицо.

— Не понимаю,— сказала она, вздохнув.

«Бедная, милая! Как она могла так измениться?» — думал Нехлюдов, вспоминая Наташу такою, какая она была не замужем, и испытывая к ней сплетенное из бесчисленных детских воспоминаний нежное чувство.

В это время в комнату вошел, как всегда, высоко

неся голову и выпятив широкую грудь, мягко и легко ступая и улыбаясь, Игнатий Никифорович, блестя своими очками, лысиной и черной бородой.

— Здравствуйте, здравствуйте,— проговорил он, делая ненатуральные сознательные ударения.

(Несмотря на то, что в первое время после женитьбы они старались сойтись на «ты», они остались на «вы».)

Они пожали друг другу руку, и Игнатий Никифорович легко опустился на кресло.

— Не помешаю я вашему разговору?

— Нет, я ни от кого не скрываю то, что говорю, и то, что делаю.

Как только Нехлюдов увидал это лицо, увидал эти волосатые руки, услыхал этот покровительственный, самоуверенный тон, кроткое настроение его мгновенно исчезло.

— Да, мы говорили про его намерение,— сказала Наталья Ивановна.— Налить тебе? — прибавила она, взявшись за чайник.

— Да, пожалуйста, какое, собственно, намерение?

— Ехать в Сибирь с той партией арестантов, в которой находится женщина, перед которой я считаю себя виноватым,— выговорил Нехлюдов.

— Я слышал, что не только сопровождать, но и более.

— Да, и жениться, если только она этого захочет.

— Вот как! Но если вам не неприятно, объясните мне ваши мотивы. Я не понимаю их.

— Мотивы те, что женщина эта... что первый шаг ее на пути разврата...— Нехлюдов рассердился на себя за то, что не находил выражения.— Мотивы те, что я виноват, а наказана она.

— Если наказана, то, вероятно, и она не невинна.

— Она совершенно невинна.

И Нехлюдов с ненужным волнением рассказал все дело.

— Да, это упущение председательствующего и потому необдуманность ответа присяжных. Но на этот случай есть сенат.

— Сенат отказал.

— А отказал, то, стало быть, не было основательных поводов кассации,— сказал Игнатий Никифорович, очевидно совершенно разделяя известное мнение о том, что истина есть продукт судоговорения.— Сенат не может

входить в рассмотрение дела по существу. Если же действительно есть ошибка суда, то тогда надо просить на высочайшее имя.

— Подано, но нет никакой вероятности успеха. Сделают справку в министерстве, министерство спросит сенат, сенат повторит свое решение, и, как обыкновенно, невинный будет наказан.

— Во-первых, министерство не будет спрашивать сенат,— с улыбкой снисхождения сказал Игнатий Никифорович,— а вытребует подлинное дело из суда и если найдет ошибку, то и даст заключение в этом смысле, а во-вторых, невинные никогда, или по крайней мере как самое редкое исключение, бывают наказаны. А наказываются виновные,— не торопясь, с самодовольной улыбкой говорил Игнатий Никифорович.

— А я так убедился в противном,— заговорил Нехлюдов с недобрым чувством к зятю,— я убедился, что бо́льшая половина людей, присужденных судами, невинна.

— Это как же?

— Невинны просто в прямом смысле слова, как невинна эта женщина в отравлении, как невинен крестьянин, которого я узнал теперь, в убийстве, которого он не совершал; как невинны сын и мать в поджоге, сделанном самим хозяином, которые чуть было не были обвинены.

— Да, разумеется, всегда были и будут судебные ошибки. Человеческое учреждение не может быть совершенно.

— А потом огромная доля невинных потому, что они, воспитавшись в известной среде, не считают совершаемые ими поступки преступлениями.

— Простите, это несправедливо; всякий вор знает, что воровство нехорошо и что не надо воровать, что воровство безнравственно,— со спокойной, самоуверенной, все той же, несколько презрительной улыбкой, которая особенно раздражала Нехлюдова, сказал Игнатий Никифорович.

— Нет, не знает; ему говорят: не воруй, а он видит и знает, что фабриканты крадут его труд, удерживая его плату, что правительство со всеми своими чиновниками, в виде податей, обкрадывает его не переставая.

— Это уже и анархизм,— спокойно определил Игнатий Никифорович значение слов своего шурина.

— Я не знаю, что это, я говорю, что есть,— продолжал Нехлюдов,— знает, что правительство обкрадывает его; знает, что мы, землевладельцы, обокрали его уже давно, отняв у него землю, которая должна быть общим достоянием, а потом, когда он с этой краденой земли соберет сучья на топку своей печи, мы его сажаем в тюрьму и хотим уверить его, что он вор. Ведь он знает, что вор не он, а тот, который украл у него землю, и что всякая restitution [1] того, что у него украдено, есть его обязанность перед своей семьей.

— Не понимаю, а если понимаю, то не согласен. Земля не может не быть чьей-нибудь собственностью. Если вы ее разделите,— начал Игнатий Никифорович с полной и спокойной уверенностью о том, что Нехлюдов социалист и что требования теории социализма состоят в том, чтобы разделить всю землю поровну, а что такое деление очень глупо, и он легко может опровергнуть его,— если вы ее нынче разделите поровну, завтра она опять перейдет в руки более трудолюбивых и способных.

— Никто и не думает делить землю поровну, земля не должна быть ничьей собственностью, не должна быть предметом купли и продажи или займа.

— Право собственности прирожденно человеку. Без права собственности не будет никакого интереса в обработке земли. Уничтожьте право собственности, и мы вернемся к дикому состоянию,— авторитетно произнес Игнатий Никифорович, повторяя тот обычный аргумент в пользу права земельной собственности, который считается неопровержимым и состоит в том, что жадность к земельной собственности есть признак ее необходимости.

— Напротив, только тогда земля не будет лежать впусте, как теперь, когда землевладельцы, как собака на сене, не допускают до земли тех, кто может, а сами не умеют эксплуатировать ее.

— Послушайте, Дмитрий Иванович, ведь это совершенное безумие! Разве возможно в наше время уничтожение собственности земли? Я знаю, это ваш давнишний dada [2]. Но позвольте мне сказать вам прямо...— И Игнатий Никифорович побледнел, и голос его задрожал: очевидно, этот вопрос близко трогал его.— Я бы

[1] возмещение *(фр.)*.
[2] конек *(фр.)*.

советовал вам обдумать этот вопрос хорошенько, прежде чем приступить к практическому разрешению его.

— Вы говорите про мои личные дела?

— Да. Я полагаю, что все мы, поставленные в известное положение, должны нести те обязанности, которые вытекают из этого положения, должны поддерживать те условия быта, в которых мы родились и унаследовали от наших предков и которые должны передать нашим потомкам.

— Я считаю своей обязанностью...

— Позвольте,— не давая себя перебить, продолжал Игнатий Никифорович,— я говорю не за себя и за своих детей. Состояние моих детей обеспечено, и я зарабатываю столько, что мы живем, и полагаю, что и дети будут жить безбедно, и потому мой протест против ваших поступков, позвольте сказать, не вполне обдуманных, вытекает не из личных интересов, а принципиально я не могу согласиться с вами. И советовал бы вам больше подумать, почитать...

— Ну, уж вы мне предоставьте решать мои дела самому и знать, что надо читать и что не надо,— сказал Нехлюдов, побледнев, и, чувствуя, что у него холодеют руки и он не владеет собой, замолчал и стал пить чай.

XXXIII

— Ну, что дети? — спросил Нехлюдов у сестры, немного успокоившись.

Сестра рассказала про детей, что они остались с бабушкой, с его матерью, и, очень довольная тем, что спор с ее мужем прекратился, стала рассказывать про то, как ее дети играют в путешествие, точно так же, как когда-то он играл с своими двумя куклами — с черным арапом и куклой, называвшейся француженкой.

— Неужели ты помнишь? — сказал Нехлюдов, улыбаясь.

— И представь себе, они точно так же играют.

Неприятный разговор кончился. Наташа успокоилась, но не хотела при муже говорить о том, что понятно было только брату, и, чтобы начать общий разговор, заговорила о дошедшей досюда петербургской новости — о горе матери-Каменской, потерявшей единственного сына, убитого на дуэли.

Игнатий Никифорович высказал неодобрение тому

порядку, при котором убийство на дуэли исключалось из ряда общих уголовных преступлений.

Это замечание его вызвало возражение Нехлюдова, и загорелся опять спор на ту же тему, где все было не договорено, и оба собеседника не высказались, а остались при своих взаимно осуждающих друг друга убеждениях.

Игнатий Никифорович чувствовал, что Нехлюдов осуждает его, презирая всю его деятельность, и ему хотелось показать ему всю несправедливость его суждений. Нехлюдов же, не говоря о досаде, которую он испытывал за то, что зять вмешивался в его дела с землею (в глубине души он чувствовал, что зять, и сестра, и их дети, как наследники его, имеют на это право), негодовал в душе на то, что этот ограниченный человек с полною уверенностью и спокойствием продолжал считать правильным и законным то дело, которое представлялось теперь Нехлюдову несомненно безумным и преступным. Самоуверенность эта раздражала Нехлюдова.

— Что же бы сделал суд? — спросил Нехлюдов.

— Приговорил бы одного из двух дуэлистов, как обыкновенных убийц, к каторжным работам.

У Нехлюдова опять похолодели руки, он горячо заговорил.

— Ну, и что ж бы было? — спросил он.

— Было б справедливо.

— Точно как будто справедливость составляет цель деятельности суда,— сказал Нехлюдов.

— Что же другое?

— Поддержание сословных интересов. Суд, по-моему, есть только административное орудие для поддержания существующего порядка вещей, выгодного нашему сословию.

— Это совершенно новый взгляд,— с спокойной улыбкой сказал Игнатий Никифорович.— Обыкновенно суду приписывается несколько другое назначение.

— Теоретически, а не практически, как я увидал. Суд имеет целью только сохранение общества в настоящем положении и для этого преследует и казнит как тех, которые стоят выше общего уровня и хотят поднять его, так называемые политические преступники, так и тех, которые стоят ниже его, так называемые преступные типы.

— Не могу согласиться, во-первых, с тем, чтобы преступники, так называемые политические, были каз-

нимы потому, что они стоят выше среднего уровня. Большей частью это отбросы общества, столь же извращенные, хотя несколько иначе, как и те преступные типы, которых вы считаете ниже среднего уровня.

— А я знаю людей, которые стоят несравненно выше своих судей; все сектанты — люди нравственные, твердые...

Но Игнатий Никифорович, с привычкой человека, которого не перебивают, когда он говорит, не слушал Нехлюдова и, тем особенно раздражая его, продолжал говорить в одно время с Нехлюдовым.

— Не могу согласиться и с тем, чтобы суд имел целью поддержание существующего порядка. Суд преследует свои цели: или исправления...

— Хорошо исправление в острогах,— вставил Нехлюдов.

— ...или устранения,— упорно продолжал Игнатий Никифорович,— развращенных и тех зверообразных людей, которые угрожают существованию общества.

— То-то и дело, что оно не делает ни того, ни другого. У общества нет средств делать это.

— Это как? Я не понимаю,— насильно улыбаясь, спросил Игнатий Никифорович.

— Я хочу сказать, что, собственно, разумных наказаний есть только два — те, которые употреблялись в старину: телесное наказание и смертная казнь, но которые вследствие смягчения нравов все более и более выходят из употребления,— сказал Нехлюдов.

— Вот это и ново и удивительно от вас слышать.

— Да, разумно сделать больно человеку, чтобы он вперед не делал того же, за что ему сделали больно, и вполне разумно вредному, опасному для общества члену отрубить голову. Оба эти наказания имеют разумный смысл. Но какой смысл имеет то, чтобы человека, развращенного праздностью и дурным примером, запереть в тюрьму, в условия обеспеченной и обязательной праздности, в сообщество самых развращенных людей? или перевезти зачем-то на казенный счет — каждый стоит более пятисот рублей — из Тульской губернии в Иркутскую или из Курской...

— Но, однако, люди боятся этих путешествий на казенный счет, и если бы не было этих путешествий и тюрем, мы бы не сидели здесь с вами, как сидим теперь.

— Не могут эти тюрьмы обеспечивать нашу безопасность, потому что люди эти сидят там не вечно и их

выпускают. Напротив, в этих учреждениях доводят этих людей до высшей степени порока и разврата, то есть увеличивают опасность.

— Вы хотите сказать, что пенитенциарная система должна быть усовершенствована.

— Нельзя ее усовершенствовать. Усовершенствованные тюрьмы стоили бы дороже того, что тратится на народное образование, и легли бы новою тяжестью на тот же народ.

— Но недостатки пенитенциарной системы никак не инвалидируют самый суд,— опять, не слушая шурина, продолжал свою речь Игнатий Никифорович.

— Нельзя исправить эти недостатки,— возвышая голос, говорил Нехлюдов.

— Так что ж? Надо убивать? Или, как один государственный человек предлагал, выкалывать глаза? — сказал Игнатий Никифорович, победоносно улыбаясь.

— Да, это было бы жестоко, но целесообразно. То же, что теперь делается, и жестоко и не только не целесообразно, но до такой степени глупо, что нельзя понять, как могут душевно здоровые люди участвовать в таком нелепом и жестоком деле, как уголовный суд.

— А я вот участвую в этом,— бледнея, сказал Игнатий Никифорович.

— Это ваше дело. Но я не понимаю этого.

— Я думаю, что вы многого не понимаете,— сказал дрожащим голосом Игнатий Никифорович.

— Я видел на суде, как товарищ прокурора всеми силами старался обвинить несчастного мальчика, который во всяком неизвращенном человеке мог возбудить только сострадание; знаю, как другой прокурор допрашивал сектанта и подводил чтение Евангелия под уголовный закон; да и вся деятельность судов состоит только в таких бессмысленных и жестоких поступках.

— Я бы не служил, если бы так думал,— сказал Игнатий Никифорович и встал.

Нехлюдов увидал особенный блеск под очками зятя. «Неужели это слезы?» — подумал Нехлюдов. И действительно, это были слезы оскорбления. Игнатий Никифорович, подойдя к окну, достал платок, откашливаясь, стал протирать очки и, сняв их, отер и глаза. Вернувшись к дивану, Игнатий Никифорович закурил сигару и больше ничего не говорил. Нехлюдову стало больно и стыдно за то, что он до такой степени огорчил зятя и сестру, в особенности потому, что он завтра уезжал и

больше не увидится с ними. В смущенном состоянии он простился с ними и поехал домой.

«Очень может быть, что правда то, что я говорил,— по крайней мере он ничего не возразил мне. Но не так надо было говорить. Мало же я изменился, если я мог так увлечься недобрым чувством и так оскорбить его и огорчить бедную Наташу»,— думал он.

XXXIV

Партия, в которой шла Маслова, отправлялась с вокзала в три часа, и потому, чтобы видеть выход партии из острога и с ней вместе дойти до вокзала железной дороги, Нехлюдов намеревался приехать в острог раньше двенадцати.

Укладывая вещи и бумаги, Нехлюдов остановился на своем дневнике, перечитал некоторые места и то, что было записано в нем последнее. Последнее перед отъездом в Петербург было записано: «Катюша не хочет моей жертвы, а хочет своей. Она победила, и я победил. Она радует меня той внутренней переменой, которая, мне кажется,— боюсь верить,— происходит в ней. Боюсь верить, но мне кажется, что она оживает». Тут же, вслед за этим, было написано: «Пережил очень тяжелое и очень радостное. Узнал, что она нехорошо вела себя в больнице. И вдруг сделалось ужасно больно. Не ожидал, как больно. С отвращением и ненавистью я говорил с ней и потом вдруг вспомнил о себе, о том, как я много раз и теперь был, хотя и в мыслях, виноват в том, за что ненавидел ее, и вдруг в одно и то же время я стал противен себе, а она жалка, и мне стало очень хорошо. Только бы всегда вовремя успеть увидать бревно в своем глазу, как бы мы были добрее». На нынешнее число он записал: «Был у Наташи и как раз от довольства собой был недобр, зол, и осталось тяжелое чувство. Ну, да что же делать? С завтрашнего дня новая жизнь. Прощай, старая, и совсем. Много набралось впечатлений, но все еще не могу свести к единству».

Проснувшись на другое утро, первым чувством Нехлюдова было раскаяние о том, что у него вышло с зятем.

«Так нельзя уезжать,— подумал он,— надо съездить к ним и загладить».

Но, взглянув на часы, он увидал, что теперь уже

некогда и надо торопиться, чтобы не опоздать к выходу партии. Второпях собравшись и послав с вещами швейцара и Тараса, мужа Федосьи, который ехал с ним, прямо на вокзал, Нехлюдов взял первого попавшегося извозчика и поехал в острог. Арестантский поезд шел за два часа до почтового, на котором ехал Нехлюдов, и потому он совсем рассчитался в своих номерах, не намереваясь более возвращаться.

Стояли тяжелые июльские жары. Не остывшие после душной ночи камни улиц, домов и железо крыш отдавали свое тепло в жаркий, неподвижный воздух. Ветра не было, а если он поднимался, то приносил насыщенный пылью и вонью масляной краски вонючий и жаркий воздух. Народа было мало на улицах, и те, кто были, старались идти в тени домов. Только черно-загорелые от солнца крестьяне-мостовщики в лаптях сидели посередине улиц и хлопали молотками по укладываемым в горячий песок булыжникам, да мрачные городовые, в небеленых кителях и с оранжевыми шнурками револьверов, уныло переминаясь, стояли посереди улиц, да завешанные с одной стороны от солнца конки, запряженные лошадьми в белых капорах, с торчащими в прорехах ушами, звеня, прокатывались вверх и вниз по улицам.

Когда Нехлюдов подъехал к острогу, партия еще не выходила, и в остроге все еще шла начавшаяся с четырех часов утра усиленная работа сдачи и приемки отправляемых арестантов. В отправлявшейся партии было шестьсот двадцать три мужчины и шестьдесят четыре женщины: всех надо было проверить по статейным спискам, отобрать больных и слабых и передать конвойным. Новый смотритель, два помощника его, доктор, фельдшер, конвойный офицер и писарь сидели у выставленного на дворе в тени стены стола с бумагами и канцелярскими принадлежностями и по одному перекликали, осматривали, опрашивали и записывали подходящих к ним друг за другом арестантов.

Стол теперь уже до половины был захвачен лучами солнца. Становилось жарко и в особенности душно от безветрия и дыхания толпы арестантов, стоявших тут же.

— Да что ж это, конца не будет! — говорил, затягиваясь папиросой, высокий толстый, красный, с поднятыми плечами и короткими руками, не переставая ку-

ривший в закрывавшие ему рот усы конвойный начальник.— Измучали совсем. Откуда вы их набрали столько? Много ли еще?

Писарь справился.

— Еще двадцать четыре человека да женщины.

— Ну, что стали, подходи!..— крикнул конвойный на теснившихся друг за другом, еще не проверенных арестантов.

Арестанты уже более трех часов стояли в рядах, и не в тени, а на солнце, ожидая очереди.

Работа эта шла внутри острога, снаружи же, у ворот, стоял, как обыкновенно, часовой с ружьем, десятка два ломовых под вещи арестантов и под слабых и у угла кучка родных и друзей, дожидающихся выхода арестантов, чтобы увидать и, если можно, поговорить и передать кое-что отправляемым. К этой кучке присоединился и Нехлюдов.

Он простоял тут около часа. В конце часа за воротами послышалось бряцанье цепей, звуки шагов, начальственные голоса, покашливание и негромкий говор большой толпы. Так продолжалось минут пять, во время которых входили и выходили в калитку надзиратели. Наконец послышалась команда.

С громом отворились ворота, бряцанье цепей стало слышнее, и на улицу вышли конвойные солдаты в белых кителях, с ружьями и — очевидно, как знакомый и привычный маневр,— расстановились правильным широким кругом перед воротами. Когда они установились, послышалась новая команда, и парами стали выходить арестанты в блинообразных шапках на бритых головах, с мешками за плечами, волоча закованные ноги и махая одной свободной рукой, а другой придерживая мешок за спиной. Сначала шли каторжные мужчины, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах. Все они — молодые, старые, худые, толстые, бледные, красные, черные, усатые, бородатые, безбородые, русские, татары, евреи — выходили, звеня кандалами и бойко махая рукой, как будто собираясь идти куда-то далеко, но, пройдя шагов десять, останавливались и покорно размещались, по четыре в ряд, друг за другом. Вслед за этими, без остановки, потекли из ворот такие же бритые, без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручнями, люди в таких же одеждах. Это были ссыльные... Они так же бойко выходили, останавливались и размещались также по четыре в ряд.

Потом шли общественники, потом женщины, тоже по порядку, сначала — каторжные, в острожных серых кафтанах и косынках, потом — женщины ссыльные и добровольно следующие, в своих городских и деревенских одеждах. Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов.

С женщинами шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Дети эти, как жеребята в табуне, жались между арестантками. Мужчины становились молча, только изредка покашливая или делая отрывистые замечания. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор. Нехлюдову показалось, что он узнал Маслову, когда она выходила; но потом она затерялась среди большого количества других, и он видел только толпу серых, как бы лишенных человеческого, в особенности женственного свойства существ с детьми и мешками, которые расстанавливались позади мужчин.

Несмотря на то, что всех арестантов считали в стенах тюрьмы, конвойные стали опять считать, сверяя с прежним счетом. Пересчитыванне это продолжалось долго, в особенности потому, что некоторые арестанты двигались, переходя с места на место, и тем путали счет конвойных. Конвойные ругали и толкали покорно, но злобно повинующихся арестантов и вновь пересчитывали. Когда всех вновь перечли, конвойный офицер скомандовал что-то, и в толпе произошло смятение. Слабые мужчины, женщины и дети, перегоняя друг друга, направились к подводам и стали размещать на них мешки и потом сами влезать на них. Влезали и садились женщины с кричащими грудными детьми, веселые, спорящие за места дети и унылые, мрачные арестанты.

Несколько арестантов, сняв шапки, подошли к конвойному офицеру, о чем-то прося его. Как потом узнал Нехлюдов, они просились на подводы. Нехлюдов видел, как конвойный офицер молча, не глядя на просителя, затягивался папиросой, и как потом вдруг замахнулся своей короткой рукой на арестанта, и как тот, втянув бритую голову в плечи, ожидая удара, отскочил от него.

— Я тебя так произведу в дворянство, что будешь помнить! Дойдешь пешком! — прокричал офицер.

Одного только шатающегося длинного старика в ножных кандалах офицер пустил на подводу, и Нехлюдов видел, как этот старик, сняв свою блинообразную шапку, крестился, направляясь к подводам, и как по-

том долго не мог влезть от кандалов, мешавших поднять слабую старческую закованную ногу, и как сидевшая уже на телеге баба помогла ему, втащив его за руку.

Когда подводы все наполнились мешками и на мешки сели те, которым это было разрешено, конвойный офицер снял фуражку, вытер платком лоб, лысину и красную толстую шею и перекрестился.

— Партия, марш! — скомандовал он.

Солдаты брякнули ружьями, арестанты, сняв шапки, некоторые левыми руками, стали креститься, провожавшие что-то прокричали, что-то прокричали в ответ арестанты, среди женщин поднялся вой, и партия, окруженная солдатами в белых кителях, тронулась, подымая пыль связанными цепями ногами. Впереди шли солдаты, за ними, бренча цепями, кандальные, по четыре в ряд, за ними ссыльные, потом общественники, скованные руками по двое наручнями, потом женщины. Потом уже ехали нагруженные и мешками и слабыми подводы, на одной из которых высоко сидела закутанная женщина и не переставая взвизгивала и рыдала.

XXXV

Шествие было так длинно, что когда передние уже скрылись из вида, подводы с мешками и слабыми только тронулись. Когда подводы тронулись, Нехлюдов сел на дожидавшегося его извозчика и велел ему обогнать партию, с тем чтобы рассмотреть среди нее, нет ли знакомых арестантов среди мужчин, и потом среди женщин найдя Маслову, спросить у нее, получила ли она посланные ей вещи. Стало очень жарко. Ветру не было, и поднимаемая тысячью ног пыль стояла все время над арестантами, двигавшимися по середине улицы. Арестанты шли скорым шагом, и нерысистая извозчичья лошадка, на которой ехал Нехлюдов, только медленно обгоняла их. Ряды за рядами шли незнакомые странного и страшного вида существа, двигавшиеся тысячами одинако обутых и одетых ног и в такт шагов махавшие, как бы бодря себя, свободными руками. Их было так много, так они были однообразны и в такие особенные странные условия они были поставлены, что Нехлюдову казалось, что это не люди, а какие-то особенные, страшные существа. Это впечатление разру-

шило в нем только то, что в толпе каторжных он узнал арестанта, убийцу Федорова, и среди ссыльных комика Охотина и еще одного бродягу, обращавшегося к нему. Все почти арестанты оглядывались, косясь на обгонявшую их пролетку и вглядывавшегося в них господина, сидевшего на ней. Федоров тряхнул головой кверху в знак того, что узнал Нехлюдова; Охотин подмигнул глазом. Но ни тот, ни другой не поклонились, считая это непозволенным. Поравнявшись с женщинами, Нехлюдов тотчас же увидал Маслову. Она шла во втором ряду женщин. С края шла раскрасневшаяся коротконогая черноглазая безобразная женщина, подтыкавши халат за пояс,— это была Хорошавка. Потом шла беременная женщина, насилу волочившая ноги, и третья была Маслова. Она несла мешок на плече и прямо глядела перед собой. Лицо ее было спокойно и решительно. Четвертая в ряду с ней была бодро шедшая молодая красивая женщина в коротком халате и по-бабьи подвязанной косынке,— это была Федосья. Нехлюдов слез с пролетки и подошел к двигавшимся женщинам, желая спросить Маслову о вещах и о том, как она себя чувствует, но конвойный унтер-офицер, шедший с этой стороны партии, тотчас же заметив подошедшего, подбежал к нему.

— Нельзя, господин, подходить к партии — не полагается,— кричал он, подходя.

Приблизившись и узнав в лицо Нехлюдова (в остроге уже все знали Нехлюдова), унтер-офицер приложил пальцы к фуражке и, остановившись подле Нехлюдова, сказал:

— Теперь нельзя. На вокзале можете, а здесь не полагается. Не отставай, марш! — крикнул он на арестантов и, бодрясь, несмотря на жару, рысью перебежал в своих новых щегольских сапогах к своему месту.

Нехлюдов вернулся на тротуар и, велев извозчику ехать за собой, пошел в виду партии. Где ни проходила партия, она повсюду обращала на себя смешанное с состраданием и ужасом внимание. Проезжающие высовывались из экипажей и, пока могли видеть, провожали глазами арестантов. Пешеходы останавливались и удивленно и испуганно смотрели на страшное зрелище. Некоторые подходили и подавали милостыню. Милостыню принимали конвойные. Некоторые, как загипнотизированные, шли за партией, но потом останавливались и, покачивая головами, только провожали партию гла-

вами. Из подъездов и ворот, призывая друг друга, выбегали и из окон вывешивались люди и неподвижно и молча глядели на страшное шествие. На одном из перекрестков партия помешала проехать богатой коляске. На козлах сидел с лоснящимся лицом толстозадый, с рядами пуговиц на спине, кучер, в коляске на заднем месте сидели муж с женой: жена, худая и бледная, в светлой шляпке, с ярким зонтиком, и муж в цилиндре и светлом щегольском пальто. Спереди против них сидели их дети: разубранная и свеженькая, как цветочек, девочка с распущенными белокурыми волосами, тоже с ярким зонтиком, и восьмилетний мальчик с длинной, худой шеей и торчащими ключицами, в матросской шляпе, украшенной длинными лентами. Отец сердито упрекал кучера за то, что он вовремя не объехал задержавшую их партию, а мать брезгливо щурилась и морщилась, закрываясь от солнца и пыли шелковым зонтиком, который она надвинула совсем на лицо. Толстозадый кучер сердито хмурился, выслушивая несправедливые упреки хозяина, который сам же велел ему ехать по этой улице, и с трудом удерживал лоснящихся, взмыленных под оголовками и шеей вороных жеребцов, просивших хода.

Городовой желал всей душой услужить владельцу богатой коляски и пропустить его, приостановив арестантов, но он чувствовал, что в этом шествии была мрачная торжественность, которую нельзя было нарушить даже и для такого богатого господина. Он только приложил руку к козырьку в знак своего уважения перед богатством и строго смотрел на арестантов, как бы обещаясь во всяком случае защитить от них седоков коляски. Так что коляска должна была дождаться прохождения всего шествия и тронулась только тогда, когда прогремел последний ломовой с мешками и сидящими на них арестантками, среди которых истерическая женщина, затихшая было, увидав богатую коляску, начала опять рыдать и взвизгивать. Только тогда слегка шевельнул вожжами кучер, и вороные рысаки, звеня подковами по мостовой, понесли мягко подрагивающую на резиновых шинах коляску на дачу, куда ехали веселиться муж, жена, девочка и мальчик с тонкой шеей и торчащими ключицами.

Ни отец, ни мать не дали ни девочке, ни мальчику объяснения того, что они видели. Так что дети должны были сами разрешить вопрос о значении этого зрелища.

Девочка, сообразив выражение лица отца и матери, разрешила вопрос так, что это были люди совсем другие, чем ее родители и их знакомые, что это были дурные люди и что потому с ними именно так и надо поступать, как поступлено с ними. И потому девочке было только страшно, и она рада была, когда этих людей перестало быть видно.

Но не смигивая и не спуская глаз смотревший на шествие арестантов мальчик с длинной, худой шеей решил вопрос иначе. Он знал еще твердо и несомненно, узнав это прямо от бога, что люди эти были точно такие же, как и он сам, как и все люди, и что поэтому над этими людьми было кем-то сделано что-то дурное — такое, чего не должно делать; и ему было жалко их, и он испытывал ужас и перед теми людьми, которые были закованы и обриты, и перед теми, которые их заковали и обрили. И оттого у мальчика все больше и больше распухали губы, и он делал большие усилия, чтобы не заплакать, полагая, что плакать в таких случаях стыдно.

XXXVI

Нехлюдов шел тем же скорым шагом, которым шли арестанты, но и легко одетому, в легком пальто ему было ужасно жарко, главное — душно от пыли и неподвижного горячего воздуха, стоявшего в улицах. Пройдя с четверть версты, он сел на извозчика и поехал вперед, но на середине улицы в пролетке ему показалось еще жарче. Он попытался вызвать в себе мысли о вчерашнем разговоре с зятем, но теперь эти мысли уже не волновали его, как утром. Их заслонили впечатления выхода из острога и шествия партии. Главное же — было томительно жарко. У забора, в тени деревьев, сняв фуражки, стояли два мальчика-реалиста над присевшим перед ними на коленки мороженником. Один из мальчиков уже наслаждался, обсасывая роговую ложечку, другой дожидался верхом накладываемого чем-то желтым стаканчика.

— Где бы тут напиться? — спросил Нехлюдов своего извозчика, почувствовав непреодолимое желание освежиться.

— Сейчас тут трактир хороший,— сказал извозчик и, завернув за угол, подвез Нехлюдова к подъезду с большой вывеской.

Пухлый приказчик в рубахе за стойкой и бывшие

когда-то белыми половые, за отсутствием посетителей сидевшие у столов, с любопытством оглядели непривычного гостя и предложили свои услуги. Нехлюдов спросил сельтерской воды и сел подальше от окна к маленькому столику с грязной скатертью.

Два человека сидели за столом за чайным прибором и белого стекла бутылкой, обтирали со лбов испарину и что-то миролюбиво высчитывали. Один из них был черный и плешивый, с таким же бордюром черных волос на затылке, какой был у Игнатья Никифоровича. Впечатление это напомнило Нехлюдову опять вчерашний разговор с зятем и свое желание повидаться с ним и сестрой до отъезда. «Едва ли успею до поезда,— подумал он.— Лучше напишу письмо». И, спросив бумаги, конверт и марку, он стал, прихлебывая свежую шипучую воду, обдумывать, что он напишет. Но мысли его разбегались, и он никак не мог составить письма.

«Милая Наташа, не могу уехать под тяжелым впечатлением вчерашнего разговора с Игнатьем Никифоровичем...» — начал он. «Что же дальше? Просить простить за то, что я вчера сказал? Но я сказал то, что думал. И он подумает, что я отрекаюсь. И потом это его вмешательство в мои дела... Нет, не могу»,— и, почувствовав поднявшуюся опять в нем ненависть к этому чуждому, самоуверенному, не понимающему его человеку, Нехлюдов положил неконченное письмо в карман и, расплатившись, вышел на улицу и поехал догонять партию.

Жара еще усилилась. Стены и камни точно дышали жарким воздухом. Ноги, казалось, обжигались о горячую мостовую, и Нехлюдов почувствовал что-то вроде ожога, когда он голой рукой дотронулся до лакированного крыла пролетки.

Лошадь вялой рысцой, постукивая равномерно подковами по пыльной и неровной мостовой, тащилась по улицам; извозчик беспрестанно задремывал; Нехлюдов же сидел, ни о чем не думая, равнодушно глядя перед собою. На спуске улицы, против ворот большого дома, стояла кучка народа и конвойный с ружьем. Нехлюдов остановил извозчика.

— Что это? — спросил он у дворника.

— С арестантом что-то.

Нехлюдов сошел с пролетки и подошел к кучке людей. На неровных камнях покатой у тротуара мостовой лежал головой ниже ног широкий немолодой арестант

с рыжей бородой, красным лицом и приплюснутым носом, в сером халате и таких же штанах. Он лежал навзничь, раскрыв ладонями книзу покрытые веснушками руки, и после больших промежутков, равномерно подергиваясь высокой и могучею грудью, всхлипывал, глядя на небо остановившимися, налитыми кровью глазами. Над ним стояли нахмуренный городовой, разносчик, почтальон, приказчик, старая женщина с зонтиком и стриженый мальчик с пустой корзиной.

— Ослабели, сидевши в за́мке, расслабли, а их ведут в самое пекло,— осуждал кого-то приказчик, обращаясь к подошедшему Нехлюдову.

— Помрет, должно,— говорила плачущим голосом женщина с зонтиком.

— Развязать рубаху надо,— сказал почтальон.

Городовой стал дрожащими толстыми пальцами неловко распускать тесемки на жилистой красной шее. Он был, видимо, взволнован и смущен, но все-таки счел нужным обратиться к толпе.

— Чего собрались? И так жарко. От ветра стали.

— Должен доктор свидетельствовать. Которых слабых оставлять. А то повели чуть живого,— говорил приказчик, очевидно щеголяя своим знанием порядков.

Городовой, развязав тесемки рубахи, выпрямился и оглянулся.

— Разойдитесь, говорю. Ведь не ваше дело, чего не видали? — говорил он, обращаясь за сочувствием к Нехлюдову, но, не встретив в его взгляде сочувствия, взглянул на конвойного.

Но конвойный стоял в стороне и, оглядывая свой сбившийся каблук, был совершенно равнодушен к затруднению городового.

— Чье дело, те не заботятся. Людей морить разве порядок?

— Арестант — арестант, а все человек,— говорили в толпе.

— Положите ему голову выше да воды дайте,— сказал Нехлюдов.

— За водой пошли,— отвечал городовой и, взяв под мышки арестанта, с трудом перетащил туловище повыше.

— Что за сборище? — послышался вдруг решительный, начальственный голос, и к собравшейся вокруг арестанта кучке людей быстрыми шагами подошел околоточный в необыкновенно чистом и блестящем кителе

и еще более блестящих высоких сапогах.— Разойтись! Нечего тут стоять! — крикнул он на толпу, еще не видя, зачем собралась толпа.

Подойдя же вплоть и увидав умирающего арестанта, он сделал одобрительный знак головой, как будто ожидая этого самого, и обратился к городовому:

— Как так?

Городовой доложил, что шла партия, и арестант упал, конвойный приказал оставить.

— Так что же? В участок надо. Извозчика.

— Побежал дворник,— сказал городовой, прикладывая руку к козырьку.

Приказчик что-то начал было о жаре.

— Твое дело это? А? Иди своей дорогой,— проговорил околоточный и так строго взглянул на него, что приказчик замолк.

— Воды надо дать выпить,— сказал Нехлюдов.

Околоточный строго взглянул и на Нехлюдова, но ничего не сказал. Когда же дворник принес в кружке воду, он велел городовому предложить арестанту. Городовой поднял завалившуюся голову и попытался влить воду в рот, но арестант не принимал ее; вода выливалась по бороде, моча на груди куртку и посконную пыльную рубаху.

— Вылей на голову! — скомандовал околоточный, и городовой, сняв блинообразную шапку, вылил воду и на рыжие курчавые волосы, и на голый череп.

Глаза арестанта, как будто испуганно, больше открылись, но положение его не изменилось. По лицу его текли грязные потоки от пыли, но рот так же равномерно всхлипывал, и все тело вздрагивало.

— А этот что ж? Взять этого,— обратился околоточный к городовому, указывая на нехлюдовского извозчика.— Давай! Эй, ты!

— Занят,— мрачно, не поднимая глаз, проговорил извозчик.

— Это мой извозчик,— сказал Нехлюдов,— но возьмите его. Я заплачу,— прибавил он, обращаясь к извозчику.

— Ну, чего стали? — крикнул околоточный.— Берись!

Городовой, дворники и конвойный подняли умирающего, понесли к пролетке и посадили на сиденье. Но он не мог сам держаться: голова его заваливалась назад, и все тело съезжало с сиденья.

— Клади лежмя! — скомандовал околоточный.

— Ничего, ваше благородие, я так довезу,— сказал городовой, твердо усаживаясь рядом с умирающим на сиденье и обхватывая его сильной правой рукой под мышку.

Конвойный поднял обутые в коты без подверток ноги и поставил и вытянул их под козла.

Околоточный оглянулся и, увидав на мостовой блинообразную шапку арестанта, поднял ее и надел на завалившуюся назад мокрую голову.

— Марш! — скомандовал он.

Извозчик сердито оглянулся, покачал головой и, сопутствуемый конвойным, тронулся шагом назад к частному дому. Сидевший с арестантом городовой беспрестанно перехватывал спускавшееся с качавшейся во все стороны головой тело. Конвойный, идя подле, поправлял ноги. Нехлюдов пошел за ними.

XXXVII

Подъехав к части мимо пожарного часового, пролетка с арестантом въехала во двор полицейской части и остановилась у одного из подъездов.

На дворе пожарные, засучив рукава, громко разговаривая и смеясь, мыли какие-то дроги.

Как только пролетка остановилась, несколько городовых окружили ее и подхватили безжизненное тело арестанта под мышки и ноги и сняли его с пищавшей под ними пролетки.

Привезший арестанта городовой, сойдя с пролетки, помахал закоченевшей рукой, снял фуражку и перекрестился. Мертвого же понесли в дверь и вверх по лестнице. Нехлюдов пошел за ним. В небольшой грязной комнате, куда внесли мертвого, было четыре койки. На двух сидели в халатах два больных, один косоротый с обвязанной шеей, другой чахоточный. Две койки были свободны. На одну из них положили арестанта. Маленький человечек с блестящими глазами и беспрестанно двигающимися бровями, в одном белье и чулках, быстрыми, мягкими шагами подошел к принесенному арестанту, посмотрел на него, потом на Нехлюдова и громко расхохотался. Это был содержавшийся в приемном покое сумасшедший.

— Хотят испугать меня,— заговорил он.— Только нет — не удастся.

Вслед за городовыми, внесшими мертвого, вошли околоточный и фельдшер.

Фельдшер, подойдя к мертвому, потрогал желтоватую, покрытую веснушками, еще мягкую, но уже мертвенно-бледную руку арестанта, подержал ее, потом пустил. Она безжизненно упала на живот мертвеца.

— Готов,— сказал фельдшер, мотнув головой, но, очевидно для порядка, раскрыл мокрую суровую рубаху мертвеца и, откинув от уха свои курчавые волосы, приложился к желтоватой неподвижной высокой груди арестанта. Все молчали. Фельдшер приподнялся, еще качнул головой и потрогал пальцем сначала одно, потом другое веко над открытыми голубыми остановившимися глазами.

— Не испугаете, не испугаете,— говорил сумасшедший, все время плюя по направлению фельдшера.

— Что ж? — спросил околоточный.

— Что ж? — повторил фельдшер.— В мертвецкую убрать надо.

— Смотрите, верно ли? — спросил околоточный.

— Пора знать,— сказал фельдшер, для чего-то закрывая раскрытую грудь мертвеца.— Да я пошлю за Матвей Иванычем, пускай посмотрит. Петров, сходи,— сказал фельдшер и отошел от мертвеца.

— Снести в мертвецкую,— сказал околоточный.— А ты тогда приходи в канцелярию,— распишешься,— прибавил он конвойному, который все время не отставал от арестанта.

— Слушаю,— отвечал конвойный.

Городовые подняли мертвеца и понесли опять вниз по лестнице. Нехлюдов хотел идти за ними, но сумасшедший задержал его.

— Вы ведь не в заговоре, так дайте папиросочку,— сказал он.

Нехлюдов достал папиросочницу и дал ему. Сумасшедший, водя бровями, стал, очень быстро говоря, рассказывать, как его мучают внушениями.

— Ведь они все против меня и через своих медиумов мучают, терзают меня...

— Извините меня,— сказал Нехлюдов и, не дослушав его, вышел на двор, желая узнать, куда отнесут мертвого.

Городовые с своей ношей уже прошли весь двор и входили в подъезд подвала. Нехлюдов хотел подойти к ним, но околоточный остановил его.

— Вам что нужно?

— Ничего,— отвечал Нехлюдов.

— Ничего, так и ступайте.

Нехлюдов покорился и пошел к своему извозчику. Извозчик его дремал. Нехлюдов разбудил его и поехал опять к вокзалу.

Не отъехал он и ста шагов, как ему встретилась сопутствуемая опять конвойным с ружьем ломовая телега, на которой лежал другой, очевидно уже умерший арестант. Арестант лежал на спине на телеге, и бритая голова его с черной бородкой, покрытая блинообразной шапкой, съехавшей на лицо до носа, тряслась и билась при каждом толчке телеги. Ломовой извозчик в толстых сапогах правил лошадью, идя рядом. Сзади шел городовой. Нехлюдов тронул за плечо своего извозчика.

— Что делают! — сказал извозчик, останавливая лошадь.

Нехлюдов слез с пролетки и вслед за ломовым, опять мимо пожарного часового, вошел на двор участка. На дворе теперь пожарные уже кончили мыть дроги, и на их месте стоял высокий костлявый брандмайор с синим околышем и, заложив руки в карманы, строго смотрел на буланого с наеденной шеей жеребца, которого пожарный водил перед ним. Жеребец припадал на переднюю ногу, и брандмайор сердито говорил что-то стоявшему тут же ветеринару.

Околоточный стоял тут же. Увидав другого мертвеца, он подошел к ломовому.

— Где подняли? — спросил он, неодобрительно покачав головой.

— На Старой Горбатовской,— отвечал городовой.

— Арестант? — спросил брандмайор.

— Так точно.

— Второй нынче,— сказал околоточный.

— Ну, порядки! Да и жара же,— сказал брандмайор и, обратившись к пожарному, уводившему хромого буланого, крикнул: — В угловой денник поставь! Я тебя, сукина сына, научу, как лошадей калечить, какие дороже тебя, шельмы, стоят.

Мертвеца, так же как и первого, подняли с телеги городовые и понесли в приемный покой. Нехлюдов, как загипнотизированный, пошел за ними.

— Вам чего? — спросил его один городовой.

Он, не отвечая, шел туда, куда они несли мертвеца.

Сумасшедший, сидя на койке, жадно курил папиросу, которую ему дал Нехлюдов.

— А, вернулись! — сказал он и расхохотался. Увидав мертвеца, он поморщился.— Опять,— сказал он.— Надоели, ведь не мальчик я, правда? — вопросительно улыбаясь, обратился он к Нехлюдову.

Нехлюдов между тем смотрел на мертвеца, которого теперь никто не заслонял более и лицо которого, прежде скрытое шапкой, было все видно. Как тот арестант был безобразен, так этот был необыкновенно красив и лицом, и всем телом. Это был человек в полном расцвете сил. Несмотря на изуродованную бритьем половину головы, невысокий крутой лоб с возвышениями над черными, теперь безжизненными глазами был очень красив, так же как и небольшой с горбинкой нос над тонкими черными усами. Синеющие теперь губы были сложены в улыбку; небольшая бородка только окаймляла нижнюю часть лица, и на бритой стороне черепа было видно небольшое крепкое и красивое ухо. Выражение лица было и спокойное, и строгое, и доброе. Не говоря уже о том, что по лицу этому видно было, какие возможности духовной жизни были погублены в этом человеке,— по тонким костям рук и скованных ног и по сильным мышцам всех пропорциональных членов видно было, какое это было прекрасное, сильное, ловкое человеческое животное, как животное, в своем роде гораздо более совершенное, чем тот буланый жеребец, за порчу которого так сердился брандмайор. А между тем его заморили, и не только никто не жалел его как человека,— никто не жалел его как напрасно погубленное рабочее животное. Единственное чувство, вызываемое во всех людях его смертью, было чувство досады за хлопоты, которые доставляла необходимость устранить это угрожающее разложением тело.

В приемный покой вошли доктор с фельдшером и частный. Доктор был плотный коренастый человек в чесучовом пиджаке и таких же узких, обтягивавших ему мускулистые ляжки панталонах. Частный был маленький толстяк с шарообразным красным лицом, которое делалось еще круглее от его привычки набирать в щеки воздух и медленно выпускать его. Доктор подсел на койку к мертвецу, так же как и фельдшер, потрогал руки, послушал сердце и встал, обдергивая панталоны.

— Мертвее не бывают,— сказал он.

Частный набрал полный рот воздуха и медленно выпустил его.

— Из какого за́мка? — обратился он к конвойному.

Конвойный ответил и напомнил о кандалах, которые были на умершем.

— Прикажу снять; слава богу, кузнецы есть,— сказал частный и, опять раздув щеки, пошел к двери, медленно выпуская воздух.

— Отчего же это так? — обратился Нехлюдов к доктору.

Доктор посмотрел на него через очки.

— Что отчего так? Что помирают от солнечного удара? А так, сидя без движения, без света всю зиму, и вдруг на солнце, да в такой день, как нынче, да идут толпою, притока воздуха нет. Вот и удар.

— Так зачем же их посылают?

— А это вы их спросите. Да вы, собственно, кто?

— Я посторонний.

— А-а!.. Мое почтение, мне некогда,— сказал доктор и, с досадой отдернув вниз панталоны, направился к койкам больных.

— Ну, твои дела как? — обратился он к косоротому бледному человеку с обвязанной шеей.

Сумасшедший между тем сидел на своей койке и, перестав курить, плевал по направлению доктора.

Нехлюдов сошел вниз на двор и мимо пожарных лошадей, и кур, и часового в медном шлеме прошел в ворота, сел на своего опять заснувшего извозчика и поехал на вокзал.

XXXVIII

Когда Нехлюдов приехал на вокзал, арестанты уже все сидели в вагонах за решетчатыми окнами. На платформе стояло несколько человек провожавших: их не подпускали к вагонам. Конвойные нынче были особенно озабочены. В пути от острога к вокзалу упало и умерло от удара, кроме тех двух человек, которых видел Нехлюдов, еще три человека: один был свезен, так же как первые два, в ближайшую часть, и два упали уже здесь, на вокзале [1]. Озабочены конвойные были не тем, что

[1] В начале 80-х годов пять человек арестантов умерло в один день от солнечного удара, в то время как их переводили из Бутырского замка на вокзал Нижегородской железной дороги. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

умерло под их конвоем пять человек, которые могли бы быть живы. Это их не занимало, а занимало их только то, чтобы исполнить все то, что по закону требовалось в этих случаях: сдать куда следует мертвых и их бумаги и вещи и исключить их из счета тех, которых надо везти в Нижний, а это было очень хлопотно, особенно в такую жару.

И этим-то и были заняты конвойные и потому, пока все это не было сделано, не пускали Нехлюдова и других, просивших об этом, подойти к вагонам. Нехлюдова, однако, все-таки пустили, потому что он дал денег конвойному унтер-офицеру. Унтер-офицер этот пропустил Нехлюдова и просил его только поскорее переговорить и отойти, чтобы не видал начальник. Всех вагонов было восемнадцать, и все, кроме вагона начальства, были битком набиты арестантами. Проходя мимо окон вагонов, Нехлюдов прислушивался к тому, что происходило в них. Во всех вагонах слышался звон цепей, суетня, говор, пересыпанный бессмысленным сквернословием, но нигде не говорилось, как того ожидал Нехлюдов, об упавших дорогой товарищах. Речи касались больше мешков, воды для питья и выбора места. Заглянув в окно одного из вагонов, Нехлюдов увидал в середине его, в проходе, конвойных, которые снимали с арестантов наручни. Арестанты протягивали руки, и один конвойный ключом отпирал замок на наручнях и снимал их. Другой собирал наручни. Пройдя все мужские вагоны, Нехлюдов подошел к женским. Во втором из них слышался равномерный женский стон с приговорами: «О-о-о! батюшки, о-о-о! батюшки!»

Нехлюдов прошел мимо и, по указанию конвойного, подошел к окну третьего вагона. Из окна, как только Нехлюдов приблизил к нему голову, пахнуло жаром, насыщенным густым запахом человеческих испарений, и явственно послышались визгливые женские голоса. На всех лавках сидели раскрасневшиеся потные женщины в халатах и кофтах и звонко переговаривались. Приблизившееся к решетке лицо Нехлюдова обратило их внимание. Ближайшие замолкли и подвинулись к нему. Маслова в одной кофте и без косынки сидела у противоположного окна. Ближе сюда сидела белая улыбающаяся Федосья. Узнав Нехлюдова, она толкнула Маслову и рукой показала ей на окно. Маслова поспешно встала, накинула на черные волосы косынку и

с оживившимся красным и потным улыбающимся лицом подошла к окну и взялась за решетку.

— И жарко же,— сказала она, радостно улыбаясь.

— Получили вещи?

— Получила, благодарю.

— Не нужно ли чего? — спросил Нехлюдов, чувствуя, как, точно из каменки, несет жаром из раскаленного вагона.

— Ничего не нужно, благодарю.

— Напиться бы,— сказала Федосья.

— Да, напиться бы,— повторила Маслова.

— Да разве у вас нет воды?

— Ставят, да всю выпили.

— Сейчас,— сказал Нехлюдов,— я попрошу конвойного. Теперь до Нижнего не увидимся.

— А вы разве едете? — как будто не зная этого, сказала Маслова, радостно взглянув на Нехлюдова.

— Еду с следующим поездом.

Маслова ничего не сказала и только через несколько секунд глубоко вздохнула.

— Что ж это, барин, правда, что двенадцать человек арестантов уморили до смерти? — сказала грубым мужицким голосом старая суровая арестантка.

Это была Кораблева.

— Я не слышал, что двенадцать. Я видел двух,— сказал Нехлюдов.

— Сказывают, двенадцать. Ужли ж им ничего за это не будет? То-то дьяволы!

— А из женщин никто не заболел? — спросил Нехлюдов.

— Бабы тверже,— смеясь, сказала другая низенькая арестантка,— только вот одна рожать вздумала. Вот заливается,— сказала она, указывая на соседний вагон, из которого слышались все те же стоны.

— Вы говорите, не надо ли чего,— сказала Маслова, стараясь удержать губы от радостной улыбки,— нельзя ли эту женщину оставить, а то мучается. Вот бы сказали начальству.

— Да, я скажу.

— Да вот еще нельзя ли ей Тараса, мужа своего, повидать,— прибавила она, глазами указывая на улыбающуюся Федосью.— Ведь он с вами едет.

— Господин, нельзя разговаривать,— послышался голос конвойного унтер-офицера. Это был не тот, который пустил Нехлюдова.

Нехлюдов отошел и пошел искать начальника, чтоб просить его о рожающей женщине и о Тарасе, но долго не мог найти его и добиться ответа от конвойных. Они были в большой суете: одни вели куда-то какого-то арестанта, другие бегали закупать себе провизию и размещали свои вещи по вагонам, третьи прислуживали даме, ехавшей с конвойным офицером, и неохотно отвечали на вопросы Нехлюдова.

Нехлюдов увидал конвойного офицера уже после второго звонка. Офицер, обтирая своей короткой рукой закрывавшие ему рот усы и подняв плечи, выговаривал за что-то фельдфебелю.

— Вам что, собственно, надо? — спросил он Нехлюдова.

— У вас женщина рожает в вагоне, так я думал, надо бы...

— Ну и пускай рожает. Тогда видно будет,— сказал конвойный, проходя в свой вагон и бойко размахивая своими короткими руками.

В это время прошел кондуктор с свистком в руке; послышался последний звонок, свисток, и среди провожавших на платформе и в женском вагоне послышался плач и причитанья. Нехлюдов стоял рядом с Тарасом на платформе и смотрел, как один за другим тянулись мимо него вагоны с решетчатыми окнами и виднеющимися из них бритыми головами мужчин. Потом поравнялся первый женский вагон, в окне которого видны были головы простоволосых и в косынках женщин; потом второй вагон, в котором слышался все тот же стон женщины, потом вагон, в котором была Маслова. Она вместе с другими стояла у окна и смотрела на Нехлюдова и жалостно улыбалась ему.

XXXIX

До отхода пассажирского поезда, с которым ехал Нехлюдов, оставалось два часа. Нехлюдов сначала думал в этот промежуток съездить еще к сестре, но теперь, после впечатлений этого утра, почувствовал себя до такой степени взволнованным и разбитым, что, сев на диванчик первого класса, совершенно неожиданно почувствовал такую сонливость, что повернулся на бок, положил под щеку ладонь и тотчас же заснул.

Его разбудил лакей во фраке, с значком и салфеткой.

— Господин, господин, не вы ли будете Нехлюдов, князь? Барыня вас ищут.

Нехлюдов вскочил, протирая глаза, и вспомнил, где он и все то, что было в нынешнее утро.

В его воспоминании были: шествие арестантов, мертвецы, вагоны с решетками и запертые там женщины, из которых одна мучается без помощи родами, а другая жалостно улыбается ему из-за железной решетки. В действительности же было перед ним совсем другое: уставленный бутылками, вазами, канделябрами и приборами стол, снующие около стола проворные лакеи. В глубине залы перед шкафом, за вазами с плодами и бутылками, буфетчик и спины подошедших к буфету отъезжающих.

В то время как Нехлюдов переменял лежачее положение на сидячее и понемногу опоминался, он заметил, что все бывшие в комнате с любопытством смотрели на что-то происходившее в дверях. Он посмотрел туда же и увидал шествие людей, несших на кресле даму в воздушном покрывале, окутывающем ей голову. Передний носильщик был лакей и показался знакомым Нехлюдову. Задний был тоже знакомый швейцар с галуном на фуражке. Позади кресла шла элегантная горничная в фартуке и кудряшках и несла узелок, какой-то круглый предмет в кожаном футляре и зонтики. Еще позади, с своими брылами и апоплексической шеей, выпятив грудь, шел князь Корчагин в дорожной фуражке и еще сзади — Мисси, Миша, двоюродный брат, и знакомый Нехлюдову дипломат Остен с своей длинной шеей, выдающимся кадыком и всегда веселым видом и настроением. Он шел, что-то внушительно, но, очевидно, шутовски досказывая улыбавшейся Мисси. Сзади шел доктор, сердито куря папиросу.

Корчагины переезжали из своего подгородного имения к сестре княгини в ее имение по Нижегородской дороге.

Шествие носильщиков, горничной и доктора проследовало в дамскую комнату, вызывая любопытство и уважение всех присутствующих. Старый же князь, присев к столу, тотчас же подозвал к себе лакея и стал что-то заказывать ему. Мисси с Остеном тоже остановились в столовой и только что хотели сесть, как увидали в дверях знакомую и пошли ей навстречу. Знакомая эта была Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, сопутствуемая Аграфеной Петровной, оглядываясь по сторонам, входила в столовую. Она почти в одно и то же время уви-

дала Мисси и брата. Она прежде подошла к Мисси, только кивнув головой Нехлюдову; но, поцеловавшись с Мисси, тотчас же обратилась к нему.

— Наконец-то я нашла тебя,— сказала она.

Нехлюдов встал, поздоровался с Мисси, Мишей и Остеном и остановился, разговаривая. Мисси рассказала ему про пожар их дома в деревне, заставивший их переезжать к тетке. Остен по этому случаю стал рассказывать смешной анекдот про пожар.

Нехлюдов, не слушая Остена, обратился к сестре.

— Как я рад, что ты приехала,— сказал он.

— Я уже давно приехала,— сказала она.— Мы с Аграфеной Петровной.— Она указала на Аграфену Петровну, которая в шляпе и ватерпруфе с ласковым достоинством издалека конфузливо поклонилась Нехлюдову, не желая мешать ему.— Везде искали тебя.

— А я тут заснул. Как я рад, что ты приехала,— повторил Нехлюдов.— Я письмо тебе начал писать,— сказал он.

— Неужели? — сказала она испуганно.— О чем же?

Мисси с своими кавалерами, заметив, что между братом и сестрой начинается интимный разговор, отошла в сторону. Нехлюдов же с сестрой сели у окна на бархатный диванчик подле чьих-то вещей, пледа и картонки.

— Я вчера, когда ушел от вас, хотел вернуться и покаяться, но не знал, как он примет,— сказал Нехлюдов.— Я нехорошо говорил с твоим мужем, и меня это мучало,— сказал он.

— Я знала, я уверена была,— сказала сестра,— что ты не хотел. Ведь ты знаешь...

И слезы выступили у ней на глаза, и она коснулась его руки. Фраза эта была неясна, но он понял ее вполне и был тронут тем, что́ она означала. Слова ее означали то, что, кроме ее любви, владеющей всею ею,— любви к своему мужу, для нее важна и дорога ее любовь к нему, к брату, и что всякая размолвка с ним — для нее тяжелое страдание.

— Спасибо, спасибо тебе... Ах, что я видел нынче,— сказал он, вдруг вспомнив второго умершего арестанта.— Два арестанта убиты.

— Как убиты?

— Так убиты. Их повели в этот жар. И два умерло от солнечного удара.

— Не может быть! как? нынче? сейчас?

— Да, сейчас. Я видел их трупы.

— Но отчего убили? Кто убил? — сказала Наталья Ивановна.

— Убили те, кто насильно вели их,— раздраженно сказал Нехлюдов, чувствуя, что она смотрит и на это дело глазами своего мужа.

— Ах, боже мой! — сказала Аграфена Петровна, подошедшая ближе к ним.

— Да, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делается с этими несчастными, а надо это знать,— прибавил Нехлюдов, глядя на старого князя, который, завязавшись салфеткой, сидел у стола за крюшоном и в это самое время оглянулся на Нехлюдова.

— Нехлюдов! — крикнул он,— хотите прохладиться? На дорогу отлично!

Нехлюдов отказался и отвернулся.

— Но что же ты сделаешь? — продолжала Наталья Ивановна.

— Что могу. Я не знаю, но чувствую, что должен что-то сделать. И что могу, то сделаю.

— Да, да, я это понимаю. Ну, а с этими,— сказала она, улыбаясь и указывая глазами на Корчагина,— неужели совсем кончено?

— Совсем, и я думаю, что с обеих сторон без сожаления.

— Жаль. Мне жаль. Я ее люблю. Но положим, что это так. Но для чего ты хочешь связать себя? — прибавила она робко.— Для чего ты едешь?

— Еду потому, что так должно,— серьезно и сухо сказал Нехлюдов, как бы желая прекратить этот разговор.

Но сейчас же ему стало совестно за свою холодность к сестре. «Отчего не сказать ей всего, что я думаю? — подумал он.— И пускай и Аграфена Петровна услышит»,— сказал он себе, взглянув на старую горничную. Присутствие Аграфены Петровны еще более поощряло его повторить сестре свое решение.

— Ты говоришь о моем намерении жениться на Катюше? Так видишь ли, я решил это сделать, но она определенно и твердо отказала мне,— сказал он, и голос его дрогнул, как дрожал всегда, когда он говорил об этом.— Она не хочет моей жертвы и сама жертвует, для нее, в ее положении, очень многим, и я не могу принять этой жертвы, если это минутное. И вот я еду за ней и буду там, где она будет, и буду, сколько могу, помогать, облегчать ее участь.

Наталья Ивановна ничего не сказала. Аграфена Петровна вопросительно глядела на Наталью Ивановну и покачивала головой. В это время из дамской комнаты вышло опять шествие. Тот же красавец лакей Филипп и швейцар несли княгиню. Она остановила носильщиков, подманила к себе Нехлюдова и, жалостно изнывая, подала ему белую, в перстнях руку, с ужасом ожидая твердого пожатия.

— Epouvantable! [1] — сказала она про жару.— Я не переношу этого. Ce climat me tue [2].— И, поговорив об ужасах русского климата и пригласив Нехлюдова приехать к ним, она дала знак носильщикам.— Так непременно приезжайте,— прибавила она, на ходу оборачивая свое длинное лицо к Нехлюдову.

Нехлюдов вышел на платформу. Шествие княгини направилось направо, к первому классу. Нехлюдов же с артельщиком, несшим вещи, и Тарасом с своим мешком пошли налево.

— Вот это мой товарищ,— сказал Нехлюдов сестре, указывая на Тараса, историю которого он рассказывал ей прежде.

— Да неужели в третьем классе? — спросила Наталья Ивановна, когда Нехлюдов остановился против вагона третьего класса и артельщик с вещами и Тарас вошли в него.

— Да мне удобнее, я с Тарасом вместе,— сказал он.— Да вот еще что,— прибавил он,— до сих пор я еще не отдал в Кузминском землю крестьянам, так что в случае моей смерти твои дети наследуют.

— Дмитрий, перестань,— сказала Наталья Ивановна.

— Если же я и отдам, то одно, что могу сказать, это то, что все остальное будет их, так как едва ли я женюсь, а если женюсь, то не будет детей... так что...

— Дмитрий, пожалуйста, не говори этого,— говорила Наталья Ивановна, а между тем Нехлюдов видел, что она была рада слышать то, что он сказал.

Впереди, перед первым классом, стояла только небольшая толпа народа, все еще смотревшая на тот вагон, в который внесли княгиню Корчагину. Остальной народ был уже весь по местам. Запоздавшие пассажиры, торопясь, стучали по доскам платформы, кондуктора

---

[1] Ужасно! *(фр.)*

[2] Этот климат меня убивает *(фр.)*.

захлопывали дверцы и приглашали едущих садиться, а провожающих выходить.

Нехлюдов вошел в накаленный солнцем жаркий и вонючий вагон и тотчас же вышел на тормоз.

Наталья Ивановна стояла против вагона в своей модной шляпе и накидке рядом с Аграфеной Петровной и, очевидно, искала предмета разговора и не находила. Нельзя даже было сказать: «Ecrivez» [1], потому что они уже давно с братом смеялись над этой обычной фразой уезжающих. Тот коротенький разговор о денежных делах и наследстве сразу разрушил установившиеся было между ними нежно-братские отношения; они чувствовали себя теперь отчужденными друг от друга. Так что Наталья Ивановна была рада, когда поезд тронулся, и можно было только, кивая головой, с грустным и ласковым лицом говорить: «Прощай, ну, прощай, Дмитрий!» Но как только вагон отъехал, она подумала о том, как передаст она мужу свой разговор с братом, и лицо ее стало серьезно и озабоченно.

И Нехлюдову, несмотря на то, что он ничего, кроме самых добрых чувств, не питал к сестре и ничего не скрывал от нее, теперь было тяжело, неловко с ней и хотелось поскорее освободиться от нее. Он чувствовал, что нет больше той Наташи, которая когда-то была так близка ему, а есть только раба чуждого ему и неприятного черного волосатого мужа. Он ясно увидал это, потому что лицо ее осветилось особенным оживлением только тогда, когда он заговорил про то, что занимало ее мужа,— про отдачу земли крестьянам, про наследство. И это было грустно ему.

XL

Жара в накаленном в продолжение целого дня солнцем и полном народа большом вагоне третьего класса была такая удушливая, что Нехлюдов не пошел в вагон, а остался на тормозе. Но и тут дышать нечем было, и Нехлюдов вздохнул всею грудью только тогда, когда вагоны выкатились из-за домов и подул сквозной ветер. «Да, убили»,— повторил он себе слова, сказанные сестре. И в воображении его из-за всех впечатлений нынешнего дня с необыкновенной живостью возникло

[1] Пишите *(фр.)*.

прекрасное лицо второго мертвого арестанта с улыбающимся выражением губ, строгим выражением лба и небольшим крепким ухом под бритым синеющим черепом. «И что ужаснее всего, это то, что убили, и никто не знает, кто его убил. А убили. Повели его, как и всех арестантов, по распоряжению Масленникова. Масленников, вероятно, сделал свое обычное распоряжение, подписал с своим дурацким росчерком бумагу с печатным заголовком и, конечно, уж никак не сочтет себя виноватым. Еще меньше может счесть себя виноватым осторожный доктор, свидетельствовавший арестантов. Он аккуратно исполнил свою обязанность, отделил слабых и никак не мог предвидеть ни этой страшной жары, ни того, что их поведут так поздно и такой кучей. Смотритель?.. Но смотритель только исполнил предписание о том, чтобы в такой-то день отправить столько-то каторжных, ссыльных, мужчин, женщин. Тоже не может быть виноват и конвойный, которого обязанность состояла в том, чтобы счетом принять там-то столько-то и там-то сдать столько же. Вел он партию, как обыкновенно и как полагается, и никак не мог предвидеть, что такие сильные люди, как те два, которых видел Нехлюдов, не выдержат и умрут. Никто не виноват, а люди убиты и убиты все-таки этими самыми не виноватыми в этих смертях людьми.

Сделалось все это оттого,— думал Нехлюдов,— что все эти люди — губернаторы, смотрители, околоточные, городовые — считают, что есть на свете такие положения, в которых человеческое отношение с человеком не обязательно. Ведь все эти люди — и Масленников, и смотритель, и конвойный,— все они, если бы не были губернаторами, смотрителями, офицерами, двадцать раз подумали бы о том, можно ли отправлять людей в такую жару и такой кучей, двадцать раз дорогой остановились бы и, увидав, что человек слабеет, задыхается, вывели бы его из толпы, свели бы его в тень, дали бы воды, дали бы отдохнуть и, когда случилось несчастье, выказали бы сострадание. Они не сделали этого, даже мешали делать это другим только потому, что они видели перед собой не людей и свои обязанности перед ними, а службу и ее требования, которые они ставили выше требований человеческих отношений. В этом все,— думал Нехлюдов.— Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае,

то нет преступления, которое нельзя бы было совершать над людьми, не считая себя виноватым».

Нехлюдов так задумался, что и не заметил, как погода переменилась: солнце скрылось за передовым низким, разорванным облаком, и с западного горизонта надвигалась сплошная светло-серая туча, уже выливавшаяся там, где-то далеко, над полями и лесами, косым спорым дождем. От тучи тянуло влажным дождевым воздухом. Изредка тучу разрезали молнии, и с грохотом вагонов все чаще и чаще смешивался грохот грома. Туча становилась ближе и ближе, косые капли дождя, гонимые ветром, стали пятнать площадку тормоза и пальто Нехлюдова. Он перешел на другую сторону и, вдыхая влажную свежесть и хлебный запах давно ждавшей дождя земли, смотрел на мимо бегущие сады, леса, желтеющие поля ржи, зеленые еще полосы овса и черные борозды темно-зеленого цветущего картофеля. Все как будто покрылось лаком: зеленое становилось зеленее, желтое — желтее, черное — чернее.

— Еще, еще! — говорил Нехлюдов, радуясь на оживающие под благодатным дождем поля, сады, огороды.

Сильный дождь лил недолго. Туча частью вылилась, частью пронеслась, и на мокрую землю падали уже последние прямые, частые, мелкие капли. Солнце опять выглянуло, все заблестело, а на востоке загнулась над горизонтом невысокая, но яркая, с выступающим фиолетовым цветом, прерывающаяся только в одном конце радуга.

«Да, о чем бишь я думал? — спросил себя Нехлюдов, когда все эти перемены в природе кончились, и поезд спустился в выемку с высокими откосами.— Да, я думал о том, что все эти люди: смотритель, конвойные, все эти служащие, большей частью кроткие, добрые люди, сделались злыми только потому, что они служат».

Он вспомнил равнодушие Масленникова, когда он говорил ему о том, что делается в остроге, строгость смотрителя, жестокость конвойного офицера, когда он не пускал на подводы и не обратил внимания на то, что в поезде мучается родами женщина. «Все эти люди, очевидно, были неуязвимы, непромокаемы для самого простого чувства сострадания только потому, что они служили. Они, как служащие, были непроницаемы для чувства человеколюбия, как эта мощеная земля для дождя,— думал Нехлюдов, глядя на мощенный разноцветными камнями скат выемки, по которому дождевая

вода не впитывалась в землю, а сочилась ручейками.— Может быть, и нужно укладывать камнями выемки, но грустно смотреть на эту лишенную растительности землю, которая бы могла родить хлеб, траву, кусты, деревья, как те, которые виднеются вверху выемки. То же самое и с людьми,— думал Нехлюдов,— может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно видеть людей, лишенных главного человеческого свойства — любви и жалости друг к другу.

Все дело в том,— думал Нехлюдов,— что люди эти признают законом то, что не есть закон, и не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим богом написанный в сердцах людей. От этого-то мне и бывает так тяжело с этими людьми,— думал Нехлюдов.— Я просто боюсь их. И действительно, люди эти страшны. Страшнее разбойников. Разбойник все-таки может пожалеть — эти же не могут пожалеть: они застрахованы от жалости, как эти камни от растительности. Вот этим-то они ужасны. Говорят, ужасны Пугачевы, Разины. Эти в тысячу раз ужаснее,— продолжал он думать.— Если бы была задана психологическая задача: как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими, то есть, чтобы, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми, как с вещами, без человеческого, братского отношения к ним, а вовторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно. Вне этих условий нет возможности в наше время совершения таких ужасных дел, как те, которые я видел нынче. Все дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви: можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви; но с людьми нельзя обращаться без любви, так же как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Таково свойство пчел. Если станешь обращаться с ними без осторожности, то им повредишь и себе. То же и с людьми. И это не может

быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой. Правда, что человек не может заставить себя любить, как он может заставить себя работать, но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к людям — сиди смирно,— думал Нехлюдов, обращаясь к себе,— занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Как есть можно без вреда и с пользой только тогда, когда хочется есть, так и с людьми можно обращаться с пользой и без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, как ты вчера обращался с зятем, и нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей, как это я видел сегодня, и нет пределов страдания для себя, как я узнал это из всей своей жизни. Да, да, это так,— думал Нехлюдов.— Это хорошо, хорошо!» — повторял он себе, испытывая двойное наслаждение — прохлады после мучительной жары и сознания достигнутой высшей ступени ясности в давно уже занимающем его вопросе.

XLI

Вагон, в котором было место Нехлюдова, был до половины полон народом. Были тут прислуга, мастеровые, фабричные, мясники, евреи, приказчики, женщины, жены рабочих, был солдат, были две барыни: одна молодая, другая пожилая с браслетами на оголенной руке и строгого вида господин с кокардой на черной фуражке. Все эти люди, уже успокоенные после размещения, сидели смирно, кто щелкая семечки, кто куря папиросы, кто ведя оживленные разговоры с соседями.

Тарас с счастливым видом сидел направо от прохода, оберегая место для Нехлюдова, и оживленно разговаривал с сидевшим против него мускулистым человеком в расстегнутой суконной поддевке, как потом узнал Нехлюдов, садовником, ехавшим на место. Не доходя до Тараса, Нехлюдов остановился в проходе подле почтенного вида старика с белой бородой, в нанковой поддевке, разговаривавшего с молодой женщиной в деревенской одежде. Рядом с женщиной сидела, далеко не доставая ногами до пола, семилетняя девочка в новом сарафанчике с косичкой почти белых волос и не переставая щелкала семечки. Оглянувшись на Нехлюдова, старик по-

добрал с глянцевитой лавки, на которой он сидел один, полу своей поддевки и ласково сказал:

— Пожалуйте садиться.

Нехлюдов поблагодарил и сел на указанное место. Как только Нехлюдов уселся, женщина продолжала прерванный рассказ. Она рассказывала про то, как ее в городе принял муж, от которого она теперь возвращалась.

— Об масленицу была, да вот, бог привел, теперь побывала,— говорила она.— Теперь, что бог даст, на рожество.

— Хорошее дело,— сказал старик, оглядываясь на Нехлюдова,— проведывать надо, а то человек молодой избалуется, в городе живучи.

— Нет, дедушка, мой — не такой человек. Не то что глупостей каких, он как красная девушка. Денежки все до копеечки домой посылает. А уж девчонке рад, рад был, что и сказать нельзя,— сказала женщина, улыбаясь.

Плевавшая семечки и слушавшая мать девочка, как бы подтверждая слова матери, взглянула спокойными, умными глазами в лицо старика и Нехлюдова.

— А умный, так и того лучше,— сказал старик.— А вот этим не займается? — прибавил он, указывая глазами на парочку — мужа с женой, очевидно фабричных, сидевших на другой стороне прохода.

Фабричный — муж, приставив ко рту бутылку с водкой, закинув голову, тянул из нее, а жена, держа в руке мешок, из которого вынута была бутылка, пристально смотрела на мужа.

— Нет, мой и не пьет и не курит,— сказала женщина, собеседница старика, пользуясь случаем еще раз похвалить своего мужа.— Таких людей, дедушка, мало земля родит. Вот он какой,— сказала она, обращаясь и к Нехлюдову.

— Чего лучше,— повторил старик, глядевший на пьющего фабричного.

Фабричный, отпив из бутылки, подал ее жене. Жена взяла бутылку и, смеясь и покачивая головой, приложила ее тоже ко рту. Заметив на себе взгляд Нехлюдова и старика, фабричный обратился к ним:

— Что, барин? Что пьем-то мы? Как работаем — никто не видит, а вот как пьем — все видят. Заработал — и пью и супругу потчую. И больше никаких.

— Да, да,— сказал Нехлюдов, не зная, что ответить.

— Верно, барин? Супруга моя женщина твердая! Я супругой доволен, потому что она меня может жалеть. Так я говорю, Мавра?

— Ну, на, возьми. Не хочу больше,— сказала жена, отдавая ему бутылку.— И что лопочешь без толку,— прибавила она.

— Вот так-то,— продолжал фабричный,— то хороша-хороша, а то и заскрипит, как телега немазаная. Мавра, так я говорю?

Мавра, смеясь, пьяным жестом махнула рукой.

— Ну, понес...

— Вот так-то, хороша-хороша, да до поры до времени, а попади ей вожжа под хвост, она то сделает, что и вздумать нельзя... Верно я говорю. Вы меня, барин, извините. Я выпил, ну, что же теперь делать...— сказал фабричный и стал укладываться спать, положив голову на колени улыбающейся жены.

Нехлюдов посидел несколько времени с стариком, который рассказал ему про себя, что он печник, пятьдесят три года работает и склал на своем веку печей что и счету нет, а теперь собирается отдохнуть, да все некогда. Был вот в городе, поставил ребят на дело, а теперь едет в деревню домашних проведать. Выслушав рассказ старика, Нехлюдов встал и пошел на то место, которое берег для него Тарас.

— Что ж, барин, садитесь. Мы мешок сюда примем,— ласково сказал, взглянув вверх, в лицо Нехлюдова, сидевший напротив Тараса садовник.

— В тесноте, да не в обиде,— сказал певучим голосом улыбающийся Тарас и, как перышко, своими сильными руками поднял свой двухпудовый мешок и перенес его к окну.— Места много, а то и постоять можно, и под лавкой можно. Уж на что покойно. А то вздорить! — говорил он, сияя добродушием и ласковостью.

Тарас говорил про себя, что когда он не выпьет, у него слов нет, а что у него от вина находятся слова хорошие и он все сказать может. И действительно, в трезвом состоянии Тарас больше молчал; когда же выпивал, что случалось с ним редко и только в особенных случаях, то делался особенно приятно разговорчив. Он говорил тогда и много и хорошо, с большой простотою, правдивостью и, главное, ласковостью, которая так и светилась из его добрых голубых глаз и не сходящей с губ приветливой улыбки.

В таком состоянии он был сегодня. Приближение

Нехлюдова на минуту остановило его речь. Но, устроив мешок, он сел по-прежнему и, положив сильные рабочие руки на колени, глядя прямо в глаза садовнику, продолжал свой рассказ. Он рассказывал своему новому знакомому во всех подробностях историю своей жены, за что ее ссылали, и почему он теперь ехал за ней в Сибирь.

Нехлюдов никогда не слыхал в подробности этого рассказа и потому с интересом слушал. Он застал рассказ в том месте, когда отравление уже совершилось и в семье узнали, что сделала это Федосья.

— Это я про свое горе рассказываю,— сказал Тарас, задушевно дружески обращаясь к Нехлюдову.— Человек такой попался душевный,— разговорились, я и сказываю.

— Да, да,— сказал Нехлюдов.

— Ну, вот таким манером, братец ты мой, узналось дело. Взяла матушка лепешку эту самую. «Иду, говорит, к уряднику». Батюшка у меня старик правильный. «Погоди, говорит, старуха, бабенка — робенок вовсе, сама не знала, что делала, пожалеть надо. Она, може, опамятуется». Куды тебе, не приняла слов никаких. «Пока мы ее держать будем, она, говорит, нас, как тараканов, изведет». Убралась, братец ты мой, к уряднику. Тот сейчас взбулгачился к нам... Сейчас понятых.

— Ну, а ты-то что? — спросил садовник.

— А я, братец ты мой, от живота валяюсь да блюю. Все нутро выворачивает, ничего и сказать не могу. Сейчас запряг батюшка телегу, посадил Федосью,— в стан, а оттуда к следователю. А она, братец ты мой, как спервначала повинилась во всем, так и следователю все, как есть, чередом и выложила. И где мышьяк взяла, и как лепешки скатала. «Зачем, говорит, ты сделала?» — «А потому, говорит, постылый он мне. Мне, говорит, Сибирь лучше, чем с ним жить», со мной, значит,— улыбаясь, говорил Тарас.— Повинилась, значит, во всем. Известное дело, в за́мок. Батюшка один вернулся. А тут рабочая пора подходит, а баба у нас — одна матушка, да и та уж плоха. Думали, как быть, нельзя ли на поруки выручить. Поехал батюшка к начальнику к одному — не вышло, он — к другому. Начальников этих он человек пять объездил. Совсем уж было бросили хлопотать, да напался тут человечек один, из приказных. Ловкач такой, что на редкость сыскать. «Давай, говорит,

пятерку — выручу». Сошлись на трешнице. Что ж, братец ты мой, я ее же холсты заложил, дал. Как написал он эту бумагу,— протянул Тарас, точно он говорил о выстреле,— сразу вышло. Я сам в те поры уж поднялся, сам за ней в город ездил. Приехал я, братец ты мой, в город. Сейчас кобылу на двор поставил, взял бумагу, прихожу в зáмок. «Чего тебе?» Так и так, говорю, хозяйка моя тут у вас заключена. «А бумага, говорит, есть?» Сейчас подал бумагу. Глянул он. «Подожди»,— говорит. Присел я тут на лавочке. Солнце уж заполдни перешло. Выходит начальник: «Ты, говорит, Варгушов?» — «Я самый».— «Ну, получай»,— говорит. Сейчас отворили ворота. Вывели ее в одежде в своей, как должно. «Что же, пойдем».— «А ты разве пешой?» — «Нет, я на лошади». Пришли на двор, расчелся я за постой и запряг кобылу, подбил сенца, что осталось, под веретье. Села она, укуталась платком. Поехали. Она молчит, и я молчу. Только стали подъезжать к дому, она и говорит: «А что, матушка жива?» Я говорю: «Жива».— «А батюшка жив?» — «Жив».— «Прости, говорит, меня, Тарас, за мою глупость. Я и сама не знала, что делала». А я говорю: «Много баить не подобаить — я давно простил». Больше и говорить не стал. Приехали домой, сейчас она матушке в ноги. Матушка говорит: «Бог простит». А батюшка поздоровкался и говорит: «Что старое поминать. Живи как получше. Нынче, говорит, время не такое, с поля убираться надо. За скородным, говорит, на навозном осьминнике рожь-матушка такая, бог дал, родилась, что и крюк не берет, переплелась вся и полегла постелью. Выжать надо. Вот ты с Тараской поди завтра пожнись». И взялась она, братец ты мой, с того часа работать. Да так работать стала, что на удивление. У нас тогда три десятины наемные были, а бог дал, что рожь, что овес уродились на редкость. Я кошу, она вяжет, а то оба жнем. Я на работу ловок, из рук не вывалится, а она еще того ловчее, за что ни возьмется. Баба ухватистая да молодая, в соку. И к работе, братец ты мой, такая завистливая стала, что уж я ее укорачиваю. Придем домой, пальцы раздуются, руки гудут, отдохнуть бы надо, а она, не ужинамши, бежит в сарай, на утро свясла готовит. Что сделалось!

— И что ж, и к тебе ласкова стала? — спросил садовник.

— И не говори, так присмолилась ко мне, что как

одна душа. Что я вздумаю, она понимает. Уж и матушка, на что сердита, и та говорит: «Федосью нашу точно подменили, совсем другая баба стала». Едем раз надвоем за снопами, в одной передней сидим с ней. Я и говорю: «Как же ты это, Федосья, то дело вздумала?» — «А как вздумала, говорит, не хотела с тобой жить. Лучше, думаю, умру, да не стану».— «Ну, а теперь?» — говорю. «А теперь, говорит, ты у меня у сердце».— Тарас остановился и, радостно улыбаясь, удивленно покачал головой.— Только убрались с поля, повез я пеньку мочить, приезжаю домой,— подождал он, помолчав,— глядь, повестка — судить. А мы и думать забыли, за что судить-то.

— Не иначе это, что нечистый,— сказал садовник,— разве сам человек может вздумать душу загубить? Так-то у нас человек один...— И садовник начал было рассказывать, но поезд стал останавливаться.

— Никак, станция,— сказал он,— пойти напиться.

Разговор прекратился, и Нехлюдов вслед за садовником вышел из вагона на мокрые доски платформы.

XLII

Нехлюдов, еще не выходя из вагона, заметил на дворе станции несколько богатых экипажей, запряженных четвернями и тройками сытых, побрякивающих бубенцами лошадей; выйдя же на потемневшую от дождя мокрую платформу, он увидал перед первым классом кучку народа, среди которой выделялась высокая толстая дама в шляпе с дорогими перьями, в ватерпруфе, и длинный молодой человек с тонкими ногами, в велосипедном костюме, с огромной сытой собакой в дорогом ошейнике. За ними стояли лакеи с плащами и зонтиками и кучер, вышедшие встречать. На всей этой кучке, от толстой барыни до кучера, поддерживавшего рукой полы длинного кафтана, лежала печать спокойной самоуверенности и избытка. Вокруг этой кучки тотчас же образовался круг любопытных и подобострастных перед богатством людей: начальник станции в красной фуражке, жандарм, всегда присутствующая летом при прибытии поездов худощавая девица в русском костюме с бусами, телеграфист и пассажиры: мужчины и женщины.

В молодом человеке с собакой Нехлюдов узнал гим-

назиста, молодого Корчагина. Толстая же дама была сестра княгини, в имение которой переезжали Корчагины. Обер-кондуктор с блестящими галунами и сапогами отворил дверь вагона и в знак почтительности держал ее, в то время как Филипп и артельщик в белом фартуке осторожно выносили длиннолицую княгиню на ее складном кресле; сестры поздоровались, послышались французские фразы о том, в карете или коляске поедет княгиня, и шествие, замыкающееся горничной с кудряшками, зонтиками и футляром, двинулось к двери станции.

Нехлюдов, не желая встречаться, с тем чтоб опять прощаться, остановился, не доходя до двери станции, ожидая прохождения всего шествия. Княгиня с сыном, Мисси, доктор и горничная проследовали вперед, старый же князь остановился позади с свояченицей, и Нехлюдов, не подходя близко, слышал только отрывочные французские фразы их разговора. Одна из этих фраз, произнесенная князем, запала, как это часто бывает, почему-то в память Нехлюдову, со всеми интонациями и звуками голоса.

— Oh! il est du vrai grand monde, du vrai grand monde [1],— про кого-то сказал князь своим громким самоуверенным голосом и вместе с свояченицей, сопутствуемый почтительными кондукторами и носильщиками, прошел в дверь станции.

В это самое время из-за угла станции появилась откуда-то на платформу толпа рабочих в лаптях и с полушубками и мешками за спинами. Рабочие решительными мягкими шагами подошли к первому вагону и хотели войти в него, но тотчас же были отогнаны от него кондуктором. Не останавливаясь, рабочие пошли, торопясь и наступая друг другу на ноги, дальше к соседнему вагону и стали уже, цепляясь мешками за углы и дверь вагона, входить в него, как другой кондуктор от двери станции увидал их намерение и строго закричал на них. Вошедшие рабочие тотчас же поспешно вышли и опять теми же мягкими решительными шагами пошли еще дальше к следующему вагону, тому самому, в котором сидел Нехлюдов. Кондуктор опять остановил их. Они было остановились, намереваясь идти еще дальше, но Нехлюдов сказал им, что в вагоне есть места и чтобы

---

[1] О, он человек подлинно большого света, подлинно большого света *(фр.)*.

они шли. Они послушали его, и Нехлюдов вошел вслед за ними. Рабочие хотели уже размещаться, но господин с кокардой и обе дамы, приняв их покушение поместиться в этом вагоне за личное себе оскорбление, решительно воспротивились этому и стали выгонять их. Рабочие — их было человек двадцать — и старики, и совсем молодые, все с измученными загорелыми сухими лицами, тотчас же, цепляя мешками за лавки, стены и двери, очевидно чувствуя себя вполне виноватыми, пошли дальше через вагон, очевидно готовые идти до конца света и сесть куда бы ни велели, хоть на гвозди.

— Куда прете, черти! Размещайтесь здесь,— крикнул вышедший им навстречу другой кондуктор.

— Voilà encore des nouvelles! [1] — проговорила молодая из двух дам, вполне уверенная, что она своим хорошим французским языком обратит на себя внимание Нехлюдова. Дама же с браслетами только все принюхивалась, морщилась и что-то сказала про приятность сидеть с вонючим мужичьем.

Рабочие же, испытывая радость и успокоение людей, миновавших большую опасность, остановились и стали размещаться, скидывая движениями плеча тяжелые мешки с спин и засовывая их под лавки.

Садовник, разговаривавший с Тарасом, сидел не на своем месте и ушел на свое, так что подле и против Тараса были три места. Трое рабочих сели на этих местах, но, когда Нехлюдов подошел к ним, вид его господской одежды так смутил их, что они встали, чтобы уйти, но Нехлюдов просил их остаться, а сам присел на ручку лавки к проходу.

Один из двух рабочих, человек лет пятидесяти, с недоумением и даже с испугом переглянулся с молодым. То, что Нехлюдов, вместо того чтобы, как это свойственно господину, ругать и гнать их, уступил им место, очень удивило и озадачило их. Они даже боялись, как бы чего-нибудь от этого не случилось для них худого. Увидав, однако, что тут не было никакого подвоха и что Нехлюдов просто разговаривал с Тарасом, они успокоились, велели малому сесть на мешок и потребовали, чтобы Нехлюдов сел на свое место. Сначала пожилой рабочий, сидевший против Нехлюдова, весь сжимался, старательно подбирая свои обутые в лапти ноги, чтоб

[1] Вот еще новости! *(фр.)*

не толкнуть барина, но потом так дружелюбно разговорился с Нехлюдовым и Тарасом, что даже ударял Нехлюдова по колену перевернутой кверху ладонью рукой в тех местах рассказа, на которые он хотел обратить его особенное внимание. Он рассказал про все свои обстоятельства и про работу на торфяных болотах, с которой они ехали теперь домой, проработав на ней два с половиной месяца и везя домой заработанные рублей по десять денег на брата, так как часть заработков дана была вперед при наемке. Работа их, как он рассказывал, происходила по колено в воде и продолжалась от зари до зари с двухчасовым отдыхом в обеде.

— Которые без привычки, тем, известно, трудно,— говорил он,— а обтерпелся — ничего. Только бы харчи были настоящие. Сначала харчи плохи были. Ну, а потом народ обиделся, и харчи стали хорошие, и работать стало легко.

Потом он рассказал, как он в продолжение двадцати восьми лет ходил в заработки и весь свой заработок отдавал в дом, сначала отцу, потом старшему брату, теперь племяннику, заведовавшему хозяйством, сам же проживал из заработанных пятидесяти — шестидесяти рублей в год два-три рубля на баловство: на табак и спички.

— Грешен, когда с устатку и водочки выпьешь,— прибавил он, виновато улыбаясь.

Рассказал он еще, как женщины за них правят дома и как подрядчик угостил их нынче перед отъездом полведеркой, как один из них помер, а другого везут больного. Больной, про которого он говорил, сидел в этом же вагоне в углу. Это был молодой мальчик, серо-бледный, с синими губами. Его, очевидно, извела и изводила лихорадка. Нехлюдов подошел к нему, но мальчик таким строгим, страдальческим взглядом взглянул на него, что Нехлюдов не стал тревожить его расспросами, а посоветовал старшему купить хины и написал ему на бумажке название лекарства. Он хотел дать денег, но старый работник сказал, что не нужно: он свои отдаст.

— Ну, сколько ни ездил, таких господ не видал. Не то чтобы тебя в шею, а он еще место уступил. Всякие, значит, господа есть,— заключил он, обращаясь к Тарасу.

«Да, совсем новый, другой, новый мир»,— думал

Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни.

— «Вот он, le vrai grand monde»,— думал Нехлюдов, вспоминая фразу, сказанную князем Корчагиным, и весь этот праздный, роскошный мир Корчагиных с их ничтожными, жалкими интересами.

И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир.

Конец второй части

I

Партия, с которой шла Маслова, прошла около пяти тысяч верст. До Перми Маслова шла по железной дороге и на пароходе с уголовными, и только в этом городе Нехлюдову удалось выхлопотать перемещение ее к политическим, как это советовала ему Богодуховская, шедшая с этой же партией.

Переезд до Перми был очень тяжел для Масловой и физически и нравственно. Физически — от тесноты, нечистоты и отвратительных насекомых, которые не давали покоя, и нравственно — от столь же отвратительных мужчин, которые, так же как насекомые, хотя и переменялись с каждым этапом, везде были одинаково назойливы, прилипчивы и не давали покоя. Между арестантками и арестантами, надзирателями и конвойными так установился обычай цинического разврата, что всякой, в особенности молодой, женщине, если она не хотела пользоваться своим положением женщины, надо было быть постоянно настороже. И это всегдашнее положение страха и борьбы было очень тяжело. Маслова же особенно подвергалась этим нападкам и по привлекательности своей наружности, и по известному всем ее прошедшему. Тот решительный отпор, который она давала теперь пристававшим к ней мужчинам, представлялся им оскорблением и вызывал в них против нее еще и озлобление. Облегчало ее положение в этом отношении близость ее с Федосьей и Тарасом, который, узнав о тех нападениях, которым подвергалась его жена, пожелал арестоваться, чтобы защищать ее, и с Нижнего ехал как арестант, вместе с заключенными.

Перевод в отделение политических улучшил положение Масловой во всех отношениях. Не говоря о том, что

политические лучше помещались, лучше питались, подвергались меньшим грубостям, перевод Масловой к политическим улучшил ее положение тем, что прекратились эти преследования мужчин, и можно было жить без того, чтобы всякую минуту ей не напоминали о том ее прошедшем, которое она так хотела забыть теперь. Главное же преимущество этого перевода состояло в том, что она узнала некоторых людей, имевших на нее решительное и самое благотворное влияние.

Помещаться на этапах Масловой разрешено было с политическими, но идти она в качестве здоровой женщины должна была с уголовными. Так она шла все время от самого Томска. С нею вместе шли также пешком двое политических: Марья Павловна Щетинина, та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая поразила Нехлюдова при свидании с Богодуховской, и ссылавшийся в Якутскую область некто Симонсон, тот самый черный лохматый человек с глубоко ушедшими под лоб глазами, которого Нехлюдов тоже заметил на этом свидании. Марья Павловна шла пешком потому, что уступила свое место на подводе уголовной беременной женщине; Симонсон же потому, что считал несправедливым пользоваться классовым преимуществом. Эти трое отдельно от других политических, выезжавших позднее на подводах, выходили с уголовными рано утром. Так это и было на последнем этапе перед большим городом, на котором партию принял новый конвойный офицер.

Было раннее ненастное сентябрьское утро. Шел то снег, то дождь с порывами холодного ветра. Все арестанты партии, четыреста человек мужчин и около пятидесяти женщин, уже были на дворе этапа и частью толпились около конвойного-старшого, раздававшего старостам кормовые деньги на двое суток, частью закупали съестное у впущенных на двор этапа торговок. Слышался гул голосов арестантов, считавших деньги, покупавших провизию, и визгливый говор торговок.

Катюша с Марьей Павловной, обе в сапогах и полушубках, обвязанные платками, вышли на двор из помещения этапа и направились к торговкам, которые, сидя за ветром у северной стены палей, одна перед другой предлагали свои товары: свежий ситный, пирог, рыбу, лапшу, кашу, печенку, говядину, яйца, молоко; у одной был даже жареный поросенок.

Симонсон, в гуттаперчевой куртке и резиновых ка-

лошах, укрепленных сверх шерстяных чулок бечевками (он был вегетарианец и не употреблял шкур убитых животных), был тоже на дворе, дожидаясь выхода партии. Он стоял у крыльца и вписывал в записную книжку пришедшую ему мысль. Мысль заключалась в следующем:

«Если бы,— писал он,— бактерия наблюдала и исследовала ноготь человека, она признала бы его неорганическим существом. Точно так же и мы признали земной шар, наблюдая его кору, существом неорганическим. Это неверно».

Сторговав яиц, связку бубликов, рыбы и свежего пшеничного хлеба, Маслова укладывала все это в мешок, а Марья Павловна рассчитывалась с торговками, когда среди арестантов произошло движение. Все замолкло, и люди стали строиться. Вышел офицер и делал последние перед выходом распоряжения.

Все шло как обыкновенно: пересчитывали, осматривали целость кандалов и соединяли пары, шедшие в наручнях. Но вдруг послышался начальственно гневный крик офицера, удары по телу и плач ребенка. Все затихло на мгновение, а потом по всей толпе пробежал глухой ропот. Маслова и Марья Павловна подвинулись к месту шума.

II

Подойдя к месту шума, Марья Павловна и Катюша увидали следующее: офицер, плотный человек с большими белокурыми усами, хмурясь, потирал левою рукой ладонь правой, которую он зашиб о лицо арестанта, и не переставая произносил неприличные, грубые ругательства. Перед ним, отирая одной рукой разбитое в кровь лицо, а другой держа обмотанную платком пронзительно визжавшую девчонку, стоял в коротком халате и еще более коротких штанах длинный, худой арестант с бритой половиной головы.

— Я тебя (неприличное ругательство) научу рассуждать (опять ругательство); бабам отдашь,— кричал офицер.— Надевай.

Офицер требовал, чтобы были надеты наручни на общественника, шедшего в ссылку и во всю дорогу несшего на руках девочку, оставленную ему умершей в Томске от тифа женою. Отговорки арестанта, что ему нельзя в наручнях нести ребенка, раздражали бывшего

не в духе офицера, и он избил не покорившегося сразу арестанта [1].

Против избитого стояли конвойный солдат и чернобородый арестант с надетой на одну руку наручней и мрачно смотревший исподлобья то на офицера, то на избитого арестанта с девочкой. Офицер повторил конвойному приказание взять девочку. Среди арестантов все слышнее и слышнее становилось гоготание.

— От Томска шли, не надевали,— послышался хриплый голос из задних рядов.

— Не щенок, а ребенок.

— Куда ж ему девчонку деть?

— Не закон это,— сказал еще кто-то.

— Это кто? — как ужаленный, закричал офицер, бросаясь в толпу.— Я тебе покажу закон. Кто сказал? Ты? Ты?

— Все говорят. Потому...— сказал широколицый приземистый арестант.

Он не успел договорить. Офицер обеими руками стал бить его по лицу.

— Вы бунтовать! Я вам покажу, как бунтовать. Перестреляю, как собак. Начальство только спасибо скажет. Бери девчонку!

Толпа затихла. Отчаянно кричавшую девочку вырвал один конвойный, другой стал надевать наручни покорно подставившему свою руку арестанту.

— Снеси бабам,— крикнул офицер конвойному, оправляя на себе портупею шашки.

Девчонка, стараясь выпростать ручонки из платка, с налитым кровью лицом не переставая визжала. Из толпы выступила Марья Павловна и подошла к конвойному.

— Господин офицер, позвольте я понесу девочку.

Конвойный солдат с девочкой остановился.

— Ты кто? — спросил офицер.

— Я политическая.

Очевидно, красивое лицо Марьи Павловны с ее прекрасными выпуклыми глазами (он уже видел ее при приемке) подействовало на офицера. Он молча посмотрел на нее, как будто что-то взвешивая.

— Мне все равно, несите, коли хотите. Вам хорошо жалеть их, а убежит, кто отвечать будет?

---

[1] Факт, описанный в книге Д. А. Линева «По этапу». *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— Как же он с девочкой убежит? — сказала Марья Павловна.

— Мне некогда с вами разговаривать. Берите, коли хотите.

— Прикажете отдать? — спросил конвойный.

— Отдай.

— Иди ко мне,— говорила Марья Павловна, стараясь приманить к себе девочку.

Но тянувшаяся к отцу с рук конвойного девочка продолжала визжать и не хотела идти к Марье Павловне.

— Постойте, Марья Павловна, она ко мне пойдет,— сказала Маслова, доставая бублик из мешка.

Девчонка знала Маслову и, увидав ее лицо и бублик, пошла к ней.

Все затихло. Ворота отворили, партия выступила наружу, построилась; конвойные опять пересчитали; уложили, увязали мешки, усадили слабых. Маслова с девочкой на руках стала к женщинам рядом с Федосьей. Симонсон, все время следивший за тем, что происходило, большим решительным шагом подошел к офицеру, окончившему все распоряжения и садившемуся уже в свой тарантас.

— Вы дурно поступили, господин офицер,— сказал Симонсон.

— Убирайтесь на свое место, не ваше дело.

— Мое дело сказать вам, и я сказал, что вы дурно поступили,— сказал Симонсон, глядя пристально в лицо офицера из-под своих густых бровей.

— Готово? Партия, марш,— крикнул офицер, не обращая внимания на Симонсона, и, взявшись за плечо солдата-кучера, влез в тарантас.

Партия тронулась и, растянувшись, вышла на грязную, окопанную с двух сторон канавами разъезженную дорогу, шедшую среди сплошного леса.

III

После развратной, роскошной и изнеженной жизни последних шести лет в городе и двух месяцев в остроге с уголовными жизнь теперь с политическими, несмотря на всю тяжесть условий, в которых они находились, казалась Катюше очень хорошей. Переходы от двадцати до тридцати верст пешком при хорошей пище, дневном отдыхе после двух дней ходьбы физически укрепили ее;

общение же с новыми товарищами открыло ей такие интересы в жизни, о которых она не имела никакого понятия. Таких *чудесных* людей, как она говорила, как те, с которыми она шла теперь, она не только не знала, но и не могла себе и представить.

— Вот плакала, что меня присудили,— говорила она.— Да я век должна бога благодарить. То узнала, чего во всю жизнь не узнала бы.

Она очень легко и без усилия поняла мотивы, руководившие этими людьми, и, как человек из народа, вполне сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за народ против господ; и то, что люди эти сами были господа и жертвовали своими преимуществами, свободой и жизнью за народ, заставляло ее особенно ценить этих людей и восхищаться ими.

Она восхищалась всеми своими новыми сотоварищами; но больше всех она восхищалась Марьей Павловной, и не только восхищалась ей, но полюбила ее особенной, почтительной и восторженной любовью. Ее поражало то, что эта красивая девушка из богатого генеральского дома, говорившая на трех языках, держала себя как самая простая работница, отдавала с себя другим все, что присылал ей ее богатый брат, и одевалась и обувалась не только просто, но бедно, не обращая никакого внимания на свою наружность. Эта черта — совершенное отсутствие кокетства — особенно удивляла и потому прельщала Маслову. Маслова видела, что Марья Павловна знала и даже что ей приятно было знать, что она красива, но что она не только не радовалась тому впечатлению, которое производила на мужчин ее наружность, но боялась этого и испытывала прямое отвращение и страх к влюблению. Товарищи ее, мужчины, знавшие это, если и чувствовали влечение к ней, то уж не позволяли себе показывать этого ей и обращались с ней как с товарищем-мужчиной. Но незнакомые люди часто приставали к ней, и от них, как она рассказывала, спасала ее ее большая физическая сила, которой она особенно гордилась. «Один раз,— как она, смеясь, рассказывала,— ко мне пристал на улице какой-то господин и ни за что не хотел отстать, так я так потрясла его, что он испугался и убежал от меня».

Стала она революционеркой, как она рассказывала, потому, что с детства чувствовала отвращение к господской жизни, а любила жизнь простых людей, и ее всегда

бранили за то, что она в девичьей, в кухне, в конюшне, а не в гостиной.

— А мне с кухарками и кучерами бывало весело, а с нашими господами и дамами скучно,— рассказывала она.— Потом, когда я стала понимать, я увидала, что наша жизнь совсем дурная. Матери у меня не было, отца я не любила, и девятнадцати лет я с товаркой ушла из дома и поступила работницей на фабрику.

После фабрики она жила в деревне, потом приехала в город и на квартире, где была тайная типография, была арестована и приговорена к каторге. Марья Павловна не рассказывала никогда этого сама, но Катюша узнала от других, что приговорена она была к каторге за то, что взяла на себя выстрел, который во время обыска был сделан в темноте одним из революционеров.

С тех пор как Катюша узнала ее, она видела, что где бы она ни была, при каких бы ни было условиях, она никогда не думала о себе, а всегда была озабочена только тем, как бы услужить, помочь кому-нибудь в большом или малом. Один из теперешних товарищей ее, Новодворов, шутя говорил про нее, что она предается спорту благотворения. И это была правда. Весь интерес ее жизни состоял, как для охотника найти дичь, в том, чтобы найти случай служения другим. И этот спорт сделался привычкой, сделался делом ее жизни. И делала она это так естественно, что все, знавшие ее, уже не ценили, а требовали этого.

Когда Маслова поступила к ним, Марья Павловна почувствовала к ней отвращение, гадливость. Катюша заметила это, но потом также заметила, что Марья Павловна, сделав усилие над собой, стала с ней особенно ласкова и добра. И ласка и доброта такого необыкновенного существа так тронули Маслову, что она всей душой отдалась ей, бессознательно усваивая ее взгляды и невольно во всем подражая ей. Эта преданная любовь Катюши тронула Марью Павловну, и она также полюбила Катюшу.

Женщин этих сближало еще и то отвращение, которое обе они испытывали к половой любви. Одна ненавидела эту любовь потому, что изведала весь ужас ее; другая потому, что, не испытав ее, смотрела на нее как на что-то непонятное и вместе с тем отвратительное и оскорбительное для человеческого достоинства.

IV

Влияние Марьи Павловны было одно влияние, которому подчинялась Маслова. Оно происходило оттого, что Маслова полюбила Марью Павловну. Другое влияние было влияние Симонсона. И это влияние происходило оттого, что Симонсон полюбил Маслову.

Все люди живут и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных различий людей между собою. Одни люди в большинстве случаев пользуются своими мыслями, как умственной игрой, обращаются с своим разумом, как с маховым колесом, с которого снят передаточный ремень, а в поступках своих подчиняются чужим мыслям — обычаю, преданию, закону; другие же, считая свои мысли главными двигателями всей своей деятельности, почти всегда прислушиваются к требованиям своего разума и подчиняются ему, только изредка, и то после критической оценки, следуя тому, что решено другими. Такой человек был Симонсон. Он все поверял, решал разумом, а что решал, то и делал.

Решив еще гимназистом, что нажитое его отцом, бывшим интендантским чиновником, нажито нечестно, он объявил отцу, что состояние это надо отдать народу. Когда же отец не только не послушался, но разбранил его, он ушел из дома и перестал пользоваться средствами отца. Решив, что все существующее зло происходит от необразованности народа, он, выйдя из университета, сошелся с народниками, поступил в село учителем и смело проповедовал и ученикам и крестьянам все то, что считал справедливым, и отрицал то, что считал ложным.

Его арестовали и судили.

Во время суда он решил, что судьи не имеют права судить его, и высказал это. Когда же судьи не согласились с ним и продолжали его судить, то он решил, что не будет отвечать, и молчал на все их вопросы. Его сослали в Архангельскую губернию. Там он составил себе религиозное учение, определяющее всю его деятельность. Религиозное учение это состояло в том, что все в мире живое, что мертвого нет, что все предметы, которые мы считаем мертвыми, неорганическими, суть только части огромного органического тела, которое мы не можем обнять, и что поэтому задача человека, как ча-

стицы большого организма, состоит в поддержании жизни этого организма и всех живых частей его. И потому он считал преступлением уничтожать живое: был против войны, казней и всякого убийства не только людей, но и животных. По отношению к браку у него была тоже своя теория, состоявшая в том, что размножение людей есть только низшая функция человека, высшая же состоит в служении уже существующему живому. Он находил подтверждение этой мысли в существовании фагоцитов в крови. Холостые люди, по его мнению, были те же фагоциты, назначение которых состояло в помощи слабым, больным частям организма. Он так и жил с тех пор, как решил это, хотя прежде, юношей, предавался разврату. Он признавал себя теперь, так же как и Марью Павловну, мировыми фагоцитами.

Любовь его к Катюше не нарушала этой теории, так как он любил платонически, полагая, что такая любовь не только не препятствует фагоцитной деятельности служения слабым, но еще больше воодушевляет к ней.

Но кроме того, что нравственные вопросы он решал по-своему, он решал по-своему и большую часть практических вопросов. У него на все практические дела были свои теории: были правила, сколько надо часов работать, сколько отдыхать, как питаться, как одеваться, как топить печи, как освещаться.

С этим вместе Симонсон был чрезвычайно робок с людьми и скромен. Но когда он решал что-нибудь, ничто уже не могло остановить его.

Вот этот-то человек и имел решительное влияние на Маслову тем, что полюбил ее. Маслова женским чутьем очень скоро догадалась об этом, и сознание того, что она могла возбудить любовь в таком необыкновенном человеке, подняло ее в своем собственном мнении. Нехлюдов предлагал ей брак по великодушию и по тому, что было прежде; но Симонсон любил ее такою, какою она была теперь, и любил просто за то, что любил. Кроме того, она чувствовала, что Симонсон считает ее необыкновенной, отличающейся от всех женщиной, имеющей особенные высокие нравственные свойства. Она хорошенько не знала, какие свойства он приписывает ей, но на всякий случай, чтобы не обмануть его, старалась всеми силами вызвать в себе самые лучшие свойства, какие только она могла себе представить. И это заставляло ее стараться быть такой хорошей, какой она только могла быть.

Началось это еще в тюрьме, когда при общем свида-

нии политических она заметила на себе особенно упорный из-под нависшего лба и бровей взгляд его невинных, добрых темно-синих глаз. Еще тогда она заметила, что это человек особенный и особенно смотрит на нее, и заметила это невольно поражающее соединение в одном лице суровости, которую производили торчащие волосы и нахмуренные брови, детской доброты и невинности взгляда. Потом, в Томске, когда ее перевели к политическим, она вновь увидала его. И несмотря на то, что между ними не было сказано ни одного слова, во взгляде, которым они обменялись, было признание того, что они помнят и важны друг для друга. Разговоров значительных между ними и потом не было, но Маслова чувствовала, что, когда он говорил при ней, его речь была обращена к ней и что он говорил для нее, стараясь выражаться как можно понятнее. Особенно же сближение их началось с того времени, как он пошел пешком с уголовными.

V

От Нижнего до Перми Нехлюдову удалось видеться с Катюшей только два раза: один раз в Нижнем, перед посадкой арестантов на затянутую сеткой баржу, и другой раз в Перми, в конторе тюрьмы. И в оба эти свиданья он нашел ее скрытной и недоброй. На вопросы его, хорошо ли ей и не нужно ли ей чего, она отвечала уклончиво, смущенно и с тем, как ему казалось, враждебным чувством упрека, которое и прежде проявлялось в ней. И это ее мрачное настроение, происходившее только от тех преследований мужчин, которым она подвергалась в это время, мучало Нехлюдова. Он боялся, чтобы под влиянием тех тяжелых и развращающих условий, в которых она находилась во время переезда, она не впала бы вновь в то прежнее состояние разлада самой с собой и отчаянности в жизни, в котором она раздражалась против него и усиленно курила и пила вино, чтобы забыться. Но он не мог ничем помочь ей, потому что во все это первое время пути не имел возможности видеться с нею. Только после перевода ее к политическим он не только убедился в неосновательности своих опасений, но, напротив, с каждым свиданием с нею стал замечать все более и более определяющуюся в ней ту внутреннюю перемену, которую он так сильно желал видеть в ней. В первое же свидание в Томске она

опять стала такою, какою была перед отъездом. Она не насупилась и не смутилась, увидав его, а, напротив, радостно и просто встретила его, благодаря за то, что он сделал для нее, в особенности за то, что свел ее с теми людьми, с которыми она была теперь.

После двух месяцев похода по этапу происшедшая в ней перемена проявилась и в ее наружности. Она похудела, загорела, как будто постарела; на висках и около рта обозначились морщинки, волосы она не распускала на лоб, а повязывала голову платком, и ни в одежде, ни в прическе, ни в обращенье не было уже прежних признаков кокетства. И эта происшедшая и происходившая в ней перемена не переставая вызывала в Нехлюдове особенно радостное чувство.

Он испытывал теперь к ней чувство, никогда не испытанное им прежде. Чувство это не имело ничего общего ни с первым поэтическим увлечением, ни еще менее с тем чувственным влюблением, которое он испытывал потом, ни даже с тем чувством сознания исполненного долга, соединенного с самолюбованием, с которым он после суда решил жениться на ней. Чувство это было то самое простое чувство жалости и умиления, которое он испытал в первый раз на свидании с нею в тюрьме и потом, с новой силой, после больницы, когда он, поборов свое отвращение, простил ее за воображаемую историю с фельдшером (несправедливость которой разъяснилась потом); это было то же самое чувство, но только с тою разницею, что тогда оно было временно, теперь же оно стало постоянным. О чем бы он ни думал теперь, что бы ни делал, общее настроение его было это чувство жалости и умиления не только к ней, но ко всем людям.

Это чувство как будто раскрыло в душе Нехлюдова поток любви, не находивший прежде исхода, а теперь направлявшийся на всех людей, с которыми он встречался.

Нехлюдов чувствовал себя во все время путешествия в том возбужденном состоянии, в котором он невольно делался участливым и внимательным ко всем людям, от ямщика и конвойного солдата до начальника тюрьмы и губернатора, до которых имел дело.

За это время Нехлюдову, вследствие перевода Масловой к политическим, пришлось познакомиться с многими политическими, сначала в Екатеринбурге, где они очень свободно содержались все вместе в большой камере, а потом на пути с теми пятью мужчинами и четырь-

мя женщинами, к которым присоединена была Маслова. Это сближение Нехлюдова с ссылаемыми политическими совершенно изменило его взгляды на них.

С самого начала революционного движения в России, и в особенности после Первого марта, Нехлюдов питал к революционерам недоброжелательное и презрительное чувство. Отталкивала его от них прежде всего жестокость и скрытность приемов, употребляемых ими в борьбе против правительства, главное, жестокость убийств, которые были совершены ими, и потом противна ему была общая им всем черта большого самомнения. Но, узнав их ближе и все то, что они часто безвинно перестрадали от правительства, он увидал, что они не могли быть иными, как такими, какими они были.

Как ни ужасно бессмысленны были мучения, которым подвергались так называемые уголовные, все-таки над ними производилось до и после осуждения некоторое подобие законности; но в делах с политическими не было и этого подобия, как это видел Нехлюдов на Шустовой и потом на многих и многих из своих новых знакомых. С этими людьми поступали так, как поступают при ловле рыбы неводом: вытаскивают на берег все, что попадается, и потом отбирают те крупные рыбы, которые нужны, не заботясь о мелкоте, которая гибнет, засыхая на берегу. Так, захватив сотни таких, очевидно не только не виноватых, но и не могущих быть вредными правительству людей, их держали иногда годами в тюрьмах, где они заражались чахоткой, сходили с ума или сами убивали себя; и держали их только потому, что не было причины выпускать их, между тем как, будучи под рукой в тюрьме, они могли понадобиться для разъяснения какого-нибудь вопроса при следствии. Судьба всех этих часто даже с правительственной точки зрения невинных людей зависела от произвола, досуга, настроения жандармского, полицейского офицера, шпиона, прокурора, судебного следователя, губернатора, министра. Соскучится такой чиновник или желает отличиться — и делает аресты и, смотря по настроению своему или начальства, держит в тюрьме или выпускает. А высший начальник, тоже смотря по тому, нужно ли ему отличиться, или в каких он отношениях с министром,— или ссылает на край света, или держит в одиночном заключении, или приговаривает к ссылке, к каторге, к смерти, или выпускает, когда его попросит об этом какая-нибудь дама.

С ними поступали, как на войне, и они, естественно,

употребляли те же самые средства, которые употреблялись против них. И как военные живут всегда в атмосфере общественного мнения, которое не только скрывает от них преступность совершаемых ими поступков, но представляет эти поступки подвигами,— так точно и для политических существовала такая же, всегда сопутствующая им атмосфера общественного мнения их кружка, вследствие которой совершаемые ими, при опасности потери свободы, жизни и всего, что дорого человеку, жестокие поступки представлялись им также не только не дурными, но доблестными поступками. Этим объяснялось для Нехлюдова то удивительное явление, что самые кроткие по характеру люди, неспособные не только причинить, но видеть страданий живых существ, спокойно готовились к убийствам людей, и все почти признавали в известных случаях убийство, как орудие самозащиты и достижения высшей цели общего блага, законным и справедливым. Высокое же мнение, которое они приписывали своему делу, а вследствие того и себе, естественно вытекало из того значения, которое придавало им правительство, и той жестокости наказаний, которым оно подвергало их. Им надо было иметь о себе высокое мнение, чтобы быть в силах переносить то, что они переносили.

Узнав их ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди. Были среди них люди, ставшие революционерами потому, что искренно считали себя обязанными бороться с существующим злом; но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических, тщеславных мотивов; большинство же было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью — чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи. Различие их от обыкновенных людей, и в их пользу, состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считались обязательными не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своею жизнью, для общего дела. И потому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной

высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его, представляя из себя часто людей неправдивых, притворяющихся и вместе с тем самоуверенных и гордых. Так что некоторых из своих новых знакомых Нехлюдов не только уважал, но и полюбил всей душой, к другим же оставался более чем равнодушен.

VI

В особенности полюбил Нехлюдов шедшего с той партией, к которой была присоединена Катюша, ссылаемого в каторгу чахоточного молодого человека Крыльцова. Нехлюдов познакомился с ним еще в Екатеринбурге и потом во время пути несколько раз видался и беседовал с ним. Один раз летом на этапе во время дневки Нехлюдов провел с ним почти целый день, и Крыльцов, разговорившись, рассказал ему свою историю и как он стал революционером. История его до тюрьмы была очень короткая. Отец его, богатый помещик южных губерний, умер, когда он был еще ребенком. Он был единственный сын, и мать воспитывала его. Учился он легко и в гимназии и в университете и кончил курс первым кандидатом математического факультета. Ему предлагали оставаться при университете и ехать за границу. Но он медлил. Была девушка, которую он любил, и он подумывал о женитьбе и земской деятельности. Всего хотелось, и ни на что не решался. В это время товарищи по университету попросили у него денег на общее дело. Он знал, что это общее дело было революционное дело, которым он тогда совсем не интересовался, но из чувства товарищества и самолюбия, чтобы не подумали, что он боится, дал деньги. Взявшие деньги попались; была найдена записка, по которой узнали, что деньги даны Крыльцовым; его арестовали, посадили сначала в часть, а потом в тюрьму.

— В тюрьме, куда меня посадили,— рассказывал Крыльцов Нехлюдову (он сидел с своей впалой грудью на высоких нарах, облокотившись на колени, и только изредка взглядывал блестящими, лихорадочными, прекрасными, умными и добрыми глазами на Нехлюдова),— в тюрьме этой не было особой строгости: мы не только перестукивались, но и ходили по коридору, переговаривались, делились провизией, табаком и по вечерам даже пели хором. У меня был голос хороший. Да. Если бы не мать,— она очень убивалась,— мне бы хоро-

що было в тюрьме, даже приятно и очень интересно. Здесь я познакомился, между прочим, с знаменитым Петровым (он потом зарезался стеклом в крепости) и еще с другими. Но я не был революционером. Познакомился я также с двумя соседями по камере. Они попались в одном и том же деле с польскими прокламациями и судились за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на железную дорогу. Один был поляк Лозинский, другой — еврей, Розовский — фамилия. Да. Розовский этот был совсем мальчик. Он говорил, что ему семнадцать, но на вид ему было лет пятнадцать. Худенький, маленький, с блестящими черными глазами, живой и, как все евреи, очень музыкален. Голос у него еще ломался, но он прекрасно пел. Да. При мне их обоих водили на суд. Утром отвели. Вечером они вернулись и рассказали, что их присудили к смертной казни. Никто этого не ожидал. Так неважно было их дело — они только попытались отбиться от конвоя и никого не ранили даже. И потом так неестественно, чтобы можно было такого ребенка, как Розовского, казнить. И мы все в тюрьме решили, что это только, чтобы напугать, и что приговор не будет конфирмован. Поволновались сначала, а потом успокоились, и жизнь пошла по-старому. Да. Только раз вечером подходит к моей двери сторож и таинственно сообщает, что пришли плотники, ставят виселицу. Я сначала не понял: что такое? какая виселица? Но сторож-старик был так взволнован, что, взглянув на него, я понял, что это для наших двух. Я хотел постучать, переговориться с товарищами, но боялся, как бы те не услыхали. Товарищи тоже молчали. Очевидно, все знали. В коридоре и камерах весь вечер была мертвая тишина. Мы не перестукивались и не пели. Часов в десять опять подошел ко мне сторож и объявил, что палача привезли из Москвы. Сказал и отошел. Я стал его звать, чтобы вернулся. Вдруг слышу, Розовский из своей камеры через коридор кричит мне: «Что вы? зачем вы его зовете?» Я сказал что-то, что он табак мне приносил, но он точно догадывался и стал спрашивать меня, отчего мы не пели, отчего не перестукивались. Не помню, что я сказал ему, и поскорее отошел, чтобы не говорить с ним. Да. Ужасная была ночь. Всю ночь прислушивался ко всем звукам. Вдруг к утру слышу — отворяют двери коридора и идут кто-то, много. Я стал у окошечка. В коридоре горела лампа. Первый прошел смотритель. Толстый был, казалось, самоуверенный, решительный чело-

век. На нем лица не было: бледный, понурый, точно испуганный. За ним помощник — нахмуренный, с решительным видом; сзади караул. Прошли мимо моей двери и остановились перед камерой рядом. И слышу — помощник каким-то странным голосом кричит: «Лозинский, вставайте, надевайте чистое белье». Да. Потом слышу, завизжала дверь, они прошли к нему, потом слышу шаги Лозинского: он пошел в противоположную сторону коридора. Мне видно было только смотрителя. Стоит бледный и расстегивает и застегивает пуговицу и пожимает плечами. Да. Вдруг точно испугался чего, посторонился. Это Лозинский прошел мимо него и подошел к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа: широкий, прямой лоб с шапкой белокурых вьющихся тонких волос, прекрасные голубые глаза. Такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было все его лицо. Страшное, осунувшееся, серое лицо. «Крыльцов, папиросы есть?» Я хотел подать ему, но помощник, как будто боясь опоздать, выхватил свой портсигар и подал ему. Он взял одну папироску, помощник зажег ему спичку. Он стал курить и как будто задумался. Потом точно вспомнил что-то и начал говорить: «И жестоко и несправедливо. Я никакого преступления не сделал. Я...» В белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожало, и он остановился. Да. В это время, слышу, Розовский из коридора кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лозинский бросил окурок и отошел от двери. И в окошечке появился Розовский. Детское лицо его с влажными черными глазами было красно и потно. На нем было тоже чистое белье, и штаны были слишком широки, и он все подтягивал их обеими руками и весь дрожал. Он приблизил свое жалкое лицо к моему окошечку: «Анатолий Петрович, ведь правда, что доктор прописал мне грудной чай? Я нездоров, я выпью еще грудного чаю». Никто не отвечал, и он вопросительно смотрел то на меня, то на смотрителя. Что он хотел этим сказать, я так и не понял. Да. Вдруг помощник сделал строгое лицо и опять каким-то визгливым голосом закричал: «Что за шутки? Идем». Розовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и, как будто торопясь, пошел, почти побежал вперед всех по коридору. Но потом он уперся — я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал и

плакал. Потом дальше и дальше,— зазвенела дверь коридора, и все затихло... Да. Так и повесили. Веревками задушили обоих. Сторож, другой, видел и рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Розовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да. Сторож этот был глуповатый малый. «Мне говорили, барин, что страшно. А ничего не страшно. Как повисли они — только два раза так плечами,— он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи,— потом палач подернул, чтобы, значит, петли затянулись получше, и шабаш: и не дрогнули больше». «Ничего не страшно»,— повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался.

Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания.

— С тех пор я и сделался революционером. Да,— сказал он, успокоившись, и вкратце досказал свою историю.

Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою дезорганизационной группы, имевшей целью терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, продержали два года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив ее бессрочной каторгой.

В тюрьме у него сделалась чахотка, и теперь, в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если бы у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое — на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел.

История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде.

VII

В тот день, когда на выходе с этапа произошло столкновение конвойного офицера с арестантами из-за ребенка, Нехлюдов, ночевавший на постоялом дворе, проснулся поздно и еще засиделся за письмами, которые он го-

товил к губернскому городу, так что выехал с постоялого двора позднее обыкновенного и не обогнал партию дорогой, как это бывало прежде, а приехал в село, возле которого был полуэтап, уже сумерками. Обсушившись на постоялом дворе, содержавшемся пожилой толстой, с необычайной толщины белой шеей женщиной, вдовой, Нехлюдов в чистой горнице, украшенной большим количеством икон и картин, напился чаю и поспешил на этапный двор к офицеру просить разрешения свидания.

На шести предшествующих этапах конвойные офицеры все, несмотря на то, что переменялись, все одинаково не допускали Нехлюдова в этапное помещение, так что он больше недели не видал Катюшу. Происходила эта строгость оттого, что ожидали проезда важного тюремного начальника. Теперь же начальник проехал, не заглянув на этапы, и Нехлюдов надеялся, что принявший утром партию конвойный офицер разрешит ему, как и прежние офицеры, свидание с арестантами.

Хозяйка предложила Нехлюдову тарантас доехать до полуэтапа, находившегося на конце села, но Нехлюдов предпочел идти пешком. Молодой малый, широкоплечий богатырь, работник, в огромных свежевымазанных пахучим дегтем сапогах, взялся проводить. С неба шла мга, и было так темно, что как только малый отделялся шага на три в тех местах, где не падал свет из окон, Нехлюдов уже не видал его, а слышал только чмоканье его сапог по липкой, глубокой грязи.

Пройдя площадь с церковью и длинную улицу с ярко светящимися окнами домов, Нехлюдов вслед за проводником вышел на край села в полный мрак. Но скоро и в этом мраке завиднелись расходившиеся в тумане лучи от фонарей, горевших около этапа. Красноватые пятна огней становились все больше и светлей; стали видны пали ограды, черная фигура движущегося часового, полосатый столб и будка. Часовой окликнул подошедших обычным: «Кто идет?» — и, узнав, что не свои, оказался так строг, что не хотел позволить дожидаться подле ограды. Но проводник Нехлюдова не смутился строгостью часового.

— Эка ты, паря, сердитый какой! — сказал он ему.— Ты пошуми старшого, а мы подождем.

Часовой, не отвечая, прокричал что-то в калитку и остановился, пристально глядя на то, как широкоплечий малый в свете фонаря очищал щепкой сапоги Нехлюдова от налипшей на них грязи. За палями ограды слышен

был гул голосов, мужских и женских. Минуты через три завенело железо, дверь калитки отворилась, и из темноты в свет фонаря вышел старшой в шинели внакидку и спросил, что нужно. Нехлюдов передал свою заготовленную карточку с запиской, в которой просил принять его по личному делу, и просил передать офицеру. Старшой был менее строг, чем часовой, но зато особенно любопытен. Он непременно хотел знать, зачем Нехлюдову нужно видеть офицера и кто он, очевидно чуя добычу и не желая упустить ее. Нехлюдов сказал, что есть особенное дело и что он поблагодарит, и просил передать записку. Старшой взял записку и, кивнув головой, ушел. Несколько времени после его ухода опять завенела калитка, и из нее стали выходить женщины с корзинками, туесами, крынками и мешками. Звонко болтая на своем особенном сибирском наречии, шагали они через порог калитки. Все они были одеты не по-деревенски, а по-городски, в пальто и шубки; юбки были высоко подтыканы, а головы обвязаны платками. Они с любопытством оглядывали при свете фонаря Нехлюдова и его проводника. Одна же, очевидно обрадовавшись встрече с широкоплечим малым, тотчас же ласкательно обругала его сибирским ругательством.

— Ты, леший, чего тут язви-те, делаешь? — обратилась она к нему.

— Да вот проезжего проводил,— отвечал малый.— А ты чего носила?

— Молосное, наутро еще велели приходить.

— А ночевать не оставляли? — спросил малый.

— Чоб тебе соскало, брехун! — крикнула она, смеясь.— Айда до села вместе, нас проводи.

Проводник еще что-то сказал ей такое, что засмеялись не только женщины, но и часовой, и обратился к Нехлюдову:

— Что же, найдете одни? не заблудите?

— Найду, найду.

— Как пройдете церковь, от двухъярусного дома направо второй. Да вот вам батожок,— сказал он, отдавая Нехлюдову длинную, выше роста палку, с которой он шел, и, шлепая своими огромными сапогами, скрылся в темноте вместе с женщинами.

Его голос, перебиваемый женскими, еще слышался из тумана, когда опять завенела калитка и вышел старшой, приглашая Нехлюдова за собой к офицеру.

VIII

Полуэтап был расположен так же, как и все этапы и полуэтапы по сибирской дороге: во дворе, окруженном завостренными бревнами-палями, было три одноэтажных жилых дома. В одном, в самом большом, с решетчатыми окнами, помещались арестанты, в другом — конвойная команда, в третьем — офицер и канцелярия. Во всех трех домах теперь светились огни, как всегда, в особенности здесь, обманчиво обещая что-то хорошее, уютное в освещенных стенах. Перед крыльцами домов горели фонари, и еще фонарей пять горели около стен, освещая двор. Унтер-офицер подвел Нехлюдова по доске к крыльцу меньшего из домов. Поднявшись на три ступеньки, он пропустил его вперед себя в освещенную лампочкой, пропахшую угарным чадом переднюю. У печи солдат в грубой рубахе, и галстуке, и черных штанах, в одном сапоге с желтым голенищем, перегнувшись, раздувал самовар другим голенищем. Увидав Нехлюдова, солдат оставил самовар, снял с Нехлюдова кожан и вошел во внутреннюю горницу.

— Пришел, ваше благородие.

— Ну, зови,— послышался сердитый голос.

— В дверь ходите,— сказал солдат и тотчас же опять взялся за самовар.

Во второй комнате, освещенной висячею лампой, за накрытым с остатками обеда и двумя бутылками столом сидел в австрийской куртке, облегавшей его широкую грудь и плечи, с большими белокурыми усами и очень красным лицом офицер. В теплой горнице, кроме табачного запаха, пахло еще очень сильно какими-то крепкими дурными духами. Увидав Нехлюдова, офицер привстал и как будто насмешливо и подозрительно уставился на вошедшего.

— Что угодно? — сказал он и, не дожидаясь ответа, закричал в дверь: — Бернов! самовар, что же, будет когда?

— За́раз.

— Вот я те дам за́раз, что будешь помнить! — крикнул офицер, блеснув глазами.

— Несу! — прокричал солдат и вошел с самоваром.

Нехлюдов подождал, пока солдат установил самовар (офицер проводил его маленькими злыми глазами, как бы прицеливаясь, куда бы ударить его). Когда же самовар был поставлен, офицер заварил чай. Потом достал

из погребца четвероугольный графинчик с коньяком и бисквиты Альберт. Уставив все это на скатерть, он опять обратился к Нехлюдову:

— Так чем могу служить?

— Я просил бы свидания с одной арестанткой,— сказал Нехлюдов, не садясь.

— Политическая? Это запрещено законом,— сказал офицер.

— Женщина эта не политическая,— сказал Нехлюдов.

— Да прошу покорно садиться,— сказал офицер.

Нехлюдов сел.

— Она не политическая,— повторил он,— но по моей просьбе ей разрешено высшим начальством следовать с политическими.

— А, знаю,— перебил офицер.— Маленькая, черненькая? Что ж, это можно. Курить прикажете?

Он подвинул Нехлюдову коробку с папиросами и, аккуратно налив два стакана чаю, подвинул один из них Нехлюдову.

— Прошу,— сказал он.

— Благодарю вас, я бы желал видеться...

— Ночь велика. Успеете. Я вам велю ее вызвать.

— А нельзя ли, не вызывая ее, допустить меня в помещение? — сказал Нехлюдов.

— К политическим? Не по закону.

— Меня несколько раз пускали. Ведь если бояться, что я передам что-либо, то я через нее мог бы передать.

— Ну, нет, ее обыщут,— сказал офицер и засмеялся неприятным смехом.

— Ну, так меня обыщите.

— Ну, и без этого обойдемся,— сказал офицер, поднося откупоренный графинчик к стакану Нехлюдова.— Позволите? Ну, как угодно. Живешь в этой Сибири, так человеку образованному рад-радешенек. Ведь наша служба, сами знаете, самая печальная. А когда человек к другому привык, так и тяжело. Ведь про нашего брата такое понятие, что конвойный офицер — значит грубый человек, необразованный, а того не думают, что человек может быть совсем для другого рожден.

Красное лицо этого офицера, его духи, перстень и в особенности неприятный смех были очень противны Нехлюдову, но он и нынче, как и во все время своего путешествия, находился в том серьезном и внимательном расположении духа, в котором он не позволял себе лег-

комысленно и презрительно обращаться с каким бы то ни было человеком и считал необходимым с каждым человеком говорить «вовсю», как он сам с собой определял это отношение. Выслушав офицера и поняв его душевное состояние в том смысле, что он тяготится участием в мучительстве подвластных ему людей, он серьезно сказал:

— Я думаю, что в вашей же должности можно найти утешение в том, чтобы облегчать страдания людей,— сказал он.

— Какие их страдания? Ведь это народ такой.

— Какой же особенный народ? — сказал Нехлюдов.— Такой же, как все. А есть и невинные.

— Разумеется, есть всякие. Разумеется, жалеешь. Другие ничего не спускают, а я, где могу, стараюсь облегчить. Пускай лучше я пострадаю, да не они. Другие, как чуть что, сейчас по закону, а то — стрелять, а я жалею. Прикажете? Выкушайте,— сказал он, наливая еще чаю.— Она кто, собственно,— женщина, какую видеть желаете? — спросил он.

— Это несчастная женщина, которая попала в дом терпимости, и там ее неправильно обвинили в отравлении, а она очень хорошая женщина,— сказал Нехлюдов.

Офицер покачал головой.

— Да, бывает. В Казани, я вам доложу, была одна,— Эммой звали. Родом венгерка, а глаза настоящие персидские,— продолжал он, не в силах сдержать улыбку при этом воспоминании.— Шику было столько, что хоть графине...

Нехлюдов перебил офицера и вернулся к прежнему разговору.

— Я думаю, что вы можете облегчить положение таких людей, пока они в вашей власти. И, поступая так, я уверен, что вы нашли бы большую радость,— говорил Нехлюдов, стараясь произносить как можно внятнее, так, как говорят с иностранцами или детьми.

Офицер смотрел на Нехлюдова блестящими глазами и, очевидно, ждал с нетерпением, когда он кончит, чтобы продолжать рассказ про венгерку с персидскими глазами, которая, очевидно, живо представлялась его воображению и поглощала все его внимание.

— Да, это так, положим, верно,— сказал он.— Я и жалею их. Только я хотел вам про эту Эмму рассказать. Так она что делала...

— Я не интересуюсь этим,— сказал Нехлюдов,— и

прямо скажу вам, что хотя я и сам был прежде другой, но теперь ненавижу такое отношение к женщинам.

Офицер испуганно посмотрел на Нехлюдова.

— А еще чайку не угодно? — сказал он.

— Нет, благодарю.

— Бернов! — крикнул офицер,— проводи их к Вакулову, скажи пропустить в отдельную камеру к политическим; могут там побыть до поверки.

IX

Провожаемый вестовым, Нехлюдов вышел опять на темный двор, тускло освещаемый красно горевшими фонарями.

— Куда? — спросил встретившийся конвойный у того, который провожал Нехлюдова.

— В отдельную, пятый номер.

— Здесь не пройдешь, заперто, надо через то крыльцо.

— А что ж заперто?

— Старшой запер, а сам на село ушел.

— Ну, так айдате здесь.

Солдат повел Нехлюдова на другое крыльцо и подошел по доскам к другому входу. Еще со двора было слышно гуденье голосов и внутреннее движение, как в хорошем, готовящемся к ройке улье, но, когда Нехлюдов подошел ближе и отворилась дверь, гуденье это усилилось и перешло в звук перекрикивающихся, ругающихся, смеющихся голосов. Послышался переливчатый звук цепей, и пахнуло знакомым тяжелым запахом испражнений и дегтя.

Оба эти впечатления — гул голосов с звоном цепей и этот ужасный запах — всегда сливались для Нехлюдова в одно мучительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое.

Войдя теперь в сени полуэтапа, где стояла огромная вонючая кадка, так называемая «параха», первое, что увидал Нехлюдов, была женщина, сидевшая на краю кадки. Напротив нее — мужчина со сдвинутой набок на бритой голове блинообразной шапкой. Они о чем-то разговаривали. Арестант, увидав Нехлюдова, подмигнул глазом и проговорил:

— И царь воды не удóржит.

Женщина же опустила полы халата и потупилась.

Из сеней шел коридор, в который отворялись двери камер. Первая была камера семейных, потом большая камера холостых и в конце коридора две маленькие камеры, отведенные для политических. Помещение этапа, предназначенное для ста пятидесяти человек, вмещая четыреста пятьдесят, было так тесно, что арестанты, не помещаясь в камерах, наполняли коридор. Одни сидели и лежали на полу, другие двигались взад и вперед с пустыми и полными кипятком чайниками. В числе этих был Тарас. Он догнал Нехлюдова и ласково поздоровался с ним. Доброе лицо Тараса было изуродовано сине-багровыми подтеками на носу и под глазом.

— Что это с тобой? — спросил Нехлюдов.

— Вышло дело такое,— сказал Тарас, улыбаясь.

— Да дерутся все,— презрительно сказал конвойный.

— Из-за бабы,— прибавил арестант, шедший за ними,— с Федькой слепым сцепились.

— А Федосья что? — спросил Нехлюдов.

— Ничего, здорова, вот ей на чай кипяточку несу,— сказал Тарас и вошел в семейную.

Нехлюдов заглянул в дверь. Вся камера была полна женщинами и мужчинами и на парах и под нарами. В камере стоял пар от сохнувшей мокрой одежды и слышался неумолкаемый крик женских голосов. Следующая дверь была дверь камеры холостых. Эта была еще полнее, и даже в самой двери и выступая в коридор стояла шумная толпа что-то деливших или решавших арестантов в мокрых одеждах. Конвойный объяснил Нехлюдову, что это староста выдавал забранные или проигранные вперед по билетикам, сделанным из игральных карт, кормовые деньги майданщику. Увидав унтер-офицера и господина, стоявшие ближе замолкли, недоброжелательно оглядывая проходивших. В числе деливших Нехлюдов заметил знакомого каторжного Федорова, всегда державшего при себе жалкого, с поднятыми бровями, белого, будто распухшего молодого малого и еще отвратительного, рябого, безносого бродягу, известного тем, что он во время побега в тайге будто бы убил товарища и питался его мясом. Бродяга стоял в коридоре, накинув на одно плечо мокрый халат, и насмешливо и дерзко глядел на Нехлюдова, не сторонясь перед ним. Нехлюдов обошел его.

Как ни знакомо было Нехлюдову это зрелище, как ни часто видел он в продолжение этих трех месяцев все

тех же четыреста человек уголовных арестантов в самых различных положениях: и в жаре, в облаке пыли, которое они поднимали волочащими цепи ногами, и на привалах по дороге, и на этапах в теплое время на дворе, где происходили ужасающие сцены открытого разврата, он все-таки всякий раз, когда входил в середину их и чувствовал, как теперь, что внимание их обращено на него, испытывал мучительное чувство стыда и сознания своей виноватости перед ними. Самое тяжелое для него было то, что к этому чувству стыда и виноватости примешивалось еще непреодолимое чувство отвращения и ужаса. Он знал, что в том положении, в которое они были поставлены, нельзя было не быть такими, как они, и все-таки не мог подавить своего отвращения к ним.

— Им хорошо, дармоедам,— услыхал Нехлюдов, когда он уже подходил к двери политических,— что им, чертям, делается; небось брюхо не заболит,— сказал чей-то хриплый голос, прибавив еще неприличное ругательство.

Послышался недружелюбный, насмешливый хохот.

X

Миновав камеру холостых, унтер-офицер, провожавший Нехлюдова, сказал ему, что придет за ним перед поверкой, и вернулся назад. Едва унтер-офицер отошел, как к Нехлюдову быстрыми босыми шагами, придерживая кандалы, совсем близко подошел, обдавая его тяжелым и кислым запахом пота, арестант и таинственным шепотом проговорил:

— Заступитесь, барин. Совсем скрутили малого. Опоили. Нынче уж на приемке Кармановым назвался. Заступитесь, а нам нельзя, убьют,— сказал арестант, беспокойно оглядываясь, и тотчас же отошел от Нехлюдова.

Дело было в том, что каторжный Карманов подговорил похожего на себя лицом малого, ссылаемого на поселение, смениться с ним так, чтобы каторжный шел в ссылку, а малый в каторгу, на его место.

Нехлюдов знал уже про это дело, так как тот же арестант неделю тому назад сообщил ему про этот обмен. Нехлюдов кивнул головой в знак того, что он понял и сделает, что может, и, не оглядываясь, прошел дальше.

Нехлюдов знал этого арестанта с Екатеринбурга, где он просил его ходатайства о том, чтобы разрешено было его жене следовать за ним, и был удивлен его поступ-

ком. Это был среднего роста и самого обыкновенного крестьянского вида человек лет тридцати, ссылавшийся в каторгу за покушение на грабеж и убийство. Звали его Макар Девкин. Преступление его было очень странное. Преступление это, как он сам рассказывал Нехлюдову, было делом не его, Макара, а *его*, нечистого. К отцу Макара, рассказывал он, заехал проезжий и нанял у него за два рубля подводу в село за сорок верст. Отец велел Макару везти проезжего. Макар запряг лошадь, оделся и вместе с проезжим стал пить чай. Проезжий за чаем рассказал, что едет жениться и везет с собой нажитые в Москве пятьсот рублей. Услыхав это, Макар вышел на двор и положил в сани под солому топор.

— И сам я не знаю, зачем я топор взял,— рассказывал он.— «Возьми, говорит, топор»,— я и взял. Сели, поехали. Едем, ничего. Я и забыл было про топор. Только стали подъезжать к селу,— верст шесть осталось. С проселка на большак дорога в гору пошла. Слез я, иду за санями, а *он* шепчет: «Ты что же думаешь? Въедешь в гору, по большаку народ, а там деревня. Увезет он деньги; делать, так теперь,— ждать нечего». Нагнулся я к саням, будто поправляю солому, а топорище точно само в руки вскочило. Оглянулся он. «Чего ты?» — говорит. Взмахнул я топором, хотел долбануть, а он, человек стремой, соскочил с саней, ухватил меня за руки. «Что ты, говорит, злодей, делаешь?..» Повалил меня на снег, и не стал я бороться, сам дался. Связал он мне руки кушаком, швырнул в сани. Повез прямо в стан. Посадили в за́мок. Судили. Общество дало одобрение, что человек хороший и худого ничего не заметно. Хозяева, у кого жил, тоже одобрили. Да аблаката нанять не на что было,— говорил Макар,— и потому присудили к четырем годам.

И вот теперь этот человек, желая спасти земляка, зная, что он этими словами рискует жизнью, все-таки передал Нехлюдову арестантскую тайну, за что,— если бы только узнали, что он сделал это,— непременно бы задушили его.

XI

Помещение политических состояло из двух маленьких камер, двери которых выходили в отгороженную часть коридора. Войдя в отгороженную часть коридора,

первое лицо, которое увидал Нехлюдов, был Симонсон с сосновым поленом в руке, сидевший в своей куртке на корточках перед дрожащей, втягиваемой жаром заслонкой растопившейся печи.

Увидав Нехлюдова, он, не встав с корточек, глядя снизу вверх из-под своих нависших бровей, подал руку.

— Я рад, что вы пришли, мне нужно вас видеть,— сказал он с значительным видом, прямо глядя в глаза Нехлюдову.

— А что именно? — спросил Нехлюдов.

— После. Теперь я занят.

И Симонсон опять взялся за печку, которую он топил по своей особенной теории наименьшей потери тепловой энергии.

Нехлюдов уже хотел пройти в первую дверь, когда из другой двери, согнувшись, с веником в руке, которым она подвигала к печке большую кучу сора и пыли, вышла Маслова. Она была в белой кофте, подтыканной юбке и чулках. Голова ее по самые брови была от пыли повязана белым платком. Увидав Нехлюдова, она разогнулась и, вся красная и оживленная, положила веник и, обтерев руки об юбку, прямо остановилась перед ним.

— Приводите в порядок помещение? — сказал Нехлюдов, подавая руку.

— Да, мое старинное занятие,— сказала она и улыбнулась.— А грязь такая, что подумать нельзя. Уж мы чистили, чистили. Что же, плед высох? — обратилась она к Симонсону.

— Почти,— сказал Симонсон, глядя на нее каким-то особенным, поразившим Нехлюдова взглядом.

— Ну, так я приду за ним и принесу шубы сушить. Наши все тут,— сказала она Нехлюдову, уходя в дальнюю и указывая на ближнюю дверь.

Нехлюдов отворил дверь и вошел в небольшую камеру, слабо освещенную маленькой металлической лампочкой, низко стоявшей на нарах. В камере было холодно и пахло неосевшей пылью, сыростью и табаком. Жестяная лампа ярко освещала находящихся около нее, но нары были в тени, и по стенам ходили колеблющиеся тени.

В небольшой камере были все, за исключением двух мужчин, заведовавших продовольствием и ушедших за кипятком и провизией. Тут была старая знакомая Нехлюдова, еще более похудевшая и пожелтевшая Вера

Ефремовна с своими огромными испуганными глазами и налившейся жилой на лбу, в серой кофте и с короткими волосами. Она сидела перед газетной бумагой с рассыпанным на ней табаком и набивала его порывистыми движениями в папиросные гильзы.

Тут же была и одна из самых для Нехлюдова приятных политических женщин — Эмилия Ранцева, заведовавшая внешним хозяйством и придававшая ему, при самых даже тяжелых условиях, женскую домовитость и привлекательность. Она сидела подле лампы и с засученными рукавами над загоревшими красивыми и ловкими руками перетирала и расставляла кружки и чашки на постланное на нарах полотенце. Ранцева была некрасивая молодая женщина с умным и кротким выражением лица, которое имело свойство вдруг, при улыбке, преображаться и делаться веселым, бодрым и обворожительным. Она теперь встретила такой улыбкой Нехлюдова.

— А мы думали, что вы уже совсем в Россию уехали,— сказала она.

Тут же была в тени, в дальнем углу, и Марья Павловна, что-то делавшая с маленькой белоголовой девчонкой, которая не переставая что-то лопотала своим милым детским голоском.

— Как хорошо, что вы пришли. Видели Катю? — спросила она Нехлюдова.— А у нас вот какая гостья.— Она показала на девочку.

Тут же был и Анатолий Крыльцов. Исхудалый и бледный, с поджатыми под себя ногами в валенках, он, сгорбившись и дрожа, сидел в дальнем углу нар и, засунув руки в рукава полушубка, лихорадочными глазами смотрел на Нехлюдова. Нехлюдов хотел подойти к нему, но направо от двери, разбирая что-то в мешке и разговаривая с хорошенькой улыбающейся Грабец, сидел курчавый рыжеватый человек в очках и гуттаперчевой куртке. Это был знаменитый революционер Новодворов, и Нехлюдов поспешил поздороваться с ним. Он особенно поторопился это сделать потому, что из всех политических этой партии один этот человек был неприятен ему. Новодворов блеснул через очки своими голубыми глазами на Нехлюдова и, нахмурившись, подал ему свою узкую руку.

— Что же, приятно путешествуете? — сказал он, очевидно, иронически.

— Да, много интересного,— отвечал Нехлюдов, делая

вид, что не видит иронии, а принимает это за любезность, и подошел к Крыльцову.

Наружно Нехлюдов выказал равнодушие, но в душе он далеко не был равнодушен к Новодворову. Эти слова Новодворова, его очевидное желание сказать и сделать неприятное нарушили то благодушное настроение, в котором находился Нехлюдов. И ему стало уныло и грустно.

— Что, как здоровье? — сказал он, пожимая холодную и дрожащую руку Крыльцова.

— Да ничего, не согреюсь только, измок,— сказал Крыльцов, поспешно пряча руку в рукав полушубка.— И здесь собачий холод. Вон окна разбиты.— Он указал на разбитые в двух местах стекла за железными решетками.— Что вы, отчего не были?

— Не пускают, строгое начальство. Нынче только офицер оказался обходительный.

— Ну, хорош обходительный! — сказал Крыльцов.— Спросите Машу, что он утром делал.

Мария Павловна, не вставая с своего места, рассказала то, что произошло с девочкой утром при выходе из этапа.

— По-моему, необходимо заявить коллективный протест,— решительным голосом сказала Вера Ефремовна, вместе с тем нерешительно и испуганно взглядывая на лица то того, то другого.— Владимир заявил, но этого мало.

— Какой протест? — досадливо морщась, проговорил Крыльцов. Очевидно, непростота, искусственность тона и нервность Веры Ефремовны уже давно раздражали его.— Вы Катю ищете? — обратился он к Нехлюдову.— Она все работает, чистит. Эту вычистила, нашу — мужскую; теперь женскую. Только блох уж не вычистить, едят поедом. А Маша что там делает? — спросил он, указывая головой на угол, в котором была Марья Павловна.

— Вычесывает свою приемную дочку,— сказала Ранцева.

— А насекомых она не распустит на нас? — сказал Крыльцов.

— Нет, нет, я аккуратно. Она теперь чистенькая,— сказала Марья Павловна.— Возьмите ее,— обратилась она к Ранцевой,— а я пойду помогу Кате. Да и плед ему принесу.

Ранцева взяла девочку и, с материнской нежностью прижимая к себе голенькие и пухленькие ручки ребенка, посадила к себе на колени и подала ей кусок сахару.

Марья Павловна вышла, а вслед за ней в камеру вошли два человека с кипятком и провизией.

XII

Один из вошедших был невысокий сухощавый молодой человек в крытом полушубке и высоких сапогах. Он шел легкой и быстрой походкой, неся два дымящихся больших чайника с горячей водой и придерживая под мышкой завернутый в платок хлеб.

— Ну, вот и князь наш объявился,— сказал он, ставя чайник среди чашек и передавая хлеб Масловой.— Чудесные штуки мы накупили,— проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через головы в угол нар.— Маркел молока и яиц купил; просто бал нынче будет. А Кирилловна все свою эстетическую чистоту наводит,— сказал он, улыбаясь, глядя на Ранцеву.— Ну, теперь заваривай чай,— обратился он к ней.

От всей наружности этого человека, от его движений, звука его голоса, взгляда веяло бодростью и веселостью. Другой же из вошедших — тоже невысокий, костлявый, с очень выдающимися мослаками худых щек серого лица, с прекрасными зеленоватыми, широко расставленными глазами и тонкими губами — был человек, напротив, мрачного и унылого вида. На нем было старое ватное пальто и сапоги с калошами. Он нес два горшка и два туеса. Поставив перед Ранцевой свою ношу, он поклонился Нехлюдову шеей, так что, кланяясь, не переставая смотрел на него. Потом, неохотно подав ему потную руку, он медлительно стал расставлять вынимаемую из корзины провизию.

Оба эти политические арестанта были люди из народа: первый был крестьянин Набатов, второй был фабричный Маркел Кондратьев. Маркел попал в революционное движение уже пожилым тридцатипятилетним человеком; Набатов же с восемнадцати лет. Попав из сельской школы по своим выдающимся способностям в гимназию, Набатов, содержа себя все время уроками, кончил курс с золотой медалью, но не пошел в университет, потому что еще в седьмом классе решил, что пойдет в народ, из которого вышел, чтобы просвещать своих забы-

тых братьев. Он так и сделал: сначала поступил писарем в большое село, но скоро был арестован за то, что читал крестьянам книжки и устроил среди них потребительное и производительное товарищество. В первый раз его продержали в тюрьме восемь месяцев и выпустили под негласный надзор. Освободившись, он тотчас же поехал в другую губернию, в другое село и, устроившись там учителем, делал то же самое. Его опять взяли и на этот раз продержали год и два месяца в тюрьме, и в тюрьме он еще укрепился в своих убеждениях.

После второй тюрьмы его сослали в Пермскую губернию. Он бежал оттуда. Его опять взяли и, продержав семь месяцев, сослали в Архангельскую губернию. Оттуда за отказ от присяги новому царю его приговорили к ссылке в Якутскую область; так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме и ссылке. Все эти похождения нисколько не озлобили его, но и не ослабили его энергию, а скорее разожгли ее. Это был подвижной человек с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, веселый и бодрый. Он никогда ни в чем не раскаивался и ничего далеко вперед не загадывал, а всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле, он работал для той цели, которую он себе поставил, а именно: просвещение, сплочение рабочего, преимущественно крестьянского народа; когда же он был в неволе, он действовал так же энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наилучшей в данных условиях жизни не для себя только, но и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую — и физическую и умственную — работу не покладая рук, без сна, без еды. Как крестьянин, он был трудолюбив, сметлив, ловок в работах и естественно воздержан и без усилия учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других. Старуха мать его, безграмотная крестьянская вдова, полная суеверий, была жива, и Набатов помогал ей и, когда был на свободе, навещал ее. Во время своих побывок дома он входил в подробности ее жизни, помогал ей в работах и не прерывал сношений с бывшими товарищами, крестьянскими ребятами; курил с ними тютюн в собачьей ножке, бился на кулачки и толковал им, как они все обмануты и как им надо выпрастываться из того обмана, в кото-

ром их держат. Когда он думал и говорил о том, что даст революция народу, он всегда представлял себе тот самый народ, из которого он вышел, в тех же почти условиях, но только с землей и без господ и чиновников. Революция, в его представлении, не должна была изменить основные формы жизни народа — в этом он не сходился с Новодворовым и последователем Новодворова Маркелом Кондратьевым,— революция, по его мнению, не должна была ломать всего здания, а должна была только иначе распределить внутренние помещения этого прекрасного, прочного, огромного, горячо любимого им старого здания.

В религиозном отношении он был также типичным крестьянином: никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал, о загробной жизни. Бог был для него, как и для Араго, гипотезой, в которой он до сих пор не встречал надобности. Ему никакого дела не было до того, каким образом начался мир, по Моисею или Дарвину, и дарвинизм, который так казался важен его сотоварищам, для него был такой же игрушкой мысли, как и творение в шесть дней.

Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как получше жить в нем, всегда стоял перед ним. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души нося то унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую — навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней, но не любил и не умел говорить об этом. Он любил работать и всегда был занят практическими делами и на такие же практические дела наталкивал товарищей.

Другой политический арестант в этой партии из народа, Маркел Кондратьев, был человек иного склада. С пятнадцати лет он стал на работу и начал курить и пить, чтобы заглушить смутное сознание обиды. Обиду эту он почувствовал в первый раз, когда на рождество их, ребят, привели на елку, устроенную женой фабриканта, где ему с товарищами подарили дудочку в одну копейку, яблоко, золоченый орех и винную ягоду, а

детям фабриканта — игрушки, которые показались ему дарами волшебницы и стоили, как он после узнал, более пятидесяти рублей. Ему было двадцать лет, когда на фабрику поступила работницей знаменитая революционерка и, заметив выдающиеся способности Кондратьева, стала давать ему книги и брошюры и говорить с ним, объясняя ему его положение и причины его и средства его улучшить. Когда ему ясно представилась возможность освобождения себя и других от того угнетенного положения, в котором он находился, несправедливость этого положения показалась ему еще жесточе и ужаснее, чем прежде, и ему страстно захотелось не только освобождения, но и наказания тех, которые устроили и поддерживали эту жестокую несправедливость. Возможность эту, как это ему объяснили, давало знание, и Кондратьев отдался со страстью приобретению знаний. Для него было неясно, каким образом осуществление социалистического идеала совершится через знание, но он верил, что как знание открыло ему несправедливость того положения, в котором он находился, так это же знание и поправит эту несправедливость. Кроме того, знание поднимало его в его мнении выше других людей. И потому, перестав пить и курить, он все свободное время, которого у него стало больше, когда его сделали кладовщиком, отдал учению.

Революционерка учила его и поражалась той удивительной способностью, с которой он ненасытно поглощал всякие знания. В два года он изучил алгебру, геометрию, историю, которую он особенно любил, и перечитал всю художественную и критическую литературу и, главное, социалистическую.

Революционерку арестовали и с ней Кондратьева за нахождение у него запрещенных книг и посадили в тюрьму, а потом сослали в Вологодскую губернию. Там он познакомился с Новодворовым, перечитал еще много революционных книг, все запомнил и еще более утвердился в своих социалистических взглядах. После ссылки он был руководителем большой стачки рабочих, кончившейся разгромом фабрики и убийством директора. Его арестовали и приговорили к лишению прав и ссылке.

К религии он относился так же отрицательно, как и к существующему экономическому устройству. Поняв нелепость веры, в которой он вырос, и с усилием и сначала страхом, а потом с восторгом освободившись от нее, он, как бы в возмездие за тот обман, в котором держали

его и его предков, не уставал ядовито и озлобленно смеяться над попами и над религиозными догматами.

Он был по привычкам аскет, довольствовался самым малым и, как всякий с детства приученный к работе, с развитыми мускулами человек, легко и много и ловко мог работать всякую физическую работу, но больше всего дорожил досугом, чтобы в тюрьмах и на этапах продолжать учиться. Он теперь изучал первый том Маркса и с великой заботливостью, как большую драгоценность, хранил эту книгу в своем мешке. Ко всем товарищам он относился сдержанно, равнодушно, исключая Новодворова, которому он был особенно предан и суждения которого о всех предметах принимал за неопровержимые истины.

К женщинам же, на которых он смотрел как на помеху во всех нужных делах, он питал непреодолимое презрение. Но Маслову он жалел и был с ней ласков, видя в ней образец эксплуатации низшего класса высшим. По этой же причине он не любил Нехлюдова, был неразговорчив с ним и не сжимал его руки, а только предоставлял к пожатию свою вытянутую руку, когда Нехлюдов здоровался с ним.

XIII

Печка истопилась, согрелась, чай был заварен и разлит по стаканам и кружкам и забелен молоком, были выложены баранки, свежий ситный и пшеничный хлеб, крутые яйца, масло и телячья голова и ножки. Все подвинулись к месту на нарах, заменяющему стол, и пили, ели и разговаривали. Ранцева сидела на ящике, разливая чай. Вокруг нее столпились все остальные, кроме Крыльцова, который, сняв мокрый полушубок и завернувшись в сухой плед, лежал на своем месте и разговаривал с Нехлюдовым.

После холода, сырости во время перехода, после грязи и неурядицы, которую они нашли здесь, после трудов, положенных на то, чтобы привести все в порядок, после принятия пищи и горячего чая все были в самом приятном, радостном настроении.

То, что за стеной слышался топот, крики и ругательства уголовных, как бы напоминая о том, что́ окружало их, еще усиливало чувство уютности. Как на островке среди моря, люди эти чувствовали себя на время не за-

литыми теми унижениями и страданиями, которые окружали их, и вследствие этого находились в приподнятом, возбужденном состоянии. Говорили обо всем, но только не о своем положении и о том, что ожидало их. Кроме того, как это всегда бывает между молодыми мужчинами и женщинами, в особенности когда они насильно соединены, как были соединены все эти люди, между ними возникли согласные и несогласные, различно переплетающиеся влечения друг к другу. Они почти все были влюблены. Новодворов был влюблен в хорошенькую улыбающуюся Грабец. Грабец эта была молоденькая курсистка, очень мало думавшая и совершенно равнодушная к вопросам революции. Но она подчинилась влиянию времени, чем-то компрометировала себя и была сослана. Как на воле главные интересы ее жизни состояли в успехах у мужчин, так точно это продолжало быть и на допросах, и в тюрьме, и в ссылке. Теперь, во время перехода, она утешалась тем, что Новодворов увлекся ею, и сама влюбилась в него. Вера Ефремовна, очень влюбчивая и не возбуждавшая к себе любви, но всегда надеющаяся на взаимность, была влюблена то в Набатова, то в Новодворова. Что-то похожее на влюбленье было со стороны Крыльцова к Марье Павловне. Он любил ее, как мужчины любят женщин, но, зная ее отношение к любви, искусно скрывал свое чувство под видом дружбы и благодарности за то, что она с особенной нежностью ухаживала за ним. Набатов и Ранцева были связаны очень сложными любовными отношениями. Как Марья Павловна была вполне целомудренная девственница, так Ранцева была вполне целомудренная мужняя жена-женщина.

Шестнадцати лет, еще в гимназии, она полюбила Ранцева, студента петербургского университета, и девятнадцати лет вышла за него замуж, пока еще он был в университете. С четвертого курса муж ее, замешанный в университетской истории, был выслан из Петербурга и сделался революционером. Она же оставила медицинские курсы, которые слушала, поехала за ним и тоже сделалась революционеркой. Если бы ее муж не был тем человеком, которого она считала самым хорошим, самым умным из всех людей на свете, она бы не полюбила его, а не полюбив, не вышла бы замуж. Но, раз полюбив и выйдя замуж за самого, по ее убеждениям, хорошего и умного человека на свете, она, естественно, понимала жизнь и цель ее точно так же, как понимал ее самый

лучший и умный человек на свете. Он сначала понимал жизнь в том, чтобы учиться, и она в том же понимала жизнь. Он сделался революционером, и она стала революционеркой. Она очень хорошо могла доказывать, что существующий порядок невозможен и что обязанность всякого человека состоит в том, чтобы бороться с этим порядком и пытаться установить тот и политический и экономический строй жизни, при котором личность могла бы свободно развиваться, и т. п. И ей казалось, что она действительно так думает и чувствует, но, в сущности, она думала только то, что все то, что думает муж, то истинная правда, и искала только одного — полного согласия, слияния с душой мужа, что одно давало ей нравственное удовлетворение.

Разлука с мужем и ребенком, которого взяла ее мать, была тяжела ей. Но она переносила эту разлуку твердо и спокойно, зная, что несет это она для мужа и для того дела, которое несомненно истинно, потому что он служит ему. Она всегда была мыслями с мужем и как прежде никого не любила, так и теперь не могла любить никого, кроме своего мужа. Но преданная и чистая любовь к ней Набатова трогала и волновала ее. Он, нравственный и твердый человек, друг ее мужа, старался обращаться с ней как с сестрой, но в отношениях его к ней проскальзывало нечто большее, и это нечто большее пугало их обоих и вместе с тем украшало теперь их трудную жизнь.

Так что вполне свободными от влюбления были в этом кружке только Марья Павловна и Кондратьев.

XIV

Рассчитывая поговорить отдельно с Катюшей, как он делал это обыкновенно после общего чая и ужина, Нехлюдов сидел подле Крыльцова, беседуя с ним. Между прочим он рассказал ему про то обращение к нему Макара и про историю его преступления. Крыльцов слушал внимательно, остановив блестящий взгляд на лице Нехлюдова.

— Да,— сказал он вдруг.— Меня часто занимает мысль, что вот мы идем вместе, рядом с ними,— с кем с «ними»? С теми самыми людьми, за которых мы и идем. А между тем мы не только не знаем, но и не хотим знать их. А они, хуже этого, ненавидят нас и считают своими врагами. Вот это ужасно.

— Ничего нет ужасного,— сказал Новодворов, прислушивавшийся к разговору.— Массы всегда обожают только власть,— сказал он своим трещащим голосом.— Правительство властвует — они обожают его и ненавидят нас; завтра мы будем во власти — они будут обожать нас...

В это время из-за стены послышался взрыв брани, толкотня ударяющихся в стену, звон цепей, визг и крики. Кого-то били, кто-то кричал: «Караул!»

— Вон они звери! Какое же может быть общение между нами и ими? — спокойно сказал Новодворов.

— Ты говоришь — звери. А вот сейчас Нехлюдов рассказывал о таком поступке,— раздражительно сказал Крыльцов, и он рассказал про то, как Макар рискует жизнью, спасая земляка.— Это-то уже не зверство, а подвиг.

— Сентиментальность! — иронически сказал Новодворов.— Нам трудно понять эмоции этих людей и мотивы их поступков. Ты видишь тут великодушие, а тут, может быть, зависть к тому каторжнику.

— Как это ты не хочешь в другом видеть ничего хорошего,— вдруг разгорячившись, сказала Марья Павловна (она была на «ты» со всеми).

— Нельзя видеть, чего нет.

— Как нет, когда человек рискует ужасной смертью?

— Я думаю,— сказал Новодворов,— что если мы хотим делать свое дело, то первое для этого условие (Кондратьев оставил книгу, которую он читал у лампы, и внимательно стал слушать своего учителя) то, чтобы не фантазировать, а смотреть на вещи, как они есть. Делать все для масс народа, не ждать ничего от них; массы составляют объект нашей деятельности, но не могут быть нашими сотрудниками до тех пор, пока они инертны, как теперь,— начал он, как будто читал лекцию.— И потому совершенно иллюзорно ожидать от них помощи до тех пор, пока не произошел процесс развития, тот процесс развития, к которому мы приготавливаем их.

— Какой процесс развития? — раскрасневшись, заговорил Крыльцов.— Мы говорим, что мы против произвола и деспотизма, а разве это не самый ужасный деспотизм?

— Нет никакого деспотизма,— спокойно отвечал Новодворов.— Я только говорю, что знаю тот путь, по которому должен идти народ, и могу указывать этот путь.

— Но почему ты уверен, что путь, который ты ука-

зываешь, истинный? Разве это не деспотизм, из которого вытекали инквизиции и казни большой революции? Они тоже знали по науке единый истинный путь.

— То, что они заблуждались, не доказывает того, чтобы я заблуждался. И потом, большая разница между бреднями идеологов и данными положительной экономической науки.

Голос Новодворова наполнял всю камеру. Он один говорил, а все молчали.

— Всегда спорят,— сказала Марья Павловна, когда он на минуту затих.

— А вы сами-то как об этом думаете? — спросил Нехлюдов Марью Павловну.

— Думаю, что Анатолий прав, что нельзя навязывать народу наши взгляды.

— Ну, а вы, Катюша? — улыбаясь, спросил Нехлюдов, с робостью о том, что она скажет что-нибудь не то, ожидая ее ответа.

— Я думаю, обижен простой народ,— сказала она, вся вспыхнув,— очень уж обижен простой народ.

— Верно, Михайловна, верно,— крикнул Набатов,— дюже обижен народ. Надо, чтобы не обижали его. В этом все наше дело.

— Странное представление о задачах революции,— сказал Новодворов и молча сердито стал курить.

— Не могу с ним говорить,— шепотом сказал Крыльцов и замолчал.

— И гораздо лучше не говорить,— сказал Нехлюдов.

XV

Несмотря на то, что Новодворов был очень уважаем всеми революционерами, несмотря на то, что он был очень учен и считался очень умным, Нехлюдов причислял его к тем революционерам, которые, будучи по нравственным своим качествам ниже среднего уровня, были гораздо ниже его. Умственные силы этого человека — его числитель — были большие; но мнение его о себе — его знаменатель — было несоизмеримо огромное и давно уже переросло его умственные силы.

Это был человек совершенно противоположного склона духовной жизни, чем Симонсон. Симонсон был один из тех людей, преимущественно мужского склада, у которых поступки вытекают из деятельности мысли и определяются ею. Новодворов же принадлежал к раз-

ряду людей преимущественно женского склада, у которых деятельность мысли направлена отчасти на достижение целей, поставленных чувством, отчасти же на оправдание поступков, вызванных чувством.

Вся революционная деятельность Новодворова, несмотря на то, что он умел красноречиво объяснять ее очень убедительными доводами, представлялась Нехлюдову основанной только на тщеславии, желании первенствовать перед людьми. Сначала, благодаря своей способности усваивать чужие мысли и точно передавать их, он в период учения, в среде учащих и учащихся, где эта способность высоко ценится (гимназия, университет, магистерство), имел первенство, и он был удовлетворен. Но когда он получил диплом и перестал учиться и первенство это прекратилось, он вдруг, как это рассказывал Нехлюдову Крыльцов, не любивший Новодворова, для того чтобы получить первенство в новой сфере, совершенно переменил свои взгляды и из постепеновца-либерала сделался красным, народовольцем. Благодаря отсутствию в его характере свойств нравственных и эстетических, которые вызывают сомнения и колебания, он очень скоро занял в революционном мире удовлетворявшее его самолюбие положение руководителя партии. Раз избрав направление, он уже никогда не сомневался и не колебался и потому был уверен, что никогда не ошибался. Все ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомненно. И при узости и односторонности его взгляда все действительно было очень просто и ясно, и нужно было только, как он говорил, быть логичным. Самоуверенность его была так велика, что она могла только отталкивать от себя людей или подчинять себе. А так как деятельность его происходила среди очень молодых людей, принимавших его безграничную самоуверенность за глубокомыслие и мудрость, то большинство подчинялось ему, и он имел большой успех в революционных кругах. Деятельность его состояла в подготовлении к восстанию, в котором он должен был захватить власть и созвать собор. На соборе же должна была быть предложена составленная им программа. И он был вполне уверен, что программа эта исчерпывала все вопросы, и нельзя было не исполнить ее.

Товарищи уважали его за его смелость и решительность, но не любили. Он же никого не любил и ко всем выдающимся людям относился как к соперникам и охотно поступил бы с ними, как старые самцы-обезьяны по-

ступают с молодыми, если бы мог. Он вырвал бы весь ум, все способности у других людей, только бы они не мешали проявлению его способностей. Он относился хорошо только к людям, преклонявшимся перед ним. Так он относился теперь, на пути, к пропагандированному им рабочему Кондратьеву, к Вере Ефремовне и к хорошенькой Грабец, которые обе были влюблены в него. Хотя он принципиально и был за женский вопрос, но в глубине души считал всех женщин глупыми и ничтожными, за исключением тех, в которых часто бывал сентиментально влюблен, так, как теперь был влюблен в Грабец, и тогда считал их необычайными женщинами, достоинства которых умел заметить только он.

Вопрос об отношениях полов казался ему, как и все вопросы, очень простым и ясным и вполне разрешенным признанием свободной любви.

У него была одна жена фиктивная, другая настоящая, с которой он разошелся, убедившись, что между ними нет истинной любви, и теперь намеревался вступить в новый свободный брак с Грабец.

Нехлюдова он презирал за то, что он «кривляется», как он говорил, с Масловой, и в особенности за то, что он позволяет себе думать о недостатках существующего устройства и средствах исправления его не только не слово в слово так же, как думал он, Новодворов, но даже как-то по-своему, по-княжески, то есть по-дурацки. Нехлюдов знал это отношение к себе Новодворова и, к огорчению своему, чувствовал, что, несмотря на то благодушное настроение, в котором он находился во время путешествия, платит ему тою же монетою и никак не может побороть сильнейшей антипатии к этому человеку.

XVI

В соседней камере послышались голоса начальства. Все затихло, и вслед за этим вошел старшой с двумя конвойными. Это была поверка. Старшой счел всех, указывая на каждого пальцем. Когда дошла очередь до Нехлюдова, он добродушно-фамильярно сказал ему:

— Теперь, князь, уж нельзя оставаться после поверки. Надо уходить.

Нехлюдов, зная, что это значит, подошел к нему и сунул ему приготовленные три рубля.

— Ну, что же с вами делать! Посидите еще.

Старшой хотел уходить, когда вошел другой унтер-офицер и вслед за ним высокий, худой арестант с подбитым глазом и редкой бородкой.

— Я насчет девчонки,— сказал арестант.

— А вот и батя пришел,— послышался вдруг звонкий детский голосок, и беловолосая головка поднялась из-за Ранцевой, которая вместе с Марьей Павловной и Катюшей шила девочке новую одежду из пожертвованной Ранцевой юбки.

— Я, дочка, я,— ласково сказал Бузовкин.

— Ей тут хорошо,— сказала Марья Павловна, с страданием вглядываясь в разбитое лицо Бузовкина.— Оставьте ее у нас.

— Барыни мне новую лопоть[1] шьют,— сказала девочка, указывая отцу на работу Ранцевой.— Хорошая, кра-а-асная,— лопотала она.

— Хочешь у нас ночевать? — сказала Ранцева, лаская девочку.

— Хочу. И батю.

Ранцева просияла своей улыбкой.

— Батю нельзя,— сказала она.— Так оставьте ее,— обратилась она к отцу.

— Пожалуй, оставьте,— проговорил старшой, остановившись в дверях, и вышел вместе с унтер-офицером.

Как только конвойные вышли, Набатов подошел к Бузовкину и, потрагивая его по плечу, сказал:

— А что, брат, правда, у вас Карманов смениться хочет?

Добродушное, ласковое лицо Бузовкина вдруг стало грустным, и глаза его застлались какой-то пленкой.

— Мы не слыхали. Вряд ли,— сказал он и, не снимая с глаз своих пленки, прибавил: — Ну, Аксютка, царствуй, видно, с барынями,— и поспешил выйти.

— Все знает, и правда, что сменялись,— сказал Набатов.— Что же вы сделаете?

— Скажу в городе начальству. Я их обоих знаю в лицо,— сказал Нехлюдов.

Все молчали, очевидно боясь возобновления спора.

Симонсон, все время молча, закинув руки за голову, лежавший в углу на нарах, решительно приподнялся и, обойдя осторожно сидевших, подошел к Нехлюдову.

— Можете теперь выслушать меня?

[1] Лопоть — по-сибирски одежда. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— Разумеется,— сказал Нехлюдов и встал, чтобы идти за ним.

Взглянув на поднявшегося Нехлюдова и встретившись с ним глазами, Катюша покраснела и как бы недоумевающе покачала головой.

— Дело мое к вам в следующем,— начал Симонсон, когда они вместе с Нехлюдовым вышли в коридор. В коридоре было особенно слышно гуденье и взрывы голосов среди уголовных. Нехлюдов поморщился, но Симонсон, очевидно, не смущался этим.— Зная ваше отношение к Катерине Михайловне,— продолжал он, внимательно и прямо своими добрыми глазами глядя в лицо Нехлюдову,— считаю себя обязанным,— продолжал он, но должен был остановиться, потому что у самой двери два голоса кричали враз, о чем-то споря.

— Говорят тебе, идол: не мои! — кричал один голос.

— Подавишься, черт,— хрипел другой.

В это время Марья Павловна вышла в коридор.

— Разве можно тут разговаривать,— сказала она,— пройдите сюда, там одна Верочка.— И она вперед прошла в соседнюю дверь крошечной, очевидно одиночной камеры, отданной теперь в распоряжение политических женщин. На нарах, укрывшись с головой, лежала Вера Ефремовна.

— У нее мигрень, она спит и не слышит, а я уйду! — сказала Марья Павловна.

— Напротив, оставайся,— сказал Симонсон,— у меня секретов нет ни от кого, тем более от тебя.

— Ну, хорошо,— сказала Марья Павловна и, по-детски двигаясь всем телом со стороны в сторону и этим движением глубже усаживаясь на нарах, приготовилась слушать, глядя куда-то вдаль своими красивыми бараньими глазами.

— Так дело мое в том,— повторил Симонсон,— что, зная ваше отношение к Катерине Михайловне, я считаю себя обязанным объявить вам мое отношение к ней.

— То есть что же? — спросил Нехлюдов, невольно любуясь той простотой и правдивостью, с которой Симонсон говорил с ним.

— То, что я хотел бы жениться на Катерине Михайловне...

— Удивительно! — сказала Марья Павловна, остановив глаза на Симонсоне.

— ...и решил просить ее об этом, о том, чтобы быть моей женой,— продолжал Симонсон.

— Что же я могу? Это зависит от нее,— сказал Нехлюдов.

— Да, но она не решит этого вопроса без вас.

— Почему?

— Потому что, пока вопрос ваших с нею отношений не решен окончательно, она не может ничего избрать.

— С моей стороны вопрос решен окончательно. Я желал сделать то, что считаю должным, и, кроме того, облегчить ее положение, но ни в каком случае не желаю стеснять ее.

— Да, но она не хочет вашей жертвы.

— Никакой жертвы нет.

— И я знаю, что это решение ее бесповоротно.

— Ну, так о чем же говорить со мной? — сказал Нехлюдов.

— Ей нужно, чтобы и вы признали то же.

— Как же я могу признать, что я не должен сделать то, что считаю должным. Одно, что я могу сказать,— это то, что я не свободен, но она свободна.

Симонсон помолчал, задумавшись.

— Хорошо, я так и скажу ей. Вы не думайте, что я влюблен в нее,— продолжал он.— Я люблю ее как прекрасного, редкого, много страдавшего человека. Мне от нее ничего не нужно, но страшно хочется помочь ей, облегчить ее поло...

Нехлюдов удивился, услыхав дрожание голоса Симонсона.

— ...облегчить ее положение,— продолжал Симонсон.— Если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Если бы она согласилась, я бы просил, чтобы меня сослали в ее место заключения. Четыре года — не вечность. Я бы прожил подле нее и, может быть, облегчил бы ее участь...— Опять он остановился от волненья.

— Что же я могу сказать? — сказал Нехлюдов.— Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы...

— Вот это-то мне и нужно было знать,— продолжал Симонсон.— Я желал знать, любя ее, желая ей блага, нашли ли бы вы благом ее брак со мной?

— О да,— решительно сказал Нехлюдов.

— Все дело в ней, мне ведь нужно только, чтобы эта пострадавшая душа отдохнула,— сказал Симонсон, глядя на Нехлюдова с такой детской нежностью, какой никак нельзя было ожидать от этого мрачного вида человека.

Симонсон встал и, взяв за руку Нехлюдова, потянулся к нему лицом, застенчиво улыбнулся и поцеловал его.

— Так я так и скажу ей,— сказал он и вышел.

XVII

— А, каково? — сказала Марья Павловна.— Влюблен, совсем влюблен. Вот уж чего никогда не ожидала бы, чтобы Владимир Симонсон влюбился таким самым глупым, мальчишеским влюблением. Удивительно и, по правде скажу, огорчительно,— заключила она, вздохнув.

— Но она, Катя? Как, вы думаете, относится она к этому? — спросил Нехлюдов.

— Она? — Марья Павловна остановилась, очевидно желая как можно точнее ответить на вопрос.— Она? Видите ли, она, несмотря на ее прошедшее, по природе одна из самых нравственных натур... и так тонко чувствует... Она любит вас, хорошо любит, и счастлива тем, что может сделать вам хоть то отрицательное добро, чтобы не запутать вас собой. Для нее замужество с вами было бы страшным падением, хуже всего прежнего, и потому она никогда не согласится на это. А между тем ваше присутствие тревожит ее.

— Так что же, исчезнуть мне? — сказал Нехлюдов.

Марья Павловна улыбнулась своей милой детской улыбкой.

— Да, отчасти.

— Как же исчезнуть отчасти?

— Я соврала; но про нее-то я хотела вам сказать, что, вероятно, она видит нелепость его какой-то восторженной любви (он ничего не говорил ей), и польщена ею, и боится ее. Вы знаете, я не компетентна в этих делах, но мне кажется, что с его стороны самое обыкновенное мужское чувство, хотя и замаскированное. Он говорит, что эта любовь возвышает в нем энергию и что эта любовь платоническая. Но я-то знаю, что если это исключительная любовь, то в основе ее лежит непременно все-таки гадость... Как у Новодворова с Любочкой.

Марья Павловна отвлеклась от вопроса, разговорившись на свою любимую тему.

— Но что же мне делать? — спросил Нехлюдов.

— Я думаю, что надо вам сказать ей. Всегда лучше,

чтобы было все ясно. Поговорите с ней, я позову ее. Хотите? — сказала Марья Павловна.

— Пожалуйста,— сказал Нехлюдов, и Марья Павловна вышла.

Странное чувство охватило Нехлюдова, когда он остался один в маленькой камере, слушая тихое дыхание, прерываемое изредка стонами Веры Ефремовны, и гул уголовных, не перестававший раздаваться за двумя дверями.

То, что сказал ему Симонсон, давало ему освобождение от взятого на себя обязательства, которое в минуты слабости казалось ему тяжелым и странным, а между тем было что-то не только неприятно, но и больно. В чувстве этом было и то, что предложение Симонсона разрушило исключительность его поступка, уменьшало в глазах своих и чужих людей цену жертвы, которую он приносил: если человек, и такой хороший, ничем не связанный с ней, желал соединить с ней судьбу, то его жертва уже не была так значительна. Было тоже, может быть, простое чувство ревности: он так привык к ее любви к себе, что не мог допустить, чтобы она могла полюбить другого. Было тут и разрушение раз составленного плана — жить при ней, пока она будет отбывать наказание. Если бы она вышла за Симонсона, присутствие его становилось ненужно, и ему нужно было составлять новый план жизни. Он не успел разобраться в своих чувствах, как в отворенную дверь ворвался усиленный звук гула уголовных (у них нынче было что-то особенное) и в камеру вошла Катюша.

Она подошла к нему быстрыми шагами.

— Марья Павловна послала меня,— сказала она, останавливаясь близко подле него.

— Да, мне нужно поговорить. Да присядьте. Владимир Иванович говорил со мной.

Она села, сложив руки на коленях, и казалась спокойною, но, как только Нехлюдов произнес имя Симонсона, она багрово покраснела.

— Что же он вам говорил? — спросила она.

— Он сказал мне, что хочет жениться на вас.

Лицо ее вдруг сморщилось, выражая страдание. Она ничего не сказала и только опустила глаза.

— Он спрашивает моего согласия или совета. Я сказал, что все зависит от вас, что вы должны решить.

— Ах, что это? Зачем? — проговорила она и тем странным, всегда особенно сильно действующим на

Нехлюдова, косящим взглядом посмотрела ему в глаза. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу. И взгляд этот многое сказал и тому и другому.

— Вы должны решить,— повторил Нехлюдов.

— Что мне решать? — сказала она.— Все давно решено.

— Нет, вы должны решить, принимаете ли вы предложение Владимира Ивановича,— сказал Нехлюдов.

— Какая я жена — каторжная? Зачем мне погубить еще и Владимира Ивановича? — сказала она, нахмурившись.

— Да, но если бы вышло помилование? — сказал Нехлюдов.

— Ах, оставьте меня. Больше нечего говорить,— сказала она и, встав, вышла из камеры.

XVIII

Когда Нехлюдов вернулся вслед за Катюшей в мужскую камеру, там все были в волнении. Набатов, везде ходивший, со всеми входивший в сношения, все наблюдавший, принес поразившее всех известие. Известие состояло в том, что он на стене нашел записку, написанную революционером Петлиным, приговоренным к каторжным работам. Все полагали, что Петлин уже давно на Каре, и вдруг оказывалось, что он только недавно прошел по этому же пути с уголовными.

«17-го августа,— значилось в записке,— я отправлен один с уголовными. Неверов был со мной и повесился в Казани, в сумасшедшем доме. Я здоров и бодр и надеюсь на все хорошее».

Все обсуживали положение Петлина и причины самоубийства Неверова. Крыльцов же с сосредоточенным видом молчал, глядя перед собой остановившимися блестящими глазами.

— Мне муж говорил, что Неверов видел привиденья еще в Петропавловке,— сказала Ранцева.

— Да, поэт, фантазер, такие люди не выдерживают одиночки,— сказал Новодворов.— Я вот, когда попадал в одиночку, не позволял воображению работать, а самым систематическим образом распределял свое время. От этого всегда и переносил хорошо.

— Чего не переносить? Я так часто просто рад бы-

вал, когда посадят,— сказал Набатов бодрым голосом, очевидно желая разогнать мрачное настроение.— То всего боишься: и что сам попадешься, и других запутаешь, и дело испортишь, а как посадят — конец ответственности, отдохнуть можно. Сиди себе да покуривай.

— Ты его близко знал? — спросила Марья Павловна, беспокойно взглядывая на вдруг изменившееся, осунувшееся лицо Крыльцова.

— Неверов фантазер? — заговорил вдруг Крыльцов, задыхаясь, точно он долго кричал или пел.— Неверов — это был такой человек, которых, как наш швейцар говорил, *мало земля родит*... Да... это был весь хрустальный человек, всего насквозь видно. Да... он не то, что солгать — не мог притворяться. Не то что тонкокожий, он точно весь был ободранный, и все нервы наружу. Да... сложная, богатая натура, не такая... Ну, да что говорить!..— Он помолчал.— Мы спорим, что лучше,— злобно хмурясь, сказал он,— прежде образовать народ, а потом изменить формы жизни, или прежде изменить формы жизни, и потом — как бороться: мирной пропагандой, террором? Спорим, да. А они не спорят, они знают свое дело, им совершенно все равно, погибнут, не погибнут десятки, сотни людей, да каких людей! Напротив, им именно нужно, чтобы погибли лучшие. Да, Герцен говорил, что, когда декабристов вынули из обращения, понизили общий уровень. Еще бы не понизили! Потом вынули из обращения самого Герцена и его сверстников. Теперь Неверовых...

— Всех не уничтожат,— своим бодрым голосом сказал Набатов.— Всё на развод останутся.

— Нет, не останутся, коли мы будем жалеть *их*,— возвышая голос и не давая перебить себя, сказал Крыльцов.— Дай мне папироску.

— Да ведь нехорошо тебе, Анатолий,— сказала Марья Павловна,— пожалуйста, не кури.

— Ах, оставь,— сердито сказал он и закурил, но тотчас же закашлялся; его стало тянуть как бы на рвоту. Отплевавшись, он продолжал: — Не то мы делали, нет, не то. Не рассуждать, а всем сплотиться... и уничтожать их. Да.

— Да ведь они тоже люди,— сказал Нехлюдов.

— Нет, это не люди,— те, которые могут делать то, что они делают... Нет, вот, говорят, бомбы выдумали и баллоны. Да, подняться на баллоне и посыпать их, как клопов, бомбами, пока выведутся... Да. Потому что...—

начал было он, но, весь красный, вдруг еще сильнее закашлялся, и кровь хлынула у него изо рта.

Набатов побежал за снегом. Марья Павловна достала валерьяновые капли и предлагала ему, но он, закрыв глаза, отталкивал ее белой похудевшей рукой и тяжело и часто дышал. Когда снег и холодная вода немного успокоили его и его уложили на ночь, Нехлюдов простился со всеми и вместе с унтер-офицером, пришедшим за ним и уже давно дожидавшимся его, пошел к выходу.

Уголовные теперь затихли, и большинство спало. Несмотря на то, что люди в камерах лежали и на нарах, и под нарами, и в проходах, они все не могли поместиться, и часть их лежала на полу в коридоре, положив головы на мешки и укрываясь сырыми халатами.

Из дверей камер и в коридоре слышались храп, стоны и сонный говор. Везде виднелись сплошные кучки человеческих фигур, укрытых халатами. Не спали только в холостой уголовной несколько человек, сидевших в углу около огарка, который они потушили, увидев солдата, и еще в коридоре, под лампой старик; он сидел голый и обирал насекомых с рубахи. Зараженный воздух помещения политических казался чистым в сравнении с вонючей духотой, которая была здесь. Коптящая лампа, казалось, виднелась как бы сквозь туман, и дышать было трудно. Для того чтобы пройти по коридору, не наступив или не зацепив ногою кого-нибудь из спящих, надо было высматривать вперед пустое место и, поставив на него ногу, отыскивать место для следующего шага. Три человека, очевидно не нашедшие места и в коридоре, расположились в сенях, под самой вонючей и текущей по швам кадкой-парашей. Один из этих людей был дурачок-старик, которого Нехлюдов часто видал на переходах. Другой был мальчик лет десяти; он лежал между двумя арестантами и, подложив руку под щеку, спал на ноге одного из них.

Выйдя из ворот, Нехлюдов остановился и, во все легкие растягивая грудь, долго усиленно дышал морозным воздухом.

XIX

На дворе вызвездило. Вернувшись по закованной, только еще кое-где просовывающейся грязи на свой постоялый двор, Нехлюдов постучал в темное окно, и широкоплечий работник босиком отворил ему дверь и впу-

стил в сени. Из сеней направо слышался громкий храп извозчиков в черной избе; впереди за дверью, на дворе, слышалось жеванье овса большого количества лошадей. Налево вела дверь в чистую горницу. В чистой горнице пахло полынью и пóтом, и слышался из-за перегородки равномерный и прихлебывающий храп чьих-то могучих легких, и горела в красном стекле лампадка перед иконами. Нехлюдов разделся, постелил на клеенчатый диван плед, свою кожаную подушку и лег, перебирая в своем воображении все, что он видел и слышал за нынешний день. Из всего того, что видел нынче Нехлюдов, самым ужасным ему показался мальчик, спавший на жиже, вытекавшей из парахи, положив голову на ногу арестанта.

Несмотря на неожиданность и важность разговора нынче вечером с Симонсоном и Катюшей, он не останавливался на этом событии: отношение его к этому было слишком сложно и вместе с тем неопределенно, и поэтому он отгонял от себя мысль об этом. Но тем живее вспоминал он зрелище этих несчастных, задыхавшихся в удушливом воздухе и валявшихся на жидкости, вытекавшей из вонючей кадки, и в особенности этого мальчика с невинным лицом, спавшего на ноге каторжного, который не выходил у него из головы.

Знать, что где-то далеко одни люди мучают других, подвергая их всякого рода развращению, бесчеловечным унижениям и страданиям, или в продолжение трех месяцев видеть беспрестанно это развращение и мучительство одних людей другими — это совсем другое. И Нехлюдов испытывал это. Он не раз в продолжение этих трех месяцев спрашивал себя: «Я ли сумасшедший, что вижу то, чего другие не видят, или сумасшедшие те, которые производят то, что я вижу?» Но люди (и их было так много) производили то, что его так удивляло и ужасало, с такой спокойной уверенностью в том, что это не только так надо, но что то, что они делают, очень важное и полезное дело,— что трудно было признать всех этих людей сумасшедшими; себя же сумасшедшим он не мог признать, потому что сознавал ясность своей мысли. И потому постоянно находился в недоумении.

То, что в продолжение этих трех месяцев видел Нехлюдов, представлялось ему в следующем виде: из всех живущих на воле людей посредством суда и администрации отбирались самые нервные, горячие, возбудимые, даровитые и сильные и менее, чем другие, хитрые и осторожные люди, и люди эти, никак не более винов-

ные или опасные для общества, чем те, которые оставались на воле, во-первых, запирались в тюрьмы, этапы, каторги, где и содержались месяцами и годами в полной праздности, материальной обеспеченности и в удалении от природы, семьи, труда, то есть вне всех условий естественной и нравственной жизни человеческой. Это во-первых. Во-вторых, люди эти в этих заведениях подвергались всякого рода ненужным унижениям — цепям, бритым головам, позорной одежде, то есть лишались главного двигателя доброй жизни слабых людей — заботы о мнении людском, стыда, сознания человеческого достоинства. В-третьих, подвергаясь постоянной опасности жизни,— не говоря уже об исключительных случаях солнечных ударов, утонленья, пожаров,— от постоянных в местах заключения заразных болезней, изнурения, побоев, люди эти постоянно находились в том положении, при котором самый добрый, нравственный человек из чувства самосохранения совершает и извиняет других в совершении самых ужасных по жестокости поступков. В-четвертых, люди эти насильственно соединялись с исключительно развращенными жизнью (и в особенности этими же учреждениями) развратниками, убийцами и злодеями, которые действовали, как закваска на тесто, на всех еще не вполне развращенных употребленными средствами людей. И, в-пятых, наконец, всем людям, подвергнутым этим взаимодействиям, внушалось самым убедительным способом, а именно посредством всякого рода бесчеловечных поступков над ними самими, посредством истязания детей, женщин, стариков, битья, сечения розгами, плетьми, выдавания премии тем, кто представит живым или мертвым убегавшего беглого, разлучения мужей с женами и соединения для сожительства чужих жен с чужими мужчинами, расстреляния, вешания,— внушалось самым убедительным способом то, что всякого рода насилия, жестокости, зверства не только не запрещаются, но разрешаются правительством, когда это для него выгодно, а потому тем более позволено тем, которые находятся в неволе, нужде и бедствиях.

Все это были как будто нарочно выдуманные учреждения для произведения сгущенного до последней степени такого разврата и порока, которого нельзя было достигнуть ни при каких других условиях, с тем чтобы потом распространить в самых широких размерах эти сгущенные пороки и разврат среди всего народа. «Точно как будто была задана задача, как наилучшим, наивер-

нейшим способом развратить как можно больше людей»,— думал Нехлюдов, вникая в то, что делалось в острогах и этапах. Сотни тысяч людей ежегодно доводились до высшей степени развращения, и когда они были вполне развращены, их выпускали на волю, для того чтобы они разносили усвоенное ими в тюрьмах развращение среди всего народа.

В тюрьмах — Тюменской, Екатеринбургской, Томской и на этапах Нехлюдов видел, как эта цель, которую, казалось, поставило себе общество, успешно достигалась. Люди простые, обыкновенные, с требованиями русской общественной, крестьянской, христианской нравственности, оставляли эти понятия и усваивали новые, острожные, состоящие, главное, в том, что всякое поругание, насилие над человеческою личностью, всякое уничтожение ее позволено, когда оно выгодно. Люди, пожившие в тюрьме, всем существом своим узнавали, что, судя по тому, что происходит над ними, все те нравственные законы уважения и сострадания к человеку, которые проповедываются и церковными и нравственными учителями, в действительности отменены, и что поэтому и им не следует держаться их. Нехлюдов видел это на всех знакомых ему арестантах: на Федорове, на Макаре и даже на Тарасе, который, проведя два месяца на этапах, поразил Нехлюдова безнравственностью своих суждений. Доро́гой Нехлюдов узнал, как бродяги, убегая в тайгу, подговаривают с собой товарищей и потом, убивая их, питаются их мясом. Он видел живого человека, обвинявшегося и признавшегося в этом. И ужаснее всего было то, что случаи людоедства были не единичны, а постоянно повторялись.

Только при особенном культивировании порока, как оно производится в этих учреждениях, можно было довести русского человека до того состояния, до которого он был доведен в бродягах, предвосхитивших новейшее учение Ницше и считающих все возможным и ничто не запрещенным и распространяющих это учение сначала между арестантами, а потом между всем народом.

Единственное объяснение всего совершающегося было пресечение, устрашение, исправление и законономерное возмездие, как это писали в книгах. Но в действительности не было никакого подобия ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого. Вместо пресечения было только распространение преступлений. Вместо устрашения было поощрение преступников, из которых многие,

как бродяги, добровольно шли в остроги. Вместо исправления было систематическое заражение всеми пороками. Потребность же возмездия не только не смягчалась правительственными наказаниями, но воспитывалась в народе, где ее не было.

«Так зачем же они делают это?» — спрашивал себя Нехлюдов и не находил ответа.

И что более всего удивляло его, это было то, что все делалось не нечаянно, не по недоразумению, не один раз, а что все это делалось постоянно, в продолжение сотни лет, с той только разницей, что прежде это были с рваными носами и резаными ушами, потом клейменые, на прутах, а теперь в наручнях и движимые паром, а не на подводах.

Рассуждение о том, что то, что возмущало его, происходило, как ему говорили служащие, от несовершенства устройства мест заключения и ссылки и что это все можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы,— не удовлетворяло Нехлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства мест заключения. Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия еще более возмущали его.

Возмущало Нехлюдова, главное, то, что в судах и министерствах сидели люди, получающие большое, собираемое с народа жалованье за то, что они, справляясь в книжках, написанных такими же чиновниками, с теми же мотивами, подгоняли поступки людей, нарушающих написанные ими законы, под статьи и по этим статьям отправляли людей куда-то в такое место, где они уже не видали их и где люди эти в полной власти жестоких, огрубевших смотрителей, надзирателей, конвойных миллионами гибли духовно и телесно.

Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидал, что все те пороки, которые развиваются между арестантами: пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство — не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это на руку правительствам толкуют тупые ученые, а есть неизбежное последствие непонятного заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и

департаментах и заключается только в тайге; что его зятю, например, да и всем тем судейским и чиновникам, начиная от пристава до министра, не было никакого дела до справедливости или блага народа, о которых они говорили, а что всем нужны были только те рубли, которые им платили за то, чтобы они делали все то, из чего выходит это развращение и страдание. Это было совершенно очевидно.

«Так неужели же и это все делалось только по недоразумению? Как бы сделать так, чтобы обеспечить всем этим чиновникам их жалованье и даже давать им премию за то, чтобы они только не делали всего того, что они делают?» — думал Нехлюдов. И на этих мыслях, уже после вторых петухов, несмотря на блох, которые, как только он шевелился, как фонтан, брызгали вокруг него, он заснул крепким сном.

XX

Когда Нехлюдов проснулся, извозчики уже давно съехали, хозяйка напилась чаю и, отирая платком потную толстую шею, пришла сказать, что этапный солдат принес записку. Записка была от Марьи Павловны. Она писала, что припадок Крыльцова серьезнее, чем они думали. «Мы одно время хотели оставить его и остаться с ним, но этого не позволили, и мы повезем его, но всего боимся. Постарайтесь устроить в городе так, чтобы, если его оставят, оставили бы кого-нибудь из нас. Если для этого нужно, чтобы я вышла за него замуж, то я, разумеется, готова».

Нехлюдов послал малого на станцию за лошадьми и поспешно стал укладываться. Он еще не допил второго стакана, как перекладная тройка, звеня колокольчиками и гремя колесами по замерзшей грязи, как по мостовой, подъехала к крыльцу. Расплатившись с толстошеей хозяйкой, Нехлюдов поспешил выйти и, усевшись на переплет телеги, велел ехать как можно скорей, желая догнать партию. Недалеко за воротами поскотины он действительно догнал телеги, нагруженные мешками и больными, которые громыхали по начинавшей накатываться замерзшей грязи (офицера не было, он уехал вперед). Солдаты, очевидно выпившие, весело болтая, шли сзади и по сторонам дороги. Телег было много. В передних тесно сидело человек по шести слабых уголов-

ных, на задних трех ехали — по три на подводе — политические. На самой задней сидели Новодворов, Грабец и Кондратьев, на второй — Ранцева, Набатов и та слабая женщина в ревматизмах, которой Марья Павловна уступила свое место. На третьей, на сене и подушках, лежал Крыльцов. На облучке подле него сидела Марья Павловна. Нехлюдов остановил ямщика около Крыльцова и пошел к нему. Выпивший конвойный замахал рукой на Нехлюдова, но Нехлюдов, не обращая на него внимания, подошел к телеге и, держась за грядку, пошел рядом. Крыльцов, в тулупе и мерлушковой шапке, с завязанным платком ртом, казался еще худее и бледнее. Прекрасные глаза его казались особенно велики и блестящи. Слабо качаясь от толчков дороги, он, не спуская глаз, смотрел на Нехлюдова и на вопрос о здоровье только закрыл глаза и сердито закачал головой. Вся энергия его, очевидно, уходила на перенесение толчков телеги. Марья Павловна сидела на другой стороне телеги. Она переглянулась с Нехлюдовым значительным взглядом, выражавшим все ее беспокойство о положении Крыльцова, и потом сейчас заговорила веселым голосом.

— Видно, устыдился офицер,— закричала она, чтобы быть слышной из-за грохота колес Нехлюдову.— С Бузовкина сняли наручники. Он сам несет девочку, и с ними идет Катя и Симонсон и вместо меня Верочка.

Крыльцов что-то, чего нельзя было расслышать, сказал, указывая на Марью Павловну, и, нахмурившись, очевидно сдерживая кашель, закачал головой. Нехлюдов приблизил голову, чтобы расслышать. Тогда Крыльцов выпростал рот из платка и прошептал:

— Теперь гораздо лучше. Только бы не простудиться.

Нехлюдов кивнул утвердительно головой и переглянулся с Марьей Павловной.

— Ну, что проблема трех тел? — прошептал еще Крыльцов и трудно, тяжело улыбнулся.— Мудреное решение?

Нехлюдов не понял, но Марья Павловна объяснила ему, что это знаменитая математическая проблема определения отношения трех тел: солнца, луны и земли, и что Крыльцов шутя придумал это сравнение с отношением Нехлюдова, Катюши и Симонсона. Крыльцов кивнул головой в знак того, что Марья Павловна верно объяснила его шутку.

— Не за мной решение,— сказал Нехлюдов

— Получили мою записку, сделаете? — спросила Марья Павловна.

— Непременно,— сказал Нехлюдов и, заметив недовольство на лице Крыльцова, отошел к своей повозке, влез на свой провиснувший переплет и, держась за края телеги, встряхивавшей его по колчам ненакатанной дороги, стал обгонять растянувшуюся на версту партию серых халатов и полушубков кандальных и парных в наручнях. На противоположной стороне дороги Нехлюдов узнал синий платок Катюши, черное пальто Веры Ефремовны, куртку и вязаную шапку и белые шерстяные чулки, обвязанные вроде сандалий ремнями, Симонсона. Он шел рядом с женщинами и что-то горячо говорил.

Увидав Нехлюдова, женщины поклонились ему, а Симонсон торжественно приподнял шапку. Нехлюдов не имел ничего сказать и, не остановив ямщика, обогнал их. Выехав опять на накатанную дорогу, ямщик поехал еще скорей, но беспрестанно должен был съезжать с накатанного, чтобы объезжать тянувшиеся по дороге в обе стороны обозы.

Дорога, вся изрытая глубокими колеями, шла темным хвойным лесом, пестревшим с обеих сторон яркой и песочной желтизной не облетевших еще листьев березы и лиственницы. На половине перегона лес кончился, и с боков открылись елани (поля), показались золотые кресты и куполы монастыря. День совсем разгулялся, облака разошлись, солнце поднялось выше леса, и мокрая листва, и лужи, и куполы, и кресты церкви ярко блестели на солнце. Впереди направо, в сизой дали, забелели далекие горы. Тройка въехала в подгороднее большое село. Улица села была полна народом: и русскими и инородцами в своих странных шапках и халатах. Пьяные и трезвые мужчины и женщины копошились и галдели около лавок, трактиров, кабаков и возов. Чувствовалась близость города.

Подстегнув и подтянув правую пристяжную и пересев на козлах бочком, так, чтобы вожжи приходились направо, ямщик, очевидно щеголяя, прокатил по большой улице и, не сдерживая хода, подъехал к реке, через которую переезд был на пароме. Паром был на середине быстрой реки и шел с той стороны. На этой стороне десятка два возов дожидались. Нехлюдову пришлось дожидаться недолго. Забравший высоко вверх против те-

чепия паром, несомый быстрой водой, скоро подогнался к доскам пристани.

Высокие, широкоплечие, мускулистые и молчаливые перевозчики, в полушубках и броднях, ловко, привычно закинули чалки, закрепили их за столбы и, отложив запоры, выпустили стоявшие на пароме воза на берег и стали грузить воза, сплошь устанавливая паром повозками и шарахающимися от воды лошадьми. Быстрая, широкая река хлестала в борта лодок парома, натягивая канаты. Когда паром был полон и нехлюдовская телега с отпряженными лошадьми, сжатая со всех сторон возами, стояла у одного края, перевозчики заложили запоры, не обращая внимания на просьбы непоместившихся, скинули чалки и пошли в ход. На пароме было тихо, только слышались топот ног перевозчиков и стук о доски копыт переставлявших ноги лошадей.

XXI

Нехлюдов стоял у края парома, глядя на широкую быструю реку. В воображении его, сменяясь, восставали два образа: вздрагивающая от толчков голова в озлоблении умирающего Крыльцова и фигура Катюши, бодро шедшей по краю дороги с Симонсоном. Одно впечатление — умирающего и не готовящегося к смерти Крыльцова — было тяжелое и грустное. Другое же впечатление — бодрой Катюши, нашедшей любовь такого человека, как Симонсон, и ставшей теперь на твердый и верный путь добра,— должно было бы быть радостно, но Нехлюдову оно было тоже тяжело, и он не мог преодолеть этой тяжести.

Из города донесся по воде гул и медное дрожание большого охотницкого колокола. Стоявший подле Нехлюдова ямщик и все подводчики одни за другими сняли шапки и перекрестились. Ближе же всех стоявший у перил невысокий лохматый старик, которого Нехлюдов сначала не заметил, не перекрестился, а, подняв голову, уставился на Нехлюдова. Старик этот был одет в заплатанный о́зям, суконные штаны и разношенные, заплатанные бродни. За плечами была небольшая сумка, на голове высокая меховая вытертая шапка.

— Ты что же, старый, не молишься? — сказал нехлюдовский ямщик, надев и оправив шапку.— Аль некрещеный?

— Кому молиться-то? — решительно наступающе и

быстро выговаривая слог за слогом, сказал лохматый старик.

— Известно кому, богу,— иронически проговорил ямщик.

— А ты покажи мне, игде он? Бог-то?

Что-то было такое серьезное и твердое в выражении старика, что ямщик, почувствовав, что он имеет дело с сильным человеком, несколько смутился, но не показывал этого и, стараясь не замолчать и не осрамиться перед прислушивающейся публикой, быстро отвечал:

— Игде? Известно — на небе.

— А ты был там?

— Был — не был, а все знают, что богу молиться надо.

— Бога никто же не видел нигде же. Единородный сын, сущий в недре отчем, он явил,— строго хмурясь, той же скороговоркой сказал старик.

— Ты, видно, нехрист, дырник. Дыре молишься,— сказал ямщик, засовывая кнутовище за пояс и оправляя шлею на пристяжной.

Кто-то засмеялся.

— А ты какой, дедушка, веры? — спросил немолодой уже человек, с возом стоявший у края парома.

— Никакой веры у меня нет. Потому никому я, никому не верю, окроме себе,— так же быстро и решительно ответил старик.

— Дак как же себе верить? — сказал Нехлюдов, вступая в разговор.— Можно ошибиться.

— Ни в жизнь,— тряхнув головой, решительно отвечал старик.

— Так отчего же разные веры есть? — спросил Нехлюдов.

— Оттого и разные веры, что людям верят, а себе не верят. И я людям верил и блудил, как в тайге; так заплутался, что не чаял выбраться. И староверы, и нововеры, и субботники, и хлысты, и поповцы, и беспоповцы, и австрияки, и молокане, и скопцы. Всякая вера себя одна восхваляет. Вот все и расползлись, как кутята[1] слепые. Вер много, а дух один. И в тебе, и во мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. Будь всяк сам себе, и все будут заедино.

[1] Кутята — щенки. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

Старик говорил громко и все оглядывался, очевидно желая, чтобы как можно больше людей слышали его.

— Что же, вы давно так исповедуете? — спросил его Нехлюдов.

— Я-то? Давно уж. Уж они меня двадцать третий год гонят.

— Как гонят?

— Как Христа гнали, так и меня гонят. Хватают да по судам, по попам — по книжникам, по фарисеям и водят; в сумасшедший дом сажали. Да ничего мне сделать нельзя, потому я слободен. «Как, говорят, тебя зовут?» Думают, я звание какое приму на себя. Да я не принимаю никакого. Я от всего отрекся: нет у меня ни имени, ни места, ни отечества,— ничего нет. Я сам себе. Зовут как? Человеком. «А годов сколько?» Я, говорю, не считаю, да и счесть нельзя, потому что я всегда был, всегда и буду. «Какого, говорят, ты отца, матери?» Нет, говорю, у меня ни отца, ни матери, окроме бога и земли. Бог — отец, земля — мать. «А царя, говорят, признаешь?» Отчего не признавать? он себе царь, а я себе царь. «Ну, говорят, с тобой разговаривать». Я говорю: я и не прошу тебя со мной разговаривать. Так и мучают.

— А куда же вы идете теперь? — спросил Нехлюдов.

— А куда бог приведет. Работаю, а нет работы — прошу,— закончил старик, заметив, что паром подходит к тому берегу, и победоносно оглянулся на всех слушавших его.

Паром причалил к другому берегу. Нехлюдов достал кошелек и предложил старику денег. Старик отказался.

— Я этого не беру. Хлеб беру,— сказал он.

— Ну, прощай.

— Нечего прощать. Ты меня не обидел. А и обидеть меня нельзя,— сказал старик и стал на плечо надевать снятую сумку. Между тем перекладную телегу выкатили и запрягли лошадей.

— И охота вам, барин, разговаривать,— сказал ямщик Нехлюдову, когда он, дав на чай могучим паромщикам, влез на телегу.— Так, бродяжка непутевый.

XXII

Выехав в горку, ямщик обернулся.

— В какую гостиницу везти?

— Какая лучше?

— Чего лучше «Сибирской». А то у Дюкова хорошо.

— Куда хочешь.

Ямщик опять сел бочком и прибавил хода. Город был как и все города: такие же дома с мезонинами и зелеными крышами, такой же собор, лавки и на главной улице магазины и даже такие же городовые. Только дома были почти все деревянные и улицы немощеные. В одной из наиболее оживленных улиц ямщик остановил тройку у подъезда гостиницы. Но в гостинице не оказалось свободных номеров, так что надо было ехать в другую. В этой другой был свободный номер, и Нехлюдов в первый раз после двух месяцев очутился опять в привычных условиях относительной чистоты и удобства. Как ни мало роскошен был номер, в который отвели Нехлюдова, он испытал большое облегчение после перекладной, постоялых дворов и этапов. Главное, ему нужно было очиститься от вшей, от которых он никогда не мог вполне освободиться после посещения этапов. Разложившись, он тотчас же поехал в баню, а оттуда, приведя себя в городской порядок — надев крахмаленую рубашку и со слежавшимися складками панталоны, сюртук и пальто,— к начальнику края. Приведенный швейцаром гостиницы извозчик на сытой, крупной киргизке, запряженной в дребезжащую пролетку, подвез Нехлюдова к большому красивому зданию, у которого стояли часовые и городовой. Перед домом и за домом был сад, в котором среди облетевших, торчащих голыми сучьями осин и берез густо и темно зеленели ели, сосны и пихты.

Генерал был нездоров и не принимал. Нехлюдов все-таки попросил лакея передать свою карточку, и лакей вернулся с благоприятным ответом:

— Приказали просить.

Передняя, лакей, вестовой, лестница, зал с глянцевито натертым паркетом — все это было похоже на Петербург, только погрязнее и повеличественнее. Нехлюдова ввели в кабинет.

Генерал, одутловатый, с картофельным носом и выдающимися шишками на лбу и оголенном черепе и мешками под глазами, сангвинический человек, сидел в татарском шелковом халате и с папиросой в руках пил чай из стакана в серебряном подстаканнике.

— Здравствуйте, батюшка! Извините, что в халате принимаю: все лучше, чем совсем не принять,— сказал он, запахивая халатом свою толстую, складками смор-

щенную сзади шею.— Я не совсем здоров и не выхожу. Как это вас занесло в наше тридевятое царство?

— Я сопутствовал партии арестантов, в которой есть лицо мне близкое,— сказал Нехлюдов,— и вот приехал просить ваше превосходительство отчасти об этом лице и еще об одном обстоятельстве.

Генерал затянулся, хлебнул чаю, затушил папироску о малахитовую пепельницу и, не спуская узких, заплывших, блестящих глаз с Нехлюдова, серьезно слушал. Он перебил его только затем, чтобы спросить, не хочет ли он курить.

Генерал принадлежал к типу ученых военных, полагающих возможным примирение либеральности и гуманности с своею профессиею. Но, как человек от природы умный и добрый, он очень скоро почувствовал невозможность такого примирения и, чтобы не видеть того внутреннего противоречия, в котором он постоянно находился, все больше и больше отдавался столь распространенной среди военных привычке пить много вина и так предался этой привычке, что после тридцатипятилетней военной службы сделался тем, что врачи называют алкоголиком. Он был весь пропитан вином. Ему достаточно было выпить какой-нибудь жидкости, чтобы чувствовать опьянение. Пить же вино было для него такой потребностью, без которой он не мог жить, и каждый день к вечеру он бывал совсем пьян, хотя так приспособился к этому состоянию, что не шатался и не говорил особенных глупостей. Если же он и говорил их, то он занимал такое важное, первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, ее принимали за умные речи. Только утром, именно в то время, когда Нехлюдов застал его, он был похож на разумного человека и мог понимать, что ему говорили, и более или менее успешно исполнять на деле пословицу, которую любил повторять: «Пьян да умен — два угодья в нем». Высшие власти знали, что он пьяница, но он был всетаки более образован, чем другие,— хотя и остановился в своем образовании на том месте, где его застало пьянство,— был смел, ловок, представителен, умел и в пьяном виде держать себя с тактом, и потому его назначили и держали на том видном и ответственном месте, которое он занимал.

Нехлюдов рассказал ему, что лицо, интересующее его,— женщина, что она невинно осуждена, что подано о ней на высочайшее имя.

— Так-с. Ну-с? — сказал генерал.

— Мне обещали из Петербурга, что известие о судьбе этой женщины вышлется мне не позднее этого месяца и сюда...

Не спуская глаз с Нехлюдова, генерал протянул с короткими пальцами руку к столу, позвонил и продолжал молча слушать, пыхтя папиросой и особенно громко откашливаясь.

— Так я просил бы, если возможно, задержать эту женщину здесь до тех пор, как получится ответ на поданное прошение.

Вошел лакей, денщик, одетый по-военному.

— Спроси, встала ли Анна Васильевна,— сказал генерал денщику,— и подай еще чаю. Еще что-с? — обратился генерал к Нехлюдову.

— Другая моя просьба,— продолжал Нехлюдов,— касается политического арестанта, идущего в этой же партии.

— Вот как! — сказал генерал, значительно кивая головой.

— Он тяжело болен — умирающий человек. И его, вероятно, оставят здесь в больнице. Так одна из политических женщин желала бы остаться при нем.

— Она чужая ему?

— Да, но она готова выйти за него замуж, если только это даст ей возможность остаться при нем.

Генерал пристально смотрел своими блестящими глазами и молчал, слушая, очевидно желая смутить своего собеседника взглядом, и все курил.

Когда Нехлюдов кончил, он достал со стола книгу и, быстро мусоля пальцы, которыми перевертывал листы, нашел статью о браке и прочел.

— К чему она приговорена? — спросил он, подняв глаза от книги.

— Она — к каторге.

— Ну, так положение приговоренного вследствие его брака не может улучшиться.

— Да ведь...

— Позвольте. Если бы на ней женился свободный, она все точно так же должна отбыть свое наказание. Тут вопрос: кто несет более тяжелое наказание — он или она?

— Они оба приговорены к каторжным работам.

— Ну, так и квит,— смеясь, сказал генерал.— Что ему, то и ей. Его по болезни оставить можно,— продол-

жал он,— и, разумеется, будет сделано все, что возможно, для облегчения его участи; но она, хотя бы вышла за него, не может остаться здесь...

— Генеральша кушают кофе,— доложил лакей.

Генерал кивнул головой и продолжал:

— Впрочем, я еще подумаю. Как их фамилии? Запишите, вот сюда.

Нехлюдов записал.

— И этого не могу,— сказал генерал Нехлюдову на просьбу его видеться с больным.— Я, конечно, вас не подозреваю,— сказал он,— но вы интересуетесь им и другими и у вас есть деньги. А здесь у нас все продажное. Мне говорят: искоренить взяточничество. Да как же искоренить, когда все взяточники? И чем ниже чином, тем больше. Ну, где его усмотреть за пять тысяч верст? Он там царек, такой же, как я здесь,— и он засмеялся.— Вы ведь, верно, виделись с политическими, давали деньги, и вас пускали? — сказал он, улыбаясь.— Так ведь?

— Да, это правда.

— Я понимаю, что вы так должны поступить. Вы хотите видеть политического. И вам жалко его. А смотритель или конвойный возьмет, потому что у него два двугривенных жалованья и семья, и ему нельзя не взять. И на его и на вашем месте я поступил бы так же, как и вы и он. Но на своем месте я не позволю себе отступать от самой строгой буквы закона именно потому, что я — человек и могу увлечься жалостью. А я исполнителен, мне доверили под известные условия, и я должен оправдать это доверие. Ну вот, этот вопрос кончен. Ну-с, теперь вы расскажите мне, что у вас в метрополии делается?

И генерал стал расспрашивать и рассказывать, очевидно желая в одно и то же время и узнать новости, и показать все свое значение и свою гуманность.

XXIII

— Ну-с, так вот что: вы у кого? у Дюка? Ну, и там скверно. А вы приходите обедать,— сказал генерал, отпуская Нехлюдова,— в пять часов. Вы по-английски говорите?

— Да, говорю.

— Ну, вот и прекрасно. Сюда, видите ли, приехал англичанин, путешественник. Он изучает ссылку и тюрь-

мы в Сибири. Так вот он у нас будет обедать, и вы приезжайте. Обедаем в пять, и жена требует исполнительности. Я вам тогда и ответ дам и о том, как поступить с этой женщиной, а также о больном. Может быть, и можно будет оставить кого-нибудь при нем.

Откланявшись генералу, Нехлюдов, чувствуя себя в особенно возбужденно-деятельном духе, поехал на почту.

Почтамт была низкая со сводами комната; за конторкой сидели чиновники и выдавали толпящемуся народу. Один чиновник, согнув набок голову, не переставая стукал печатью по ловко пододвигаемым конвертам. Нехлюдова не заставили долго дожидаться, и, узнав его фамилию, ему тотчас же выдали его довольно большую корреспонденцию. Тут были и деньги, и несколько писем и книг, и последний номер «Отечественных записок». Получив свои письма, Нехлюдов отошел к деревянной лавке, на которой сидел, дожидаясь чего-то, солдат с книжкой, и сел с ним рядом, пересматривая полученные письма. В числе их было одно заказное — прекрасный конверт с отчетливой печатью яркого красного сургуча. Он распечатал конверт и, увидав письмо Селенина вместе с какой-то официальной бумагой, почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо и сердце сжалось. Это было решение по делу Катюши. Какое было это решение? Неужели отказ? Нехлюдов поспешно пробежал написанное мелким, трудно разбираемым твердым изломанным почерком и радостно вздохнул. Решение было благоприятное.

«Любезный друг! — писал Селенин.— Последний разговор наш оставил во мне сильное впечатление. Ты был прав относительно Масловой. Я просмотрел внимательно дело и увидал, что совершена была относительно ее возмутительная несправедливость. Поправить можно было только в комиссии прошений, куда ты и подал. Мне удалось посодействовать разрешению дела там, и вот посылаю тебе копию с помилования по адресу, который дала мне графиня Екатерина Ивановна. Подлинная бумага отправлена в то место, где она содержалась во время суда, и, вероятно, будет тотчас же переслана в Сибирское главное управление. Спешу тебе сообщить это приятное известие. Дружески жму руку. Твой Селенин».

Содержание самой бумаги было следующее: «Канцелярия его императорского величества по принятию

прошений, на высочайшее имя приносимых. Такое-то дело, делопроизводство. Такой-то стол, такое-то число, год. По приказанию главноуправляющего канцелярией его императорского величества по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых, сим объявляется мещанке Екатерине Масловой, что его императорское величество, по всеподданнейшему докладу ему, снисходя к просьбе Масловой, высочайше повелеть соизволил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь отдаленных Сибири».

Известие было радостное и важное: случилось все то, чего Нехлюдов мог желать для Катюши, да и для себя самого. Правда, что эта перемена в ее положении представляла новые усложнения в отношении к ней. Пока она оставалась каторжной, брак, который он предлагал ей, был фиктивный и имел значение только в том, что облегчал ее положение. Теперь же ничто не мешало их совместному житью. А на это Нехлюдов не готовился. Кроме того, ее отношения с Симонсоном? Что означали ее вчерашние слова? И если бы она согласилась соединиться с Симонсоном, хорошо ли бы это было, или дурно? Он никак не мог разобраться в этих мыслях и не стал теперь думать об этом. «Все это обозначится потом,— подумал он,— теперь же нужно как можно скорее увидать ее и сообщить ей радостную новость и освободить ее». Он думал, что копии, которая у него была в руках, было достаточно для этого. И, выйдя из почтовой конторы, он велел извозчику ехать в острог.

Несмотря на то, что генерал не разрешил ему посещения острога утром, Нехлюдов, зная по опыту, что часто то, чего никак нельзя достигнуть у высших начальников, очень легко достигается у низших, решил все-таки попытаться проникнуть в острог теперь, с тем чтобы объявить Катюше радостную новость и, может быть, освободить ее и вместе с тем узнать о здоровье Крыльцова и передать ему и Марье Павловне то, что сказал генерал.

Смотритель острога был очень высокий и толстый, величественный человек с усами и бакенбардами, загибающимися к углам рта. Он очень строго принял Нехлюдова и прямо объявил, что посторонним лицам свиданья без разрешенья начальника он допустить не может. На замечание Нехлюдова о том, что его пускали и в столицах, смотритель отвечал:

— Очень может быть, только я не допускаю.— При этом тон его говорил: «Вы, столичные господа, думаете, что вы нас удивите и озадачите; но мы и в Восточной Сибири знаем твердо порядки и вам еще укажем».

Копия с бумаги из собственной его величества канцелярии тоже не подействовала на смотрителя. Он решительно отказался допустить Нехлюдова в стены тюрьмы. На наивное же предположение Нехлюдова, что Маслова может быть освобождена по предъявлению этой копии, он только презрительно улыбнулся, объявив, что для освобождения кого-либо должно было быть распоряжение от его прямого начальства. Все, что он обещал, было то, что он сообщит Масловой о том, что ей вышло помилование, и не задержит ее ни одного часа, как скоро получит предписание от своего начальства.

О здоровье Крыльцова он тоже отказался дать какие-либо сведения, сказав, что он не может сказать даже того, есть ли такой арестант. Так, ничего не добившись, Нехлюдов сел на своего извозчика и поехал в гостиницу.

Строгость смотрителя происходила преимущественно оттого, что в переполненной вдвое против нормального тюрьме в это время был повальный тиф. Извозчик, везший Нехлюдова, рассказал ему дорогой, что «в тюрьме гораздо народ теряется. Какая-то на них хворь напала. Человек по двадцати в день закапывают».

XXIV

Несмотря на неудачу в тюрьме, Нехлюдов все в том же бодром, возбужденно-деятельном настроении поехал в канцелярию губернатора узнать, не получена ли там бумага о помиловании Масловой. Бумаги не было, и потому Нехлюдов, вернувшись в гостиницу, поспешил тотчас же, не откладывая, написать об этом Селенину и адвокату. Окончив письма, он взглянул на часы; было уже время ехать на обед к генералу.

Опять дорогой ему пришла мысль о том, как примет Катюша свое помилование. Где поселят ее? Как он будет жить с нею? Что Симонсон? Какое ее отношение к нему? Вспомнил о той перемене, которая произошла в ней. Вспомнил при этом и ее прошедшее.

«Надо забыть, вычеркнуть,— подумал он и опять

поспешил отогнать от себя мысль о ней.— Тогда видно будет»,— сказал он себе и стал думать о том, что́ ему надо сказать генералу.

Обед у генерала, обставленный всею привычною Нехлюдову роскошью жизни богатых людей и важных чиновников, был после долгого лишения не только роскоши, но и самых первобытных удобств особенно приятен ему.

Хозяйка была петербургского старого завета grande dame[1], бывшая фрейлина николаевского двора, говорившая естественно по-французски и неестественно по-русски. Она держалась чрезвычайно прямо и, делая движения руками, не отделяла локтей от талии. Она была спокойно и несколько грустно уважительна к мужу и чрезвычайно ласкова, хотя и с различными, смотря по лицам, оттенками обращения к своим гостям. Нехлюдова она приняла как своего, с той особенной тонкой, незаметной лестью, вследствие которой Нехлюдов вновь узнал о всех своих достоинствах и почувствовал приятное удовлетворение. Она дала почувствовать ему, что знает его хотя и оригинальный, но честный поступок, приведший его в Сибирь, и считает его исключительным человеком. Эта тонкая лесть и вся изящно-роскошная обстановка жизни в доме генерала сделали то, что Нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановки, вкусной пищи и легкости и приятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга, как будто все то, среди чего он жил в последнее время, был сон, от которого он проснулся к настоящей действительности.

За обедом, кроме домашних — дочери генерала с ее мужем и адъютантом, были еще англичанин, купец-золотопромышленник и приезжий губернатор дальнего сибирского города. Все эти люди были приятны Нехлюдову.

Англичанин, здоровый, румяный человек, очень дурно говоривший по-французски, но замечательно хорошо и ораторски внушительно по-английски, очень многое видел и был интересен своими рассказами об Америке, Индии, Японии и Сибири.

Молодой купец-золотопромышленник, сын мужика, в сшитой в Лондоне фрачной паре с брильянтовыми запонками, имевший большую библиотеку, жертвовав-

[1] светская женщина *(фр.)*.

ший много на благотворительность и державшийся европейски-либеральных убеждений, был приятен и интересен Нехлюдову, представляя из себя совершенно новый и хороший тип образованного прививка европейской культурности на здоровом мужицком дичке.

Губернатор дальнего города был тот самый бывший директор департамента, о котором так много говорили в то время, как Нехлюдов был в Петербурге. Это был пухлый человек с завитыми редкими волосами, нежными голубыми глазами, очень толстый снизу и с холеными, белыми в перстнях руками и с приятной улыбкой. Губернатор этот был ценим хозяином дома за то, что среди взяточников он один не брал взяток. Хозяйка же, большая любительница музыки и сама очень хорошая пианистка, ценила его за то, что он был хороший музыкант и играл с ней в четыре руки. Расположение духа Нехлюдова было до такой степени благодушное, что и этот человек был нынче не неприятен ему.

Веселый, энергический, с сизым подбородком офицер-адъютант, предлагавший во всем свои услуги, был приятен своим добродушием.

Больше же всех была приятна Нехлюдову милая молодая чета дочери генерала с ее мужем. Дочь эта была некрасивая, простодушная молодая женщина, вся поглощенная своими первыми двумя детьми; муж ее, за которого она после долгой борьбы с родителями вышла по любви, либеральный кандидат московского университета, скромный и умный, служил и занимался статистикой, в особенности инородцами, которых он изучал, любил и старался спасти от вымирания.

Все были не только ласковы и любезны с Нехлюдовым, но, очевидно, были рады ему, как новому и интересному лицу. Генерал, вышедший к обеду в военном сюртуке, с белым крестом на шее, как с старым знакомым, поздоровался с Нехлюдовым и тотчас же пригласил гостей к закуске и водке. На вопрос генерала у Нехлюдова о том, что он делал после того, как был у него, Нехлюдов рассказал, что был на почте и узнал о помиловании того лица, о котором говорил утром, и теперь вновь просит разрешения посетить тюрьму.

Генерал, очевидно недовольный тем, что за обедом говорят о делах, нахмурился и ничего не сказал.

— Хотите водки? — обратился он по-французски к подошедшему англичанину. Англичанин выпил водки

и рассказал, что посетил нынче собор и завод, но желал бы еще видеть большую пересыльную тюрьму.

— Вот и отлично,— сказал генерал, обращаясь к Нехлюдову,— можете вместе. Дайте им пропуск,— сказал он адъютанту.

— Вы когда хотите ехать? — спросил Нехлюдов англичанина.

— Я предпочитаю посещать тюрьмы вечером,— сказал англичанин,— все дома, и нет приготовлений, а всё есть как есть.

— А, он хочет видеть во всей прелести? Пускай видит. Я писал, меня не слушают. Так пускай узнают из иностранной печати,— сказал генерал и подошел к обеденному столу, у которого хозяйка указала места гостям.

Нехлюдов сидел между хозяйкой и англичанином. Напротив него сидела дочь генерала и бывший директор департамента.

За обедом разговор шел урывками, то об Индии, о которой рассказывал англичанин, то о Топкинской экспедиции, которую генерал строго осуждал, то о сибирском всеобщем плутовстве и взяточничестве. Все эти разговоры мало интересовали Нехлюдова.

Но после обеда, в гостиной за кофе, завязался очень интересный разговор с англичанином и хозяйкой о Гладстоне, в котором Нехлюдову казалось, что он хорошо высказал много умного, замеченного его собеседниками. И Нехлюдову, после хорошего обеда, вина, за кофеем, на мягком кресле, среди ласковых и благовоспитанных людей, становилось все более и более приятно. Когда же хозяйка, по просьбе англичанина, вместе с бывшим директором департамента сели за фортепиано и заиграли хорошо разученную ими Пятую симфонию Бетховена, Нехлюдов почувствовал давно не испытанное им душевное состояние полного довольства собой, точно как будто он теперь только узнал, какой он был хороший человек.

Рояль был прекрасный, и исполнение симфонии было хорошее. По крайней мере, так показалось Нехлюдову, любившему и знавшему эту симфонию. Слушая прекрасное анданте, он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями.

Поблагодарив хозяйку за давно не испытанное им наслаждение, Нехлюдов хотел уже прощаться и уез-

жать, когда дочь хозяйки с решительным видом подошла к нему и, краснея, сказала:

— Вы спрашивали про моих детей; хотите видеть их?

— Ей кажется, что всем интересно видеть ее детей,— сказала мать, улыбаясь на милую бестактность дочери.— Князю совсем неинтересно.

— Напротив, очень, очень интересно,— сказал Нехлюдов, тронутый этой переливающейся через край счастливой материнской любовью.— Пожалуйста, покажите.

— Ведет князя смотреть своих малышей,— смеясь, закричал генерал от карточного стола, за которым он сидел с зятем, золотопромышленником и адъютантом.— Отбудьте, отбудьте повинность.

Молодая женщина между тем, очевидно взволнованная тем, что сейчас будут судить ее детей, шла быстрыми шагами перед Нехлюдовым во внутренние комнаты. В третьей, высокой, с белыми обоями комнате, освещенной небольшой лампой с темным абажуром, стояли рядом две кроватки, и между ними в белой пелеринке сидела нянюшка с сибирским скуластым добродушным лицом. Нянюшка встала и поклонилась. Мать нагнулась в первую кроватку, в которой, раскрыв ротик, тихо спала двухлетняя девочка с длинными вьющимися, растрепавшимися по подушке волосами.

— Вот это Катя,— сказала мать, оправляя с голубыми полосами вязаное одеяло, из-под которого высовывалась маленькая белая ступня.— Хороша? Ведь ей только два года.

— Прелесть!

— А это Васюк, как его дедушка прозвал. Совсем другой тип. Сибиряк. Правда?

— Прекрасный мальчик,— сказал Нехлюдов, рассматривая спящего на животе пузана.

— Да? — сказала мать, многозначительно улыбаясь.

Нехлюдов вспомнил цепи, бритые головы, побои, разврат, умирающего Крыльцова, Катюшу со всем ее прошедшим. И ему стало завидно и захотелось себе такого же изящного, чистого, как ему казалось теперь, счастья.

Несколько раз похвалив детей и тем хотя отчасти удовлетворив мать, жадно впитывающую в себя эти похвалы, он вышел за ней в гостиную, где англичанин

уже дожидался его, чтобы вместе, как они уговорились, ехать в тюрьму. Простившись со старыми и молодыми хозяевами, Нехлюдов вышел вместе с англичанином на крыльцо генеральского дома.

Погода переменилась. Шел клочьями спорый снег и уже засыпал дорогу, и крышу, и деревья сада, и подъезд, и верх пролетки, и спину лошади. У англичанина был свой экипаж, и Нехлюдов велел кучеру англичанина ехать в острог, сел один в свою пролетку и с тяжелым чувством исполнения неприятного долга поехал за ним в мягкой, трудно катившейся по снегу пролетке.

XXV

Мрачный дом острога с часовым и фонарем под воротами, несмотря на чистую, белую пелену, покрывавшую теперь все — и подъезд, и крышу, и стены, производил еще более, чем утром, мрачное впечатление своими по всему фасаду освещенными окнами.

Величественный смотритель вышел к воротам и, прочтя у фонаря пропуск, данный Нехлюдову и англичанину, недоумевающе пожал могучими плечами, но, исполняя приказа́ние, пригласил посетителей следовать за собой. Он провел их сначала во двор и потом в дверь направо и на лестницу в контору. Предложив им садиться, он спросил, чем может служить им, и, узнав о желании Нехлюдова видеть теперь же Маслову, послал за нею надзирателя и приготовился отвечать на вопросы, которые англичанин тотчас же начал через Нехлюдова делать ему.

— На сколько человек построен за́мок? — спрашивал англичанин.— Сколько заключенных? Сколько мужчин, сколько женщин, детей? Сколько каторжных, ссыльных, добровольно следующих? Сколько больных?

Нехлюдов переводил слова англичанина и смотрителя, не вникая в смысл их, совершенно неожиданно для себя смущенный предстоящим свиданием. Когда среди фразы, переводимой им англичанину, он услыхал приближающиеся шаги, и дверь конторы отворилась, и, как это было много раз, вошел надзиратель и за ним повязанная платком, в арестантской кофте Катюша, он, увидав ее, испытал тяжелое чувство.

«Я жить хочу, хочу семью, детей, хочу человеческой

жизни»,— мелькнуло у него в голове, в то время как она быстрыми шагами, не поднимая глаз, входила в комнату.

Он встал и ступил несколько шагов ей навстречу, и лицо ее показалось ему сурово и неприятно. Оно опять было такое же, как тогда, когда она упрекала его. Она краснела и бледнела, пальцы ее судорожно крутили края кофты, и то взглядывала на него, то опускала глаза.

— Вы знаете, что вышло помилование? — сказал Нехлюдов.

— Да, надзиратель говорил.

— Так что, как только получится бумага, вы можете выйти и поселиться, где хотите. Мы обдумаем...

Она поспешно перебила его:

— Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним.

Несмотря на все свое волнение, она, подняв глаза на Нехлюдова, проговорила это быстро, отчетливо, как будто вперед приготовив все то, что она скажет.

— Вот как! — сказал Нехлюдов.

— Что ж, Дмитрий Иванович, коли он хочет, чтобы я с ним жила,— она испуганно остановилась и поправилась,— чтоб я при нем была. Мне чего же лучше? Я это за счастье должна считать. Что же мне?..

«Одно из двух: или она полюбила Симонсона и совсем не желала той жертвы, которую я воображал, что приношу ей, или она продолжает любить меня и для моего же блага отказывается от меня и навсегда сжигает свои корабли, соединяя свою судьбу с Симонсоном»,— подумал Нехлюдов, и ему стало стыдно. Он почувствовал, что краснеет.

— Если вы любите его...— сказал он.

— Что любить, не любить? Я уж это оставила, и Владимир Иванович ведь совсем особенный.

— Да, разумеется,— начал Нехлюдов.— Он прекрасный человек, и я думаю...

Она опять перебила его, как бы боясь, что он скажет лишнее или что она не скажет всего.

— Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что вы хотите,— сказала она, глядя ему в глаза своим косым таинственным взглядом.— Да, видно, уж так выходит. И вам жить надо.

Она сказала ему то самое, что он только что говорил себе, но теперь уже он этого не думал, а думал и

чувствовал совсем другое. Ему не только было стыдно, но было жалко всего того, что он терял с нею.

— Я не ожидал этого,— сказал он.

— Что же вам тут жить и мучаться. Довольно вы помучались,— сказала она и странно улыбнулась.

— Я не мучался, а мне хорошо было, и я желал бы еще служить вам, если бы мог.

— Нам,— она сказала: «Нам» — и взглянула на Нехлюдова,— ничего не нужно. Вы уж и так сколько для меня сделали. Если бы не вы...— Она хотела что-то сказать, и голос ее задрожал.

— Меня-то уж вам нельзя благодарить,— сказал Нехлюдов.

— Что считаться? Наши счеты бог сведет,— проговорила она, и черные глаза ее заблестели от вступивших в них слез.

— Какая вы хорошая женщина! — сказал он.

— Я-то хорошая? — сказала она сквозь слезы, и жалостная улыбка осветила ее лицо.

— Are you ready? [1] — спросил между тем англичанин.

— Directly [2],— ответил Нехлюдов и спросил ее о Крыльцове.

Она оправилась от волнения и спокойно рассказала, что́ знала: Крыльцов очень ослабел дорогой, и его тотчас же поместили в больницу. Марья Павловна очень беспокоилась, просилась в больницу в няньки, но ее не пускали.

— Так мне идти? — сказала она, заметив, что англичанин дожидается.

— Я не прощаюсь, я еще увижусь с вами,— сказал Нехлюдов.

— Простите,— сказала она чуть слышно. Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это не «прощайте», а «простите», Нехлюдов понял, что из двух предположений о причине ее решения верным было второе: она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а уходя с Симонсоном, освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним.

Она пожала его руку, быстро повернулась и вышла.

---

[1] Вы готовы? *(англ., перевод Л. Н. Толстого.)*

[2] Сейчас *(англ., перевод Л. Н. Толстого.)*.

Нехлюдов оглянулся на англичанина, готовый идти с ним, но англичанин что-то записывал в свою записную книжку. Нехлюдов, не отрывая его, сел на деревянный диванчик, стоявший у стены, и вдруг почувствовал страшную усталость. Он устал не от бессонной ночи, не от путешествия, не от волнения, а он чувствовал, что страшно устал от всей жизни. Он прислонился к спинке дивана, на котором сидел, закрыл глаза и мгновенно заснул тяжелым, мертвым сном.

— Что же, угодно теперь пройти по камерам? — спросил смотритель.

Нехлюдов очнулся и удивился тому, где он. Англичанин кончил свои записи и желал осмотреть камеры. Нехлюдов, усталый и безучастный, пошел за ним.

XXVI

Пройдя сени и до тошноты вонючий коридор, в котором, к удивлению своему, они застали двух прямо на пол мочащихся арестантов, смотритель, англичанин и Нехлюдов, провожаемые надзирателями, вошли в первую камеру каторжных. В камере, с нарами в середине, все арестанты уже лежали. Их было человек семьдесят. Они лежали голова с головой и бок с боком. При входе посетителей все, гремя цепями, вскочили и стали у нар, блестя своими свежевыбритыми полуголовами. Остались лежать двое. Один был молодой человек, красный, очевидно, в жару, другой — старик, не переставая охавший.

Англичанин спросил, давно ли заболел молодой арестант. Смотритель сказал, что с утра, старик же уже давно хворал животом, но поместить его было некуда, так как лазарет давно переполнен. Англичанин неодобрительно покачал головой и сказал, что он желал бы сказать этим людям несколько слов, и попросил Нехлюдова перевести то, что будет говорить. Оказалось, что англичанин, кроме одной цели своего путешествия — описания ссылки и мест заключения в Сибири, имел еще другую цель — проповедование спасения верою и искуплением.

— Скажите им, что Христос жалел их и любил,— сказал он,— и умер за них. Если они будут верить в это, они спасутся.— Пока он говорил, все арестанты молча стояли перед нарами, вытянув руки по швам.—

В этой книге, скажите им,— закончил он,— все это сказано. Есть умеющие читать?

Оказалось, что грамотных было больше двадцати человек. Англичанин вынул из ручного мешка несколько переплетенных Новых заветов, и мускулистые руки с крепкими черными ногтями из-за посконных рукавов потянулись к нему, отталкивая друг друга. Он роздал в этой камере два Евангелия и пошел в следующую.

В следующей камере было то же самое. Такая же была духота, вонь; точно так же впереди, между окнами, висел образ, а налево от двери стояла парашка, и так же все тесно лежали бок с боком, и так же все вскочили и вытянулись, и точно так же не встало три человека. Два поднялись и сели, а один продолжал лежать и даже не посмотрел на вошедших; это были больные. Англичанин точно так же сказал ту же речь и так же дал два Евангелия.

В третьей камере слышались крики и возня. Смотритель застучал и закричал: «Смирно!» Когда дверь отворили, опять все вытянулись у нар, кроме нескольких больных и двоих дерущихся, которые с изуродованными злобой лицами вцепились друг в друга, один за волосы, другой за бороду. Они только тогда пустили друг друга, когда надзиратель подбежал к ним. У одного был в кровь разбит нос, и текли сопли, слюни и кровь, которые он утирал рукавом кафтана; другой обирал вырванные из бороды волосы.

— Староста! — строго крикнул смотритель.

Выступил красивый, сильный человек.

— Никак-с невозможно унять, ваше высокоблагородие,— сказал староста, весело улыбаясь глазами.

— Вот я уйму,— сказал, хмурясь, смотритель.

— What did they fight for? [1]— спросил англичанин.

Нехлюдов спросил у старосты, за что была драка.

— За подвертку, вклепался в чужие,— сказал староста, продолжая улыбаться.— Этот толкнул, тот сдачи дал.

Нехлюдов сказал англичанину.

— Я бы желал сказать им несколько слов,— сказал англичанин, обращаясь к смотрителю.

Нехлюдов перевел. Смотритель сказал: «Можете». Тогда англичанин достал свое Евангелие в кожаном переплете.

[1] За что они дрались? *(англ., перевод Л. Н. Толстого.)*

— Пожалуйста, переведите это,— сказал он Нехлюдову.— Вы поссорились и подрались, а Христос, который умер за нас, дал нам другое средство разрешать наши ссоры. Спросите у них, знают ли они, как по закону Христа надо поступить с человеком, который обижает нас.

Нехлюдов перевел слова и вопрос англичанина.

— Начальству пожалиться, оно разберет? — вопросительно сказал один, косясь на величественного смотрителя.

— Вздуть его, вот он и не будет обижать,— сказал другой.

Послышалось несколько одобрительных смешков. Нехлюдов перевел англичанину их ответы.

— Скажите им, что по закону Христа надо сделать прямо обратное: если тебя ударили по одной щеке, подставь другую,— сказал англичанин, жестом как будто подставляя свою щеку.

Нехлюдов перевел.

— Он бы сам попробовал,— сказал чей-то голос.

— А как он по другой залепит, какую же еще подставлять? — сказал один из лежавших больных.

— Этак он тебя всего измочалит.

— Ну-ка, попробуй,— сказал кто-то сзади и весело засмеялся. Общий неудержимый хохот охватил всю камеру; даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли. Смеялись и больные.

Англичанин не смутился и просил передать им, что то, что кажется невозможным, делается возможным и легким для верующих.

— А спросите, пьют ли они?

— Так точно,— послышался один голос и вместе с тем опять фыркапье и хохот.

В этой камере больных было четверо. На вопрос англичанина, почему больных не соединяют в одну камеру, смотритель отвечал, что они сами не желают. Больные же эти не заразные, и фельдшер наблюдает за ними и оказывает пособие.

— Вторую неделю глаз не казал,— сказал голос.

Смотритель не отвечал и повел в следующую камеру. Опять отперли двери, и опять все встали и затихли, и опять англичанин раздавал Евангелия; то же было и в пятой, и в шестой, и направо, и налево, и по обе стороны.

От каторжных перешли к пересыльным, от пере-

ссыльных к общественникам и к добровольно следующим. Везде было то же самое: везде те же холодные, голодные, праздные, зараженные болезнями, опозоренные, запертые люди показывались, как дикие звери.

Англичанин, раздав положенное число Евангелий, уже больше не раздавал и даже не говорил речей. Тяжелое зрелище и, главное, удушливый воздух, очевидно, подавили и его энергию, и он шел по камерам, только приговаривая «All right»[1] на донесения смотрителя, какие были арестанты в каждой камере. Нехлюдов шел, как во сне, не имея силы отказаться и уйти, испытывая все ту же усталость и безнадежность.

XXVII

В одной из камер ссыльных Нехлюдов, к удивлению своему, увидал того самого странного старика, которого он утром видел на пароме. Старик этот, лохматый и весь в морщинах, в одной грязной, пепельного цвета, прорванной на плече рубахе, таких же штанах, босой, сидел на полу подле нар и строго-вопросительно смотрел на вошедших. Изможденное тело его, видневшееся в дыры грязной рубахи, было жалко и слабо, но лицо его было еще больше сосредоточенно и серьезно оживленно, чем на пароме. Все арестанты, как и в других камерах, вскочили и вытянулись при входе начальства; старик же продолжал сидеть. Глаза его блестели, и брови гневно хмурились.

— Встать! — крикнул на него смотритель.

Старик не пошевелился и только презрительно улыбнулся.

— Перед тобой твои слуги стоят. А я не твой слуга. На тебе печать...— проговорил старик, указывая смотрителю на его лоб.

— Что-о-о? — угрожающе проговорил смотритель, надвигаясь на него.

— Я знаю этого человека,— поспешил сказать Нехлюдову смотрителю.— За что его взяли?

— Полиция прислала за бесписьменность. Мы просим не присылать, а они все шлют,— сказал смотритель, сердито косясь на старика...

---

[1] Прекрасно *(англ.)*.

— А ты, видно, тоже антихристова войска? — обратился старик к Нехлюдову.

— Нет, я посетитель,— сказал Нехлюдов.

— Что ж, пришли подивиться, как антихрист людей мучает? На вот, гляди. Забрал людей, запер в клетку войско целое. Люди должны в поте лица хлеб есть, а он их запер, как свиней, кормит без работы, чтоб они озверели.

— Что он говорит? — спросил англичанин.

Нехлюдов сказал, что старик осуждает смотрителя за то, что он держит в неволе людей.

— Как же, спросите, по его мнению, надо поступать с теми, которые не соблюдают закон? — сказал англичанин.

Нехлюдов перевел вопрос.

Старик странно засмеялся, оскалив сплошные зубы.

— Закон! — повторил он презрительно,— он прежде ограбил всех, всю землю, все богачество у людей отнял, под себя подобрал, всех побил, какие против него шли, а потом закон написал, чтобы не грабили да не убивали. Он бы прежде этот закон написал.

Нехлюдов перевел. Англичанин улыбнулся.

— Ну все-таки, как же поступать теперь с ворами и убийцами, спросите у него.

Нехлюдов опять перевел вопрос. Старик строго нахмурился.

— Скажи ему, чтобы он с себя антихристову печать снял, тогда и не будет у него ни воров, ни убийц. Так и скажи ему.

— He is crazy [1],— сказал англичанин, когда Нехлюдов перевел ему слова старика, и, пожав плечами, вышел из камеры.

— Ты делай свое, а их оставь. Всяк сам себе. Бог знает, кого казнить, кого миловать, а не мы знаем,— проговорил старик.— Будь сам себе начальником, тогда и начальников не нужно. Ступай, ступай,— прибавил он, сердито хмурясь и блестя глазами на медлившего в камере Нехлюдова.— Нагляделся, как антихристовы слуги людьми вшей кормят. Ступай, ступай!

Когда Нехлюдов вышел в коридор, англичанин с смотрителем стоял у отворенной двери пустой камеры и спрашивал о назначении этой камеры. Смотритель объяснил, что это была покойницкая.

---

[1] Он полоумный *(англ.)*.

— О! — сказал англичанин, когда Нехлюдов перевел ему, и пожелал войти.

Покойницкая была обыкновенная небольшая камера. На стене горела лампочка и слабо освещала в одном углу наваленные мешки, дрова и на нарах направо — четыре мертвых тела. Первый труп в посконной рубахе и портках был большого роста человек с маленькой острой бородкой и с бритой половиной головы. Тело уже закоченело; сизые руки, очевидно, были сложены на груди, но разошлись; ноги босые тоже разошлись и торчали ступнями врозь. Рядом с ним лежала в белой юбке и кофте босая и простоволосая с редкой короткой косичкой старая женщина с сморщенным, маленьким, желтым лицом и острым носиком. За старушкой был еще труп мужчины в чем-то лиловом. Цвет этот что-то напомнил Нехлюдову.

Он подошел ближе и стал смотреть на него.

Маленькая, острая, торчащая кверху бородка, крепкий красивый нос, белый высокий лоб, редкие вьющиеся волосы. Он узнавал знакомые черты и не верил своим глазам. Вчера он видел это лицо возбужденно-озлобленным, страдающим. Теперь оно было спокойно, неподвижно и страшно прекрасно.

Да, это был Крыльцов или, по крайней мере, тот след, который оставило его материальное существование.

«Зачем он страдал? Зачем он жил? Понял ли он это теперь?» — подумал Нехлюдов, и ему казалось что ответа этого нет, что ничего нет, кроме смерти, и ему сделалось дурно.

Не простясь с англичанином, Нехлюдов попросил надзирателя проводить его на двор, и, чувствуя необходимость остаться одному, чтобы обдумать все то, что он испытал в нынешний вечер, он уехал в гостиницу.

XXVIII

Не ложась спать, Нехлюдов долго ходил взад и вперед по номеру гостиницы. Дело его с Катюшей было кончено. Он был ненужен ей, и ему это было и грустно и стыдно. Но не это теперь мучало его. Другое его дело не только не было окончено, но сильнее, чем когда-нибудь, мучало его и требовало от него деятельности.

Все то страшное зло, которое он видел и узнал за

это время и в особенности нынче, в этой ужасной тюрьме, все это зло, погубившее и милого Крыльцова, торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его.

В воображении его восстали эти запертые в зараженном воздухе сотни и тысячи опозоренных людей, запираемые равнодушными генералами, прокурорами, смотрителями, вспоминался странный, обличающий начальство свободный старик, признаваемый сумасшедшим, и среди трупов прекрасное мертвое восковое лицо в озлоблении умершего Крыльцова. И прежний вопрос о том, он ли, Нехлюдов, сумасшедший, или сумасшедшие люди, считающие себя разумными и делающие все это, с новой силой восстал перед ним и требовал ответа.

Устав ходить и думать, он сел на диван перед лампой и машинально открыл данное ему на память англичанином Евангелие, которое он, выбирая то, что было в карманах, бросил на стол. «Говорят, там разрешение всего»,— подумал он, и, открыв Евангелие, начал читать там, где открылось. Матфея гл. XVIII.

1. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в царстве небесном? — читал он.

2. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них

3. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное;

4. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в царстве небесном;

«Да, да, это так»,— подумал он, вспоминая, как он испытал успокоение и радость жизни только в той мере, в которой умалял себя.

5. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает;

6. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской.

«К чему тут: *кто примет* и куда примет? И что значит: *во имя мое?* — спросил он себя, чувствуя, что слова эти ничего не говорят ему.— И к чему жернов на шею и пучина морская? Нет, это что-то не то: неточно, неясно»,— подумал он, вспоминая, как он несколько раз в своей жизни принимался читать Евангелие и как

всегда неясность таких мест отталкивала его. Он прочел еще 7-й, 8-й, 9-й и 10-й стихи о соблазнах, о том, что они должны прийти в мир, о наказании посредством геенны огненной, в которую ввергнуты будут люди, и о каких-то ангелах детей, которые видят лицо отца небесного. «Как жалко, что это так нескладно,— думал он,— а чувствуется, что тут что-то хорошее».

11. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее,— продолжал он читать.

12. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась; то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?

13. И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся.

14. Так нет воли отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих.

«Да, не было воли отца, чтобы они погибли, а вот они гибнут сотнями, тысячами. И нет средств спасти их»,— подумал он.

21. Тогда Петр приступил к нему и сказал,— читал он дальше: — *Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?*

22. Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз.

23. Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими.

24. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;

25. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить.

26. Тогда раб пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу.

27. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

28. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.

29. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.

30. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

31. Товарищи его, видевши происшедшее, очень

огорчились и, пришедши, рассказали государю своему все бывшее.

32. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня.

33. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?

— Да неужели только это? — вдруг вслух вскрикнул Нехлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: «Да, только это».

И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаще находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему как самая простая, несомненная истина. Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей. Ему ясно стало теперь, что все то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только оттого, что люди хотели делать невозможное дело: будучи злы, исправлять зло. Порочные люди хотели исправлять порочных людей и думали достигнуть этого механическим путем. Но из всего этого вышло только то, что нуждающиеся и корыстные люди, сделав себе профессию из этого мнимого наказания и исправления людей, сами развратились до последней степени и не переставая развращают и тех, которых мучают. Теперь ему стало ясно, отчего весь тот ужас, который он видел, и чтó надо делать для того, чтобы уничтожить его. Ответ, которого он не мог найти, был тот самый, который дал Христос Петру: он состоял в том, чтобы прощать всегда, всех, бесконечное число раз прощать, потому что нет таких людей, которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять.

«Да не может быть, чтобы это было так просто», — говорил себе Нехлюдов, а между тем несомненно видел, что, как ни странно это показалось ему сначала, привыкшему к обратному, — что это было несомненное и не только теоретическое, но и самое практическое раз-

решение вопроса. Всегдашнее возражение о том, что делать с злодеями,— неужели так и оставить их безнаказанными? — уже не смущало его теперь. Возражение это имело бы значение, если бы было доказано, что наказание уменьшает преступления, исправляет преступников; но когда доказано совершенно обратное, и явно, что не во власти одних людей исправлять других, то единственное разумное, что вы можете сделать, это то, чтобы перестать делать то, что не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко. «Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. Что же, перевелись они? Не перевелись, а количество их только увеличилось и теми преступниками, которые развращаются наказаниями, и еще теми преступниками-судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей». Нехлюдов понял теперь, что общество и порядок вообще существуют не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей, а потому, что, несмотря на такое развращение, люди все-таки жалеют и любят друг друга.

Надеясь найти подтверждение этой мысли в том же Евангелии, Нехлюдов с начала начал читать его. Прочтя Нагорную проповедь, всегда трогавшую его, он нынче в первый раз увидал в этой проповеди не отвлеченные, прекрасные мысли и большею частью предъявляющие преувеличенные и неисполнимые требования, а простые, ясные и практически исполнимые заповеди, которые, в случае исполнения их (что было вполне возможно), устанавливали совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее доступное человечеству благо — царство божие на земле.

Заповедей этих было пять.

Первая заповедь (Мф. V, 21—26) состояла в том, что человек не только не должен убивать, но не должен гневаться на брата, не должен никого считать ничтожным, «рака», а если поссорится с кем-либо, должен мириться, прежде чем приносить дар богу, то есть молиться.

Вторая заповедь (Мф. V, 27—32) состояла в том, что человек не только не должен прелюбодействовать, но должен избегать наслаждения красотою женщины,

должен, раз сойдясь с одною женщиной, никогда не изменять ей.

Третья заповедь (Мф. V, 33—37) состояла в том, что человек не должен обещаться в чем-нибудь с клятвою.

Четвертая заповедь (Мф. V, 38—42) состояла в том, что человек не только не должен воздавать око за око, но должен подставлять другую щеку, когда ударят по одной, должен прощать обиды и с смирением нести их и никому не отказывать в том, чего хотят от него люди.

Пятая заповедь (Мф. V, 43—48) состояла в том, что человек не только не должен ненавидеть врагов, не воевать с ними, но должен любить их, помогать, служить им.

Нехлюдов уставился на свет горевшей лампы и замер. Вспомнив все безобразие нашей жизни, он ясно представил себе, чем могла бы быть эта жизнь, если бы люди воспитывались на этих правилах, и давно не испытанный восторг охватил его душу. Точно он после долгого томления и страдания нашел вдруг успокоение и свободу.

Он не спал всю ночь и, как это случается со многими и многими, читающими Евангелие, в первый раз, читая, понимал во всем их значении слова, много раз читанные и незамеченные. Как губка воду, он впитывал в себя то нужное, важное и радостное, что открывалось ему в этой книге. И все, что он читал, казалось ему знакомо, казалось, подтверждало, приводило в сознание то, что он знал уже давно, прежде, но не сознавал вполне и не верил. Теперь же он сознавал и верил.

Но мало того, что он сознавал и верил, что, исполняя эти заповеди, люди достигнут наивысшего доступного им блага, он сознавал и верил теперь, что всякому человеку больше нечего делать, как исполнять эти заповеди, что в этом — единственный разумный смысл человеческой жизни, что всякое отступление от этого есть ошибка, тотчас же влекущая за собою наказание. Это вытекало из всего учения и с особенной яркостью и силой было выражено в притче о виноградарях. Виноградари вообразили себе, что сад, в который они были посланы для работы на хозяина, был их собственностью; что все, что было в саду, сделано для них и что их дело только в том, чтобы наслаждаться в этом саду своею жизнью, забыв о хозяине и убивая тех, которые напоминали им о хозяине и об их обязанностях к нему.

«То же самое делаем мы,— думал Нехлюдов,— живя в нелепой уверенности, что мы сами хозяева своей жизни, что она дана нам для нашего наслажденья. А ведь это очевидно нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. А мы решили, что живем только для своей радости, и ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли хозяина. Воля же хозяина выражена в этих заповедях. Только исполняй люди эти заповеди, и на земле установится царствие божие, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им.

Ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам. А мы ищем *остального* и, очевидно, не находим его.

Так вот оно, дело моей жизни. Только кончилось одно, началось другое».

С этой ночи началась для Нехлюдова совсем новая жизнь не столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что случилось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение. Чем кончится этот новый период его жизни, покажет будущее.

16 декабря 1899 года

Конец

РАССКАЗЫ

ХОЗЯИН И РАБОТНИК

I

Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви,— он был церковный староста,— и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящихся у него церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в тот день не пьяный из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был пятидесятилетний мужик из ближней

деревни, нехозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное — за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал все с себя, становился еще буен и придирчив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной. Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком-малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет двадцать жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалованье все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей двадцать.

— Мы разве с тобой уговоры какие делали? — говорил Василий Андреич Никите.— Нужно — бери, заживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю.

И, говоря это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никите: так убедительно он умел говорить и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

— Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, слу-

жу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю,— отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

— Что, соскучился, соскучился, дурачок? — говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке.— Но, но! поспеешь, дай прежде напою,— говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную с желобком посредине, разъеденную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув оброть, повел поить.

Осторожно выбравшись из высокого запавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

— Балуй, балуй, шельмец! — приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый вскидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

— Не хочешь, не надо, так и знать будем; уж больше не проси,— сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было; был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

— Поди спроси, душа милая,— сказал ему Никита,— какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а в другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

— В махонькие так в махонькие,— сказал он и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда все было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем.

— Вот и ладно. Но, но, не топырься! — говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеобмолоченную овсяную солому.— А теперь вот давай дерюжку так постелем, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть,— говорил он, делая то, что говорил,— подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья.

— Вот спасибо, душа милая,— сказал Никита кухаркину мужу,— вдвоем все спорее.— И, разобрав ременные с кольцом па соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

— Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! — закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке.— Меня посади,— просил он, на ходу застегивая свой полушубочек.

— Ну, ну, беги, голубок,— сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно — градусов десять, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег, и на углу, у бани, крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из

сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так чтобы мех не потел от дыханья.

— Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! — сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

— Право, Никиту бы взял,— говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

— С деньгами поедешь,— продолжала тем же жалобным голосом жена.— Да и погода не поднялась бы, право, ей-богу.

— Что ж я, иль дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно? — проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог.

— Ну, право, взял бы. Богом тебя прошу! — повторила жена, перекутывая платок на другую сторону.

— Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму?

— Что ж, Василий Андреич, я готов,— весело сказал Никита.— Только лошадям корма бы без меня дали,— прибавил он, обращаясь к хозяйке.

— Я посмотрю, Никитушка, Семену велю,— сказала хозяйка.

— Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? — сказал Никита, ожидая.

— Да уж, видно, уважить старуху. Только коли

ехать, поди одень дипломат какой потеплее,— выговорил Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный под мышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты.

— Эй, душа милая, выдь подержи лошадь! — крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

— Я сам, я сам! — запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

— Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! — крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.

— Одним пыхом, батюшка Василий Андреич,— проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

— Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи — с хозяином ехать! — проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выспавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

— То-то тебе с хозяином просторно гулять будет,— сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

— Вот так-то,— сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс,— так не выскочишь,— и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил под мышками и достал с полки рукавицы.— Ну вот и ладно.

— Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул,— сказала кухарка,— а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

— Надо бы... Ну да сойдеть и так, недалече!

И он побежал на двор.

— Не холодно тебе будет, Никитушка? — сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

— Чего холодно, тепло вовсе,— отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетою в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул сани и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

— Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! — крикнул Василий Андреич, очевидно, радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях.— Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын!

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заекав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю, кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только потому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, только изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

— Бегу ей настоящего нет, снежно,— сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадью.— Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

— Чаго? — спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

— В Пашутино, говорю, в полчаса доехал,— прокричал Василий Андреич.

— Что и говорить, лошадь добрая! — сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

— Что ж, хозяйке-то, я чай, паказывал бондаря не поить? — заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

— Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

— Это так,— сказал Василий Андреич.— Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? — начал он новый предмет разговора.

— Да не миновать,— отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать.

— Малый возрос, надо самому пахать, и то все наймали,— сказал он.

— Что же, берите бескостречного, дорого не положу! — прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие — барышничество.

— А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю,— сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

— Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести,— прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям.— Лошадь настоящая!

— Как есть,— сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было не холодно.

— Что, как думаешь, на Карамышево поедем али прямо? — спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, уставленной хорошими вешками в два ряда, но — дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена и вешек не было или были плохонькие, занесенные.

Никита подумал немного.

— На Карамышево хоть и подальше, да ездовитее,— проговорил он.

— Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо,— сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

— Воля ваша,— сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой, мотавшейся от ветра дубовой ветки с сухими, кое-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

— Чаго? — спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал и изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадью. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

— Чаго ты, говорю? — повторил Никита.

— Чаго, чаго! — передразнил его Василий Андреич сердито.— Вешек не видать! Должно, сбились!

— Так стой же, я дорогу погляжу,— сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был неглубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

— Ну что? — сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

— С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

— Вон что-то впереди чернеет, ты туда дойди погляди,— сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось,— это чернелась земля, насыпавшаяся с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

— Вправо ехать надо,— сказал он решительно.— Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! — решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги все не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

— А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились,— вдруг сказал как будто с удовольствием Никита.— Это что? — сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.

— А что? — спросил он.

— А то, что мы на захаровском поле. Вон куда заехали!

— Вре? — откликнулся Василий Андреич.

— Не вру я, Василий Андреич, а вправду говорю,— сказал Никита,— и по саням слышно — по картофелищу едем; а вон и кучи,— ботву свозили. Захаровское заводское поле.

— Вишь ты, куда сбились! — сказал Василий Андреич.— Как же быть-то?

— А надо прямо брать, вот и все, куда-нибудь да выедем,— сказал Никита.— Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали на оголенные зеленя, и сани гремели по колчам мерзлой земли. Иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда въезжали в глубокий и везде одинаково белый ровный снег, сверху которого уже ничего не было видно.

Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Ло-

шадь, очевидно, уморилась, вся закурчавилась и заиндевела от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или в канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него:

— Чего держать! Заехали — выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной!— закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

— Где ж это мы? — сказал Василий Андреич.

— А вот узнаем! — отвечал Никита.— Трогай знай, куда-нибудь выедем.

— А ведь это, должно, Горячкинский лес? — сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега впереди их.

— Вот подъедем, увидим, какой такой лес,— сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жилье, но не хотел говорить. И действительно, не проехали они еще и десяти саженей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья, и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин, с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна. Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышенье, повернула влево и перестала утопать в снегу по колена. Это была дорога.

— Вот и приехали,— сказал Никита,— а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока саженей, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге, и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они въехали в улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешанное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки,

онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

— Вишь, баба ленивая, а либо умираеть, белье к празднику не собрала,— сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи.

III

В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметена, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.

В деревне, казалось, и ветра, и снега, и мороза было меньше.

— А ведь это Гришкино,— сказал Василий Андреич.

— Оно и есть,— отвечал Никита.

И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.

В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посредине улицы.

— Кто едет? — крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.

Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.

— А! Василий Андреич! Куда же это вас бог несет? — сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.

— Да мы в Горячкино было.

— Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.

— Мало что надо, да не потрафили,— сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

— Лошадка-то добрая,— сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением по самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.

— Что же, ночевать, что ли?

— Не, брат, обязательно ехать надо.

— Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!

— А то кто же? — отвечал Никита.— А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.

— Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, все прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда — вправо.

— Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? — спросил Никита.

— По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая дубовая, кудрявая стоит,— тут и есть.

Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.

— А то ночевали бы! — прокричал им сзади Исай.

Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь: пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более что ветер как будто затих и снег переставал.

Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела па одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.

Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами, так что, несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.

Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухортый совсем догнал их и стукал ногами об кресла впереди едущих саней.

— Объезжай... а-а-й... передом! — кричали из саней.

Василий Андреич стал объезжать. В санях сидели три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали

что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь, сидела, нахохлившись в задке саней.

— Чьи будете? — закричал Василий Андреич.

— А-а-а...ские! — только слышно было.

— Чьи, говорю?

— А-а-а-ские! — изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать какие.

— Вали! Не сдавай! — кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке.

— От праздника, видно?

— Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!

Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно, из последних сил тщетно стараясь убежать от ударявшей ее хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно, молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.

— Вино-то что делает,— сказал Никита.— На отделку замучили лошаденку. Азиаты как есть!

Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.

Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее.

Никите делать было нечего, и, как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.

— А ведь мы опять неладно едем,— сказал Василий Андреич.

— А что?

— Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.

— А сбились с дороги, поискать надо,— коротко

сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.

Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся.

— Нет тут дороги, может, впереди где,— сказал он, садясь на сани.

Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.

— Хоть бы тех мужиков услыхать,— сказал Василий Андреич.

— Да, вишь, не догнали, должно, далеко сбились. А може, и они сбились,— сказал Никита.

— Куда же ехать-то? — сказал Василий Андреич.

— А пустить лошадь надо,— сказал Никита.— Он приведеть. Давай вожжи.

Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть.

Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала поворачивать.

— Только не говорить,— приговаривал Никита.— Вишь, что делаеть! Иди, иди знай! Так, так.

Ветер стал дуть взад, стало теплее.

— И умен же,— продолжал радоваться на лошадь Никита.— Киргизенок — тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делаеть. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.

И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.

— А ведь это опять Гришкино,— вдруг проговорил Никита.

Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и дальше та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые все так же отчаянно трепались от ветра.

Опять они въехали в улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять послышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.

Посередине улицы Василий Андреич повернул ло-

шадь к большому, в две кирпичные связи, дому и остановил ее у крыльца.

Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.

— Кто там? — откликнулся голос на призыв Никиты.

— С Крестов, Брехуновы, милый человек,— отвечал Никита.— Выдь-ка на час!

От окна отошли, и через минуты две — слышно было — отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутом полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.

— Ты, что ли, Андреич? — сказал старик.

— Да вот заплутали, брат,— сказал Василий Андреич,— хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.

— Вишь, как сбились,— сказал старик.— Петрушка, поди отвори ворота! — обратился он к малому в красной рубахе.

— Это можно,— отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.

— Да мы, брат, не ночевать,— сказал Василий Андреич.

— Куда ехать — ночное время, ночуй!

— И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.

— Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару,— сказал старик.

— Погреться — это можно,— сказал Василий Андреич,— темнее не будет, а месяц взойдет — посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит?

— Ну, что ж, и погреться можно,— сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.

Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапались лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону. Собака, отчаянно взвиз-

гивая, с испугом и злостью по-щенячьи заливалась-лаяла на чужого.

Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не переставая усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь.

— Вот так-то и ладно будеть,— сказал он, охлопывая с себя снег.— Вишь, заливается! — прибавил он на собаку.— Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь,— говорил он.— Не воры, свои...

— А это, как сказано, три домашние советника,— сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся снаружи санки.

— Это как же советники? — сказал Никита.

— А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает,— не зевай, значит, смотри. Петух поет — значит, вставай. Кошка умывается — значит, дорогой гость, приготовься угостить его,— проговорил малый, улыбаясь.

Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.

— Это точно,— сказал Никита.

— Прозяб, я чай, дядюшка? — прибавил Петруха.

— Да, есть-таки,— сказал Никита, и они пошли через двор и сени в избу.

IV

Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было двадцать две души: четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Мо-

скве в водовозах, один был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, второй сын — хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.

Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый белобородый старик-хозяин в белой домотканой рубахе; рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами,— сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий — старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик — сосед.

Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На полатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькою. Старушка-хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андреичем.

В то время как Никита входил в избу, она, палив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.

— Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, поздравить надо,— говорила она.— Выкушай, касатик.

Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником»,— стал раздеваться, не глядя на стол.

— Ну и заиндевел же ты, дядя,— сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.

Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял ста-

канчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу; но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.

— Не пью, благодарим покорно,— сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.

— Что же так? — сказал старший брат.

— Не пью, да и не пью,— сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.

— Ему не годится,— сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.

— Ну, так чайку,— сказала ласковая старушка.— Я чай, иззяб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?

— Готов,— отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.

Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.

— Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака,— куст тут видать. А вы не доехали! — говорил сосед.

— А то ночевали бы. Бабы постелют,— уговаривала старушка.

— Утречком поехали бы, разлюбезное дело,— подтверждал старик.

— Нельзя, брат, дела! — сказал Василий Андреич.— Час упустишь, годом не наверстаешь,— добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку.— Доедем ведь? — обратился он к Никите.

Никита долго не отвечал, все как будто озабоченный оттаиванием бороды и усов.

— Не сбиться бы опять,— сказал он мрачно.

Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.

— Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся; лесом до самого места,— сказал Василий Андреич.

— Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать,— сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.

— Напьемся чайку, да и марш.

Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахару, он поклонился хозяевам и проговорил:

— Будьте здоровы,— и потянул в себя согревающую жидкость.

— Кабы проводил кто до поворота,— сказал Василий Андреич.

— Что же, это можно,— сказал старший сын.— Петруха запряжет, да и проводит до поворота.

— Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.

— И, чего ты, касатик! — сказала ласковая старушка.— Мы рады душой.

— Петруха, иди запряги кобылу,— сказал старший брат.

— Это можно,— сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Старик жаловался соседу-старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.

— Отбивается народ молодой от рук,— говорил старик.

— Как отбивается-то,— сказал кум-сосед,— сладу нет! Больно умны стали. Вон Демочкин — так отцу руку сломал. Все от большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго все об одном и том же, о вреде разделов; и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме,— разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что

делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить — все по миру пойдут.

— Вот как Матвеевы,— сказал сосед.— Был дом настоящий, а разделили — ни у кого ничего нет.

— Так-то и ты хочешь,— обратился старик к сыну.

Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и все время улыбавшийся.

— Так-то у Пульсона есть басня,— сказал он,— дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику — лёгко. Так и это,— сказал он, улыбаясь во весь рот.— Готово! — прибавил он.

— А готово, так поедем,— сказал Василий Андреич.— А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.

— Так фордыбачить, так фордыбачить,— плаксивым голосом говорил все свое старик,— что нет с ним ладов. Как осатанел ровно!

Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахару, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.

Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда — на темный двор.

Петруха в шубе стоял с своею лошадью посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутять, аж как зверь она завоить, аж заплачеть, как дитё».

Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.

Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.

«Ну, уж погодка,— подумал Василий Андреич,— по-

жалуй, и не доедешь, да нельзя, дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»

Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут,— думал он.— Да и по крайности спать ляжем вовремя. Без хлопот».

Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, как «вихри снежные крутять», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих.

V

Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.

— Пошел передом! — крикнул он.

Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.

Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа, сквозь снег, завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.

— Ну, с богом!

— Спасибо, Петруха!

— Буря небо мглою скроить,— прокричал Петруха и скрылся.

— Вишь, стихотворец какой,— проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.

— Да, молодец хороший, мужик настоящий,— сказал Никита.

Поехали дальше.

Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собою он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качавшуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.

Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз поправлял его.

«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья,— считал Василий Андреич,— а вот впереди и лес»,— подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажен двадцать,— четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес»,— думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшою рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса все не было.

— А ведь мы опять сбились! — сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.

— Вправо ехать надо,— сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.

— Ну, вправо, так вправо пошел,— сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.

Никита не отвечал.

— Ну, дружок, потрудись,— крикнул он на лошадь; но лошадь, несмотря на потряхиванье вожжей, шла только шагом.

Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади.

Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно, чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел ступить шаг перед лошадью, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручь.

— Тпру, тпру, тпру,— говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.

Нависший с края кручи сугроб растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот...

— Эко ты как! — укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.

— Никита, а Никит! — кричал Василий Андреич сверху.

Но Никита не откликался.

Ему некогда было: он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности; он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услыхал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, звавших его.

— Иду, иду, чего гогочешь! — проговорил он.

Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.

— Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся,— сердито стал выговаривать Никите хозяин.

— И рад бы вернулся, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда — и не выберешься. Я туда засветил так, что насилу выдрался.

— Что же, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать,— сказал Василий Андреич.

Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в сапоги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.

Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже все Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.

Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.

— Андреич, жив? — крикнул он.

— Здесь! — откликнулся Василий Андреич.— Ну, что?

— Да не разберешь никак. Темно. Овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.

Опять поехали, опять ходил Никита, лазая по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней.

— Ну, что? — спросил Василий Андреич.

— Да что, вымотался я весь! Да и лошадь становится.

— Так что же делать?

— Да вот, постой.

Никита опять ушел и скоро вернулся.

— Держи за мной,— сказал он, заходя перед лошадью.

Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.

— Сюда, за мной! — закричал Никита, отходя быст-

ро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу в сугроб.

Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по хомут.

— Вылезай! — закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь.— Трудненько, брат,— обратился он к Мухортому,— да что же делать, понатужься! Но, но, немного! — крикнул он.

Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как будто что-то обдумывала.

— Что же, брат, так неладно,— усовещивал Никита Мухортого.— Ну, еще!

Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.

— Ну! но! не потонешь небось! — кричал Никита.

Прыжок, другой, третий, и, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог идти и повалился в сани.

— Дай вздохнуть,— сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне воротник шубы.

— Тут ничего, ты лежи,— сказал Никита,— я проведу,— и с Василием Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.

Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.

— Ты что ж это делаешь? — спросил Василий Андреич.

— Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет,— как бы извиняясь, отвечал Никита.

— А разве не выедем куда?

— Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал,— сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь.— Ночевать надо,— повторил он, точно как будто собирался ночевать па постоялом дворе, и стал развязывать супонь.

Клещи расскочились.

— А не замерзнем мы? — сказал Василий Андреич.

— Что ж? И замерзнешь — не откажешься,— сказал Никита.

VI

Василию Андреичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе; но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички.

Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, чресседельник, развожжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее.

— Ну, выходи, выходи,— говорил он, выводя ее из оглобель.— Да вот привяжем тебя тут. Соломки подложу да разнуздаю,— говорил он, делая то, что говорил.— Закусишь, тебе все веселее будет.

Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты.

Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом.

— Теперь примету сделаем,— сказал Никита, повернув сани лицом к ветру, и, связав оглобли чрессе-

дельником, он поднял их вверх и притянул к передку.— Вот как занесеть нас, добрые люди по оглоблям увидять, откопають,— сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их.— Так-то старики учили.

Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреича.

— Ночевать так ночевать! — сказал он решительно.

— Погоди же ты, я еще флаг сделаю,— сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтоб достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли.

Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и щелкая.

— Вишь, как ловко,— сказал Василий Андреич, любуясь на свою работу, опускаясь в сани.— Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся,— сказал он.

— Я место найду,— отвечал Никита,— только лошадь укрыть надо, а то взопрел, сердечный. Пусти-ка,— прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреича веретье.

И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортого.

— Все теплее тебе будеть, дурачок,— говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею.— А не нужна вам дерюжка будет? Да соломки мне дайте,— сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням.

И, забрав и то и другое из-под Василия Андреича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шап-

ку и закутавшись кафтаном и сверху покрывшись дерюжкой, сел на постланную солому, прислонясь к лубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.

Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь.

Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра.

Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: думал все о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни,— о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; сколько другие, ему известные люди, нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья.

«Дуб на полозья пойдет. Срубы сами собой. Да дров сажен тридцать все станет на десятине,— говорил он себе.— С десятины на худой конец по двести с четвертной останется. Пятьдесят шесть десятин, пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть десятков, да еще пятьдесят шесть десятков, да пятьдесят шесть пятков». Он видел, что выходило за двенадцать тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. «Десяти тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу — сотню, а то полторы; он мне десятин пять полян намеряет. И за восемь отдаст. Сейчас три тысячи в зубы. Небось размякнет,— думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане.— И как сбились с поворота, бог ее знает! Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно. Так не лают, проклятые, когда их нужно». Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был все тот же свист ветра, в оглоблях трепанье и щелканье платка и стеганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.

«Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, да все одно,

доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и те не поедут». И он вспомнил, что к девятому надо получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать; не застанет меня — жена не сумеет деньги взять. Очень уж необразованна. Обхождения настоящего не знает»,— продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. «Известно — женщина! Где она что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор — и все имущество в том. А я что в пятнадцать лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два именья в аренде, дом с амбаром под железной крышей,— вспоминал он с гордостью.— Не то, что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов.

А почему так? Потому — дело помню, стараюсь, не так, как другие — лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель — еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается,— размышлял он с гордостью.— Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья».

И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Кабы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы ему очки.

«Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром!» — подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул в передок, нагибая его, и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся: в белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортого и его спина, покрытая развевающимся веретьем, и густой завязанный хвост; кругом же со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная белая колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

«И напрасно послушался я Никиту,— думал он.— Ехать бы надо, все бы выехали куда-нибудь. Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то

вот сиди ночь целую. Да что, бишь, хорошего было? Да, что за труды бог дает, а не лодырям, лежебокам али дуракам. Да и покурить надо!» Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселей. Он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал.

Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его — только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее. «Светает,— подумал он,— должно, и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только оттого, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял все задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала набок, и засыпанная снегом голова с развевающимися челкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел все в том же положении, в каком он сел. Дерюжка, которою он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик; плоха одежонка на нем. Еще ответишь за него. То-то народ бестолковый. Истинно необразованность»,— подумал Василий Андреич и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту, но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь, боялся, как бы не застыла. «И на что я его взял? Все ее глупость одна!» — подумал Василий Андреич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней. «Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел,— вспомнил он,— и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали,— тут же представился ему другой случай,— так тот помер, закоченел весь, как туша мороженая.

Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись, так чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде — и в шее, и

в коленях, и в ступнях — грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а, напротив, чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение,— но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но все ему казалось неловко; он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Но или скрюченные ноги в крепких валеных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался, и опять укладывался.

Раз Василью Андреичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свиставшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего об лубок саней.

Никита как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращения Василия Андреича, который раза два окликал его. «Ему и горюшка мало, спит, должно»,— с досадой думал Василий Андреич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту.

Василий Андреич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже, должно быть, близко к утру,— подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь.— Дай посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну, да коли узнаю, что к утру дело, все веселее будет. Запрягать станем». Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он все сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время проверить и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушубка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. Насилу-насилу вытащил он свои серебряные с эмалевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего

не видно было. Он опять лег ничком на локти и на коленки, так же, как когда закуривал, достал спички и стал зажигать. Теперь он аккуратнее взялся за дело, и, ощупав пальцами спичку с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазам своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

«Ох, длинна ночь!» — подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый, живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, так же равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый также напряженно слушал, поводя ушами и, когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреич уж никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх все больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине.

«Бог с ним, с лесом, без него дел слава богу. Эх, ночевать бы! — говорил он себе.— Говорят, пьяные-то замерзают,— подумал он.— А я выпил». И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, от чего он дрожит — от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте, ему хотелось встать, предпринять что-нибудь, с тем чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмурыгались не загоревшись.

«А, черт тебя дери, проклятая, провались ты!» — обругал он сам не зная кого и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил дви-

жение руки и сунул ее в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом — да и марш,— вдруг пришло ему в голову.— Верхом лошадь не станет. Ему,— подумал он на Никиту,— все равно умирать. Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить...»

И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть. Но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлеи. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреичу показалось, что он говорит что-то.

— Слушай вас, дураков! Что ж, пропадать так, ни за что? — крикнул Василий Андреич и, подправляя под колена развевающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.

VII

Никита, с тех пор как сел, покрывшись дерюжкой, за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и оттого, что он много двигался, лазая по сугробам, он знал, что тепла этого хватит ненадолго, а что согреваться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, идти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать.

Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чуял на ней большого пальца. И, кроме того, всему телу его становилось все холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже, по всем вероятиям, должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему ни особенно неприятной, ни особенно страшной. Не особенно неприятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что же делать, и к новому привыкать надо».

«Грехи? — подумал он и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, нехождение в церковь, несоблюдение постов и все то, за что выговаривал ему поп на исповеди.— Известно, грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня бог сделал. Ну, и грехи! Куда ж денешься?»

Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы, и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку, и Тарасову избу, и разговоры о дележах, то о своем малом, и о Мухортом, который угреется теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже, я чай, сердечный, сам не рад, что поехал,— думал он.— От такого житья помирать не хочется. Не то, что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул.

Когда же Василий Андреич, садясь на лошадь, покачнул сани, и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся, и его полозом ударило в спину, он проснулся и волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал все его тело. Поняв, в чем

дело, он хотел, чтобы Василий Андреич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом.

Но Василий Андреич не остановился и скрылся в снежной пыли.

Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было — оно все было засыпано снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, отец небесный!» — проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина.

Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал — он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое.

VIII

Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее.

Минут пять он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И по-

чему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепыхался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян,— подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился, и на небольшом пространстве. «Пропаду я так!» — подумал он, но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему, и он, остановившись, стал напряженно прислушиваться.

Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, все задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя или призывая кого на помощь, заржал своим громким, заливистым голосом. «Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!» — сказал себе Василий Андреич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.

«Надо одуматься, остепениться»,— говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и все гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело, руки и ноги

его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни, и не видит никакого средства спасения.

Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреич соскочил с нее, при соскакивании сдернув набок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более двадцати шагов, запыхался и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник,— подумал он,— как же это все останется? Что ж это такое? Не может быть!» — мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли все это?» — и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительно пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.

«Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю»,— вспомнил он вчерашние молебны, и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он чуть обгоревшие прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать,— подумал он.— Надо идти по следам лошади, а то и те занесет,— пришло ему в голову.— Она выведет, а то и поймаю.

Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я,— подумал Василий Андреич,— потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное. Это был Мухортый и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком. Мухортый, со сбитой набок шлеей и веретьем, стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь везла его назад к саням и что соскочил он с нее не больше пятидесяти шагов от того места, где были сани.

IX

Дովалившись до саней, Василий Андреич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уже где-нибудь на две четверти под снегом; потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреич и сделал это и, освободив повод, привязал Мухортого опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы

оправить на ней шлею, седелку и веретье; но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием, замерзавший уже Никита приподнялся и сел и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу, призывая его. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.

— Чего ты? — спросил он.— Чего говоришь?

— Поми-ми-мираю я, вот что,— с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита.— Зажитое малому отдай али бабе, все равно.

— А что ж, аль зазяб? — спросил Василий Андреич.

— Чую, смерть моя... прости, Христа ради...— сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

— А вот то-то, а ты говоришь — помираешь. Лежи, грейся, мы вот как...— начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно, ослаб вовсе»,— подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как»,— говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго

он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена все заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

— Микита! — сказал он.

— Хорошо, тепло,— откликнулось ему снизу.

— Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего,— подумал он.— Я сам про себя знаю, что знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретье с шлеею лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого.

«Небось не вывернется»,— говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.

Так пролежал Василий Андреич час, и другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом все это смешалось, одно вошло в другое, и, как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились

сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши, новые, чищеные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеич, становой, и с Иваном Матвеичем надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» — «Нет,— говорит,— не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. «Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?» — «Нету». И он лежит на постели и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» — кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать — и не может, хочет двинуть рукой — не может, ногой — тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. «Жив, Никита, значит, жив и я»,— с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело,— думает он про Василья Брехунова.— Не знал, так теперь знаю. Те-

перь уж без ошибки. *Теперь знаю»*. И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» — радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его.

И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Кругом все так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича, и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.

X

Перед утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. «Да будеть,— говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину.— Вынимай мешки!» Но воз все холоднее и холоднее давит его, и вдруг стукает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз — это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.

— Андреич, а Андреич! — осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напруживая спину.

Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги — крепкие, и холодные, и тяжелые, как гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!» — думает Никита.

Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней а беззвучно засыпает сани и лошадь все выше и выше, и ни движенья, ни дыханья лошади не слышно больше. «Замерз, должно, и он»,— думает Никита про Мухортого. И действительно, те удары копыт о сани, которые раз-

будили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.

«Господи, батюшка, видно, и меня зовешь,— говорит себе Никита.— Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорее бы...» И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже наверное и совсем умирает.

Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в тридцати саженях от дороги и в полуверсте от деревни.

Снег нанесло выше саней, по оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый по брюхо в снегу, с сбившимися со спины шлеей и веретьем, стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услыхал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливших с него закоченевшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики и такое же тело, но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены.

Пролежал Никита в больнице два месяца. Три пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать, и еще двадцать лет продолжал жить— сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощенья у своей старухи и простил ее за бондаря; простился и с малым и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и ча-

сом становилась ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал? — мы все скоро узнаем.

1895

ПОСЛЕ БАЛА

Рассказ

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

— От чего же? — спросили мы.

— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

— Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

— Да,— сказал он.— Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее утра.

— Да что же было?

— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б...,— Иван Васильевич назвал фамилию.— Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была

прелестна: высокая, стройная, грациозная, и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает.

— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

— Ну, нечего скромничать,— перебила его одна из собеседниц.— Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых

перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня; препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore» [1]. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело,— сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr,— хороший был писатель,— на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.

[1] Еще *(фр.)*.

— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

— Так после ужина кадриль моя? — сказал я ей, отводя ее к ее месту.

— Разумеется, если меня не увезут,— сказала она, улыбаясь.

— Я не дам,— сказал я.

— Дайте же веер,— сказала она.

— Жалко отдавать,— сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

— Так вот вам, чтоб вы не жалели,— сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

— Смотрите, папа́ просят танцевать,— сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

— Варенька, подите сюда,— услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

— Уговорите, ma chère [1], отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич,— обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I [2] подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах

---

[1] дорогая *(фр.)*.

[2] как у Николая I *(фр.)*.

и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку — «надо все по закону»,— улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные»,— думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

— Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней,— сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке осво-

бодила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: *«Гордость?* да?» — и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными

волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, все было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая, музыка.

«Что это такое?» — подумал я и по проезженной посередине поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье»,— подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли все ту же неприятную, визгливую мелодию.

— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

— Татарина гоняют за побег,— сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближаю-

щееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

— О господи,— проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

— Я тебе помажу,— услыхал я его гневный голос.— Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабо-

сильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

— Подать свежих шпицрутенов! — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный, голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю,— думал я про полковника.— Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал»,— думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились,— сказал один из нас.— Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годилось, кабы вас не было.

— Ну, это уж совсем глупости,— с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

— Ну, а любовь что? — спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и не-

приятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите...— закончил он.

Ясная Поляна, 20 августа 1903 г.

ЯГОДЫ

Стояли жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые листы. Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами, в лесных лугах сплошной медовый клевер, рожь густая, рослая, темнеет и волнуется, до половины налилась, в низах перекликаются коростели, в овсах и ржах то хрипят, то щелкают перепела, соловей в лесу только изредка сделает колено и замолкнет, сухой жар печет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и поднимается густым облаком, уносимым то вправо, то влево случайным слабым дуновением.

Крестьяне доделывают постройки, возят навоз, скотина голодает на высохшем пару, ожидая отавы. Коровы и телята зыкаются с поднятыми крючковато хвостами, бегают от пастухов со стойла. Ребята стерегут лошадей по дорогам и обрезам. Бабы таскают из леса мешки травы, девки и девочки вперегонку друг с другом ползают между кустов по срубленному лесу, собирают ягоды и носят продавать дачникам.

Дачники в разукрашенных, архитектурно вычурных домиках, лениво гуляют под зонтиками, в легких, чистых, дорогих одеждах по усыпанным песком дорожкам или сидят в тени дерев, беседок, у крашеных столиков и, томясь от жары, пьют чай или прохладительные напитки.

У великолепной дачи Николая Семеныча, с башней, верандой, балкончиком, галереями — все свеженькое, новенькое, чистенькое — стоит ямская с бубенцами тройка в коляске, привезшая из города за пятнадцать «взадназад», как говорит ямщик, петербургского барина.

Барин этот — известный либеральный деятель, участвовавший во всех комитетах, комиссиях, подношениях, хитро составленных, как будто верноподданнических, а

в сущности самых либеральных адресов. Он приехал из города, в котором он, как всегда, страшно занятой человек, пробудет только сутки, к своему другу, товарищу детства и почти единомышленнику.

Они немного только расходятся в способах применения конституционных начал. Петербуржец — больше европеец, с маленьким пристрастием даже к социализму, получает очень большое жалованье по местам, которые он занимает. Николай же Семеныч — чисто русский человек, православный, с оттенком славянофильства, владеет многими тысячами десятин земли.

Они пообедали в саду обедом из пяти кушаний, но от жару почти ничего не ели, так что труды сорокарублевого повара и его помощников, особенно усердно работавших для гостя, пропали почти даром. Покушали только ботвинью ледяную с свежей белорыбицей и разноцветное мороженое в красивой форме и разукрашенное разными сахарными волосами и бисквитами. Обедали гость, либеральный врач, учитель детей — студент, отчаянный социал-демократ, революционер, которого Николай Семеныч умел держать в узде, Мари — жена Николая Семеныча, и трое детей, из которых меньшой только приходил к пирожному.

Обед был немножко натянут, потому что Мари, сама очень нервная женщина, была озабочена расстройством желудка Гоги,— так (как и водится у порядочных людей) назывался меньшой мальчик Николай,— и еще оттого, что, как только начинался политический разговор между гостем и Николаем Семенычем, отчаянный студент, желая показать, что он ни перед кем не стесняется высказывать свои убеждения, врывался в разговор, и гость замолкал, Николай же Семеныч утишал революционера.

Обедали в семь часов. После обеда приятели сидели на веранде, прохлаждаясь холодным нарзаном с легким белым вином, и беседовали.

Разногласие их прежде всего выразилось в вопросе о том, какие должны быть выборы, двухстепенные или одностепенные, и они горячо начали было спорить, когда их позвали к чаю в защищенную сетками от мух столовую. За чаем шел общий разговор с Мари, которую разговор этот не мог занимать, так как она вся была поглощена мыслью о признаках расстройства желудка Гоги. Разговор шел о живописи, и Мари доказывала, что в декадентской живописи есть un je ne sais

quoi[1], которое нельзя отрицать. Она в эту минуту вовсе не думала о декадентской живописи, но говорила то, что говорила много раз. Гостю уже совсем это было не нужно, но он слыхал, что говорят против декадентства, и говорил все это так похоже, что никто бы не догадался о том, что ему не было никакого дела до декадентства или недекадентства. Николай же Семеныч, глядя на жену, чувствовал, что она чем-то недовольна и что будет, пожалуй, какая-нибудь неприятность — кроме того, ему очень скучно было слушать то, что она говорила и что он слышал, ему казалось, больше чем сто раз.

Зажгли дорогие бронзовые лампы и фонари на дворе, детей уложили спать, подвергнув больного Гогу лечебным операциям.

Гость с Николаем Семенычем и доктором вышли на веранду. Лакей подал свечи с колпаками и еще нарзану, и начался около двенадцати часов уж настоящий, оживленный разговор о том, какие должны были быть приняты государственные меры в настоящее, важное для России время. Оба не переставая курили, разговаривая.

Снаружи, за воротами дачи побрякивали бубенчиками ямщицкие лошади, стоявшие без корма, и то зевал, то храпел тоже без корма сидевший в коляске старик ямщик, двадцать лет живший у одного хозяина и все свое жалованье, за исключением рублей трех или пяти, которые он пропивал, отсылавший домой брату. Когда уж с разных дач стали перекликаться петухи, и особенно один громкий, тонкий в соседней даче, ямщик усомнился, не забыли ли его, сошел с коляски и вошел в дачу. Он видел, что его седок сидел и пил что-то и в промежутках громко говорил. Он забоялся и пошел отыскивать лакея. Лакей в ливрейном пиджачке сидя спал в передней. Ямщик разбудил его. Лакей, бывший дворовый, кормивший своей службой (служба была выгодная — пятнадцать рублей жалованья и от господ на чай в год рублей иногда до ста) свою большую семью — пять девок и два мальчика, вскочил и, оправившись и отряхнувшись, пошел к господам сказать, что ямщик беспокоится, просит отпустить.

Когда лакей вошел, спор был в самом разгаре. Подошедший к ним доктор участвовал в нем.

[1] нечто *(фр.)*.

— Не могу я допустить,— говорил гость,— чтобы русский народ должен бы был идти по каким-то иным путям развития. Прежде всего нужна свобода — свобода политическая — та свобода — как это всем известно, наибольшая свобода — при соблюдении наибольших прав других людей.

Гость чувствовал, что он запутался и что-то не так говорит, но в горячке спора он не мог хорошенько вспомнить, как надо говорить.

— Это так,— отвечал Николай Семеныч, не слушая гостя и только желая высказать свою мысль, которая ему особенно нравилась.— Это так, но достигается это другим путем — не большинством голосов, а всеобщим согласием. Посмотрите на решения мира.

— Ах, этот мир.

— Нельзя отрицать,— сказал доктор,— что у славянских народов есть свой особенный взгляд. Например, польское право veto. Я не утверждаю, чтобы это было лучше.

— Позвольте, я доскажу всю мою мысль,— начал Николай Семеныч.— Русский народ имеет особенные свойства. Свойства эти...

Но пришедший с заспанными глазами в своей ливрее Иван перервал его:

— Ямщик беспокоится...

— Скажите ему (петербургский гость всем лакеям говорил «вы» и гордился этим), что я поеду скоро. И за лишнее заплачу.

— Слушаю-с.

Иван ушел, и Николай Семеныч мог досказать всю свою мысль. Но и гость и доктор слышали ее двадцать раз (или, по крайней мере, им так казалось) и стали опровергать ее, особенно гость, примерами истории. Он отлично знал историю.

Доктор был на стороне гостя и любовался его эрудицией и был рад случаю знакомства с ним.

Разговор так затянулся, что стало светло за лесом на другой стороне дороги и соловей проснулся, но собеседники всё курили и разговаривали, разговаривали и курили.

Может быть, разговор продолжался бы еще, но из двери вышла горничная.

Горничная эта была сирота, которая, чтобы кормиться, должна была поступить в услужение. Сначала она жила у купцов, где приказчик соблазнил ее и она ро-

дила. Ребенок ее умер, она поступила к чиновнику, где сын гимназист не давал ей покоя, потом поступила помощницей горничной к Николаю Семенычу и считала себя счастливой, что ее не преследовали более своей похотью господа и платили исправно жалованье. Она вошла доложить, что барыня зовут доктора и Николая Семеныча.

«Ну,— подумал Николай Семеныч,— верно, с Гогой что-нибудь».

— А что? — спросил он.

— Николай Николаевич что-то нездоровы,— сказала горничная. Николай Николаевич, «они» — это был одержимый поносом объевшийся Гога.

— Ну и пора,— сказал гость,— смотрите, как светло. Как мы засиделись,— сказал он, улыбаясь, как бы хваля себя и своих собеседников за то, что они так долго и много говорили, и простился.

Иван долго бегал усталыми ногами за шляпой и зонтиком гостя, которые сам гость засунул в самые неподходящие места. Иван надеялся получить на чай, но гость, всегда щедрый и никак не пожалевший бы дать ему рубль, увлеченный разговором, совсем забыл про это и вспомнил только дорогой, что он ничего не дал лакею. «Ну, нечего делать».

Ямщик влез на козлы, подобрал вожжи, сел бочком и тронул. Бубенчики звенели. Петербуржец, покачиваясь па мягких рессорах, ехал и думал об ограниченности и предвзятости мыслей своего приятеля.

То же самое думал Николай Семеныч, не сразу пошедший к жене. «Ужасна эта петербургская ограниченная узость. Не могут они выйти из этого»,— думал он.

К жене же он медлил входить, потому что от этого свидания теперь не ожидал ничего хорошего. Дело все было в ягодах. Мальчики вчера принесли ягоду. Николай Семеныч купил, не торговавшись, две тарелки не совсем спелых ягод. Дети прибежали, прося себе, начали есть прямо с тарелок. Мари еще не выходила. И когда вышла и узнала, что Гоге дано было ягод, ужасно рассе́рдилась, так как у него желудок уже был расстроен. Она стала упрекать мужа, он ее. И вышел неприятный разговор, почти ссора. К вечеру, точно, Гога нехорошо сходил. Николай Семеныч думал, что этим кончится, но призыв доктора обозначал, что дело приняло дурной оборот.

Когда он вошел к жене, она, в пестром шелковом

халате, который ей очень нравился, но о котором она теперь не думала, стояла в детской с доктором над горшком и светила ему туда текущей свечкой.

Доктор с внимательным видом, в пенсне, смотрел туда, палочкой ворочая вонючее содержимое.

— Да,— сказал он значительно.

— Всё эти проклятые ягоды.

— Ну отчего же ягоды,— робко сказал Николай Семеныч.

— Отчего ягоды? Ты вот накормил его, а я ночь не сплю, и ребенок умрет...

— Ну, не умрет,— улыбаясь, сказал доктор,— маленький прием висмута и осторожность. Дадим сейчас.

— Он заснул,— сказала Мари.

— Ну, лучше не тревожить, завтра я зайду.

— Пожалуйста.

Доктор ушел, Николай Семеныч остался один и еще долго не мог успокоить жену. Когда он заснул, было уж совсем светло.

В соседней деревне в это самое время возвращались из ночного мужики и ребята. Некоторые были на одной, у некоторых были лошади в поводу и позади бежали стригуны и двухлетки.

Тараска Резунов, малый лет двенадцати, в полушубке, но босой, в картузе, на пегой кобыле с мерином в поводу и таким же пегим, как мать, стригуном, обогнал всех и поскакал в гору к деревне. Черная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Пегий сытый стригун сзади взбрыкивал своими белыми в чулках ногами то в ту, то в другую сторону. Тараска подъехал к избе, слез, привязал лошадей у ворот и вошел в сени.

— Эй вы, заспалися! — закричал он на сестер и брата, спавших в сенях на дерюжке.

Мать, спавшая рядом с ними, встала уже доить корову.

Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные длинные белесые волосы, Федька же, спавший с ней, все еще лежал, уткнувшись головой в шубу, и только потирал заскорузлой пяткой высунувшуюся из-под кафтана стройную детскую ножку.

Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска

обещал разбудить сестру и малого, как только вернется из ночного.

Он так и сделал. В ночном, сидя под кустом, он падал от сна; теперь же разгулялся и решил не ложиться спать, а идти с девками за ягодами. Мать дала ему кружку молока. Ломоть хлеба он сам отрезал себе и уселся за стол на высокой лавке и стал есть.

Когда он в одной рубашке и портках, быстрыми шагами прокладывая отчетливые следы босых ног по пыли, пошел по дороге, по которой лежали уже несколько таких же, одних побольше, других поменьше, босых следов с четко отпечатанными пальчиками, девки уже красными и белыми пятнышками виднелись далеко впереди на темной зелени рощи. (Они с вечера приготовили себе горшочек и кружечку и, не завтракая и не запасшись хлебом, перекрестились раза два на передний угол и побежали на улицу.) Тараска догнал их за большим лесом, только что они свернули с дороги.

Роса лежала на траве, на кустах, даже на нижних ветвях дерев, и голые ножонки девочек тотчас намокли и сначала захолодели, а потом разогрелись, ступая то по мягкой траве, то по неровностям сухой земли. Ягодное место было по сведенному лесу. Девчонки вошли прежде в прошлогоднюю вырубку. Молодая поросль только что поднималась, и между сочных молодых кустов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались розовато-белые еще и кое-где красные ягоды.

Девчонки, перегнувшись вдвое, ягодку за ягодкой выбирали своими маленькими загорелыми ручонками и клали какую похуже в рот, какую получше в кружку.

— Ольгушка! сюда иди. Тут бяда сколько.

— Ну? Вре! Ау! — перекликались они, далеко не расходясь, когда заходили за кусты.

Тараска ушел от них дальше за овраг в прежде, за год, срубленный лес, на котором молодая поросль, особенно ореховая и кленовая, была выше человеческого роста. Трава была сочнее и гуще, и когда попадались места с земляникой, ягоды были крупнее и сочнее под защитой травы.

— Грушка!

— Аась!

— А как волк?

— Ну что ж волк? Ты что ж пужаешь. А я небось

не боюсь,— говорила Грушка, и, забывшись, она, думая о волке, клала ягоду за ягодой, и самые лучшие, не в кружку, а в рот.

— А Тараска-то наш ушел за овраг. Тараска-а!

— Я-о! — отвечал Тараска из-за оврага.— Идите сюда.

— А и то пойдем, тама больше.

И девчата полезли вниз в овраг, держась за кусты, а из оврага отвершками на другую сторону, и тут, на припоре солнца, сразу напали на полянку с мелкой травой, сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и не переставая работали и руками и губами.

Вдруг что-то шарахнулось и среди тишины с страшным, как им показалось, грохотом затрещало по траве и кустам.

Грушка упала от страха и рассыпала до половины кружки набранные ягоды.

— Мамушка! — завизжала она и заплакала.

— Заяц это, заяц! Тараска! Заяц. Вон он,— кричала Ольгушка, указывая на серо-бурую спинку с ушами, мелькавшую между кустов.— Ты чего? — обратилась Ольгушка к Грушке, когда заяц скрылся.

— Я думала, волк,— отвечала Грушка и вдруг тотчас же после ужаса и слез отчаяния расхохоталась.

— Вот дура-то.

— Страсть испугалась! — говорила Грушка, заливаясь звонким, как колокольчик, хохотом.

Подобрали ягоды и пошли дальше. Солнце уже взошло и светлыми яркими пятнами и тенями расцветило зелень и блестело в каплях росы, о которую вымокли девчонки теперь по самый пояс.

Девчата были уж почти на конце леса, всё уходя дальше и дальше, в надежде что что дальше, то больше будет ягод, когда в разных местах послышались звонкие ауканья девок и баб, вышедших позднее и также собиравших ягоды.

В завтрак кружка и горшочек были уже наполовину полны, когда девчата сошлись с теткой Акулиной, тоже вышедшей по ягоды. За теткой Акулиной ковылял на толстых кривых ножонках крошечный толстопузый мальчик в одной рубашонке и без шапки.

— Увязался со мной,— сказала Акулина девчатам, взяв мальчика на руки.— И оставить не с кем.

— А мы сейчас зайца здорового выпугнули. Как затрещи-ит — жуть...

— Вишь ты! — сказала Акулина и спустила опять с рук малого.

Переговорившись так, девочки разошлись с Акулиной и продолжали свое дело.

— Знать, посидим таперича,— сказала Ольгушка, садясь под густую тень орехового куста.— Уморилася. Эх хлебушка не взяли, поесть бы теперь.

— И мне хочется,— сказала Грушка.

— Что это тетка Акулина кричит больно чего-то? Чуешь? Ау, тетка Акулина!

— Ольгушка-а! — отозвалась Акулина.

— Чаго!

— Малый не с вами? — кричала Акулина из-за отвершка.

— Нету.

Но вот зашелестели кусты, и из-за отвершка показалась сама тетка Акулина с подобранной выше колен юбкой, с кошелкой на руке.

— Малого не видали?

— Нету.

— Вот грех какой! Мишка-а-а!

— Мишка-а-а!

Никто не отзывался.

— Ох, горюшко, заплутается оп. В большой лес забредет.

Ольгушка вскочила и пошла с Грушкой искать в одну сторону, тетка Акулина в другую. Не переставая звонкими голосами кликали Мишку, но никто не откликался.

— Уморилась,— говорила Грушка, отставая, но Ольгушка не переставая аукала и шла то вправо, то влево, поглядывая по сторонам.

Акулинин голос отчаянный слышался далеко к большому лесу. Ольгушка уже хотела бросить искать и идти домой, когда в одном сочном кусте, около пня липовой молодой поросли, она услыхала упорный и сердитый, отчаянный писк какой-то птицы, вероятно, с птенцами, чем-то недовольной. Птица, очевидно, чего-то боялась и на что-то сердилась. Ольгушка оглянулась на куст, обросший густой и высокой с белыми цветами травой, и под самым им увидала синенькую, не похожую ни на какие лесные травы кучку. Она остановилась, пригляделась. Это был Мишка. И его-то боялась и на него сердилась птица.

Мишка лежал на толстом брюхе, подложив ручонки

под голову и вытянув пухлые кривые ножонки, и сладко спал.

Ольгушка покликала мать и, разбудивши малого, дала ему ягод.

И долго потом Ольгушка всем, кого встречала, и дома матери, и отцу, и соседям рассказывала, как она искала и как нашла Акулининова малого.

Солнце уж совсем вышло из-за леса и жарко пекло землю и все, что было на ней.

— Ольгушка! Купаться,— пригласили Ольгу сошедшиеся с ней девочки. И все большим хороводом пошли с песнями к реке. Барахтаясь, визжа и болтая ногами, девчата не заметили, как с запада заходила черная низкая туча, как солнце стало скрываться и открываться и как запахло цветами и березовым листом и стало погромыхивать. Не успели девки одеться, как полил дождь и измочил их до нитки.

В прилипших к телу и потемневших рубашонках девчонки прибежали домой, поели и понесли на поле, где отец перепахивал картофель, обедать.

Когда они вернулись и пообедали, рубашонки уж высохли. Перебрав землянику и уложив ее в чашки, они понесли ее на дачу к Николаю Семенычу, где хорошо платили; но на этот раз им отказали.

Мари, сидевшая под зонтиком в большом кресле и томившаяся от жара, увидав девочек с ягодами, замахала на них веером.

— Не надо, не надо.

Но Валя, старший, двенадцатилетний мальчик, отдыхавший от переутомления классической гимназии и игравший в крокет с соседями, увидав ягоды, подбежал к Ольгушке и спросил:

— Сколько?

Она сказала:

— Тридцать копеек.

— Много,— сказал он. Он потому сказал «много», что так всегда говорили большие.— Подожди, только зайди за угол,— сказал он и побежал к няне.

Ольгушка с Грушкой между тем любовались на зеркальный шар, в котором виднелись какие-то маленькие дома, леса, сады. И этот шар и многое другое было для них не удивительно, потому что они ожидали всего самого чудесного от таинственного и непонятного для них мира людей-господ.

Валя побежал к няне и стал просить у нее тридцать

копеек. Няня сказала, что довольно двадцать, и достала ему из сундучка деньги. И он, обходя отца, который только что встал после вчерашней тяжелой ночи, курил и читал газеты, отдал двугривенный девочкам и, пересыпав ягоды в тарелку, напустился на них.

Вернувшись домой, Ольгушка развязала зубами узелок в платке, в котором был завязан двугривенный, и отдала его матери. Мать спрятала деньги и собрала белье на речку.

Тараска же, с завтрака пропахивавший с отцом картофель, спал в это время в тени густого темного дуба, тут же сидел и отец его, поглядывая на спутанную отпряженную лошадь, которая паслась на рубеже чужой земли и всякую минуту могла зайти в овсы или чужие луга.

Все в семье Николая Семеныча было нынче так, как обыкновенно. Все было исправно. Завтрак из трех блюд был готов, мухи давно ели его, но никто не шел, потому что никому не хотелось есть.

Николай Семеныч был доволен справедливостью своих суждений, которая выяснялась из того, что он прочел нынче в газетах. Мари была спокойна, потому что Гога сходил хорошо. Доктор был доволен тем, что предложенные им средства принесли пользу. Валя был доволен тем, что съел целую тарелку земляники.

10—11 июня 1905

КОРНЕЙ ВАСИЛЬЕВ

I

Корнею Васильеву было пятьдесят четыре года, когда он в последний раз приезжал в деревню. В густых курчавых волосах у него не было еще ни одного седого волоса, и только в черной бороде у скул пробивалась седина. Лицо у него было гладкое, румяное, загривок широкий и крепкий, и все сильное тело обложилось жиром от сытой городской жизни.

Он двадцать лет тому назад отбыл военную службу и вернулся со службы с деньгами. Сначала он завел лавку, потом оставил лавку и стал торговать скотиной.

Ездил в Черкасы за «товаром» (скотиной) и пригонял в Москву.

В селе Гаях, в его каменном, крытом железом доме, жила старуха мать, жена с двумя детьми (девочка и мальчик), еще сирота племянник, немой пятнадцатилетний малый, и работник. Корней был два раза женат. Первая жена его была слабая, больная женщина и умерла без детей, и он, уже немолодым вдовцом, женился второй раз на здоровой, красивой девушке, дочери бедной вдовы из соседней деревни. Дети были от второй жены.

Корней так выгодно продал последний «товар» в Москве, что у него собралось около трех тысяч денег. Узнав от земляка, что недалеко от его села выгодно продается у разорившегося помещика роща, он вздумал заняться еще и лесом. Он знал это дело и еще до службы жил помощником приказчика у купца в роще.

На железнодорожной станции, с которой сворачивали в Гаи, Корней встретил земляка, гаевского кривого Кузьму. Кузьма к каждому поезду выезжал из Гаев за седоками на своей парочке плохоньких косматых лошаденок. Кузьма был беден и оттого не любил всех богатых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой.

Корней, в полушубке и тулупе, с чемоданчиком в руке, вышел на крыльцо станции и, выпятив брюхо, остановился, отдуваясь и оглядываясь. Было утро. Погода была тихая, пасмурная, с легким морозцем.

— Что ж, не нашел седоков, дядя Кузьма? — сказал он.— Свезешь, что ли?

— Что ж, давай рублевку. Свезу.

— Ну и семь гривен довольно.

— Брюхо наел, а тридцать копеек у бедного человека оттянуть хочешь.

— Ну, ладно, давай, что ль,— сказал Корней. И, уложив в маленькие санки чемодан и узел, он широко уселся на заднем месте.

Кузьма остался на козлах.

— Ладно. Трогай.

Выехали из ухабов у станции на гладкую дорожку.

— Ну, а что, как у вас, не у вас, а у нас на деревне? — спросил Корней.

— Да хорошего мало.

— А что так? Моя старуха жива?

— Старуха-то жива. Надысь в церкви была. Старуха

твоя жива. Жива и молодая хозяйка твоя. Что ей делается. Работника нового взяла.

И Кузьма засмеялся как-то чудно́, как показалось Корнею.

— Какого работника? А Петра что?

— Петра заболел. Взяла Евстигнея Белого из Каменки,— сказал Кузьма,— из своей деревни, значит.

— Вот как? — сказал Корней.

Еще когда Корней сватал Марфу, в народе что-то бабы болтали про Евстигнея.

— Так-то, Корней Васильич,— сказал Кузьма.— Очень уж бабы нынче волю забрали.

— Что и говорить! — промолвил Корней.— А стара твоя сивая стала,— прибавил он, желая прекратить разговор.

— Я и сам не молод. По хозяину,— проговорил Кузьма в ответ на слова Корнея, постегивая косматого, кривоногого мерина.

На полдороге был постоялый двор. Корней велел остановить и вошел в дом. Кузьма приворотил лошадь к пустому корыту и оправлял шлею, не глядя на Корнея и ожидая, что он позовет его.

— Заходи, что ль, дядя Кузьма,— сказал Корней, выходя на крыльцо,— выпьешь стаканчик.

— Ну что ж,— отвечал Кузьма, делая вид, что не торопится.

Корней потребовал бутылку водки и поднес Кузьме. Кузьма, не евши с утра, тотчас же захмелел. И как только захмелел, стал шепотом, пригибаясь к Корнею, рассказывать ему, что говорили в деревне. А говорили, что Марфа, его жена, взяла в работники своего прежнего полюбовника и живет с ним.

— Мне что ж. Мне тебя жалко,— говорил пьяный Кузьма.— Только нехорошо, народ смеется. Видно, греха не боится. Ну, да погоди же ты, говорю. Дай срок, сам приедет. Так-то, брат, Корней Васильич.

Корней молча слушал то, что говорил Кузьма, и густые брови все ниже и ниже спускались над блестящими черными, как уголь, глазами.

— Что ж, поить будешь? — сказал он только, когда бутылка была выпита.— А нет, так и едем.

Он расплатился с хозяином и вышел на улицу.

Домой он приехал сумерками. Первый встретил его тот самый Евстигней Белый, про которого он не мог не думать всю дорогу. Корней поздоровался с ним. Уви-

дав худощавое белобрысое лицо заторопившегося Евстигнея, Корней только недоуменно покачал головой. «Наврал, старый пес,— подумал он на слова Кузьмы.— А кто их знает. Да уж я дознаюсь».

Кузьма стоял у лошади и подмигивал своим одним глазом на Евстигнея.

— У нас, значит, живешь? — спросил Корней.

— Что ж, надо где-нибудь работать,— отвечал Евстигней.

— Топлена горница-то?

— А то как же? Матвевна тама,— отвечал Евстигней.

Корней поднялся на крыльцо. Марфа, услыхав голоса, вышла в сени и, увидав мужа, вспыхнула и торопливо и особенно ласково поздоровалась с ним.

— А мы с матушкой уж и ждать перестали,— сказала она и вслед за Корнеем вошла в горницу.

— Ну что, как живете без меня?

— Живем всё по-старому,— сказала она и, подхватив на руки двухлетнюю дочку, которая тянула ее за юбку и просила молока, большими решительными шагами вошла в сени.

Корнеева мать с такими же черными глазами, как у Корнея, с трудом волоча ноги в валенках, вошла в горницу.

— Спасибо проведать приехал,— сказала она, покачивая трясущейся головой.

Корней рассказал матери, по какому делу заехал, и, вспомнив про Кузьму, пошел вынести ему деньги. Только он отворил дверь в сени, как прямо перед собой он увидал у двери на двор Марфу и Евстигнея. Они близко стояли друг от друга, и она говорила что-то. Увидав Корнея, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа подошла к самовару, поправляя гудевшую над ним трубу.

Корней молча прошел мимо ее согнутой спины и, взяв узел, позвал Кузьму пить чай в большую избу. Перед чаем Корней роздал московские гостинцы домашним: матери шерстяной платок, Федьке книжку с картинками, немому племяннику жилетку и жене ситец на платье.

За чаем Корней сидел насупившись и молчал. Только изредка неохотно улыбался, глядя на немого, который забавлял всех своей радостью. Он не мог нарадоваться на жилетку. Он укладывал и развертывал ее, на-

девал ее и целовал свою руку, глядя на Корнея, и улыбался.

После чая и ужина Корней тотчас же ушел в горницу, где спал с Марфой и маленькой дочкой. Марфа оставалась в большой избе убирать посуду. Корней сидел один у стола, облокотившись на руку, и ждал. Злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и, чтобы развлечь мысли, стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе.

Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу и кто-то выходил в сени, но это все была не она. Наконец послышались ее шаги, дернулась дверь, отлипла, и она, румяная, красивая, в красном платке, вошла с девочкой на руках.

— Небось с дороги-то уморился,— сказала она, улыбаясь, как будто не замечая его угрюмого вида.

Корней глянул на нее и стал опять считать, хотя считать уж нечего было.

— Уж не рано,— сказала она и, спустив с рук девочку, прошла за перегородку.

Он слышал, как она убирала постель и укладывала спать дочку.

«Люди смеются,— вспомнил он слова Кузьмы.— Погоди же ты...» — подумал он, с трудом переводя дыхание, и медленным движением встал, положил обгрызок карандаша в жилетный карман, повесил счеты на гвоздь, снял пиджак и подошел к двери перегородки. Она стояла лицом к иконам и молилась. Он остановился, ожидая. Она долго крестилась, кланялась и шепотом говорила молитвы. Ему казалось, что она давно перечитала все молитвы и нарочно по нескольку раз повторяет их. Но вот она положила земной поклон, выпрямилась, прошептала в себя какие-то молитвенные слова и повернулась к нему лицом.

— А Агашка-то уж спит,— сказала она, указывая на девочку, и, улыбаясь, села на заскрипевшую кровать.

— Евстигней давно здесь? — сказал Корней, входя в дверь.

Она спокойным движением перекинула одну толстую косу через плечо на грудь и начала быстрыми пальцами расплетать ее. Она прямо смотрела на него, и глаза ее смеялись.

— Евстигней-то? А кто его знает,— недели две али три.

— Ты живешь с ним? — проговорил Корней.

Она выпустила из рук косу, но тотчас же поймала опять свои жесткие густые волосы и опять стала плести.

— Чего не выдумают. Живу с Евстигнеем? — сказала она, особенно звучно произнося слово Евстигней.— Выдумают же! Тебе кто сказал?

— Говори: правда, нет ли? — сказал Корней и сжал в кулаки засунутые в карманы могучие руки.

— Будет болтать пустое. Снять сапоги-то?

— Я тебя спрашиваю,— повторил он.

— Ишь добро какое. На Евстигнея польстилась,— сказала она.— И кто только наврал тебе?

— Что ты с ним в сенях говорила?

— Что говорила. Говорила, на бочку обруч набить надо. Да ты что ко мне пристал?

— Я тебе велю: говори правду. Убью, сволочь поганая.

Он схватил ее за косу.

Она выдернула у него из руки косу, лицо ее скосилось от боли.

— Только на то тебя и взять, что драться. Что я от тебя хорошего видела? От такого житья не знаю, что сделаешь.

— Что сделаешь? — проговорил он, надвигаясь на нее.

— За что полкосы выдрал? Во, так шмотами и лезут. Что пристал. И правда, что...

Она не договорила. Он схватил ее за руку, сдернул с кровати и стал бить по голове, по бокам, по груди. Чем больше он бил, тем больше разгоралась в нем злоба. Она кричала, защищалась, хотела уйти, но он не пускал ее. Девочка проснулась и бросилась к матери.

— Мамка,— ревела она.

Корней ухватил девочку за руку, оторвал от матери и, как котенка, бросил в угол. Девочка визгнула, и несколько секунд ее не слышно было.

— Разбойник! Ребенка убил,— кричала Марфа и хотела подняться к дочери.

Но он опять схватил ее и так ударил в грудь, что она упала навзничь и тоже перестала кричать. Только девочка кричала отчаянно, не переводя духа.

Старуха, без платка, с растрепанными седыми волосами, с трясущейся головой, шатаясь, вошла в каморку

и, не глядя ни на Корнея, ни на Марфу, подошла к внучке, заливавшейся отчаянными слезами, и подняла ее.

Корней стоял, тяжело дыша и оглядываясь, как будто спросонья, не понимая, где он и кто тут с ним.

Марфа подняла голову и, стоная, вытирала окровавленное лицо рубахой.

— Злодей постылый! — проговорила она.— И живу с Евстигнеем и жила. На, убей до смерти. И Агашка не твоя дочь; с ним прижила,— быстро выговорила она и закрыла локтем лицо, ожидая удара.

Но Корней как будто ничего не понимал и только сопел и оглядывался.

— Ты глянь, что с девчонкой сделал: руку вышиб,— сказала старуха, показывая ему вывернутую висящую ручку не перестававшей заливавшейся криками девочки. Корней повернулся и молча вышел в сени и на крыльцо.

На дворе было все так же морозно и пасмурно. Снежинки инея падали ему на горевшие щеки и лоб. Он сел на приступки и ел горстями снег, собирая его на перилах. Из-за дверей слышно было, как стонала Марфа и жалостно плакала девочка; потом отворилась дверь в сени, и он слышал, как мать с девочкой вышла из горницы и прошла через сени в большую избу. Он встал и вошел в горницу. Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались усилившиеся, как только он вошел, стоны Марфы. Он молча оделся, достал из-под лавки чемодан, уложил в него свои вещи и завязал его веревкой.

— За что убил меня? За что? Что я тебе сделала? — заговорила Марфа жалостным голосом. Корней, не отвечая, поднял чемодан и понес к двери.— Каторжник. Разбойник! Погоди ж ты. Али на тебя суда нет? — совсем другим голосом злобно проговорила она.

Корней, не отвечая, толкнул дверь ногой и так сильно захлопнул ее, что задрожали стены.

Войдя в большую избу, Корней разбудил немого и велел ему запрягать лошадь. Немой, не сразу проснувшись, удивленно-вопросительно поглядывал на дядю и обеими руками расчесывал голову. Поняв, наконец, что́ от него требовали, он вскочил, надел валенки, рваный полушубок, взял фонарь и пошел на двор.

Уж было совсем светло, когда Корней выехал с немым в маленьких пошевнях за ворота и поехал на-

вад по той же дороге, по которой с вечера приехал с Кузьмою.

Он приехал на станцию за пять минут до отхода поезда. Немой видел, как он брал билет, как взял чемодан и как сел в вагон, кивнув ему головой, и как вагон укатился из вида.

У Марфы, кроме побоев на лице, были сломаны два ребра и разбита голова. Но сильная, здоровая молодая женщина справилась через полгода, так что не осталось никаких следов побоев. Девочка же навек осталась полукалекой. У ней были переломлены две кости руки, и рука осталась кривая.

Про Корнея же с тех пор, как он ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он, или умер.

II

Прошло семнадцать лет. Была глухая осень. Солнце ходило низко, и в четвертом часу вечера уж смеркалось. Андреевское стадо возвращалось в деревню. Пастух, отслужив срок, до заговенья ушел, и гоняли скотину очередные бабы и ребята.

Стадо только что вышло с овсяного жнивья на грязную, испещренную раздвоенно-копытными следами черноземную, взрытую колеями большую грунтовую дорогу и с неперестающим мычанием и блеянием подвигалось к деревне. По дороге впереди стада шел в потемневшем от дождя, заплатанном зипуне, в большой шапке, с кожаным мешком за сутуловатой спиной высокий старик с седой бородой и курчавыми седыми волосами; только одни густые брови были у него черные. Он шел, тяжело двигая по грязи мокрыми и разбившимися грубыми хохлацкими сапогами и через шаг равномерно подпираясь дубовой клюкой. Когда стадо догнало его, он, опершись на клюку, остановился. Гнавшая стадо молодайка, покрывшись с головой дерюжкой, в подтыканной юбке и мужских сапогах, перебегала быстрыми ногами то на ту, то на другую сторону дороги, подгоняя отстающих овец и свиней. Поравнявшись с стариком, она остановилась, оглядывая его.

— Здорово, дедушка,— сказала она звучным, нежным, молодым голосом.

— Здорово, умница,— проговорил старик.

— Что ж, ночевать, что ль?

— Да видно так. Уморился,— хрипло проговорил старик.

— А ты, дед, к десятскому не ходи,— ласково проговорила молодайка.— Иди прямо к нам,— третья изба с краю. Странных людей свекровь так пущает.

— Третья изба. Зиновеева, значит? — сказал старик, как-то значительно поводя черными бровями.

— А ты разве знаешь?

— Бывал.

— Ты чего, Федюшка, слюни распустил,— хромая-то вовсе отстала,— крикнула молодайка, указывая на ковылявшую позади стада трехногую овцу, и, взмахнув правой рукой хворостиной и как-то странно, снизу, кривой левой рукой перехватив дерюжку на голове, побежала назад за отставшей хромой мокрой черной овцой.

Старик был Корней. А молодайка была та самая Агашка, которой он выломал руку семнадцать лет тому назад. Она была выдана в Андреевку, в богатую семью, за четыре версты от Гаев.

III

Корней Васильев из сильного, богатого, гордого человека стал тем, что он был теперь: старым побирушкой, у которого ничего не было, кроме изношенной одежи на теле, солдатского билета и двух рубах в сумке. Вся эта перемена сделалась так понемногу, что он не мог бы сказать, когда это началось и когда сделалось. Одно, что он знал, в чем был твердо уверен, это то, что виною его несчастия была его злодейка жена. Ему странно и больно было вспоминать то, что он был прежде. И когда он вспоминал про это, он с ненавистью вспоминал про ту, кого он считал причиной всего того дурного, что он испытал в эти семнадцать лет.

В ту ночь, когда он избил жену, он поехал к помещику, где продавалась роща. Рощи не довелось купить. Она была уже куплена, и он вернулся в Москву и там запил. Он и прежде пивал, но теперь пьянствовал без просыпу две недели, и когда опомнился, уехал на низ за скотиной. Покупка была неудачная, и он понес убыток. Он поехал в другой раз. И вторая покупка не задалась. И через год у него из трех тысяч осталось два-

дцать пять рублей и пришлось наниматься к хозяевам. Он и прежде пил, а теперь стал выпивать чаще и чаще.

Сначала он прожил год приказчиком у скотопромышленника, но дорогой запил, и купец расчел его. Потом он нашел по знакомству место торговца вином, но и тут прожил недолго. Запутался в расчетах, и ему отказали. Домой ехать и стыдно было, и злоба брала. «Проживут и без меня. Может, и мальчишка-то не мой»,— думал он.

Все шло хуже и хуже. Без вина он не мог жить. Стал наниматься уж не в приказчики, а в погонщики к скотине, потом и в эту должность не стали брать.

Чем хуже ему становилось, тем больше он обвинял ее, и тем больше разгоралась его злоба на нее.

В последний раз Корней нанялся в погонщики к скотине к незнакомому хозяину. Скотина заболела. Корней не был виноват, но хозяин рассердился и рассчитал и приказчика и его. Наниматься некуда было, и Корней решил идти странствовать. Состроил себе сапоги хорошие, сумку, взял чаю, сахару, денег восемь рублей и пошел в Киев. В Киеве ему не понравилось, и он пошел на Кавказ, в Новый Афон. Не доходя Нового Афона, его захватила лихорадка. Он вдруг ослабел. Денег оставалось рубль семьдесят копеек, знакомых никого не было, и он решил идти домой к сыну. «Может, она и померла теперь, злодейка моя,— думал он.— А жива, так хоть перед смертью выскажу ей все; чтоб знала она, мерзавка, что со мной сделала»,— думал он и пошел к дому.

Лихорадка трепала его через день. Он слабел все больше и больше, так что не мог уходить больше десяти, пятнадцати верст в день. Не доходя двухсот верст до дому деньги все вышли, и он шел уж Христовым именем и ночевал по отводу десятского. «Радуйся, до чего довела меня!» — думал он про жену, и, по старой привычке, старые и слабые руки сжимались в кулаки. Но и бить некого было, да и силы в кулаках уже не было.

Две недели шел он эти двести верст и, совсем больной и слабый, добрел до того места, в четырех верстах от дома, где встретился, не узнав ее и не быв узнан, с той Агашкой, которая считалась, но не была его дочерью и которой он выломал руку.

IV

Он сделал, как сказала ему Агафья. Дойдя до Зиновеева двора, он попросился ночевать. Его пустили.

Войдя в избу, он, как и всегда делал, перекрестился на иконы и поздоровался с хозяевами.

— Застыл, дед! Иди, иди на печь,— сказала сморщенная веселая старушка хозяйка, убиравшаяся у стола.

Муж Агафьи, моложавый мужик, сидел на лавке у стола и заправлял лампу.

— И мокрый же ты, дед! — сказал он.— Да что станешь делать. Сушись!

Корней разделся, разулся, повесил против печки онучи и влез на печь.

В избу вошла и Агафья с кувшином. Она уже успела пригнать стадо и убраться с скотиной.

— А не бывал старик странный? — спросила она.— Я велела к нам заходить.

— А вон он,— сказал хозяин, указывая на печь, где, потирая мохнатые костлявые ноги, сидел Корней.

К чаю хозяева кликнули и Корнея. Он слез и сел на краю лавки. Ему подали чашку и кусок сахара.

Разговор шел про погоду, про уборку. Не дается в руки хлеб. У помещиков проросли копны в поле. Только начнут возить — опять дождь. Мужички свезли. А у господ так дуро́м преет. А мыша в снопах — страсть.

Корней рассказал, что он видел по дороге целое поле полно копен. Молодайка налила ему пятую чашку жидкого, чуть желтого чаю и подала.

— Ничего. Пей, дедушка, на здоровье,— сказала она на его отказ.

— Что ж это рука у тебя неисправная? — спросил он у нее, осторожно принимая от нее полную чашку и пошевеливая бровями.

— С мальства еще сломали,— сказала говорливая свекровь.— Это ее отец нашу Агашку убить хотел.

— С чего ж это? — спросил Корней. И, глядя на лицо молодайки, ему вспомнился вдруг Евстигней Белый с его голубыми глазами, и рука, державшая чашку, так задрожала, что он разлил половину чая, пока донес ее до стола.

— А такой был в Гаях у нас человек, отец ей, Кор-

ней Васильевым звали. Богатей был. Так возгордился на жену. Ее избил и ее вот испортил.

Корней молчал, взглядывая из-под не переставая шевелившихся черных бровей то на хозяина, то на Агашу.

— За что же? — спросил он, откусывая сахар.

— Кто их знает. Про нашу сестру всякое сболтнут, а ты отвечай,— говорила старуха.— Из-за работника что-то у них вышло. Работник малый хороший был из нашей деревни. Он и помер у них в доме.

— Помер? — переспросил Корней и откашлялся.

— Давно помер... У них мы и взяли молодайку. Жили хорошо. Первые па селе были. Пока жив был хозяин.

— А он что же? — спросил Корней.

— Тоже помер, должно. С того раза пропал. Лет пятнадцать будет.

— Больше, никак, мне мамушка сказывала, меня она только кормить бросила.

— Что ж, ты на него не обижаешься на то, что он руку...— начал было Корней и вдруг захлюпал.

— Разве он чужой — отец ведь. Что ж, еще пей с холоду-то. Налить, что ль?

Корней не отвечал и, всхлипывая, плакал.

— Чего ж ты?

— Ничего, так, спаси Христос.

И Корней дрожащими руками ухватился за столбик и за полати и полез большими худыми ногами на печь.

— Вишь ты,— сказала старушка сыну, подмигивая на старика.

V

На другой день Корней поднялся раньше всех. Он слез с печи, размял высохшие подвертки; с трудом обул заскорузшие сапоги и надел мешок.

— Что ж, дед, позавтракал бы? — сказала старуха.

— Спаси бог. Пойду.

— Так вот возьми хоть лепешек вчерашних. Я тебе в мешок положу.

Корней поблагодарил и простился.

— Заходи, когда назад пойдешь, живы будем...

На дворе был тяжелый осенний туман, закрывающий все. Но Корней хорошо знал дорогу, знал всякий

спуск и подъем, и всякий куст, и все ветлы по дороге, и леса направо и налево, хотя за семнадцать лет одни срубили и из старых стали молодыми, а другие из молодых стали старыми.

Деревня Гаи была все та же, только построились с краю новые дома, каких не было прежде. И из деревянных домов стали кирпичные. Его каменный дом был такой же, только постарел. Крыша была давно не крашена, и на угле выбитые были кирпичи, и крыльцо покривилось.

В то время как он подходил к своему прежнему дому, из скрипучих ворот вышла матка с жеребенком, старый мерин чалый и третьяк. Старый чалый был весь в ту матку, которую Корней за год до своего ухода привел с ярмонки.

«Должно, это тот самый, что у нее тогда в брюхе был. Та же вислозадина и та же широкая грудь и косматые ноги»,— подумал он.

Лошадей гнал поить черноглазый мальчишка в новых лапотках. «Должно, внук, Федькин сын значит, в него черноглазый»,— подумал Корней.

Мальчик посмотрел на незнакомого старика и побежал за заигравшим по грязи стригуном. За мальчиком бежала собака, такая же черная, как прежний Волчок.

«Неужели Волчок?» — подумал он. И вспомнил, что тому было бы двадцать лет.

Он подошел к крыльцу и с трудом взошел на те ступеньки, на которых он тогда сидел, глотая снег с перил, и отворил дверь в сени.

— Чего лезешь не спросясь,— окликнул его женский голос из избы. Он узнал ее голос. И вот она сама, сухая, жилистая, морщинистая старуха, высунулась из двери. Корней ждал той молодой красивой Марфы, которая оскорбила его. Он ненавидел ее и хотел укорить, и вдруг вместо нее перед ним была какая-то старуха.— Милостыни — так под окном проси,— пронзительным, скрипучим голосом проговорила она.

— Я не милостыни,— сказал Корней.

— Так чего же ты? Чего еще?

Она вдруг остановилась. И он по лицу ее увидал, что она узнала его.

— Мало ли вас шляется. Ступай, ступай. С богом.

Корней привалился спиной к стене и, упираясь на клюку, пристально смотрел на нее и с удивлением чувствовал, что у него не было в душе той злобы на нее,

которую он столько лет носил в себе, но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им.

— Марфа! Помирать будем.

— Ступай, ступай с богом,— быстро и злобно говорила она.

— Больше ничего не скажешь?

— Нечего мне говорить,— сказала она.— Ступай с богом. Ступай, ступай. Много вас, чертей, дармоедов, шляется.

Она быстрыми шагами вернулась в избу и захлопнула дверь.

— Чего ж ругать-то,— послышался мужской голос, и в дверь вошел с топором за поясом черноватый мужик, такой же, как был Корней сорок лет тому назад, только поменьше и похудее, но с такими же черными блестящими глазами.

Это был тот самый Федька, которому он семнадцать лет тому назад подарил книжку с картинками. Это он упрекнул мать за то, что она не пожалела нищего. С ним вместе вошел, и тоже с топором за поясом, немой племянник. Теперь это был взрослый, с редкой бородкой, морщинистый, жилистый человек, с длинной шеей, решительным и внимательно пронизывающим взглядом. Оба мужика только позавтракали и шли в лес.

— Сейчас, дедка,— сказал Федор и указал немому сначала на старика, а потом на горницу и показал рукою, как режут хлеб.

Федор вышел на улицу, а немой вернулся в избу. Корней все стоял, опустив голову, прислонившись к стене и опираясь на клюку. Он чувствовал большую слабость и с трудом удерживал рыдания. Немой вышел из избы с большим пахучим ломтем свежего черного хлеба и, перекрестившись, подал Корнею. Когда Корней, приняв хлеб, тоже перекрестился, немой обратился к двери в избу, провел двумя руками по лицу и начал делать вид, что плюет. Он выражал этим неодобрение тетке. Вдруг он замер и, разинув рот, уставился на Корнея, как будто узнавая. Корней не мог больше удерживать слезы и, вытирая глаза, нос и седую бороду полою кафтана, отвернулся от немого и вышел на крыльцо. Он испытывал какое-то особенное, умиленное, восторженное чувство смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед сыном, перед всеми людьми, и чувство это и радостно и больно раздирало его душу.

Марфа смотрела из окна и спокойно вздохнула толь-

ко тогда, когда увидала, что старик скрылся за углом дома.

Когда Марфа уверилась, что старик ушел, она села за стан и стала ткать. Она ударила раз десяток бердом, но руки не шли, она остановилась и стала думать и вспоминать, каким она сейчас видела Корнея,— она знала, что это был он — тот самый, который убивал ее и прежде любил ее, и ей было страшно за то, что она сейчас сделала. Не то она сделала, что надо было. А как же надо было обойтись с ним? Ведь он не сказал, что он Корней и что он домой пришел.

И она опять взялась за челнок и продолжала ткать до самого вечера.

VI

Корней с трудом добрел к вечеру до Андреевки и опять попросился ночевать к Зиновеевым. Его приняли.

— Что ж, дед, не пошел дальше?

— Не пошел. Ослаб. Видно, назад пойду. Ночевать пустите?

— Место не пролежишь. Иди сушись.

Всю ночь Корнея трепала лихорадка. Перед утром он забылся, а когда проснулся, домашние все разошлись по своим делам, и в избе оставалась одна Агафья.

Он лежал на хорах на сухом кафтане, который подостлала ему старуха. Агафья вынимала хлебы из печи.

— Умница,— позвал он ее слабым голосом,— подойди ко мне.

— Сейчас, дед,— отвечала она, высаживая хлебы.— Напиться, что ль? Кваску?

Он не отвечал.

Высадив последний хлеб, она подошла к нему с ковшиком кваса. Он не поворотился к ней и не стал пить, а как лежал кверху лицом, так и стал говорить, не поворачиваясь.

— Гаша,— сказал он тихим голосом,— время мое доспело. Я помирать хочу. Так вот ты прости меня Христа ради.

— Бог простит. Что ж, ты мне худого не делал...

Он помолчал.

— А еще вот что: сходи ты, умница, к матери, ска-

жи ей... странник, мол, скажи... вчерашний странник, скажи...

Он стал всхлипывать.

— А ты разве был у наших?

— Был. Скажи, странник вчерашний... странник, скажи...— опять он остановился от рыданий и, наконец, собравшись с силами, договорил: — попрощаться к ней приходил,— сказал он и стал шарить у себя около груди.

— Скажу, дед, скажу. А ты чего ищешь? — сказала Агафья.

Старик, не отвечая, сморщившись от усилия, достал своей худой волосатой рукой бумагу из-за пазухи и подал ей.

— А это вот отдай, кто спросит. Билет мой солдатский. Слава богу, развязались все грехи,— и лицо его сложилось в торжественное выражение. Брови поднялись, глаза уставились в потолок, и он затих.

— Свечку,— проговорил он, не шевеля губами.

Агафья поняла. Достала от икон обгоревшую восковую свечку, зажгла и подала ему. Он прихватил ее большим пальцем.

Агафья отошла убрать в сундучок его билет, и когда подошла к нему, свеча валилась у него из руки, и остановившиеся глаза уже не видели, и грудь не дышала. Агафья перекрестилась, задула свечу, достала полотенце чистое и закрыла его лицо.

Во всю ночь эту Марфа не могла заснуть и все думала о Корнее. Наутро она надела зипун, накрылась платком и пошла узнавать, где вчерашний старик. Очень скоро она узнала, что старик в Андреевке. Марфа взяла из плетня палку и пошла в Андреевку. Чем дальше она шла, тем все страшнее и страшнее ей становилось. «Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем. Пускай хоть помрет дома при сыне»,— думала она.

Когда Марфа стала подходить к дочернему двору, она увидала большую толпу народа у избы. Одни стояли в сенях, другие под окнами. Все уж знали, что тот самый знаменитый богач Корней Васильев, который двадцать лет тому назад гремел по округе, бедным странником помер в доме дочери. Изба тоже была полна народа. Бабы перешептывались, вздыхали и охали.

Когда Марфа вошла в избу и народ расступился, пропуская ее, она под святыми увидала обмытое, убранное, прикрытое полотном мертвое тело, над которым грамотный Филипп Кононыч, подражая дьячкам, читал нараспев славянские слова Псалтыря.

Ни простить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, прекрасному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он или еще гневается.

1905—1906

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ

Роман

РАССКАЗЫ

Толстой Л. Н.

Т 53 Воскресение: Роман; Рассказы. — М.: Худож. лит., 1984. — 527 с.— (Классики и современники. Русская классич. лит-ра.)

В книгу вошли: роман «Воскресение», написанный в 1889—1899 гг.,— вершина реализма Л. Н. Толстого и избранные рассказы 1895—1906 гг.

Т $\frac{4702010100-008}{028(01)-84}$ 17-84 Р1

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Русская классическая литература

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ

Воскресение
Роман
Рассказы

Редактор
И. Парина

Художественный редактор
В. Серебряков

Технический редактор
М. Плешакова

Корректор
С. Свиридов

ИБ № 3541

Сдано в набор 13.04.83. Подписано в печать 27.12.83. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27.72. Усл. кр.-отт. 28,35. Уч.-изд. л. 29,54. Тираж 4 400 000 экз. (15-й завод 3 000 001—3 500 000). Изд. № I-1101. Заказ № 284. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.

Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

2 р. 40 к.



Русская классическая литература

